

ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(Сочинения Николая Васильевича Гоголя. Четыре тома.
Издание второе. Москва. 1855.)

Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его
смерти.

Похождения Чичикова или Мертвые души.
Том второй (пять глав). Москва, 1855¹⁾

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

В древности, о которой сохраняются ныне лишь темные, неправдоподобные, но дивные в своей невероятности воспоминания, как о времени мифическом, как об «Астрее», по выражению Гоголя², — в этой глубокой древности был обычай начинать критические статьи размышлениями о том, как быстро развивается русская литература. Подумайте (говорили нам) — еще Жуковский был в полном цвете сил, как уж явился Пушкин; едва Пушкин совершил половину своего поэтического поприща, столь рано пресеченного смертью, как явился Гоголь — и каждый из этих людей, столь быстро следовавших один за другим, вводил русскую литературу в новый период развития, несравненно высшего, нежели все, что дано было предыдущими периодами. Только двадцать пять лет разделяют «Сельское кладбище» от «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Светлану» от «Ревизора»³, — и в этот краткий промежуток времени русская литература имела три эпохи, русское общество сделало три великие шага вперед по пути умственного и нравственного совершенствования. Так начинались критические статьи в древности.

Эта глубокая, едва памятная нынешнему поколению древность была не слишком давно, как можно предполагать из того, что в преданиях ее встречаются имена Пушкина и Гоголя. Но — хотя мы отделены от нее очень немногими годами, — она решительно устарела для нас. В том уверяют нас положительные свидетельства почти всех людей, пишущих ныне о русской литературе — как очевидную истину, повторяют они, что мы уже далеко ушли вперед от критических, эстетических и т. п. принципов и мнений той эпохи; что принципы ее оказались односторонними и неосновательными, мнения — утрированными, несправед-

ливыми; что мудрость той эпохи оказалась ныне суесловием, и что истинные принципы критики, истинно мудрые воззрения на русскую литературу — о которых не имели понятия люди той эпохи — найдены русскою критикою только с того времени, как в русских журналах критические статьи начали оставаться неразрезанными⁴.

В справедливости этих уверений еще можно сомневаться, тем более, что они высказываются решительно без всяких доказательств; но то остается несомненным, что в самом деле наше время значительно разнится от незапамятной древности, о которой мы говорили. Попробуйте, например, начать ныне критическую статью, как начинали ее тогда, соображениями о быстром развитии нашей литературы — и с первого же слова вы сами почувствуете, что дело не ладится. Сама собою представится вам мысль: правда, что за Жуковским явился Пушкин, за Пушкиным Гоголь, и что каждый из этих людей вносил новый элемент в русскую литературу, расширял ее содержание, изменял ее направление; но что нового внесено в литературу после Гоголя? И ответом будет: гоголевское направление до сих пор остается в нашей литературе единственным сильным и плодотворным. Если и можно припомнить несколько сносных, даже два или три прекрасных произведения, которые не были проникнуты идеею, сродною идее гоголевых созданий, то, несмотря на свои художественные достоинства, они остались без влияния на публику, почти без значения в истории литературы. Да, в нашей литературе до сих пор продолжается гоголевский период — а ведь уж двадцать лет прошло со времени появления «Ревизора», двадцать пять лет с появления «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — прежде в такой промежуток сменялись два-три направления. Ныне господствует одно и то же, и мы не знаем, скоро ли мы будем в состоянии сказать: «начался для русской литературы новый период».

Из этого ясно видим, что в настоящее время нельзя начинать критических статей так, как начинали их в глубокой древности, — размышлениями о том, что едва мы успеваем привыкнуть к имени писателя, делающего своими сочинениями новую эпоху в развитии нашей литературы, как уже является другой, с произведениями, которых содержание еще глубже, которых форма еще самостоятельнее и совершеннее, — в этом отношении нельзя не согласиться, что настоящее не похоже на прошедшее.

Чему же надобно приписать такое различие? Почему гоголевский период продолжается такое число лет, какого в прежнее время было достаточно для смены двух или трех периодов? Быть может, сфера гоголевских идей так глубока и обширна, что нужно слишком много времени для полной разработки их литературою, для усвоения их обществом, — условия, от которых, конечно, зависит дальнейшее литературное развитие, потому что, только поглотив и переварив предложенную пищу, можно алкать новой,

только совершенно обеспечив себе пользование тем, что уже приобретено, должно искать новых приобретений, — быть может, наше самосознание еще вполне занято разработкою гоголевского содержания, не предчувствует ничего другого, не стремится ни к чему более полному и глубокому? Или пора было бы явиться в нашей литературе новому направлению, но оно не является вследствие каких-нибудь посторонних обстоятельств? Предлагая последний вопрос, мы тем самым даем повод думать, что считаем справедливым отвечать на него утвердительно; а говоря: «да, пора было бы начаться новому периоду в русской литературе», мы тем самым ставим себе два новых вопроса: в чем же должны состоять отличительные свойства нового направления, которое возникнет и отчасти, хотя еще слабо, нерешительно, уже возникает из гоголевского направления? и какие обстоятельства задерживают быстрое развитие этого нового направления? Последний вопрос, если хотите, можно решить коротко — хотя бы, например, и сожалением о том, что не является новый гениальный писатель. Но ведь опять можно спросить: почему же он не является так долго? Ведь прежде являлись же, да еще как быстро один за другим — Пушкин, Грибоедов, Кольцов, Лермонтов, Гоголь... пять человек, почти в одно и то же время — значит, не принадлежат же они к числу явлений, столь редких в истории народов, как Ньютон или Шекспир, которых ждет человечество по нескольку столетий. Пусть же теперь явился бы человек, равный хотя одному из этих пяти, он начал бы своими творениями новую эпоху в развитии нашего самосознания. Почему же нет ныне таких людей? Или они есть, но мы их не замечаем? Как хотите, а этого не следует оставлять без рассмотрения. Дело очень казусное.

А иной читатель, прочитав последние строки, скажет, качая головою: «не слишком-то мудрые вопросы; и где-то я читал совершенно подобные, да еще и с ответами, — где, дайте припомнить; ну, да, я читал их у Гоголя, и именно в следующем отрывке из подневных «Записок сумасшедшего»:

Декабря 5. Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании паследника. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? На престоле должен быть король. «Да», говорят, «нет короля» — не может статья, чтоб не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь скрывается в неизвестности. Он, статья может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины⁶.

Читатель будет совершенно прав. Мы действительно пришли к тому же самому положению, в каком был Аксентий Иванович Поприщин. Дело только в том, чтобы объяснить это положение

на основании фактов, представляемых Гоголем и новейшими нашими писателями, и переложить выводы с диалекта, которым говорят в Испании, на обыкновенный русский язык.

Критика вообще развивается на основании фактов, представляемых литературою, произведения которой служат необходимыми данными для выводов критики. Так, вслед за Пушкиным с его поэмами в байроновском духе и «Евгением Онегиным», явилась критика «Телеграфа»; когда Гоголь приобрел господство над развитием нашего самосознания, явилась так называемая критика 1840-х годов... Таким образом, развитие новых критических убеждений каждый раз было следствием изменений в господствующем характере литературы. Понятно, что и наши критические воззрения не могут иметь притязаний ни на особенную новизну, ни на удовлетворительную законченность. Они выведены из произведений, представляющих только некоторые предвестия, начатки нового направления в русской литературе, но еще не выказывающих его в полном развитии, и не могут содержать более того, что дано литературою. Она еще не далеко ушла от «Ревизора» и «Мертвых душ», и наши статьи не могут много отличаться по своему существенному содержанию от критических статей, явившихся на основании «Ревизора» и «Мертвых душ». По существенному содержанию, говорим мы, — достоинства развития зависят исключительно от нравственных сил пишущего и от обстоятельств; и если вообще должно сознаться, что наша литература в последнее время измельчала, то естественно предполагать, что и наши статьи не могут не носить того же характера, по сравнению с тем, что мы читали в старину. Но как бы то ни было, не совершенно же бесплодны были эти последние годы — наша литература приобрела несколько новых талантов, если и не создавших еще ничего столь великого, как «Евгений Онегин» или «Горе от ума», «Герой нашего времени» или «Ревизор» и «Мертвые души», то все же успевших уже дать нам несколько прекрасных произведений, замечательных самостоятельными достоинствами в художественном отношении и живым содержанием, — произведений, в которых нельзя не видеть залогов будущего развития. И если в наших статьях отразится хоть сколько-нибудь начало движения, выразившееся в этих произведениях, они будут не совершенно лишены предчувствия о более полном и глубоком развитии русской литературы. Удастся ли нам это — решат читатели. Но мы смело и положительно сами присудим своим статьям другое достоинство, очень важное: они порождены глубоким уважением и сочувствием к тому, что было благородного, справедливого и полезного в русской литературе и критике той глубокой древности, о которой говорили мы вначале, древности, которая, впрочем, только потому древность, что забыта отсутствием убеждений или кичливостью и в особенности мелоч-

ностью чувств и понятий, — нам кажется, что необходимо обратиться к изучению высоких стремлений, одушевлявших критику прежнего времени; без того, пока мы не вспомним их, не проникнемся ими, от нашей критики нельзя ожидать никакого влияния на умственное движение общества, никакой пользы для публики и литературы; и не только не будет она приносить никакой пользы, но и не будет возбуждать никакого сочувствия, даже никакого интереса, как не возбуждает его теперь. А критика должна играть важную роль в литературе, пора ей вспомнить об этом.

Читатели могут заметить в наших словах отголосок бессильной нерешительности, овладевшей русскою литературою в последние годы. Они могут сказать: «вы хотите движения вперед, и откуда же предлагаете вы почерпнуть силы для этого движения? Не в настоящем, не в живом, а в прошедшем, в мертвом. Необходительны те воззвания к новой деятельности, которые ставят идеалы себе в прошедшем, а не в будущем. Только сила отрицания от всего прошедшего есть сила, создающая нечто новое и лучшее». Читатели отчасти будут правы. Но и мы не совершенно неправы. Падающему всякая опора хороша, лишь бы подняться на ноги; и что же делать, если наше время не вызывает себя способным держаться на ногах собственными силами? И что же делать, если этот падающий может опереться только на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них? По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми? Ведь если слово писателя одушевлено идеею правды, стремлением к благотворному действию на умственную жизнь общества, это слово заключает в себе семена жизни, оно никогда не будет мертво. И разве много лет прошло с того времени, когда эти слова были высказаны? Нет; и в них еще столько свежести, они еще так хорошо приходятся к потребностям настоящего времени, что кажутся сказанными только вчера. Источник не иссякает оттого, что, лишившись людей, хранивших его в чистоте, мы по небрежности, по легкомыслию допустили завалить его хламом пустословия. Отбросим этот хлам, — и мы увидим, что в источнике еще живым ключом бьет струя правды, могущая, хотя отчасти, утолить нашу жажду. Или мы не чувствуем жажды? Нам хочется сказать «чувствуем», — но мы боимся, что придется прибавить: «чувствуем, только не слишком сильно».

Читатели могли видеть уже из того, что нами сказано, и увидят еще яснее из продолжения наших статей, что мы не считаем сочинения Гоголя безусловно удовлетворяющими всем современным потребностям русской публики, что даже в «Мертвых

душах» * мы находим стороны слабые, или, по крайней мере, недостаточно развитые, что, наконец, в некоторых произведениях последующих писателей мы видим залог более полного и удовлетворительного развития идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий. И однако же мы осмелимся сказать, что самые безусловные поклонники всего, что написано Гоголем, превозносящие до небес каждое его произведение, каждую его строку, не сочувствуют так живо его произведениям, как сочувствуем мы, не приписывают его деятельности столь громадного значения в русской литературе, как приписываем мы. Мы называем Гоголя без всякого сравнения величайшим из русских писателей по значению. По нашему мнению, он имел полное право сказать

* Мы говорим здесь только о первом томе «Мертвых душ», как и везде, где не означено, что речь идет о втором. Кстати, надобно сказать хотя несколько слов о втором томе, пока придет нам очередь разбирать его подробно, при обзоре сочинений Гоголя⁶. Напечатанные ныне пять глав второго тома «Мертвых душ» уцелели только в черновой рукописи, и, без сомнения, в окончательной редакции имели совершенно не тот вид, в каком теперь мы читаем их — известно, что Гоголь работал туго, медленно и только после множества поправок и переделок успевал придать истинную форму своим произведениям. Это обстоятельство, значительно затрудняющее при решении вопроса: «ниже или выше первого тома «Мертвых душ» в художественном отношении было бы их продолжение, окончательно обработанное автором», не может еще заставить нас совершенно отказаться от суждения о том, потерял или сохранил Гоголь всю громадность своего таланта в эпоху нового настроения, выразившегося «Перепискою с друзьями». Но общий приговор о всем черновом эскизе, сохранившемся от второго тома, делается невозможным потому, что этот отрывок сам, в свою очередь, есть собрание множества отрывков, написанных в различное время, под влиянием различных настроений мысли, и, кажется, написанных по различным общим планам сочинения, наскоро перечеркнутых без пополнения вычеркнутых мест, — отрывков, разделенных пробелами, часто более значительными, нежели самые отрывки, наконец, потому, что многие из сохранившихся страниц были, как видно, отброшены самим Гоголем, как неудачные, и заменены другими, написанными совершенно вновь, из которых иные — быть может, в свою очередь также отброшенные — дошли до нас, другие — и, вероятно, большее число — погибли. Все это заставляет нас рассматривать каждый отрывок порознь и произносить суждение не о «пяти главах «Мертвых душ», как целом, хотя и черновом эскизе, а только о различной степени достоинств различных страниц, не связанных ни единством плана, ни единством настроения, ни одинаковостью довольства ими в авторе, ни даже единством эпохи их сочинения. Многие из этих отрывков решительно так же слабы и по выполнению и особенно по мысли, как слабейшие места «Переписки с друзьями»; таковы особенно отрывки, в которых изображаются идеалы самого автора, например, дивный воспитатель Тентетникова, многие страницы отрывка о Костанжогола, многие страницы отрывка о Муразове; но это еще ничего не доказывает. Изображение идеалов было всегда слабейшею стороною в сочинениях Гоголя и, вероятно, не столько по односторонности таланта, которой многие приписывают эту неудачность, сколько именно по силе его таланта, состоявшей в необыкновенно тесном родстве с действительностью: когда действительность представляла идеальные лица, они превосходно выходили у Гоголя, как, например, в «Тарасе Будьбе» или даже в «Невском проспекте» (лицо художника Пискарева). Если же действительность не представляла

слова, безмерная гордость которых смутила в свое время самых жарких его поклонников, и которых неловкость понятна и нам:

«Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?»

Он имел полное право сказать это, потому что как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества еще далеко не так важно, как влияние многих других писателей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России⁹.

идеальных лиц или представляла в положениях, недоступных искусству — что оставалось делать Гоголю? Выдумывать их? Другие, привыкшие лгать, делают это довольно искусно; но Гоголь никогда не умел выдумывать, он сам говорит это в своей «Исповеди», и выдумки у него выходили всегда неудачны. В числе отрывков второго тома «Мертвых душ» много выдуманных, и нельзя не видеть, что они произошли от сознательного желания Гоголя внести в свое произведение отрадный элемент, о недостатке которого в его прежних сочинениях так многие и так много и громко кричали и жужжали ему в уши. Но мы не знаем, суждено ли было бы этим отрывкам уцелеть в окончательной редакции «Мертвых душ» — художественный такт, которого так много было у Гоголя, верно сказал бы ему при просмотре сочинения, что эти места слабы; и мы не имеем права утверждать, что стремление разлить отрадный колорит по сочинению пересилило бы тогда художническую критику в авторе, который был и неумолимым к себе и проникательным критиком. Во многих случаях эта фальшивая идеализация происходит, повидимому, чисто от произвола автора; но другие отрывки обязаны происхождением искреннему, непроизвольному, хотя и несправедливому убеждению. К числу таких мест относятся по преимуществу монологи Костанжогло, представляющие смесь правды и фальши, верных замечаний и узких, фантастических выдумок; эта смесь удивит своею странною пестротою каждого, кто не знаком коротко с мнениями, которые часто встречались в некоторых из наших журналов и принадлежат людям, с которыми Гоголь был в коротких отношениях. Чтобы охарактеризовать эти мнения каким-нибудь именем, мы, держась правила: *potius vult obliosa*¹⁾, назовем только покойного Загоскина, — многие страницы второго тома «Мертвых душ» кажутся проникнуты его духом. Мы не думаем, чтобы именно Загоскин имел хотя малейшее влияние на Гоголя, и даже не знаем, в каких отношениях они были между собою. Но мнения, проникающие нас сквозь последние романы Загоскина и имеющие лучшим из своих многочисленных источников простодушную и недальновидную любовь к патриархальности, господствовали между многими ближайшими к Гоголю людьми, из которых иные отличаются большим умом, а другие начитанностью или даже ученостью, которая могла обольстить Гоголя, справедливо жалующегося, что не получил образования, соответственного его таланту, и, можно прибавить, великим силам его нравственного характера. Их-то мнениям, конечно, подчинялся Гоголь, изображая своего Костанжогло или рисуя следствия, происшедшие от слабости Тентетникова (стр. 24—26). Подобные места, встречавшиеся в «Переписке с друзьями», более всего содействовали осуждению, которому подвергся за нее Гоголь. Впоследствии мы постараемся рассмотреть, до какой степени его следует осуждать за то, что он поддался

¹⁾ Имена ненавистные, — то есть не будем называть имен. — Ред.

Прежде всего скажем, что Гоголя должно считать отцом русской прозаической литературы, как Пушкина — отцом русской поэзии. Спешим прибавить, что это мнение не выдуманно нами, а только извлечено из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной ровно двадцать лет тому назад («Телескоп», 1835, часть XXVI) и принадлежащей автору «Статей о Пушкине»¹⁰. Он доказывает, что наша повесть, начавшаяся очень недавно, в двадцатых годах нынешнего столетия, первым истинным представителем своим имела Гоголя. Теперь, после того как явились «Ревизор» и «Мертвые души», надобно при-

этому влиянию, от которого, с одной стороны, должен был предохранять его пронидательный ум, но против которого, с другой стороны, не имел он достаточно твердой подпоры ни в прочном современном образовании, ни в предостережениях со стороны людей, прямо смотрящих на вещи — потому что, к сожалению, судьба или гордость держала Гоголя всегда далеко от таких людей⁷. Сделав эти оговорки, внушенные не только глубоким уважением к великому писателю, но еще более чувством справедливого снисхождения к человеку, окруженному неблагоприятными для его развития отношениями, мы не можем, однако же, не сказать прямо, что понятия, внушившие Гоголю многие страницы второго тома «Мертвых душ» недостойны ни его ума, ни его таланта, ни особенно его характера, в котором, несмотря на все противоречия, донные остающиеся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы должны сказать, что на многих страницах второго тома, в противоречие с другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатом закоснелости; впрочем, мы уверены, что он принимал эту закоснелость за что-то доброе, обольщаясь некоторыми сторонами ее, с одной-единственной точки зрения могущими представляться в поэтическом или кротком виде и закрывать глубокие язвы, которые так хорошо видел и добросовестно изобличал Гоголь в других сферах, более ему известных, и которых не различил в сфере действий Костанжогло, ему не столь хорошо знакомой. В самом деле, второй том «Мертвых душ» изображает быт, которого Гоголь почти не касался в прежних своих сочинениях. Прежде у него на первом плане постоянно были города и их жители, преимущественно чиновники и их отношения; даже в первом томе «Мертвых душ», где является так много помещиков, они изображаются не в своих деревенских отношениях, а только как люди, входящие в состав так называемого образованного общества, или чисто с психологической стороны. Коснуться не вскользь сельских отношений Гоголь вздумал только во втором томе «Мертвых душ», и новость его на этом поприще может до некоторой степени объяснить его заблуждения. Быть может, при ближайшем изучении предмета многие из набросанных им картин совершенно изменили бы свой колорит в окончательной редакции. Так или нет, но во всяком случае мы имеем положительные основания утверждать, что каковы бы ни были некоторые эпизоды во втором томе «Мертвых душ», преобладающий характер в этой книге, когда б она была окончена, остался бы все-таки тот же самый, каким отличается и ее первый том и все предыдущие творения великого писателя. В этом ручаются нам первые же строки изданных ныне глав:

«Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? — Что ж делать, если уже таковы свойства сочинителя, и, заболев собственным несовершенством, уже не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства?..»

Очевидно, что это место, служащее программой второму тому, написано уже тогда, как Гоголь был сильно занят толками о минимой односторонности,

бавить, что точно так же Гоголь был отцом нашего романа (в прозе) и прозаических произведений в драматической форме, то есть вообще русской прозы (не надобно забывать, что мы говорим исключительно об изящной литературе). В самом деле, истинным началом каждой стороны народной жизни надобно считать то время, когда эта сторона раскрывается заметным образом, с некоторою энергиею, и прочным образом утверждает за собою место в жизни, — все предшествующие отрывочные, исчезающие без следа эпизодические проявления должны быть считаемы только порывами к осуществлению себя, но

его произведений; когда он, считая эти толки справедливыми, уже объяснял свою мнимую односторонность собственными нравственными слабостями, — одним словом, оно принадлежит эпохе «Переписки с друзьями»; и однако же программю художника остается, как видим, прежняя программа «Ревизора» и первого тома «Мертвых душ». Да, Гоголь-художник оставался всегда верен своему призванию, как бы ни должны мы были судить о переменах, происшедших с ним в других отношениях. И действительно, каковы бы ни были его ошибки, когда он говорит о предметах для него новых, — но нельзя не признаться, перечитывая уцелевшие главы второго тома «Мертвых душ», что едва он переходит в близко знакомые ему сферы отношений, которые изображал в первом томе «Мертвых душ», как талант его является в прежнем своем благородстве, в прежней своей силе и свежести. В уцелевших отрывках есть очень много таких страниц, которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам Гоголь, которые приводят в восторг своим художественным достоинством, и, что еще важнее, правдивостью и силою благородного негодования. Не перечисляем этих отрывков, потому что их слишком много; укажем только некоторые: разговор Чичикова с Бетришевым о том, что все требуют себе поощрения, даже воры, и анекдот, объясняющий выражение: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», описание мудрых учреждений Кашкарева, судопроизводство над Чичиковым и гениальные поступки опытного юрисконсульта: наконец, дивное окончание отрывка — речь генерал-губернатора, ничего подобного которой мы не читали еще на русском языке, даже у Гоголя⁸. Эти места человека самого предубежденного против автора «Переписки с друзьями» убедят, что писатель, создавший «Ревизора» и первый том «Мертвых душ», до конца жизни остался верен себе как художник, несмотря на то, что как мыслитель мог заблуждаться; убедят, что высокое благородство сердца, страстная любовь к правде и благу всегда горели в душе его, что страстною ненавистью ко всему низкому и злему до конца жизни кипел он. Что же касается чисто юмористической стороны его таланта, каждая страница, даже наименее удачная, представляет доказательства, что в этом отношении Гоголь всегда оставался прежним, великим Гоголем. Из больших отрывков, проникнутых юмором, всеми читателями второго тома «Мертвых душ» были замечены удивительные разговоры Чичикова с Тентетниковым, с генералом Бетришевым, превосходно очерченные характеры Бетрищева, Петра Петровича Петуха и его детей, многие страницы из разговоров Чичикова с Платоновыми, Костанжогло, Кашкаревым и Хлобуевым, превосходные характеры Кашкарева и Хлобуева, прекрасный эпизод поездки Чичикова к Ленищину, и, наконец, множество эпизодов из последней главы, где Чичиков попадает под суд. Одним словом, в этом ряде черновых отрывков, которые нам остались от второго тома «Мертвых душ», есть слабые, которые, без сомнения, были бы переделаны или уничтожены автором при окончательной отделке романа, но в большей части отрывков, несмотря на их неотделанность, великий талант Гоголя является с прежнею своею силою, свежестью, с благородством направления, врожденным его высокой натуре.

еще не действительным существованием. Так, превосходные комедии Фонвизина, не имевшие влияния на развитие нашей литературы, составляют только блестящий эпизод, предвещающий появление русской прозы и русской комедии. Повести Карамзина имеют значение только для истории языка, но не для истории оригинальной русской литературы, потому что русского в них нет ничего, кроме языка. Притом же, и они скоро были подавлены наплывом стихов. При появлении Пушкина, русская литература состояла из одних стихов, не знала прозы и продолжала не знать ее до начала тридцатых годов. Тут — двумя или тремя годами раньше «Вечеров на хуторе», наделал шума «Юрий Милославский», — но надобно только прочитать разбор этого романа, помещенный в «Литературной газете», и мы осязательно убедимся, что если «Юрий Милославский» нравился читателям, не слишком требовательным относительно художественных достоинств, то для развития литературы он и тогда не мог считаться важным явлением¹¹, — и действительно, Загоскин имел только одного подражателя — себя самого. Романы Лажечникова имели более достоинства, — но не столько, чтобы утвердить право литературного гражданства за прозою. Затем остаются романы Нарезного, в которых несколько эпизодов, имеющих несомненное достоинство, служат только к тому, чтобы ярче выставить неуклюжесть рассказа и несообразность сюжетов с русскою жизнью. Они, подобно Ягубу Скупалову¹², более походят на лубочные изделия, нежели на произведения литературы, принадлежащей образованному обществу¹³. Русская повесть в прозе имела более даровитых деятелей, — между прочими Марлинского, Полевого, Павлова. Но характеристику их представляет статья, о которой мы говорили выше, и для нас довольно будет сказать, что повести Полевого признавались самыми лучшими из всех, существовавших до Гоголя, — кто забыл их и хочет составить себе понятие о их отличительных качествах, тому советую прочесть превосходную пародию, помещенную некогда в «Отечественных записках» (если не ошибаемся, 1843 г.) — «Необыкновенный поединок»; а для тех, кому не случится иметь ее под руками, помещаем в выноске характеристику лучшего из беллетристических произведений Полевого — «Аббадонны». Если таково было лучшее из прозаических произведений, то можно себе вообразить, каково было достоинство всей прозаической отрасли тогдашней литературы*.

* «Г. Полевой хотел выразить в своем романе идею противоречия поэзии с прозою жизни. Для этого он представил молодого поэта в борьбе с сухим, эгоистическим и прозаическим обществом. Но... во-первых, его поэт, этот Рейхенбах, есть то, что немцы называют «прекрасная душа» (schöne Seele). Слова «прекрасная душа» имели у немцев то благородное значение, которое имеют они до сих пор у нас. Но теперь они у немцев употребляются как выражение чего-то комического, смешного. Так точно, еще недавно слова

Во всяком случае, повести были несравненно лучше романов, и если автор статьи, о которой мы упоминали, подробно обозрев все существовавшие до Гоголя повести, приходит к заключению, что, собственно говоря, «у нас еще не было повести» до появления «Вечеров на хуторе» и «Миргорода», то еще несомненнее, что у нас не существовало романа. Были только попытки, доказывавшие, что русская литература готовится иметь роман и повесть, обнаруживавшие в ней стремление к произведению романа и повести. Относительно драматических произведений нельзя сказать и этого: прозаические пьесы, дававшиеся на театре, были чужды всяких литературных качеств, как водевили, переделываемые ныне с французского.

«чувствительность» и «чувствительный» употреблялись у нас для отличия людей с чувством и душою от людей грубых, животных, лишенных души и чувства; а теперь употребляются для выражения слабого, расплывающегося, растленного и приторного чувства. Выражение «прекрасная душа» получило теперь у немцев значение чего-то доброго, теплого, но вместе с тем детского, бессильного, фразерского и смешного. Рейхенбах г. Полевого есть полный представитель такой «прекрасной души», — и он тем смешнее, что почтенный сочинитель нисколько не думал издеваться над ним, но от чистого сердца убежден, что представил нам в своем Рейхенбахе истинного поэта, душу глубокую, пламенную, могучую. И потому его Рейхенбах есть что-то уродливое, смешное, не образ и не фигура, а какая-то каракулька, начерченная на серой и толстой бумаге дурно очиненным пером. В нем нет ничего поэтического: он просто добрый малый, — и весьма недалекий малый, — а между тем, автор поставил его на весьма высокие ходули. Люди оскорбляют его не истинными своими недостатками, а тем, что не мечтают, когда надо работать, и не восхищаются вечернею зарею, когда надо ужинать. Автор даже и не намекнул на истинные противоречия поэзии с прозою жизни, поэта к толпою.

Рейхенбах любит Генриетту, простую девушку без образования, без эстетического чувства, но хорошенькую, добренькую и молоденькую. Кто не был мальчиком и не влюблялся таким образом и в кузину, и в соседку, и в подружку по детским играм? Но у кого же такая любовь и продолжалась за ту эпоху, когда воротнички à l'enfant меняются на галстух? Рейхенбах думает об этом иначе и, во что бы то ни стало, хочет обожать Генриетту до гробовой доски. Она тоже не прочь от этого. Но в их отношениях нет ничего поэтического, невыговариваемого автором, но понятного для читателей. Вся любовь их испаряется в словах, в дерзких поцелуях со стороны поэта и в «ах, что вы это?» со стороны хорошенькой мешаночки. Вдруг, Рейхенбаху предстает Леонора. Это актриса, — femme épanouie нашего времени, жрица искусства и любви. Любовница министра, дряхлого, развратного старичишки, она томится жаждою любви глубокой и возвышенной. В Рейхенбахе находит она свой идеал. И вот, вы думаете, что она перерождается, как баядера Гете, — ничего не бывало! Она только говорит о перерождении, о восстании, о пламени любви своей. Вы думаете, что Рейхенбах оставляет для этой сильной, пламенной и страстной души, столь обаятельной для юношей, — оставляет для нее свою ребяческую любвишку к добренькой кухарочке — ничего не бывало! Он только колеблется между тою и другою, и в этом колебании высказывается вся слабость его слабенькой натуры. Наконец, Генриетта решительно побеждает, особенно потому, что Леонора впадает в бешенство и неистовствует, как пьяная гетера, вместо того, чтоб представлять из себя плачущую слезами любви и раскаяния падшую перн. И чем же оканчивается любовь нашего великого поэта? а вот чем, послушайте: «Генриетта ни за что

Таким образом, проза в русской литературе занимала очень мало места, имела очень мало значения. Она стремилась существовать, но еще не существовала.

В строгом смысле слова, литературная деятельность ограничивалась исключительно стихами. Гоголь был отцом русской прозы, и не только был отцом ее, но быстро доставил ей решительный перевес над поэзией, перевес, сохраняемый ею до сих пор. Он не имел ни предшественников, ни помощников в этом деле. Ему одному проза обязана и своим существованием, и всеми своими успехами.

«Как! не имел предшественников или помощников? Разве можно забывать о прозаических произведениях Пушкина?»

— Нельзя, но, во-первых, они далеко не имеют того значения в истории литературы, как его сочинения, писанные стихами: «Капитанская дочка» и «Дубровский» — повести в полном смысле слова превосходные; но укажите, в чем отразилось их влияние? где школа писателей, которых было бы можно назвать последователями Пушкина как прозаика? А литературные произведения бывают одолжены значением не только своему художественному достоинству, но также (или даже еще более) своему влиянию на развитие общества или, по крайней мере, литературы. Но главное — Гоголь явился прежде Пушкина как прозаика. Первыми из прозаических произведений Пушкина (если не считать незначительных отрывков) были напечатаны «Повести Белкина» — в 1831 году; но все согласится,

не хотела соглашаться с Вильгельмом, который уверял, что с этих пор он перестанет писать стихи. На усиленные просьбы Генриетты не оставлять стихов, он отвечал, смеясь, что готов писать но — только колыбельные песни для своих детей. Тут нескромному Вильгельму зажали рот маленькою ручкою, краснели и не знали куда деваться, пока другие собеседники смеялись громко...» О, честное компанство добрых мещан! О, великий поэт, вышедший из маленькой фантазии! Видите ли, как ложная, натянутая идеальность сходится наконец с пошлою прозою жизни, мирится с нею на конфетных страстишках, картофельных нежностях и плоских шутках?.. Это не то, что на человеческом языке называется «любить», а то, что на мещанском языке называется «амуриться»...

Вообще, многое в романе г. Полевого может быть прочтено не без удовольствия, а иное и с удовольствием, но целое странно: теперь оно разве усыпит сладко, и уж никого не увлечет. Когда, рисуя смешное, автор знает, что он рисует смешное, — картина может быть великим созданием; но когда автор изображает нам Дон-Кихота, думая изображать Александра Македонского или Юлия Цезаря, картина выйдет сузальская, лубочная литография с изображением райской птицы и наивною подписью:

Райская птица Сирен,
Глас ее в пении зело силен:
Когда господа воспевают,
Сама себя позабывает...

Поэзия, поэт, любовь, женщина, жизнь, их взаимные отношения, — все это в «Аббадонне» похоже на цветы, сделанные из старых тряпок...» («Отечественные» записки) 1841, том XV, библиографическая хроника.

что эти повести не имели большого художественного достоинства. Затем, до 1836 года, была напечатана только «Пиковая дама» (в 1834 году) — никто не сомневается в том, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишет ей особенной важности. Между тем, Гоголем были напечатаны «Вечера на хуторе» (1831—1832), «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1833), «Миргород» (1835) — то есть все, что впоследствии составило две первые части его «Сочинений»; кроме того, в «Арабесках» (1835) — «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего». В 1836 году Пушкин напечатал «Капитанскую дочку», — но в том же году явился «Ревизор» и, кроме того, «Коляска», «Утро делового человека» и «Нос». Таким образом, большая часть произведений Гоголя, и в том числе «Ревизор», были уже известны публике, когда она знала еще только «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку» («Арап Петра Великого», «Летопись села Горохина», «Сцены из рыцарских времен» были напечатаны уже в 1837 году, по смерти Пушкина, а «Дубровский» только в 1841) — публика имела довольно времени проникнуться произведениями Гоголя прежде, нежели познакомилась с Пушкиным как прозаиком.

В общем теоретическом смысле, мы не думаем отдавать предпочтение прозаической форме над поэтической, или наоборот — у каждой из них есть свои несомненные преимущества; но что касается собственно русской литературы, то, смотря на нее с исторической точки зрения, нельзя не признать, что все предыдущие периоды, когда преобладала поэтическая форма, далеко уступает в значении и для искусства и для жизни последнему, гоголевскому периоду, периоду господства поэмы. Что принесет литературе будущее, мы не знаем; мы не имеем оснований отказывать нашей поэзии в великой будущности; но должны сказать, что до настоящего времени прозаическая форма была и продолжает быть для нас гораздо плодотворнее стихотворной, что Гоголь дал существование этой важнейшей для нас отрасли литературы, и единственно он доставил ей тот решительный перевес, который она сохраняет до настоящего времени и, по всей вероятности, сохранит еще надолго.

Нельзя сказать, напротив, того, чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении содержания, которое называют сатирическим. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы. Не будем делать распространений на эту общепризнанную истину, не будем говорить о Кантемире, Сумарокове, Фонвизине и Крылове, но должны упомянуть о Грибоедове. «Горе от ума» имеет недостатки в художественном отношении, но остается до сих пор одною из самых любимых книг, потому что представляет ряд превосходных сатир, изложенных то в форме

монологов, то в виде разговоров. Почти столь же важно было влияние Пушкина как сатирического писателя, каким он явился преимущественно в «Онегине». И однако же, несмотря на высокие достоинства и огромный успех комедии Грибоедова и романа Пушкина, должно приписать исключительно Гоголю заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического — или, как справедливее будет назвать его, критического направления *. Несмотря на восторг, возбужденный его комедиею, Грибоедов не имел последователей, и «Горе от ума» осталось в нашей литературе одиноким, отрывочным явлением, как прежде комедии Фонвизина и сатиры Кантемира, осталось без заметного влияния на литературу, как басни Крылова **. Что было тому причиною? Конечно, господство Пушкина и плеяды поэтов, его окружавшей. «Горе от ума» было произведением настолько блестящим и живым, что не могло не возбудить общего внимания; но гений Грибоедова не был так велик, чтобы одним произведением приобрести с первого же раза господство над литературою. Что же касается до сатирического направления в произведениях самого Пушкина, то оно заключало в себе слишком мало глубины и постоянства, чтобы производить заметное действие на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало в общем впечатлении чистой художественности, чуждой определенного направления, — такое впечатление производят не только все другие лучшие произведения Пушкина — «Каменный гость», «Борис Годунов», «Русалка» и проч., но и самый «Онегин»: — у кого есть сильное предрасположение к критическому взгляду на явления жизни, только на того произведут влияние беглые и легкие сатирические заметки, попадающиеся в этом романе; — читателями, не предрасположенными к ним, они не

* В новейшей науке критикою называется не только суждение о явлениях одной отрасли народной жизни — искусства, литературы или науки, но вообще суждение о явлениях жизни, произносимое на основании понятий, до которых достигло человечество, и чувств, возбуждаемых этими явлениями при сличении их с требованиями разума. Понимая слово «критика» в этом обширнейшем смысле, говорят: «Критическое направление в изящной литературе, в поэзии» — этим выражением обозначается направление, до некоторой степени сходное с «аналитическим направлением, анализом» в литературе, о котором так много говорили у нас. Но различие состоит в том, что «аналитическое направление» может изучать подробности житейских явлений и воспроизводить их под влиянием самых разнородных стремлений, даже без всякого стремления, без мысли и смысла; а «критическое направление», при подробном изучении и воспроизведении явлений жизни, проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных явлений с нормою разума и благородного чувства. Потому «критическое направление» в литературе есть одно из частных видоизменений «аналитического направления» вообще. Сатирическое направление отличается от критического, как его крайность, не заботящаяся об объективности картин и допускающая утрировку.

** Мы говорим о направлении литературы, о ее духе, стремлениях, а не о развитии литературного языка — в последнем отношении, как уже тысячу раз было замечаемо в наших журналах. Крылов должен быть считаем одним из предшественников Пушкина.

будут замечены, потому что действительно составляют только второстепенный элемент в содержании романа.

Таким образом, несмотря на проблески сатиры в «Онегине» и блестящие филиппики «Горя от ума», критический элемент играл в нашей литературе до Гоголя второстепенную роль. Да и не только критического, но и почти никакого другого определенного элемента нельзя было отыскать в ее содержании, если смотреть на общее впечатление, производимое всею массою сочинений, считавшихся тогда хорошими или превосходными, а не останавливаться на немногих исключениях, которые, являясь случайными, одинокими, не производили заметной перемены в общем духе литературы. Ничего определенного не было в ее содержании, — сказали мы, — потому, что в ней почти вовсе не было содержания. Перечитывая всех этих поэтов — Языкова, Козлова и проч., дивишься тому, что на столь бедные темы, с таким скудным запасом чувств и мыслей, успели они написать столько страниц, — хотя и страниц написано ими очень немного — приходишь, наконец, к тому, что спрашиваешь себя: да о чем же они писали? и писали ли они хотя о чем-нибудь, или просто ни о чем? Многих не удовлетворяет содержание пушкинской поэзии, — но у Пушкина было во сто раз больше содержания, нежели у его сподвижников, взятых вместе. Форма была у них почти все, под формою не найдете у них почти ничего.

Таким образом, за Гоголем остается заслуга, что он первый дал русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направлении, как критическое. Прибавим, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью. За периодом чистых подражаний и переделок, какими были почти все произведения нашей литературы до Пушкина, следует эпоха творчества несколько более свободного. Но произведения Пушкина все еще очень близко напоминают или Байрона, или Шекспира, или Вальтера Скотта. Не говорим уже о байроновских поэмах и «Онегине», которого несправедливо называли подражанием «Чайльд-Гарольду», но который однако же действительно не существовал бы без этого байроновского романа; но точно так же «Борис Годунов» слишком заметно подчиняется историческим драмам Шекспира, «Русалка» — прямо возникла из «Короля Лира» и «Сна в летнюю ночь», «Капитанская дочка» — из романов Вальтера Скотта. Не говорим уже о других писателях той эпохи, — их зависимость от того или другого из европейских поэтов слишком ярко бросается в глаза. То ли теперь? — повести г. Гончарова, г. Григоровича, Л. Н. Т., г. Тургенева, комедии г. Островского так же мало наводят вас на мысль о заимствовании, так же мало напоминают вам что-либо чужое, как роман Диккенса, Теккерея, Жоржа-Санда. Мы не думаем делать сравнения между этими писателями по таланту или значению в литературе; но дело в том, что г. Гончаров пред-

ставляется вам только г. Гончаровым, только самим собою, г. Григорович также, каждый другой даровитый наш писатель также, — ничья литературная личность не представляется вам двойником какого-нибудь другого писателя, ни у кого из них не выглядывал из-за плеч другой человек, подсказывающий ему, — ни о ком из них нельзя сказать «Северный Диккенс», или «Русский Жорж-Санд», или «Теккерей северной Пальмиры». Только Гоголю мы обязаны этою самостоятельностью, только его творения своею высокою самобытностью подняли наших даровитых писателей на ту высоту, где начинается самобытность.

Впрочем, как ни много почетного и блестящего в титуле «основатель плодотворнейшего направления и самостоятельности в литературе» — но этими словами еще не определяется вся великость значения Гоголя для нашего общества и литературы. Он пробудил в нас сознание о нас самих — вот его истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке. Рассмотрение значения Гоголя в этом отношении должно быть главным предметом наших статей, — дело очень важное, которое, быть может, признали бы мы превосходящим наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже исполнена, так что нам, при разборе сочинений самого Гоголя, остается почти только приводить в систему и развивать мысли, уже высказанные критикою, о которой мы говорили в начале статьи; — дополнений, собственно нам принадлежащих, будет немного, потому что, хотя мысли, нами развиваемые, были высказываемы отрывочно, по различным поводам, однако же, если свести их вместе, то не много останется пробелов, которые нужно дополнить, чтобы получить всестороннюю характеристику произведений Гоголя. Но чрезвычайное значение Гоголя для русской литературы еще не совершенно определяется оценкою его собственных творений: Гоголь важен не только как гениальный писатель, но вместе с тем и как глава школы — единственной школы, которою может гордиться русская литература, — потому что ни Грибоедов, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Кольцов не имели учеников, которых имена были бы важны для истории русской литературы. Мы должны убедиться, что вся наша литература, насколько она образовалась под влиянием нечужеземных писателей, примыкает к Гоголю, и только тогда представится нам в полном размере все его значение для русской литературы. Сделав этот обзор всего содержания нашей литературы в ее настоящем развитии, мы будем в состоянии определить, что она уже сделала и чего мы должны еще ожидать от нее, — какие залогов будущего представляет она и чего еще недостает ей, — дело интересное, потому что состоянием литературы определяется состояние общества, от которого всегда она зависит.

Как ни справедливы мысли о значении Гоголя, высказанные здесь, — мы можем, несколько не стесняясь опасениями самохвальства, называть их совершенно справедливыми, потому что они высказаны в первый раз не нами, и мы только усвоили их, следовательно, самолюбие наше не может ими гордиться, оно остается совершенно в стороне, — как ни очевидна справедливость этих мыслей, но найдутся люди, которым покажется, что мы слишком высоко ставим Гоголя. Это потому, что до сих пор еще остается много людей, восстающих против Гоголя. Литературная судьба его в этом отношении совершенно различна от судьбы Пушкина. Пушкина давно уже все признали великим, неоспоримо великим писателем; имя его — священный авторитет для каждого русского читателя и даже не читателя, как, например, Вальтер Скотт авторитет для каждого англичанина, Ламартин и Шатобриан для француза, или, чтобы перейти в более высокую область, Гете для немца. Каждый русский есть почитатель Пушкина, и никто не находит неудобным для себя признавать его великим писателем, потому что поклонение Пушкину не обязывает ни к чему, понимание его достоинств не обуславливается никакими особенными качествами характера, никаким особенным настроением ума. Гоголь, напротив, принадлежит к числу тех писателей, любовь к которым требует одинакового с ними настроения души, потому что их деятельность есть служение определенному направлению нравственных стремлений. В отношении к таким писателям, как, например, к Жоржу-Санду, Беранже, даже Диккенсу и отчасти Теккерею публика разделяется на две половины: одна не сочувствующая их стремлениям, негодует на них; но та, которая сочувствует, до преданности любит их как представителей ее собственной нравственной жизни, как адвокатов ее собственных горячих желаний и задушевнейших мыслей. От Гете никому не было ни тепло, ни холодно; он равно приветлив и утонченно деликатен к каждому — к Гете может являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уважение — уступчивый, мягкий и в сущности довольно равнодушный ко всему и ко всем, хозяин никого не оскорбит не только явною суровостью, даже ни одним щекотливым намеком. Но если речи Диккенса или Жоржа-Санда служат утешением или подкреплением для одних, то уши других находят в них много жесткого и в высшей степени неприятного для себя. Эти люди живут только для друзей; они не держат открытого стола для каждого встречного и поперечного; иной, если сядет за их стол, будет давиться каждым куском и смущаться от каждого слова, и, убежав из этой тяжелой беседы, вечно будет он «поминать лихом» сурового хозяина. Но если у них есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда «незловивный поэт» не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко

всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против всего гнусного «проповедует любовь» к добру и правде¹⁴. Кто гладит по шерсти всех и всё, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан.

Гоголю многим обязаны те, которые нуждаются в защите; он стал во главе тех, которые отрицают злое и пошлое. Потому он имел славу возбудить во многих вражду к себе. И только тогда будут все единогласны в похвалах ему, когда исчезнет все пошлое и низкое, против чего он боролся!

Мы сказали, что наши слова о значении произведений самого Гоголя будут только в немногих случаях дополнением, а по большей части только сводом и развитием воззрений, выраженных критикою гоголевского периода литературы, центром которой были «Отечественные записки», главным деятелем тот критик, которому принадлежат «Статьи о Пушкине». Таким образом, эта половина наших статей будет иметь по преимуществу исторический характер. Но историю надобно начинать с начала, — и прежде, нежели будем мы излагать мнения, которые принимаем, должны мы представить очерк мнений, высказанных относительно Гоголя представителями прежних литературных партий. Это тем более необходимо, что критика гоголевского периода развивала свое влияние на публику и литературу в постоянной борьбе с этими партиями, что отголоски суждений о Гоголе, высказанных этими партиями, слышатся еще до сих пор, — и, наконец, потому, что этими суждениями отчасти объясняются «Выбранные места из переписки с друзьями» — этого столь замечательного и, повидимому, странного факта в деятельности Гоголя. Мы должны будем касаться этих суждений, и нужно знать их происхождение, чтобы надлежащим образом оценить степень их добросовестности и справедливости. Но, чтобы не слишком растянуть наш обзор отношений к Гоголю людей, литературные мнения которых неудовлетворительны, мы ограничимся изложением суждений только трех журналов, бывших представителями важнейших из второстепенных направлений в литературе.

Сильнейшим и достойнейшим уважения из людей, восставших против Гоголя, был Н. А. Полевой. Все другие, когда не повторяли его слова, нападая на Гоголя, выказывали в себе только отсутствие вкуса, и потому не заслуживают большого внимания. Напротив того, если нападения Полевого и были резки, если иногда переходили даже границы литературной критики и принимали, как тогда выражались, «юридический характер»¹⁵ — то всегда в них виден ум, и, как нам кажется, Н. А. Полевой, не будучи прав, был однако же добросовестен, восставая против Гоголя не по низким расчетам, не по внушениям само-

любия или личной вражды, как многие другие, а по искреннему убеждению.

Последние годы деятельности Н. А. Полевого нуждаются в оправдании. Ему не суждено было счастье сойти в могилу чистым от всякого упрека, от всяких подозрений, — но многим ли из людей, долго принимавших участие в умственных или других прениях, достается на долю это счастье? Сам Гоголь также нуждается в оправданиях, и нам кажется, что Полевой может быть оправдан гораздо легче, нежели он.

Важнейшим пятном на памяти Н. А. Полевого лежит то, что он, сначала столь бодро выступивший одним из предводителей в литературном и умственном движении, — он, знаменитый редактор «Московского телеграфа», столь сильно действовавшего в пользу просвещения, разрушившего столько литературных и других предубеждений, под конец жизни стал ратовать против всего, что было тогда здорового и плодотворного в русской литературе, занял с своим «Русским вестником»¹⁶ то самое положение в литературе, которое некогда занимал «Вестник Европы», сделался защитником неподвижности, закоснелости, которую столь сильно поражал в лучшую эпоху своей деятельности. Умственная жизнь у нас началась еще так недавно, мы пережили еще так мало фазисов развития, что подобные перемены в положении людей кажутся нам загадочными; между тем, в них нет ничего странного, — напротив, очень естественно, что человек, сначала стоявший во главе движения, делается отсталым и начинает восставать против движения, когда оно неудержимо продолжается далее границ, которые он предвидел, далее цели, к которой он стремился. Не будем приводить примеров из всеобщей истории, хотя они скорее всего могли бы пояснить дело. И в истории умственного движения недавно был великий, поучительный пример подобной слабости человека, отстающего от движения, главою которого он был — этот прискорбный пример мы видели на Шеллинге, которого имя в последнее время было в Германии символом обскурантизма, между тем как некогда он придал могущественное движение философии; но Гегель повел философию далее границ, которых не могла переступить система Шеллинга, — и предшественник, друг, учитель и товарищ Гегеля стал его врагом. И если бы сам Гегель прожил несколько лет долее, он сделался бы противником лучших и вернейших своих учеников, — и, быть может, его имя сделалось бы также символом обскурантизма¹⁷.

Мы не без намерения упомянули о Шеллинге и Гегеле. потому что для объяснения перемены в положении Н. А. Полевого надобно припомнить его отношение к разным системам философии. Н. А. Полевой был последователем Кузена, которого считал разрешителем всех премудростей и величайшим философом в мире. На самом же деле философия Кузена была со-

ставлена из довольно произвольного смешения научных понятий, заимствованных отчасти у Канта, еще более у Шеллинга, отчасти у других немецких философов, с некоторыми обрывками из Декарта, из Локка и других мыслителей, и весь этот разнородный набор был вдобавок переделан и приглажен так, чтобы не смущать никакою смелой мыслью предрассудков французской публики. Эта каша, называвшаяся «эклектической философией», не могла иметь большого научного достоинства, но она была хороша тем, что легко переваривалась людьми, еще не готовыми к принятию строгих и резких систем немецкой философии, и, во всяком случае, была полезна как приготовление к переходу от прежней закоснелости и незуитского обскурантизма к более здравым воззрениям. В этом смысле полезна была она и в «Московском телеграфе». Но само собой разумеется, что последователь Кузена не мог примириться с гегелевской философией, и когда гегелевская философия проникла в русскую литературу, — ученики Кузена оказались отсталыми людьми, — и ничего нравственно преступного с их стороны не было в том, что они защищали свои убеждения и называли нелепым то, что говорили люди, опередившие их в умственном движении: нельзя обвинять человека за то, что другие, одаренные более свежими силами и большею решительностью, опередили его, — они правы, потому что ближе к истине, но и он не виноват, он только ошибается.

Новая критика опиралась на идеи, принадлежащих строгой и возвышенной системе гегелевской философии, — вот первая и едва ли не важнейшая причина того, что Н. А. Полевой не понимал этой новой критики и не мог не восстать против нее как человек, одаренный живым и горячим характером. Что это несогласие в философских воззрениях было существенным основанием борьбы, видим из всего, что было писано и Н. А. Полевым и его молодым противником¹⁸, — мы могли бы привести сотни примеров, но довольно будет и одного. Начиная свои критические статьи в «Русском вестнике», Н. А. Полевой предпосылает им *profession de foi*, в котором излагает свои принципы и показывает, чем будет отличаться «Русский вестник» от других журналов, и вот как он характеризует направление журнала, в котором господствовали новые воззрения:

В одном из журналов наших предлагали нам жалкие, уродливые обломки гегелевской схоластики, излагая ее языком, едва ли даже для самих издателей журнала понятным. Все еще устремляясь уничтожать прежнее, вследствие спутанных и перебитых теорий своих, но, чувствуя необходимость каких-либо авторитетов, дико вопили о Шекспире, создавали себе крошечные идеальчики и преклоняли колени перед детскою игрою бедной самодельщины, а вместо суждений употребляли брань, как будто брань доказательство *¹⁹.

* Прежде Полевой говорил, что разрушение старых авторитетов было его делом, и вообще ясно, что своего противника он считает своим учеником, в ослеплении зашедшим далее границ, поставленных учителем.

Видите ли, основным пунктом обвинения была приверженность к «гегелевской схоластике», и все остальные грехи противника выставляются как следствия этого основного заблуждения. Но почему же Полевой считает гегелевскую философию ошибочною? Потому что она для него непонятна, это прямо говорит он сам. Точно так же и противник его основным недостатком, главною причиною падения прежней романтической критики выставлял то, что она спиралась на шаткую систему Кузена, не знала и не понимала Гегеля.

И действительно, несогласие в эстетических убеждениях было только следствием несогласия в философских основаниях всего образа мыслей, — этим отчасти объясняется жестокость борьбы — из-за одного разногласия в чисто эстетических понятиях нельзя было бы так ожесточаться, тем более, что в сущности оба противника заботились не столько о чисто эстетических вопросах, сколько вообще о развитии общества, и литература была для них драгоценна преимущественно в том отношении, что они понимали ее как могущественнейшую из сил, действующих на развитие нашей общественной жизни. Эстетические вопросы были для обоих по преимуществу только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь.

Но что бы ни было существенным содержанием борьбы, прищем ее были чаще всего эстетические вопросы, и нам должно припомнить, хотя беглым образом, характер эстетических убеждений школы, представителем которой был Н. А. Полевой, и показать ее отношения к новым воззрениям.

Не будем, однако, слишком подробно говорить о романтизме, о котором писано уже довольно много; скажем только, что французский романтизм, поборниками которого были и Марлинский и Полевой, надобно отличать от немецкого, влияние которого на нашу литературу не было так сильно. (Баллады Саути, переведенные Жуковским, представляют уже английское видоизменение немецкого романтизма.) Немецкий романтизм, главными источниками которого были — с одной стороны, фальшиво перетолкованные мысли Фихте, с другой — утрированное противодействие влиянию французской литературы XVIII века, был странною смесью стремлений к задумчивости, теплоте чувства, лежащей в основании немецкого характера, с так называемой тевтономаниею, пристрастием к средним векам, с диким поклонением всему, чем средние века отличались от нового времени, — всему, что было в них туманного, противоречащего ясному взгляду новой цивилизации, — поклонением всем предрассудкам и нелепостям средних веков. Этот романтизм представляет очень много сходства с мнениями, которыми одушевлены у нас люди, видящие идеал русского человека в Любиме Торцове²⁰. Еще страннее сделался романтизм, перешедши во Францию. В Германии дело шло преимущественно о направле-

нии, духе литературы: немцам было не нужно много хлопотать о ниспровержении условных псевдоклассических форм, потому что Лессинг уже давно доказал их нелепость, а Гете и Шиллер представили образцы художественных произведений, в которых идея не втискивается насильно в условную, чуждую ей форму, а сама из себя рождает форму, ей свойственную. У французов этого еще не было, — им еще нужно было освободиться от эпических поэм с воззваниями к Музе, трагедий с тремя единствами, торжественных од, избавиться от холодности, чопорности, условной и отчасти пошлой гладкости в слоге, однообразном и вялом, — одним словом, романтизм застал у них почти то самое, что было у нас до Жуковского и Пушкина. Потому борьба обратилась преимущественно на вопросы о свободе формы; на самое содержание смотрели французские романтики с формалистической точки зрения, стараясь сделать все наперекор прежнему: у псевдоклассиков лица разделялись на героев и злодеев, — противники их решили, что злодеи не злодеи, а истинные герои; страсти изображались у классиков с жеманной, холодной сдержанностью, — романтические герои начали неистовствовать и руками, и особенно языком, беспощадно кричать всякую гиль и чепуху; классики хлопотали о щеголеватости, — противники их провозгласили, что всякая благовидность есть пошлость, а дикость, безобразие — истинная художественность, и т. д.; одним словом, романтики имели целью не природу и человека, а противоречие классикам; план произведения, характеры и положения действующих лиц и самый язык создавались у них не по свободному вдохновению, а сочинялись, придумывались по расчету, и по какому же мелочному расчету? — только для того, чтобы все это вышло решительно против того, как было у классиков. Потому-то у них все выходило так же искусственно и натянуто, как и у классиков, только искусственность и натянутость эта была другого рода: у классиков — приглаженная и прилизанная, у романтиков — преднамеренно растрепанная. Здравый смысл был идолом классиков, не знавших о существовании фантазии; романтики сделали врагами здравого смысла и искусственно раздражали фантазию до болезненного напряжения. После этого очевидно, насколько у них могло быть простоты, естественности, понимания действительной жизни и художественности, — ровно никаких следов. Таковы были произведения Виктора Гюго, предводителя романтиков. Таковы же были у нас произведения Марлинского и Полевого, для которых, особенно для Полевого, Виктор Гюго был идеалом поэта и романиста. Кто давно не перечитывал их повестей и романов и не имеет охоты пересмотреть их, тот может составить себе достаточное понятие о характере романтических созданий, пробежав разбор «Аббадонны», приведенный нами выше. Откуда взял автор своего Рейхенбаха? Разве один из характеристических ти-

пов нашего тогдашнего общества составляли пылкие, великие поэты с глубоко страстными натурами? — вовсе нет, о таких людях не было у нас и слуху, Рейхенбах просто придуман автором; и разве основная тема романа — борьба пламенной любви к двум женщинам — дана нравами нашего общества? разве мы походим на итальянцев, какими они представляются в кровавых мелодрамах? нет, на Руси с самого призвания варягов до 1835 года, вероятно, не было ни одного случая, подобного тому, какой сочинился с Рейхенбахом; и что для нас интересного, что для нас важного в изображении столкновений, решительно чуждых нашей жизни? — Эти вопросы о близком соотношении поэтических созданий к жизни общества не приходили и в голову романтическим сочинителям, — они хлопотали только о том, чтобы изображать бурные страсти и раздирательные положения неистово фразистым языком.

Мы вовсе не в укор романтизму припоминаем его характеристику, а только для вывода соображений о том, мог ли человек, пропитавшийся насквозь подобными понятиями об искусстве, понимать истинную художественность, мог ли он восхищаться простотою, естественностью, верным изображением действительности. Мы не хотим смеяться над романтиками, — напротив, помянем их добрым словом; они у нас были в свое время очень полезны; они восстали против закоснелости, неподвижной заплесневелости; если б им удалось повести литературу по дороге, которая им нравилась, это было бы дурно, потому что дорога вела к вертепам фантастических злодеев с картонными кинжалами, жилищам фразеров, которые тщеславились выдуманскими преступлениями и страстями; но это не случилось, — романтики успели только вывести литературу из неподвижного и пресного болота, и она пошла своей дорогой, не слушаясь их возгласов; следовательно, вреда ей они не успели сделать, а пользу сделали, — за что же бранить их, и как же не помянуть добрым словом их услуги?

Нам нужно знать их понятия не для того, чтобы смеяться над ними, — это бесполезно, посмеемся лучше над тем, что в нас остается еще нелепого и дикого, — а для того, чтобы понять искренность и добросовестность их борьбы против тех, которые явились после них, которые были лучше их.

В самом деле, мог ли поклонник Виктора Гюго, автор «Аббадонны», понимать эстетическую теорию, которая главными условиями художественного создания ставила простоту и одушевление вопросами действительной жизни? Нет, и его нельзя обвинять за то, что он не понимал того, чего не понимал; должно только сказать, что были правы его противники, защищавшие учение более высокое и справедливое, нежели понятия, которых он держался.

Мы не думаем принимать сторону Н. А. Полевого как про-

тивника критики и литературы гоголевского периода; напротив, он был совершенно неправ, его противник совершенно прав, — мы утверждаем только, что основным побуждением к борьбе и у Н. А. Полевого, как у его противника, было неподдельное, непритворное убеждение.

• Борьба была жестока и, естественным образом, влекла за собою бесчисленные оскорбления самолюбия партизанов той или другой стороны, — в особенности, стороны отсталой и слабейшей, потому что победитель может прощать обиды ослабевающему противнику, но самолюбие побеждаемого бывает раздражительно и непримиримо. Потому очень может быть, что желчность различных выходок Н. А. Полевого усиливалась горьким чувством сознания в том, что другие заняли место впереди его, лишили его (и его убеждения, потому что он дорожил своими убеждениями) первенства, господства в критике, что литература перестала признавать его своим верховным судьей, сознания, что он не побеждает, как прежде, а побежден, — и болезненными криками глубоко уязвляемого самолюбия; но все это было только второстепенным элементом, развившимся в течение борьбы, — а истинными, главными причинами борьбы были убеждения, бескорыстные и чуждые низких расчетов или мелочного тщеславия. В свое время нельзя было не опровергать ошибочных суждений писателя, имевшего столь сильный авторитет; но из-за ошибочного направления его деятельности нельзя было забывать ни того, что в сущности он всегда оставался человеком, достойным уважения по характеру, ни, в особенности, того, что в прежнее время он оказал много услуг русской литературе и просвещению. Это было с обычною прямою всегда признаваемо его противником и с жаром высказано в брошюре «Николай Алексеевич Полевой»²¹.

Жестокое нападение на Гоголя принадлежит к числу важнейших ошибок Н. А. Полевого; они были одною из главных причин нерасположения, которое питали к Полевому публики и лучшие писатели прошедшего десятилетия. Но должно только сообразить, что он никогда не мог выйти из круга понятий, разработанных французскими романтиками, распространенных у нас его первым журналом, «Московским телеграфом», практически осуществившихся в его повестях и в «Аббаддонне», — и мы убедимся, что Полевой не мог понимать Гоголя, не мог понимать лучшей стороны его произведений, важнейшего их значения для литературы. Не мог понимать — и, следовательно, ему должен был казаться несправедливым восторг, возбужденный в позднейшей критике этими произведениями; как человек, привикший горячо защищать свои мнения, он не мог не подать громкого голоса в деле, которого важность была столь сильно указываема и противником Полевого, и жаркими толками в публике. Что это мнение, основанное на эклектической философии и романтиче-

ской эстетике, было в высшей степени неблагоприятно Гоголю, нимало не удивительно, — напротив, иначе и быть не могло. В самом деле, эклектическая философия всегда останавливалась на середине пути, старалась занять «золотую середину», говоря «нет», прибавлять и «да», признавая принцип, не допускать его приложений, отвергая принцип, допускать его приложения. «Ревизор» и «Мертвые души» были решительно противоположностью этому правилу портить впечатление целого примесью ненужных и несправедливых оговорок — они, как произведения художественные, оставляют эффект цельный, полный, определенный, не ослабляемый посторонними и произвольными приделками, чуждыми основной идее, — и потому для последователя эклектической философии они должны были казаться односторонними, утрированными, несправедливыми по содержанию. По форме они были совершенно противоположностью любимым стремлениям французских романтиков и их русского последователя: «Ревизор» и «Мертвые души» не имеют ни одного из тех качеств, за которые Н. А. Полевой признавал великим созданием искусства «Notre Dame de Paris» * Виктора Гюго и которые старался он придать своим собственным произведениям: там хитрая завязка, которую можно придумать только при высочайшей раздраженности фантазии, характеры придуманные, небывалые в свете, положения исключительные, неправдоподобные, и восторженный, горячий тон; тут — завязка обиходный случай, известный каждому, характеры — обыденные, встречающиеся на каждом шагу, тон — также обыденный. Это вяло, пошло, вульгарно по понятиям людей, восхищающихся «Notre Dame de Paris»²². Н. А. Полевой поступал совершенно последовательно, осуждая Гоголя и как мыслитель, и как эстетик. Нет сомнения, что тон осуждения был бы не так резок, если бы другие не хвалили так Гоголя, и если б эти другие не были противниками Н. А. Полевого, — но сущность суждения осталась бы та же; она зависела от философских и эстетических суждений критика, а не от личных его отношений. И нельзя ставить ему в вину резкости этого тона: когда хвалители говорят громко, и необходимо и справедливо, чтобы люди, не согласные с их мнением, высказывали свои убеждения столько же громко, — на чьей бы стороне ни была правда, она выиграет от того, что прение ведется во всеуслышание: современники яснее будут понимать сущность вопроса, да и приверженцы правого дела ревностнее будут защищать его, когда поставлены в необходимость вести борьбу с противниками, оспаривающими каждый шаг смело и по возможности сильно. И когда

Смерть велит умолкнуть злобе²³.

* Собор Парижской богородицы. — Ред.

история скажет, что если победители были правы и честны, то и некоторые из побежденных были честны; она признает даже за этими честными побежденными ту заслугу, что их упорное сопротивление дало возможность вполне высказаться силе и правоте дела, против которого они боролись. И если история будет считать достойным памяти время, в которое жили мы и наши отцы, она скажет, что А. Н. Полевой был честен в деле о Гоголе. Взглянем же ближе на его мнения об этом писателе.

Некоторые люди, с глазами более свежими и пронизательными, увидели в «Вечерах на хуторе», «Миргороде» и повестях, помещенных в «Арабесках», начало нового периода для русской литературы, в авторе «Тараса Бульбы» и «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» — преемника Пушкину. Автор статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной в 1835 году, когда еще не был известен «Ревизор», заключает свой обзор следующими словами, которые могли бы служить одним из блестящих доказательств его критической пронизательности, если б доказательства ее нужны были людям, хотя сколько-нибудь следившим за русскою литературою:

Из современных писателей никого не можно назвать поэтом с бóльшей уверенностью и нисколько не задумываясь, как г. Гоголя... Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют: простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь поэт, поэт жизни действительной. Г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов.

Другие тогдашние критики не воображали этого. «Вечера на хуторе» понравились всем веселостью рассказа; в авторе заметили даже некоторую способность довольно живо изображать лица и сцены из простонародного малороссийского быта; более в них ничего не заметили, и были правы. Но неправы были старые критики в том, что на Гоголя они до конца его деятельности смотрели, как на автора «Вечеров на хуторе», меряя все следующие его произведения аршином, который годен был только для этих первых опытов, не понимая в «Ревизоре» и «Мертвых душах» ничего такого, чего еще не было в «Вечерах на хуторе», и видя признаки падения таланта во всем, что в последующих сочинениях Гоголя не было похоже на «Вечера».

Так было и с Н. А. Полевым. Только первые и слабейшие произведения Гоголя остались для него понятны и хороши, потому что в них еще не преобладало новое начало, превышавшее уровень его понятий. Он всегда продолжал находить прекрасными «Вечера на хуторе», «Нос», «Коляску», — справедливо

видя в них признаки большого дарования, хотя, так же спра-ведливо, и не видя в них произведений тениальных, колоссаль-ных. Но вот явился «Ревизор»; люди, понявшие это великое тво-рение, провозгласили Гоголя гениальным писателем; Н. А. По-левой, как и следовало ожидать, не понял и осудил «Ревизора» за то, что он не похож на «историю о носе». Это очень любо-пытно, и было бы странно, если б мы не видели, что философско-эстетические убеждения критика были слишком нерешительны и фантастичны для вмещения идеи, выраженной «Ревизором», и понимания художественных достоинств этого великого произ-ведения. Вот какие мысли возбудил «Ревизор» в Н. А. Полевом:

Сочинитель «Ревизора» представил нам собою печальный пример, какое зло могут причинить человеку с дарованием дух партии и хвалебные вопли друзей, корыстных прислужников, и той бессмысленной толпы, которая явля-ется окрест людей с дарованием. Благодарить бога надобно скорее за непри-язнь, нежели за дружбу того народа, о котором говорил Пушкин:

Уж эти мне друзья, друзья!

Никто не сомневается в даровании г. Гоголя и в том, что у него есть свой бесспорный участок в области поэтических созданий. Его участок — добродушная шутка, малороссийский «жарт», похожий несколько на дарование г. Основьяненки, но отдельный и самобытный, хотя также заключающийся в свойствах малороссии. В шутке своего рода, в добродушном рассказе о Мало-россии, в хитрой простоте взгляда на мир и людей г. Гоголь превосходит, неподражаем. Какая прелесть его описание ссоры Ивана Ивановича, его «Старосветские помещики», его изображение запорожского казацкого быта в «Тарасе Бульбе» (исключая те места, где запорожцы являются героями и сме-шат карикатурой на Дон-Кихота), его история о носе, о продаже коляски!

Так и «Ревизор» его — фарс, который нравится именно тем, что в нем нет ни драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни определенных характеров. Язык в нем неправильный, лица — уродливые гротески, а характеры — ки-тайские тени, происшествие — несбыточное и нелепое, но все вместе умори-тельно смешно, как русская сказка о тязбе ерша с лещом, как повесть о Дурне, как малороссийская песня:

Танцовала рыба с раком,
А петрушка с пастернаком,
А цыбуля с чесноком...

Не подумайте, чтобы такие создания было легко писать, чтобы всякой мог писать их. Для них надобно дарование особенное, надобно родиться для них, и притом еще часто то, что вам кажется произведением досуга, делом минуты, следствием веселого расположения духа, бывает трудом тяжелым, долговременным, следствием грустного расположения души, борьбою резких противоположностей.

С «Ревизором» обошлись у нас весьма несправедливо. Справедливо по-ступила только публика вообще, которая увлекается впечатлением общим, безотчетным и почти никогда в нем не ошибается; но несправедливы были все наши судьи и записные критики. Одни вздумали разбирать «Ревизора» по правилам драмы, чопорно оскорблялись его шутками и языком и сравнивали его с грязью. Другие, напротив, мнимые друзья автора, увидели в «Ревизоре» что-то шекспировское, превознесли его, прославили, и вышла та же история, какая была с Озеровым. Досадно вспомнить, какие были притом побужде-ния к неумеренным похвалам. Но если они и были искренни, зато ошибочны; и посмотрите, какое зло они причинили, и, видя осуждение одних и похвалы

других, автор почел себя неуверенным гением, не понял направления своего дарования, и вместо того, чтобы не братья за то, что ему не дано, усилить деятельность в том направлении, которое приобрело ему общее уважение и славу, вспомнить слова Сумарокова:

Слагай, к чему тебя влечет твоя природа, —
Лишь просвещение, писатель, дай уму,

начал писать историю, рассуждения о теории изящного, о художествах, при-
нялся за фантастические, патетические предметы, точно так, как Лафонтен
некогда доказывал, что он берет образцы у древних классиков. Разумеется,
автор проиграл свою тяжбу. Все, что здесь сказано, не выдумка наша и ска-
зано не наобум: прочтите приложенное при новом издании «Ревизора» пись-
мо автора, которое можно сохранить, как любопытную историческую черту
и как материал для истории человеческого сердца. Разве Шекспир только
мог бы так писать о себе и о своих творениях и так говорить о характере
своего Гамлета, как г. Гоголь говорит о характере Хлестакова. И с тем вме-
сте письмо это дышит такою добродушною, повлическою грустью.

Но, скажут нам, следственно, чем же тут виноваты хвалители автора? —
Тем, что, не увлекли они самолюбия авторского в ошибку, осуждения могли
благодетельно подействовать на автора и обратить его на прямой путь. Осу-
ждения не погубят никогда, а восхваления часто и почти всегда губят нас.
Таков человек.

И как не иметь столько уважения к самим себе, что из мелкого расчета
корысти не стыдиться показать себя надувателями мыльных пузырей! Если
же хваления происходят от безотчетного увлечения, как до такой степени
не отдавать себе отчета в своих понятиях, не научиться из опытов прошед-
шего не повторять в каждом поколении одну и ту же докучную сказку! *

Возможно ли обвинять человека за то, что он не может
видеть в «Ревизоре» «ни драмы, ни цели, ни завязки, ни раз-
вязки, ни определенных характеров»? Это все равно, что обви-
нять почитателя «Русской сказки о тяжбе ерша с лещом» за то,
что он не понимает «Гамлета» и не восхищается «Каменным
гостем» Пушкина. Он не понимает этих произведений, и только;
что ж прикажете с ним делать! Такова степень его эстетического
развития. Можно и должно сказать, что он ошибается, если он
сказал, что «Гамлет» пуст, а «Каменный гость» скучен; можно
прибавить, что он не судья этим произведениям; но видеть в его
суждениях преднамеренное эстетическое преступление, желание
ввести других в заблуждение — невозможно: они слишком на-
ивны, слишком компрометируют ум произносящего их — их
может произносить только тот, кто в самом деле не видит
достоинств осуждаемых им произведений. Если б он понимал
хоть сколько-нибудь, если б хотел преднамеренно вводить дру-
гих в заблуждение, поверьте, он не сказал бы так, поверьте, он
придумал бы хитрость несколько лучшую. Рецензия, нами вы-
писанная, резка до грубости, — но нельзя не видеть, что соб-
ственно против Гоголя автор ее не имеет враждебного распо-
ложения. Напротив, сквозь тон, резкий до оскорбительности,
слышно доброжелательное стремление возвратить талантливое

* «Русский вестник», 1842, № 1.

заблудшее овца на путь истинный. Наставник ошибается, — тот, кого он считает блудным сыном, идет по прямому пути и не должен покидать его, — но ведь нельзя же осуждать человека, если он возвышает голос, чтоб он достиг до слуха погибающего юноши, оглушенного, по мнению советника, коварными льстецами. Что эти люди не льстецы, мы знаем; что они не имели — к сожалению — особенного влияния на Гоголя, мы также знаем: иначе он не писал бы таких «писем к друзьям» и не сжег бы второго тома «Мертвых душ». Но ведь не называют же преступником врача, который отстал от современного движения науки, прописывает замысловатые рецепты, заставляющие пожимать плечами от удивления, — о нем просто говорят, что он перестал быть хорошим врачом, и перестают обращать внимание на его советы. — Но вот вышли «Мертвые души» — и возбудили восторг, какому не было примеров на Руси, были восхвалены до небес, как колоссальнейшее создание русской литературы; — с точки зрения, к которой прирос Н. А. Полевой, это столь превозносимое произведение должно было показаться еще хуже «Ревизора», и надобно было еще возвышать голос, чтобы он слышен был среди оглушительных хвалебных криков. И Полевой выразил свое суждение о новом произведении погибающего талантливого писателя обстоятельнее, — не голословно, как другие, но с доказательствами подробными, хорошо изложенными, касающимися не внешних мелочей, но важных сторон дела.

Мы сказали мнение наше о литературных достоинствах г. Гоголя, оценив в нем, что составляет его бесспорное достоинство. Повторим слова наши (выписана первая половина рецензии, приведенной выше). Осмеливаемся думать, что такого мнения не назовут мнением, которое внушило бы предубеждение, пристрастие, личность против автора. Тем откровеннее скажем мы, что «Похождения Чичикова, или Мертвые души», подтверждающая наше мнение, показывают справедливость и того, что мы прибавили к мнению нашему о даровании г. Гоголя (выписана другая половина рецензии). Похождения Чичикова также любопытная заметка для истории литературы и человеческого сердца. Здесь видим, до какой степени может увлечься с прямой дороги дарование и какие уродливости создает оно, идя путем превратным. С чего начал «Ревизор», то кончил «Чичиков»...

Из всего, что пишет и что о самом себе говорит г. Гоголь, можно заключить, что он превратно смотрит на свое дарование. Покупая создания свои тяжким трудом, он не думает шутить, видит в них какие-то философически-гумористические творения, почитает себя философом и дидактиком, составляет себе какую-то ложную теорию искусства, и очень понятно, что, почитая себя гением универсальным, он считает самый способ выражения, или язык свой, оригинальным и самобытным. Может быть, такое мнение о самом себе необходимо по природе его, но мы не перестанем, однакож, думать, что, при совете благоразумных друзей, г. Гоголь мог бы убедиться в противном. Вопрос: производил ли бы он тогда или нет свои прекрасные создания, может быть решен положительно и отрицательно*.

* Из сравнения с предыдущими выписками очевидно, что под «прекрасными» должно здесь понимать преимущественно «Вечера на хуторе» и слабейшие, по нынешнему мнению публики, из следующих повестей.

Легко могло б быть, что г. Гоголь отверг бы тогда всё, что вредило ему, и так же легко могло бы случиться, что, разочарованный в высоком мнении о самом себе, он с горестью бросил бы перо свое, как орудие недостойной его величия шутки. Человек — загадка мудреная и сложная; но мы скорее склоняемся на первое из сих мнений, — сказать ли — даже лучше желали бы, чтоб г. Гоголь вовсе перестал писать, нежели, чтобы постепенно более и более он падал и заблуждался. По нашему мнению, он уже и теперь далеко устранился от истинного пути. Если сообразить все сочинения его, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до «Похождений Чичикова». Все, что составляет прелесть его творений, постепенно исчезает у него. Все, что губит их, постепенно усиливается.

«Гоголя захвалили, — говорит Полевой: — он возмечтал, что призван писать высоко-философские создания, вообразил, что даже прекрасен язык, которым он пишет, когда вдается в высокопарные мечтания, и посмотрите, к чему это привело его — к произведениям, подобным отрывку «Рим», недавно напечатанному.» «Рим» — это «набор ложных выводов, детских наблюдений, смешных и ничтожных заметок, не проникнутых ни одною светлою или глубокою мыслью, изложенных языком изломанным, диким, нелепым» — тут есть и «смола волос», и «сняющий снег лица», и «призрак пустоты, который видится во всем», и «женщины, которые подобно зданиям — или дворцы, или лачужки», — одним словом, «Рим» — это «галиматья». В этом отрывке о «Риме» есть своя доля правды, и доля значительная. Мы должны будем еще обратиться к «Риму», говоря о постепенном развитии идей Гоголя, и тогда заметим, что опустил из виду Полевой, называя безусловной галиматьею «Рим» — этот отрывок, действительно представляющий много дикого, не лишен поэзии. Не будем останавливаться и на замечаниях относительно языка, — с ними придется еще нам иметь дело. «Признаемся, — продолжает Полевой, — что, прочитавши «письмо» при «Ревизоре» и «Рим», мы уже немногого ожидали от «Мертвых душ», предвозвещенных, как нечто великое и чудное. Подлинно чудное: «Мертвые души» превзошли все наши ожидания».

Мы совсем не думаем осуждать г. Гоголя за то, что он назвал «Мертвые души» поэмою. Разумеется, что такое название — шутка. «Для чего запрещать шутку? Наше осуждение «Мертвых душ» коснется более важного.

Начнем с содержания — какая бедность! Не помним, читали ли слышали мы, что кто-то назвал «Мертвые души» *старой погудкой на новый лад*. Действительно: «Мертвые души» сколок с «Ревизора» — опять какой-то мошенник приезжает в город, населенный плутами и дураками, мошенничает с ними, обманывает их, боясь преследования, уезжает тихонько, — и «конец поэме»! — Надобно ли говорить, что шутка, другой раз повторенная, становится скучна, а еще более, если она растянута на 475 страниц? Но если мы к этому прибавим, что «Мертвые души», составляя грубую карикатуру, держатся на небывалых и несбыточных подробностях; что лица в них все до одного небывалые преувеличения, отвратительные мерзавцы или пошлые дураки, — все до одного, повторяем; что подробности рассказа наполнены такими выражениями, что иногда бросает книгу невольно; и наконец, что язык рассказа, как язык г. Гоголя в «Риме» и «Ревизоре», можно назвать

собранием ошибок против логики и грамматики, — спрашиваем, что сказать о таком создании? Не должно ли с грустным чувством видеть в нем упадок дарования прекрасного и пожалеть еще об одной из утраченных надежд наших, пожалеть тем более, что падение автора умышленно и добровольно? — Карикатура, конечно, принадлежит к области искусства, но карикатура, не перешедшая за предел изящного. Русская повесть об Еремушке и повивальной бабушке, как русская сказка о дядьке Савушке, романы Диккенса*, неистовые романы новейшей французской словесности исключаются из области изящного**, если и допустим в низший отдел искусства грубые фарсы, итальянские буффонады, эпические поэмы *наизнанку* (*travesti*), поэмы вроде «Елисея»***. Можно ли не пожалеть, что прекрасное дарование г. Гоголя тратится на подобные создания!

«Искусству нечего делать, не в чем рассчитывать с «Мертвыми душами»²⁴.

Видите ли, Полевой отказывается от мелочных придилок к заглавию «Мертвых душ» — уж за это одно он заслуживает отличия от других рецензентов, остроумие которых бесконечно потешалось над тем, что «Похождения Чичикова» названы поэмою. Бедность содержания в «Мертвых душах» — опять одно из тех суждений, искренность которых доказывается их невообразимой наивностью, замечаний, которые возбуждают жалость к сделавшему их и совершенно обезоруживают несогласного с ним читателя. Но заметьте, однако же, что Полевой начинает с существенных сторон вопроса и достигает даже некоторой меткости упреков, замечая, что «Мертвые души» сколок с «Ревизора» — это не придет в голову никому из понимающих разницу между существенным содержанием «Ревизора» и «Мертвых душ»: пафос одного произведения составляет взяточничество, различные беспорядки и т. д., одним словом, преимущественно официальная сторона жизни, пафос другого — частная жизнь, психологическое изображение различных типов пустоты или одиночества. Но Полевой, не замечая существенного различия, смотрел на сюжеты обоих произведений с той чисто внешней точки зрения, с которой можно находить, что «Горе от ума» есть повторение «Гамлета», потому что и здесь и там главное лицо — юноша с умом и прекрасным сердцем, окруженный дурными людьми, остающийся чист среди их, негодующий, говорящий много такого, что кажется нелепо его слушателям, признаваемый, наконец, человеком сумасшедшим, опасным и не могущий жениться на девушке, которую любит. Сближение сюжетов «Ревизора» с «Мертвыми душами» так же нелепо, как и сбли-

* Романы Диккенса исключаются из области изящного.

** Здесь подразумеваются преимущественно романы Жорж-Санда — они исключаются из области изящного!

*** Итак, романы Диккенса и Жорж-Санда ниже самых грубых фарсов и буффонад, ниже даже поэмы «Елисей, или раздраженный Вакх», ниже «Энеиды», вывороченной наизнанку Н. Осиповым и А. Котельницким, — это все еще принадлежит хотя «низшему отделу» искусства, а произведения Диккенса и Жорж-Санда совершенно «исключаются из области изящного».

жение сюжетов «Гамлета» и «Горе от ума»; но Полевой умел выставить натянутые черты мнимого сходства довольно искусственным образом. Не придумано ли это сближение нарочно? Нет, искренность его опять доказывается его наивностью, — только от искренней души может умный человек, каков, без сомнения, был Н. А. Полевой, говорить такие странные вещи. Далее начинаются жалобы на утрировку характеров и положений, на неправдоподобность их и проч. Отложим разбор этих обвинений до того времени, когда будем рассматривать «Мертвые души», а теперь ограничимся замечанием, что отношения романтической эстетики к новейшим произведениям искусства, сбросившим растрепанную изысканность французских романтиков, к людям, выучившимся писать романы с лицами и положениями, не похожими на «исполинские образы Виктора Гюго и его «Notre Dame de Paris», достаточно определяются тем, что Н. А. Полевой исключает романы Диккенса и Жоржа-Санда из области искусства, ставит их ниже самых пошлых фарсов, на одну степень с «Сказкою о дурне» — неужели против Диккенса и Жоржа-Санда Н. А. Полевой имел какие-нибудь личности? Неужели и их осуждал он не по убеждению, а из каких-нибудь посторонних видов? Кстати, о Лермонтове он судит совершенно так же, как о Гоголе. Вот подлинные его слова:

Вы говорите, что ошибка прежнего искусства состояла именно в том, что оно румянило природу и становило жизнь на ходули. Пусть так; но, избирая из природы и жизни только темную сторону, выбирая из них грязь, навоз, разврат и порок, не впадаете ли вы в другую крайность и изображаете ли верно природу и жизнь? Природа и жизнь, так, как они есть, представляют нам рядом жизнь и смерть, добро и зло, свет и тень, небо и землю. Избирая в картину свою только смерть, зло, тень, землю, верно ли списываете вы природу и жизнь? Вам скучны прежние герои искусства, — но покажите же нам человека и людей, да, человека, а не мерзавцев, не чудовище, людей, а не толпу мошенников и негодяев. Иначе лучше примем за прежних героев, которые иногда скучны, но не возмущают, по крайней мере, нашей души, не оскорбляют нашего чувства. Изобразить человека с его добром и злом, мыслью неба и жизнью земли, примирить для нас видимый раздор действительности изящною идеею искусства, постигшего тайну жизни, — вот цель художника; но к ней ли устремлены «Герои нашего времени» и «Мертвые души»? Напрасно будете вы ссылаться на Шекспира, на Виктора Гюго, на Гете. Кроме того, что худое и у Шекспира худо, Шекспир не тем велик, что Офелия поет у него неблагопристойную песню, Фальстаф ругается и нянька Юлиа говорит двусмысленности, — но похожи ли ваши грязные карикатуры на создания высокого гумора Шекспирова, на исполинские образы Виктора Гюго (мы говорим об его *Notre Dame de Paris*), на многосторонние создания Гете?

Зачем мы приводим буквально столько отрывков из грубых рецензий Н. А. Полевого? Затем, что они имеют одно несомненное достоинство: связность, логичность, последовательность в образе суждений. Надобно же нам видеть, с какими понятиями об искусстве необходимо связаны упреки Гоголю в односторон-

ности направления, — упреки, которые до сих пор повторяются людьми, не понимающими их значения, не понимающими, что кто называет Гоголя односторонним и сальным, должен в такой же степени односторонним и сальным называть и Лермонтова, находить, что «Герой нашего времени» произведение грязное и гадкое, что романы Диккенса и Жоржа-Санда не только отвратительны, но и слабы в художественном отношении, слабее последнего нелепейшего водевиля, уродливее последнего фарса, — при этом необходимо ставить Виктора Гюго между Шекспиром и Гете, немного ниже первого, гораздо выше последнего. Кто так думает о Викторе Гюго, Лермонтове, Диккенсе и Жорже-Санде, тот должен упрекать Гоголя в односторонности и сальности, — но заслуживает ли опровержений, заслуживает ли внимания мнение такого ценителя? Важно иногда бывает знать происхождение мнения и первобытный, подлинный вид, в котором оно выразилось, — часто этого бывает довольно, чтобы вполне оценить годность этого мнения для нашего времени, — часто оказывается, что оно принадлежит неразрывно к системе понятий, невозможных в наше время. Самую жалкую фигуру представляют не те люди, которые имеют ошибочный образ мыслей, а те, которые не имеют никакого определенного, последовательного образа мыслей, которых мнения — сбор бессвязных обрывков, не клеящихся между собою. Прочитав рецензии Полевого, мы убеждаемся, что все упреки, делаемые до сих пор иными людьми Гоголю, заимствованы из этих рецензий; разница только в том, что у Н. А. Полевого упреки имели смысл, будучи логическим выводом из системы убеждений, хотя неудовлетворительной для нашего времени, но все-таки бывшей прекрасною и полезною в свое время; между тем как в устах людей, повторяющих ныне эти нападения, они лишены всякого основания, всякого смысла. Представив множество примеров «тривиального» и «неправдоподобного» в «Мертвых душах», множество примеров того, что Гоголь пишет неправильным и низким языком (тут выставлено на вид и то, что Чичиков не может с первого раза делать помещикам предложения о продаже мертвых душ, и то, что Ноздрев не может на бале сесть на пол и ловить танцующих за ноги, и Петрушка с запахом жилой комнаты, и капля, падающая в суп Фемистоклуса, и т. д., и «глупейший рассказ» о капитане Копейкине, и слова «тюрюк», «взбучетунить» и пр., — одним словом, все, что только служило пищею для последующих остроумных шуток и благородных негодований на Гоголя), Н. А. Полевой оканчивает свою рецензию так:

Не будем более говорить о слоге, об образе выражения, но скажем в заключение: каково понятие автора об искусстве и цели его, если он думает, что художник может быть уголовным судьей современного общества? Да если и положим, что такова действительно обязанность писателя, так разве выдумками на современное общество, разве небывалыми карикатурами ука-

жет он на зло и предупредит его? Берем на себя кажущееся смешным автору название патриотов, даже «так называемых патриотов», пусть назовут нас Кифами Мокневичами, — но мы спрашиваем его: почему в самом деле современность представляется ему в таком неприязненном виде, в каком изображает он ее в своих «Мертвых душах» в своем «Ревизоре», — и для чего не спросить: почему думает он, что каждый русский человек носит в глубине души своей зародыши Чичиковых и Хлестаковых? Предвидим негодование и оскорбление защитников автора: они представят нас поддельными патриотами, лицемерами, быть может, чем-нибудь еще хуже — ведь за такими безделками у многих дело не станет!.. Их воля, но мы скажем прямо и утвердительно, что, приписывая предубеждение автора доброму намерению, нельзя не заметить какого-то превратного взгляда его на многое. Вы скажете, что Чичиков и город, где он является, не изображения целой страны, но посмотрите на множество мест в «Мертвых душах»: Чичиков, выехавши от Ноздрева, ругает его нехорошими словами — «что делать», прибавляет автор, «русский человек, да еще и в сердцах!» — Пьяный кучер Чичикова съехался с встречным экипажем и начинает ругаться — «русский человек», прибавляет автор, «не любит сознаваться перед другим, что он виноват!..» Изображается город; фризовая шинель (необходимая принадлежность города, по мнению автора) плетется по улице, «зная только одну (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу!» — Какие-то купцы позвали на пирушку других купцов — «пирушку на русскую ногу», и «пирушка (прибавляет автор), как водится, кончилась дракой»... Спрашиваем, так ли изображают, так ли говорят о том, что мило и дорого сердцу? Квасной патриотизм! Милостивые государи, мы сами не терпим его, но позвольте сказать, что квасной патриотизм все же лучше космополитизма... какого бы?.. да мы понимаем друг друга!

Не знаем, придется ли нам заняться подробным рассмотрением этого упрека, едва ли не самого существенного из всего, что было говорено против Гоголя. А пока напомним читателю, что сам Гоголь превосходно разъяснил сущность вопроса анекдотом о Кифе Мокневиче и следующим местом в «Разъезде из театра» после представления «Ревизора»:

Господин П. Помилуй, братец, ну что это такое? Как же это в самом деле?

Господин Б. Что?

Господин П. Ну да как же выводить это?

Господин Б. Почему же нет?

Господин П. Ну да сам посуди ты: ну как же, право? Все пороки, да пороки; ну какой пример подается через это зрителям?

Господин Б. Да разве пороки хвалятся? Ведь они же выведены на осмеяние.

Господин В. Но позвольте, однако же, заметить, что все это, некоторым образом, есть уже оскорбление, которое более или менее распространяется на всех.

Господин П. Именно. Вот это я сам хотел ему заметить. Это именно оскорбление, которое распространяется.

Господин В. Чем выставлять дурное, зачем же не выставлять хорошее, достойное подражания?

Господин Б. Зачем? Станный вопрос: «зачем». Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали перед ним во всем ужасе страшные следы беспорядочной жизни? Зачем он это сделал?

Господин В. Но позвольте вам заметить: это уже некоторым образом наши общественные раны, которые надобно скрывать, а не показывать.

Господин П. Это правда. Я с этим совершенно согласен. У нас дурное надо скрывать, а не показывать. (Господин Б. уходит. Подходит князь Н.)
Послушай, князь!

Князь Н. А что?

Господин П. Ну, однакож, скажи: как это представлять? На что это похоже?

Князь Н. Почему ж не представлять?

Господин П. Ну да посуди сам, — ну да как же это вдруг на сцене плут, — ведь это все наши раны.

Князь Н. Какие раны?

Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.

Князь Н. Возьми их себе. Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их тычешь? (Уходит.)

Именно так! именно это «некоторым образом наши раны!», именно «дурное у нас надо скрывать, а не показывать!», именно это «оскорбление, которое распространяется!» Прав, тысячу раз прав господин П.! Но отчего же вы сами, гг. недовольные Гоголем, находите господина П. смешным и нелепым? Если он нелеп, то и не повторяйте же его слов. Они имеют смысл только на его языке.

В рецензии «Ревизора» нельзя не заметить, что Н. А. Полевой еще не отчаивается в исправлении Гоголя, приписывая всю вину только его «льстецам», еще не отказывается от Гоголя; — после выхода «Мертвых душ» он уже считает его человеком, безвозвратно погибшим для искусства, неизлечимо закоснелым в своей сумасбродной гордости — писать такие нелепые вещи, из которых первую был «Ревизор». Вот последние строки разбора «Мертвых душ»:

Если бы мы осмелились взять на себя ответ автору от имени Руси, мы сказали бы ему: милостивый государь! Вы слишком много о себе думаете, — ваше самолюбие даже забавно, но мы сознаем, что у вас есть дарование, и только та беда, что вы немножко «сбились с панталыку!» Оставьте в покое вашу «выюгу вдохновения», поучитесь русскому языку, да рассказывайте нам прежние ваши сказочки об Иване Ивановиче, о коляске и носе, и не пишите ни такой галиматии, как ваш «Рим», ни такой чепухи, как ваши «Мертвые души»! Впрочем, воля ваша!

Мы кончили наши выписки из суждений Н. А. Полевого о Гоголе. К некоторым из мнений, высказанных им в первый раз, мы еще должны будем возвратиться, говоря о мнениях, высказываемых иными еще и теперь. Другие можно оставить без разбора, потому что крайняя наивность их делает излишним всякое опровержение. Но здесь нам остается сделать два замечания, вызываемые приговорами Н. А. Полевого.

В том, что Гоголь возмечтал о себе не как о невинном шутике, но как о великом писателе с глубоко философским направлением, Полевой обвиняет «льстецов» Гоголя. Смешно было бы в наше время думать, что произведения, подобные «Ревизору» и «Мертвым душам», могут быть обязаны своим происхождением

чему бы то ни было постороннему влиянию, — создания, столь глубоко прочувствованные, бывают плодом только собственной глубокой натуры самого автора, а не посторонних наущений. Кроме того, мы уже говорили, что люди, которые лучше других понимали значение этих высоких созданий искусства, не имели влияния на Гоголя. В следующей статье мы увидим, как мало понимали «Мертвые души» другие люди, которые, будучи поклонниками Гоголя, были в то же время и его друзьями — эти мудрые варяго-руссы, если и были в чем-нибудь виноваты, то разве в «Переписке с друзьями». Притом же, они и не были знакомы с Гоголем и не играли в литературе значительной роли в 1834 году, когда уж был написан «Ревизор» *. Пушкин знал Гоголя гораздо раньше, имел некоторое влияние на начинавшего юношу и хвалил его произведения, но невозможно, чтобы его считал Полевой «льстецом» Гоголя, — напротив, каждому известно, что Жуковский и Пушкин были покровителями Гоголя, занимая в литературе и в обществе гораздо почетнейшее место, нежели он, безвестный юноша. А между тем, он, будучи еще совершенно безвестным и ничтожным молодым человеком, уже печатал философские и высокопарные статьи, в которых видит Полевой уже следствие лести, вскружившей ему голову. Некоторые из этих статей перепечатаны в «Арабесках», некоторые другие исчислены г. Геннадии **. Вообще, надобно сказать, что в развитии своем Гоголь был независимее от посторонних влияний, нежели какой-либо другой из наших первоклассных писателей. Всем, что высказано прекрасного в его произведениях, он обязан исключительно своей глубокой натуре. Это очевидно ныне для каждого, не чуждого понятий о русской литературе. И если гордость Гоголя, увлекала его когда-нибудь в ошибки, то, во всяком случае, надобно сказать, что источником этой гордости было его собственное высокое понятие о себе, а не чужие похвалы. Некоторые люди питают такое гордое и высокое понятие о себе, что чужие похвалы не могут уж иметь на них особенного влияния, — кто знал подобных людей, легко увидит из писем и авторской исповеди Гоголя, что он принадлежал к числу их.

Другое наше замечание относится к самому Н. А. Полевому. По двум последним отрывкам из его рецензии на «Мертвые души» иные, быть может, заключат, что он, как издатель «Русского вестника», сделался неверен собственным мнениям, которые были с такою энергиею выражаемы в «Московском теле-

* См. письмо Гоголя к Максимовичу, от 14 августа 1834 г., в «Опыте биографии Гоголя», г. Николая М., помещенном в «Современнике», 1854 г.

** См. список сочинений Гоголя, составленный г. Геннадии в «Отч[ественных] зап[исках]» 1853 года. Из этих статей большая часть, как, например, «Скульптура, живопись и поэзия», «Об архитектуре», «Жизнь», принадлежат еще 1831 году и написаны, конечно, прежде, нежели фамилия Гоголя упоминалась печатным образом ²⁵.

графе»; это заключение было бы несправедливо. Мы не то хотим сказать, чтобы решительно о каждом отдельном вопросе Н. А. Полевой был готов повторить в 1842 году то самое, что сказал в 1825. Мнения человека мыслящего не бывают никогда окаменелостями, — с течением времени он может во многих предметах замечать стороны, которые опускал из виду прежде, потому что они еще не были довольно раскрыты историческим движением. Но дело в том, что человек с самостоятельным умом, достигнув умственной зрелости и выработав себе известные основные убеждения, обыкновенно остается навсегда проникнут их существенным содержанием, и эта основа всех мнений остается у него уже навсегда одинаковою, как бы ни менялись окружающие его факты. И не надобно считать изменою убеждения, если, сообразно изменению окружающих фактов, такой человек, сначала заботившийся преимущественно о том, чтобы выставить на вид одну их сторону, впоследствии считал необходимым сильнее выставять другую. Он может сделаться человеком отсталым, не переставая быть верен себе. Так было и с Н. А. Полевым. Он ратовал против классиков, но потом, когда классики были сбиты во всех пунктах, он увидел новых людей, которые, не обращая внимания на классицизм, уже совершенно обессилевший, борются против романтизма. Их убеждения гораздо более разнились от убеждений Н. А. Полевого, нежели убеждения Н. А. Полевого от убеждений классиков, — оба последние оттенка принадлежали одной и той же сфере понятий, только различным образом изменяемых — новые литературные понятия разделялись от них целою бездною. И Н. А. Полевой, несколько не изменяя своим романтическим убеждениям, мог сказать: «уж лучше пиитика Буало, нежели эстетика Гегеля. Лучше классицизм, нежели произведения новейшей литературы». И действительно, Жанлис ближе к Виктору Гюго, нежели Диккенс или Жорж-Санд, «Бедная Лиза» имеет с «Аббадонною» более родства, нежели «Герой нашего времени» или «Мертвые души». Жанлис и Виктор Гюго, «Бедная Лиза» и «Аббадонна» сходны, хотя в том, что изображают людей вовсе не такими, каковы они на самом деле. А что у них общего с романами новой литературы?

И этим-то объясняется странный, повидимому, факт, что человек с таким замечательным умом, как Н. А. Полевой, не мог понимать произведений новой — не только русской, но и вообще всей европейской литературы, объясняется странная до невероятности смесь умных и дельных критических приемов с наивными и решительно несправедливыми выводами в статьях «Русского вестника» и других журналов, издававшихся им в последнюю половину жизни. Он делал правильные выводы из принципов, сделавшихся с течением времени неудовлетворительными, — и ни его ум, ни его добросовестность нимало не теряют

в глазах справедливого судьи от нелепости выводов. Напротив, сильный ум обнаруживается в каждой строке этих до чрезвычайности наивных статей, — а что касается их добросовестности, — мы в ней нимало не сомневаемся и думаем, что каждый беспристрастный человек дойдет до того же убеждения, если вникнет в сущность дела, краткий обзор которого мы представили.

Последняя половина литературной деятельности Н. А. Полевого нуждается в оправдании, сказали мы в начале этого обзора; и, по нашему мнению, она может быть удовлетворительно оправдана, — пора снять пятно с памяти человека, который, действуя в последние годы ошибочно, мог быть противником литературного развития и подвергаться за то в свое время справедливым укоризнам, — но теперь миновалась опасность, которую представляло тогда его влияние на литературу, — и потому теперь должно признаться: он справедливо говорил о себе, что всегда был человеком честным и желавшим добра литературе, и что за ним остаются неотъемлемо важные заслуги в истории нашей литературы и развития, — признаться, что он, издавая собрание своих критических статей, имел право сказать в предисловии:

Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслух, что никогда не увлекался я ни злобою — чувством, для меня презрительным, ни завистью — чувством, которого не понимаю, — никогда то, что говорил и писал я, не разногласило с моим убеждением, и никогда сочувствие добра не оставляло сердца моего: оно всегда сильно билось для всего великого, полезного и доброго. Смее прибавить, что такое постоянное стремление доставляло мне минуты прекрасные, усадительные, награждавшие меня за горести и страдания жизни моей. Сколько раз слышал я искреннюю благодарность и привет юношей, говоривших, что мне одолжены они нравственным наслаждением и верою в добро! Не скажет обо мне, кто примет на себя труд познакомиться с тем, что было мною писано, — не скажет, чтобы я чем-либо обесславил звание, которое всегда высоко ценю и ценил — звание литератора. Мои слова не самохвальство, но искренний голос человека и литератора, который дорожит названием честного. Между тем, как человек, я платил горькую дань несовершенствам и слабостям человека... Пусть вержет за то на меня камень тот, кто сам не испытал обмана и разочарования в окружающем его и — что еще грустнее — в самом себе! Если ты еще юн, собрат мой, ты не судья мне; дай пробиться седине на голове твоей, дай похлодеть сердцу твоему, дай утомиться силам твоим от труда и времени, и тогда говори и суди меня!..

Я не судья сам себе. Но никто не оспорит у меня чести, что первый я сделал из критики постоянную часть журнала русского, первый обратил критику на все важнейшие современные предметы. Мои опыты были несовершенны, неполны, — скажут мне, — и последователи далеко меня обогнали в сущности и самом образе воззрения. Пусть так, да и стыдно было бы новому поколению не стать выше нас, поколения, уже преходящего, потому выше, что оно старше нас, после нас явилось, продолжает, что мы начинали, и мы должны быть довольны, если наши труды будут иметь для него цену историческую... Сам чувствую, перечитывая ныне, неполноту, несовершенство многого... Многое обновляет для меня в настоящем чувство утешительное, но еще больше внушает чувство грустное, сознание недостигнутой мечты, невыраженных идеалов. Такое чувство, думаю, естественно каждому, кто

жила сколько-нибудь и мыслал. Только невежество, только глупость получила на сей земле (впрочем, не знаю, счастливую ли) участь самодовольства. Есть другая награда, более драгоценная, которою благословляет нас провидение: мысль, что если бог дал нам что-нибудь, сильно горевшее в душе нашей, сильно тревожившее нас в дни нашей юности еще бессознательным, темным ощущением, мы не погубили его потом в суете и бедствиях жизни, не зарыли таланта в землю... Пусть мы не достигли искомым нами идеалов, — по крайней мере, порадуемся, что не бесплодно утраченная протекла жизнь наша...
жизнь наша...

Сколько благородства в этих словах, и какою правдою веет от них! Кто так говорит, тот не лжет, и действительно, не бесплодно протекла жизнь этого человека, и не с осуждением, а с признательностью должны мы вспоминать его.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Обозревая мнения, высказанные о Гоголе представителями различных направлений, существовавших в русской критике, мы начали с суждений, произнесенных Н. А. Полевым. Главную мысль нашей было показать зависимость этих суждений о частном вопросе, нас теперь занимающем, от общего характера той системы понятий, замечательнейшим последователем которой у нас был Н. А. Полевой. И если приговоры его произведениям Гоголя действительно были только следствием его общих убеждений, то уже ясно, что не стоит заниматься подробным опровержением этих ошибочных нападений, — довольно было сказать: они — не более и не менее, как логический вывод из учений Виктора Гюго и Кузена. Ныне каждому очевидно, что учения Гюго и Кузена неудовлетворительны; а кто отвергает основания, тот не может согласиться и с выводами.

Теперь мы должны говорить о мнениях критиков, которые играли некоторую роль в литературе последующих годов, до того времени, когда «Отечественные записки» приобрели решительное господство. Критиков этих было два: писатель, называвший себя иногда Тютюнджи-Оглу, чаще бароном Брамбеусом, а под некоторыми статьями подписывавший и свое настоящее имя — О. И. Сенковский*, и г. Шевырев. Припоминая их суждения о Гоголе, мы будем держаться прежнего правила — стараться показывать отношение мнений того или другого критика об от-

* О том, что барон Брамбеус и Тютюнджи-Оглу были псевдонимы г. Сенковского, есть много указаний. Мы приведем одно из статьи Гоголя «О движении журнальной литературы» («Современник», 1836, № 1, стр. 197): «Г. Сенковский является в своем журнале как критик, как повествователь, как ученый, как сатирик, как глашатай новостей и проч., и проч., является в виде Брамбеуса, Морозова, Тютюнджи-Оглу, А. Белкина, наконец, в собственном виде».

дельном вопросе к общему характеру его критической деятельности: этим чрезвычайно облегчается и уясняется дело. Едва ли нужно замечать, что в воспоминаниях о деятельности барона Брамбеуса и г. Шевырева в настоящее время нельзя руководиться ничем иным, кроме чисто исторического интереса. Хотя оба эти писателя не покинули литературного поприща, но их влияние на литературу и на публику принадлежит времени, уже прошедшему, и литературные отношения настоящего уже не должны иметь влияния на суждения об этих писателях, потому что не имеют никакого соприкосновения ни с важными статьями г. Шевырева, которыми иные поучались лет пятнадцать, ни с легкими статьями барона Брамбеуса, которые в известном классе публики производили фурор лет двадцать тому назад. И самые журналы, бывшие некогда органами этих критиков, хотя существуют доныне, но уже совершенно изменили свое направление, и, как нам кажется, к лучшему. «Москвитянин» в последние годы был органом г. А. Григорьева, который, по нашему мнению, очень часто, или, чтобы говорить точнее, почти постоянно поддается странным обольщениям, но в самых странных тирадах которого виден ум живой, энергический и искреннее, горячее увлечение тем, что представляется ему истиною²⁶. В нынешнем журнале «Библиотека для чтения» критические статьи часто содержат мысли более основательные, нежели прежние суждения. Таким образом, то, что мы должны будем говорить о писателях, некогда господствовавших в критическом отделе «Библиотеки для чтения» и «Москвитянина», нисколько не относится и не может быть применимо к характеру этих журналов в настоящее время.

После этих оговорок, нужных только для немногих из читателей, потому что почти все и без объяснений пишущего чувствуют, как далеки литературные интересы настоящего времени от всякого соотношения с старинными статьями прежнего «Москвитянина» и прежней «Библиотеки для чтения», — мы уже можем, не стесняясь никакими посторонними соображениями, перейти к характеристике той роли, какую играли некогда барон Брамбеус и г. Шевырев. Начинаем с воспоминаний о бароне Брамбеусе, потому что блестящая эпоха его критики относится к более ранним годам, нежели окончательное развитие воззрений г. Шевырева.

Грустным, но поучительным примером может служить для русских писателей история литературной деятельности барона Брамбеуса: иметь столько дарований — и растратить их совершенно понапрасну, без всякой пользы для литературы, между тем как даже наименее даровитые писатели часто приносили у нас некоторую пользу, заслужили себе право на некоторую признательность, — это грустно; иметь столько силы — и не оказать решительно никакого влияния, между тем как писатели

с самым незначительным запасом сил имели у нас свою долю влияния, утвердили за собою место в истории литературы, — это грустно, это покажется почти невероятно людям, которые не будут уже, подобно нашему поколению, очевидцами явления столь ненатурального.

Барон Брамбеус имел почти все качества, нужные для того, чтобы играть важную и плодотворную роль в литературе, особенно в журналистике.

Одна из главных задач журналиста есть распространение положительных знаний между своими читателями, ознакомление публики с фактами науки. В нашей литературе, где еще так мало дельных ученых книг, да и те находятся в руках самой ничтожной по числу части публики, — исполнять эту обязанность журналистам еще необходимее, нежели в других литературах. Публика наша хочет иметь в журнале не только журнал, то есть орган известного мнения, но и ученый сборник. Писатель, известный под именем барона Брамбеуса, имел средства удовлетворять этой потребности публики. Он обладал обширною начитанностью по всем отраслям знания, а по многим и основательными познаниями. Мы не будем, для более поразительного контраста между средствами и результатами, говорить о его учености в преувеличенных выражениях; нам всегда казалось забавно мнение некоторых простодушных людей, будто бы свет никогда не производил такого энциклопедиста, как барон Брамбеус. Даже в кружке наших литераторов, всегда столь малочисленном, были около того времени, когда явился Брамбеус, люди, не уступавшие ему обширностью познаний, например Н. А. Полевой; были даже люди, далеко превосходившие его, — например, г. Надеждин. Но то справедливо, что, не будучи ни единственным, ни лучшим нашим энциклопедистом, этот писатель обладал действительно замечательною начитанностью. Во многих случаях его знания оказывались почерпнутыми из устарелых или плохих источников, особенно по философии, эстетике, политической экономии, некоторым отделам всеобщей истории, наконец по индоевропейской филологии. Но естественные науки он любил и знал основательно; а что касается Востока, он был в свое время одним из лучших ориенталистов в Европе.

Мы указали недостаточность его знаний по многим важнейшим наукам; но ему не было бы затруднительно восполнить этот недостаток: ему стоило только захотеть, и он легко ознакомился с результатами какой угодно науки; месяца было ему достаточно на то, для чего человеку с обыкновенными способностями нужен был год. Одним из примеров этой способности был перевод «Эймундовой саги», в свое время поразивший многих²⁷: известно было, что г. Сенковский употребил только полтора или два месяца для изучения исландского наречия, которое было ему совершенно неизвестно. Изумительного в этом факте не было

ничего: кто знает по-немецки и по-английски, тому изучить третье видоизменение общего германского семейства языков — исландское наречие, так же легко, как русскому, знающему по-малороссийски, выучиться переводить с польского; для человека с хорошей памятью это дело нескольких недель. Не надобно забывать и того, что г. Сенковский, изучив уже много восточных и европейских языков, очень хорошо знал удобнейшие методы для практического изучения языков. Надобно прибавить, что латинский перевод, приложенный к исландскому тексту, значительно помогал труду. Но, во всяком случае, не будучи фактом необычайным, перевод «Эймундовой саги» после двухмесячных занятий свидетельствует об острой памяти и быстрой способности соображения в переводчике. Другой подобный пример был менее замечен тогдашними литераторами, но, без сомнения, более замечателен. Г. Сенковский выучился очень хорошо писать на русском языке также в очень непродолжительное время. Правда, литературные враги находили в его языке много ошибок; но эти придирки были почти все несправедливы. Слог г. Сенковского мог иметь свои недостатки — это зависит от вкуса, а не от знаний в языке, — но русский язык г. Сенковского был с самых первых его статей очень легок и чист. Человеку зрелых лет в год, в два года выучиться хорошо владеть языком, на котором не привык он говорить с младенчества, — вещь гораздо более редкая, нежели выучиться в два месяца понимать писанные на нем книги.

Мы упомянули об этих двух фактах для того, чтобы выставить их в истинном свете. Тот и другой часто понимаются превратно: изучение исландского наречия в два месяца считают многие делом необычайным, обнаруживая тем только собственное незнакомство с делом, другие нападают на русский язык г. Сенковского, не понимая того, что даровитый человек может владеть несколькими языками лучше, нежели бездарный одним своим собственным, и смешивая недостатки слога с неправильностями языка, которых беспристрастный читатель не найдет у г. Сенковского. Но мы вовсе не думаем, чтобы эти случаи были единственными или лучшими доказательствами быстроты и силы ума, которым одарен этот писатель. Не все его статьи удачны, — многие слабы, как у всякого, кто пишет много и печатает все, что пишет; но в самых неудачных постоянно видны очень замечательные проблески сильного ума, а в лучших этот ум блесит на каждой странице. Мы и здесь не хотим ничего преувеличивать, чтобы сделать ярче противоположность между дарованиями и их употреблением: в статьях барона Брамбеуса нет такой силы ума, какая видна у лучших тогдашних журналистов: Марлинского, Н. А. Полевого, г. Надеждина; но, во всяком случае, писатель этот — человек замечательного ума.

Не должно смешивать ум с остроумием. Об этом последнем

качестве, которым в особенности славился барон Брамбеус, надобно сказать несколько подробнее. Во время его славы лучшие тогдашние литераторы, как Пушкин, Гоголь, кн. Вяземский, Н. А. Полевой и проч., не были нимало ослеплены насчет его остроумия... Но у них остроумие употреблялось в дело только кстати, когда требовал того предмет речи, как и должно быть, подчиняясь другим, высшим чертам их литературного характера. Напротив, барон Брамбеус избрал остроумничанье своею специальностью, старался ни одного слова не сказать без украшения остроумием. Исключительность всегда резче бросается в глаза, нежели гармоническое равновесие дарований. Так, например, в течение некоторого времени Языков был более известен как «певец вина», а Козлов как «певец грусти», нежели Пушкин, хотя у Пушкина и эти стороны жизни выразились сильнее и полнее, нежели у Языкова и Козлова. Так в наше время изображения купеческого быта у г. Островского многих занимают более, нежели сцены в «Ревизоре» и «Женитьбе», из того же быта, хотя внимательное сравнение покажет, что у г. Островского (мы говорим, конечно, о достоинствах, а не о недостатках его комедий) очень немного прибавлено к тому, что уже указано Гоголем. Совершенно подобным образом для большинства читателей остроумие у барона Брамбеуса было заметнее, нежели у Н. А. Полевого или г. Надеждина, хотя у последних его было гораздо больше. У них внимание читателя, не останавливаясь на форме, остроумии, обращалось к сущности, мысли статей; у барона Брамбеуса читатель останавливался исключительно на остроумии, потому что кроме замысловатых фраз не на чем было останавливаться. Эта мысль далеко не новая, как и все, что мы говорили до сих пор, и потому едва ли нуждается в доказательствах; но кому вздумается остановиться на ней, того мы попросим сравнить выписки из рецензий барона Брамбеуса, которые мы приведем ниже, с отрывками из разборов Н. А. Полевого в предыдущей нашей статье. Если остроумие состоит в новости, непринужденности, разнообразии, неожиданности, меткости сближений, в живости, едкости фразеологии, то не может оставаться сомнения в огромном превосходстве на стороне Н. А. Полевого. Не знаем, скоро ли нам представится случай говорить о «Телескопе» и г. Надеждине, но каждый, кто помнит статьи «экс-студента Надоумко», скажет, что кроме Пушкина некого из тогдашних писателей сравнивать с ним. Не говорим уже об удивительном остроумии самого Пушкина.

Почему же барон Брамбеус успел прославиться остроумием, далеко уступая многим из тогдашних журналистов в этом отношении? Одну из причин мы уже видели — исключительное стремление его к остроумию, мимо всяких других целей. Воейков, разделявший с ним едва ли завидную выгоду заботиться преимущественно об остроумии, так же легко достиг в свое время цели

и считался едва ли не первым остряком, по крайней мере, в низших слоях литературного кружка. Но в публике он далеко не пользовался такою известностью, как барон Брамбеус: это потому, что ни один из тогдашних журналов не был так распространен, как «Библиотека для чтения». В 1830—1838 годах едва ли хотя один журнал расходился в тысяче экземпляров *, а «Библиотека для чтения» в первые годы расходилась в числе от четырех до пяти тысяч экземпляров. Очень естественно, что она была единственною распространительницею известности в массе публики. Барон Брамбеус был главным лицом в этом журнале, он единовластно управлял его мнениями, все критические и библиографические статьи приписывались ему, и справедливо, потому что он переделывал и те немногие, которые были писаны не им; он сам говорил о своих заслугах русской литературе, и до большинства публики не достигал ничей другой голос. Но, быть может, не он обязан своей популярностью «Библиотеке для чтения», а самый этот журнал обязан ею его управлению? Если так, распространение круга журнальных читателей — столь важная услуга общественному образованию, что надобно было бы барона Брамбеуса поставить наряду с Новиковым, Карамзиным, Пушкиным, Гоголем, как сильного двигателя нашего просвещения. Но он сам нигде не приписывает себе этой заслуги, хотя не забывает часто объяснять читателям все свои права на высокое значение в литературе; очевидно, ему даже не приходило на мысль, что «Библиотека для чтения» расширила круг русской читающей публики. Оно и действительно было так. Масса людей, не имевших прежде привычки читать, была привлечена к чтению произведениями Пушкина и его сподвижников. Душою русской книжной торговли был почтенный А. Ф. Смирдин. Доверие к имени Смирдина было так велико, литературные и коммерческие связи его так обширны, что издание, им предпринимаемое, всегда должно было иметь несравненно больший успех, нежели подобное же предприятие какого-нибудь другого лица. Писатель, который сделался душою «Библиотеки для чтения», понял это и очень основательно поступил, внушив А. Ф. Смирдину мысль быть издателем журнала, им задуманного. Все лучшие русские литераторы были привлечены Смирдиным к участию в журнале. Таким образом, редактор «Библиотеки для чтения» умел воспользоваться обстоятельствами. Но круг русских читателей был распространен Пушкиным и его сподвижниками, а не «Библиотекою для чтения»; «Библиотека для чтения» была обязана своим

* Пушкин, в 1832 году, говорил даже только о 500. «Одна газета, издаваемая двумя известными литераторами, имея около 3 000 подписчиков, естественно должна иметь большое влияние на читающую публику. Журналы литературные, вместо 3 000 подписчиков, имеют едва ли и 500, — следовательно, голос их вовсе не действителен». Сочин[ения] Пушк[ина], изд[ание] П. В. Анненкова, том 1-й, стр. 358.

успехом участию Пушкина и почти всех других литературных знаменитостей и положению своего издателя, Смирдина, в книжной торговле, а не редактору. Напротив, действия редактора были причиной падения журнала. Все это вещи известные, и выписки из статьи Гоголя «О движении журнальной литературы за 1834 и 1835 годы», которые будут нам нужны для объяснения отношений Брамбеуса к Гоголю, представят подробности последнего факта.

Но если влияние барона Брамбеуса было вредно для журнала, то уж, конечно, не потому, чтобы редактор недостаточно заботился о сообщении журналу тех качеств, которые считал для него полезными. Трудно найти в истории новой русской журналистики другого редактора, который так неутомимо заботился бы о своем издании, употреблял бы на него столько трудов. Не говорим уже о том, что барон Брамбеус сам писал чрезвычайно много, так что может поспорить своим добровольным трудолюбием с невольною неусыпностью самого прилежного из так называемых журнальных чернорабочих. Но едва ли какой-нибудь редактор так неутомимо и прилежно перерабатывал каждую статью своих сотрудников: перечитывая первые годы «Библиотеки», вы решительно во всех неподписанных статьях «Критики», «Литературной летописи», «Смеси» находите совершенное единство слога, манеры, самых мнений, — все они кажутся написаны одною рукою: так заботливо исправлены и переделаны они неутомимым редактором. В этом отношении «Библиотека для чтения» доведена была до совершенства почти идеального, потому что единство в характере всех этих чисто журнальных статей, без сомнения, должно быть целью каждого журнала. Если нельзя похвалить «Библиотеку» старых годов за ее характер, то нельзя не похвалить ее за точную выдержанность характера. На статьях в отделе «Иностранной словесности» очень часто заметны также следы неутомимой переделки; то же самое часто, или, лучше сказать, почти постоянно, заметно даже в подписанных именами авторов оригинальных русских повестях, постоянно в неподписанных, а иногда и в подписанных своими авторами статьях по отделу «Наук». Одним словом, этот человек несколько лет писал, быть может, по сту печатных листов и внимательно переправлял до самых мелочных подробностей почти все, что писали другие для его журнала, часто вставляя по несколько страниц в чужие статьи. Невольно думаешь: как много полезного произвела бы такая неутомимая деятельность, если бы направлена была к какой-нибудь важной цели!

Нельзя забывать еще двух великих достоинств, которыми отличался барон Брамбеус: он был одарен способностью писать очень легко и популярно и завидным искусством излагать свои мысли о самых щекотливых предметах с достаточною ясностью.

Способность писать легко и популярно доказывают не те его

многочисленные статьи, в которых он пародирует истины науки с целью быть забавным и занимательным — это искусство легкое, оно по плечу каждому — но те страницы, на которых он излагает свои собственные теории с искренним намерением убедить читателя. Сюда относятся многие места из его статей об «Илиаде» и «Одиссее», о вавилонских памятниках, о различных вопросах из русской истории, например, о Несторовой летописи, о значении Литвы для русской народности, об имени «славянин» и проч., о теории образования слов в языке и т. д. Эти мнения до такой степени оригинальны, что многие принимали их за шутку. Но внимательное чтение всего, что написано было их автором, убеждает в противном: одну и ту же шутку, почти одними и теми же словами, нельзя продолжать двадцать лет. Во-первых, нельзя вечно помнить ее; остроумный человек скоро забывает свои остроты, потому что прежние беспрестанно вытесняются из его ума новыми; во-вторых, такой умный человек, как ученый, о котором мы говорим, не сделал бы этого, чтобы не наскучить своим читателям. И действительно, предметы своих шуток и пародий он беспрестанно изменяет и, говоря об одном, не остерегается противоречить мнениям, которые высказывал полгода или месяц назад, говоря о другом. Но в этих случаях он беспрестанно повторяет то, что сказал однажды, повторяет кстати и некстати, и каждый раз с величайшими подробностями. Нет сомнения, что это его задушевные, любимые мысли, которые он хочет внушить читателям. Нельзя хвалить основательность этих мыслей, но нельзя не хвалить той удобопонятности, с какою изложены они и их доказательства, по большей части заимствованные из самых специальных фактов науки, совершенно незнакомых читателю: тонкости арабской филологии, греческих диалектов излагаются ученым журналистом с такою популярностью, что читатель, не затрудняясь, понимает сущность и подробности вопроса, потому с охотою пробегает статью чрезвычайно специальную: благодаря искусству изложения она кажется ему легкою и занимательною. Нет надобности говорить, как важно это достоинство в журналисте, — и за это мы отдаем полную честь г. Сенковскому.

Нельзя не отдать справедливости ему и за то, что он гордо уклонялся от всякой полемики. На него отовсюду сыпались укоризны, часто несправедливые, часто грубые до оскорбительности. Он, при случае, не щадил своих противников, но никогда не принимал вызовов на перебранку, что было тогда в большой моде. Он отзывался о своих противниках иногда очень жестко, но всегда так, что в словах его слышался голос журналиста, высказывающего свои мнения, а не раздраженного человека. Это прекрасное, и ныне редкое, а в те времена еще более редкое доказательство глубокого сознания собственного достоинства и силы.

Сколько залогов плодотворной деятельности! Ученость, проныцательный и живой ум, остроумие, умение верно понять обстоятельства, подчинить их себе, приобрести огромные средства для действия на публику, трудолюбие, сознание собственного достоинства — все в высокой степени соединялось в этом писателе. Мы не думаем говорить, чтобы он был человеком необыкновенным, далеко превышавшим всех своих соперников; напротив, не только по употреблению сил, но и по самым силам таланта должно некоторых, например, Н. А. Полевого и особенно г. Надеждина, поставить выше барона Брамбеуса. Но, во всяком случае, этот человек был одарен от природы замечательными качествами и многие из них успел развить до очень значительной силы. И однако же, что он сделал для нашей литературы, для нашего просвещения или для науки? Посмотрите: люди с гораздо меньшими дарованиями имели в свое время некоторое участие в развитии нашей литературы или просвещения — скоро мы будем говорить об одном из таких людей, именно о г. Шевыреве, — а барон Брамбеус, который был гигант перед ними, — не сделал ничего, совершенно ничего, и в той жатве, которая ныне зреет понемногу, нет ни одного колоса, который бы вырос из семени, брошенного его рукою. Почему же так? Причина очень простая: он пренебрегал таким простым делом, как посев хлеба, да пренебрегал и самым хлебом, как пищею не довольно пряною и не довольно легкою: он хотел собрать вокруг себя как можно больше почитателей; он вздумал, что детей больше, нежели взрослых людей; что дети лучше любят лакомства, нежели хлеб, и занялся раздачею лакомств, которые таяли на языке, чем и кончалось дело. Прибавить можно разве то, что дети не слишком разборчивы на лакомства, потому он мало заботился о качестве лакомств, лишь бы только раздавать их побольше; а дешевого можно раздать больше, нежели дорогого, потому лакомства барона Брамбеуса по большей части были самые дешевые.

Смешно осуждать самолюбие вообще: оно производит очень много хорошего, — но только тогда, когда, под влиянием рассудка и любви, избирает себе возвышенную цель; иначе оно, как всякая страсть, заведет человека на фальшивую дорогу, и он растратит свои силы бесполезно для других, бесполезно и для собственной славы. Барон Брамбеус, до самого того времени, как сделался русским писателем, не знал ни русской литературы, ни русской публики, будучи уже очень хорошо знаком с богатыми иностранными литературами, зная, как высоко развиты понятия и знания в публике Западной Европы. Совершенно позволительно, — потому что очень естественно и справедливо, — было ему, узнав новую сферу, в которой пришлось ему действовать, вывести, по сравнению, не очень высокое заключение об этой сфере. Очень естественно было ему, имея высокое понятие о себе,

почесть себя человеком, стоящим гораздо выше этой сферы, — и за это слишком высокое мнение о себе нельзя осудить его: в собственном деле трудно быть беспристрастным судьей. Но должно заметить, что уже с этого пункта начинается ошибка: вообще говоря, наша литература была мелка, наша публика мало развита; но между литераторами были люди, достойные всякого уважения, а в публике было стремление к развитию. Но что ж оставалось делать человеку, который думает, что все окружающее ниже его? — Таково было задушевное мнение многих наших литераторов, между прочим, и самого Гоголя. Гоголь поставил целью своего самолюбия помочь окружающим его людям возвыситься до него, — и это есть истинное самолюбие, потому что только похвалы равных могут быть лестными похвалами. Но помочь, улучшать, развивать — дело медленное и трудное; чтобы предаться ему, необходимо быть уверенным в том, что общество, о котором идет дело, способно и готово к развитию — рассудительный человек не станет хлопотать понапрасну; надобно любить это общество, потому что никто не захочет трудиться на пользу тех, кого не любит.

Но мы думаем, что он был неправ сам перед собою, из высокого мнения о себе и невысокого мнения о нас сделал заключение, что ему надобно потешаться над нами. Геркулес мог поражать пигмеев, хотя и в этом ему не было особенной славы; но миф не говорит, чтобы он терял время в потехах над ними. Наше мнение довольно ясно было высказано прежде: барон Брамбеус не был Геркулесом; и между нами были люди, которые скорее его могли иметь право на это имя; но мы становимся на точку зрения человека, о действиях которого говорим. Скажите, человек, считающий себя Геркулесом, а окружающих его пигмеями, не сделался ли бы ничтожнее самых пигмеев, если б всю деятельность свою растратил на потехи над некоторыми из пигмеев для потехи других пигмеев? Одно только было сообразно с его достоинством: отвернуться от пигмеев и заняться другими подвигами, более приличными силам, которые он в себе предполагает. Пусть этот человек занялся бы борьбой с Гаммером, но не перед профанами, в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара²⁸, с Кювье и Шампольйоном, но опять не перед профанами, в «Фантастических путешествиях»²⁹, а перед лицом ученого света, хотя бы, например, в «Бюллетенях» С.-Петербургской Академии наук или в «Journal des Savants». Тогда и мы, пигмеи, посмотрели бы, чем кончится борьба, и присоединили бы наши единодушные похвалы к похвалам великих судей ученого мира.

Но лилипутские забавы соблазнили барона Брамбеуса: на них растратил он все свои силы, забыв о всякой другой арене. Из этого мы должны заключать, что лилипутская арена была для него совершенно удовлетворительна и что ошибался он, считая себя слишком многим выше лилипутов. Заменяем слово

«пигмен» лилипутами для ясности: то мы говорили с его точки зрения, теперь уже от себя. В той сфере, где он находился, были люди различного роста. Каких он выбрал своими товарищами, своими судьями? самых малорослых. Кого он хвалил? г. Тимофеева, которого ставил соперником Пушкину, г. Масальского, которого называл талантливым и остроумным писателем, г. фан-Дима, г. Бернета, г. Очкина, г. В. Зотова и т. д., и т. д. Вы скажете, что это была шутка? Но как бы низко ни думали мы о людях, всегда надобно предполагать, что есть между ними некоторые, не совершенно лишенные хотя небольшой частички здравого смысла: перед ними нельзя шутить подобных шуток, нельзя, для собственного развлечения, ставить г. Тимофеева выше Пушкина. С подобными речами можно обращаться не к публике вообще, а только к «избранной» публике. Трудно предполагать, чтобы человек добровольно сделал подобный выбор. Вероятнее всего, надобно объяснять загадочную роль Брамбеуса следующим образом: от природы он получил довольно сильную склонность блеснуть остроумием и некоторую склонность к парадоксам, что почти нераздельно одно с другим, — кроме того, большую уверенность в собственных силах. Уверенность эта и счастливые обстоятельства, в которые он умел себя поставить, так что, наконец, сделался полным распорядителем единственного сильного журнала, внушили ему мысль, что он может вертеть этою литературою и этою публикою, как ему вздумается. Он вздумал, что, так как наша история еще мало разработана, наша литература еще мало развита, с иностранными литературами мы еще мало знакомы, литературные мнения еще шатки в большинстве публики, которая мало еще знакома и вообще с наукою, то он может сделаться первым нашим беллетристом, — недостаток повествовательного таланта можно заменить заимствованиями у иностранных писателей, — этого не откроют читатели, очень мало с ними знакомые; может переделать всю нашу историю блестящими гипотезами — ведь она мало разработана: кто же докажет неосновательность этих предположений? — может уверять публику во всем, что ему вздумается, — ведь ее литературные мнения шатки, а знания слабы. И он начал писать повести, переделывая и переводя Бальзака, Жюль Жанена, Марриета, Вольтера, Лесажа, Фильдинга, Рабле, и т. д., и т. д. * Он решился доказывать, что язык Несторовой летописи — польский, что литовцы — коренные русские славяне, что «славянин» значит «человек», а «славяне» — «человеки», что китайский язык отличается от еврейского только интонациею, что «Илиада» и «Одиссея» писаны на белорусском наречии, что Кир и его персы

* Пределы статьи заставляют нас ограничиться только указанием на статью «Брамбеус и юная словесность», помещенную в «Московском наблюдателе», 1835, том 2. Там приведены доказательства³⁰.

говорили наречием, очень близким к белорусскому, так что персепольские гвоздеобразные надписи скорее всего можно прочесть на белорусском наречии, и т. д., и т. д. Но оказалось, что наша публика не так легковерна, а литераторы и ученые наши не такие невежды, какими надлежало им быть для успеха в столь смелых предприятиях: заимствования были открыты, неосновательность гипотез обнаружилась, и тогда самолюбие заставило барона Брамбеуса систематически и преднамеренно продолжать то, что было начато, быть может, только необдуманно, отчасти по излишней уверенности в собственных дарованиях, отчасти по неосновательности знаний в тех науках, которые он вздумал пересоздавать. Кого не удовлетворяет это объяснение, тот может прочесть другое, более простое, в статье «Менцель» («Отечественные записки», том VIII, «Науки», на страницах 27—29).

Мы самым кратким образом говорили о повествовательной и ученой деятельности барона Брамбеуса, но должны сказать несколько подробнее о характере его критических статей и рецензий, с одной стороны потому, что на них преимущественно опиралось мнение о нем, как об остроумнейшем из русских писателей, некоторое время господствовавшее в известном классе публики, с другой потому, что критическая его деятельность ближайшим образом относится к нашему предмету. Признаемся, мы прочитывали эти статьи со скукою, потому что остроумие их очень однообразно и вложено в них почти всегда чисто механическим способом, который по плечу каждому рецензенту, даже наименее остроумному. Все искусство состоит обыкновенно в том, чтобы ловить неправильные фразы в разбираемой книге и потом повторять их несколько раз; если заглавие книги не совсем удачно, то посмеяться и над заглавием; если же можно, то прибрать какие-нибудь подобнозвучные или подобнозначащие слова заглавию или фамилии автора и, повторяя их несколько раз, перемешивать, например, «Московского наблюдателя» называть то «Московским надзирателем», то «Московским надирателем», то «Московским соглядатаем», то «Московским подзирателем». Разбирая книжку, на которой автор, конечно, какой-нибудь Протопопов, выставил свою фамилию так: Пр.т.п.в (невинная скромность, употребительная в те блаженные времена), раз двадцать повторить: «говорит г. П.п.п.п.в.» «говорит г. П.р.р.р.р.в», «говорит г. П.п.п.р.р.р.в.», и т. д. Одним словом, по этому очень незамысловатому рецепту остроумный разбор «Мертвых душ» мог бы быть написан следующим образом. Выписав заглавие книги: «Похождения Чичикова или Мертвые души», начинать прямо так: «Прохлаждения Чхи/чхи/кова — не подумайте, читатель, что я чихнул, я только произношу вам заглавие новой поэмы г. Гоголя, который пишет так, что его может понять только один Гегель... Я отдохнул и продолжаю: Чхи... Это грузинец:

у грузинцев ни одна фамилия не обходится без Чхи!чхи!.. Итак, «Преграждения Чичикова или Мертвые туши...» «Не знаем, о тушинцах ли, согедях грузин, говорит автор, или о тушинском воре, или о бурой корове, или о своих любимых животных, которых так часто описывает с достойным их искусством», и т. д., и т. д. Лет двадцать тому назад находились читатели, которым это казалось остроумием. Тогда могли найтись даже читатели, которые поняли бы тонкий каламбур, скрытый в словах «прохлаждения... пригвождения... преграждения Чхичхикова», и сказать: «Ай-да молодец! раскритиковал! Уж подлинно, так прохладил да пригвоздил, что преградит писание таких нелепостей. Верно, не раз чихнет автор от этой критики!» И читатель был доволен собою, следовательно, восхищен ловким критиканом, доставившим ему случай не только рассмеяться, но и самому сказать остроуту! О, благословенные времена! Как легко было прослыть тогда остроумцем в известном кругу читателей, об одном из которых упоминает несравненный лейтенант Жевакин: «У нас в эскадре капитана Волдырева был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже этак был веселого нрава. Бывало, ему ничего больше, покажешь этак один палец — вдруг засмеется, ей-богу! и до самого вечера смеется. Ну, глядя на него, и самому сделается смешно, и смотришь, наконец, и сам, точно, смеешься». (Сочин[ения] Гоголя, 4 часть, 308 стр. нового издания). Мало уже ныне Петуховых, Антонов Ивановичей! Воля ваша, скажешь с Гоголем: «скучно на свете, господа!», особенно скучно, когда по необходимости перечитываешь то, над чем так смеялись Антоны Ивановичи, лет за двадцать.

Это об остроумии; что же касается содержания и смысла рецензий и критик барона Брамбеуса, мы находим у Гоголя совершенно справедливый отзыв («О движении журнальной литературы», «Современник» 1836, № 1):

В разборах и критиках г. Сенковский никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничивалась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оное выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г. Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг: над ними шутил, трюнил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям; наконец, даже завязал целое дело о двух местоимениях, «сей» и «оный», которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском языке. Об этих местоимениях писаны были им целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения «сей» и «оный» совершенно неприличны. Это напоминало старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное і: книга, в которой встречались эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

К этим совершенно справедливым словам надобно прибавить замечание о том, откуда взят был тон и слог этих статей, — из литературных фельетонов Жюль Жанена, который тогда был в цвете молодости и на вершине своей славы. И вот мы пришли к необходимости вникнуть в предполагаемые некоторыми заслуги барона Брамбеуса перед русскою литературою. Никто не скажет теперь, чтобы его повести были особенно хорошим приобретением для нашей беллетристики, никто не скажет, чтобы от его ученых статей хотя сколько-нибудь выиграла или наука, или публика; но в старые годы Антоны Ивановичи Петуховы получили обыкновение повторять его слова, что он ввел в русскую литературу легкий прозаический слог, первый начал писать у нас живым и светским языком. Чтобы говорить это, надобно не иметь понятия о наших журналах 1825—1833 годов. Полевой и его сотрудники писали, когда то было сообразно с предметом, самым легким языком. Не говорим уже о том, что для присуждения барону Брамбеусу заслуг относительно языка надобно думать, что он был учителем Пушкина и его сподвижников. «Телеграф», «Молва» и почти все другие журналы показывают, что около 1825—1830 года искусство писать легким языком не было даже принадлежностью одной пушкинской школы, а решительно всех грамотных и не бездарных прозаиков. Странная ошибка, в которую впал барон Брамбеус, приписывая себе заслугу введения у нас легкой прозы, что было уже сделано задолго до него, происходит оттого, что ему самому единственным превосходнейшим прозаическим языком казалась жюль-жаненовская манера, которую действительно ввел он у нас, как некогда иные вводили фонтенелевскую манеру, другие стерновскую, третьи юнгштиллинговскую или экартсгаузеновскую манеру. Дело просто в том, что каждый подражатель подделывался под слог своего образца. Барон Брамбеус смешал понятия «язык», который бывает в данную эпоху почти одинаков у всех грамотных писателей, и «слог», то есть особенную манеру каждого писателя. Он был у нас первым подражателем Жюль Жанена и действительно первый из литераторов, игравших заметную роль, начал подделываться под его слог; считая этот слог идеалом совершенства и не зная различия между языком и слогом, он, по нашему мнению, совершенно добродушно пришел к заключению, что он первый у нас начал писать превосходным прозаическим языком, о чем для человека, хотя немного понимающего дело и читавшего хотя несколько страниц пушкинской прозы, не могло быть и речи в 1834 или 1833 году. Но может быть речь о том, хороша ли манера Жюль Жанена и не должно ли считать заслугою барона Брамбеуса хотя то, что он, подражая Жюлю Жанену, писал хорошим слогом, хотя хороший слог тогда уже не был новостью. Вот до чего мы дошли! Неужели надобно серьезно говорить о таком писателе, как Жюль Жанен? Ужели надобно доказывать, что слог его ра-

стянут, вычурен, приторен, что ни естественности, ни жизни, ничего, чем отличается слог хороших писателей, в нем нет? Один фельетон пишет он, заключая каждую фразу восклицательным знаком, — заметьте, буквально каждую фразу, не пропуская ни одной; другой — после каждых двух-трех слов ставя несколько точек; третий — начиная каждую фразу словами *oh! que j'aime* *; четвертый — словом *hélas!* ** и т. д., и т. д.; но повсюду остается он верен двум правилам: говорить как можно меньше о деле и как можно больше о пустяках, и растягивать фразы до бесконечности набором десяти, пятнадцати синонимов, бесконечного ряда прилагательных или глаголов, таким образом: «юный, свежий, розовый, цветущий, весенний, ароматный румянец ее щек прельщал нас так недавно, и — *hélas!* — она увяла, поблекла, побледнела, уснула, покинула нас... не хочу сказать: умерла — умереть значит пережить себя, быть забытым, и т. д., и т. д. А такое чудное, дивное, упоительное, восхитительное очаровательное и т. д. существо может ли быть когда-нибудь забыто? *Oh*, поп ***, ты всегда будешь лучшим, прекраснейшим и т. д. воспоминанием», и т. д., и т. д. на пятнадцать столбцов, — и заметьте, что это говорится о смерти какой-нибудь сорокалетней, неуклюжей танцовщицы, и заметьте, что она вовсе не думала умирать, а красноречивый плач написан для того, чтобы завтра публика, увидев ее имя на афише, толпою бросилась в театр рукоплескать воскресшему «юному, дивному, прелестному, очаровательному и т. д. существу». Или переменим тему; надобно сказать: «я изумлен и обрадован». Жюль-жаненовским слогом говорится это так: «я пыхчу, я задыхаюсь, я волнуясь, я потею, я холодею, я трепещу от восторга, от удивления, от изумления, и т. д., и т. д.». Писать самому таким слогом и рекомендовать его другим не составляет особенной заслуги.

Повести барона Брамбеуса, его критические статьи и рецензии постоянно писаны в манере Жюля Жанена. О повестях мы не будем говорить; но в критических статьях есть значительная разница между этими двумя рецензентами: несмотря на всю реторику, всю натянутость изложения и постоянные усилия выдать дурное за хорошее и наоборот, у Жюля Жанена очень часто замечен эстетический вкус, — слишком утонченный, изысканный, но все-таки тонкий; кроме того, его фельетоны, несмотря на всю свою пустоту, более или менее проникнуты одною идеею, — тою самой, лучшим представителем которой служит его газета *Journal des Débats*. Эта идея очень мелка, но все-таки она дает некоторый смысл, некоторую внутреннюю ценность болтовне Жюля Жанена: лучше что-нибудь, нежели ничего. У барона Брам-

* *Oh* как я люблю. — *Ред.*

** Увы! — *Ред.*

*** О, нет! — *Ред.*

беуса вместо этих качеств заметно более учености, нежели у поверхностного Жюля Жанена; но вы решительно не видите, чего хотят его рецензии, и доходите до убеждения, что рецензент лишен вкуса. Вы постоянно видите, что для него не заметно различия между дурным и хорошим в художественном отношении. Для него самого незаметно — сказали мы — потому что недостаточно объяснять его ошибки преднамеренностью, желанием посмеяться, ввести в заблуждение читателей или автора: всему есть свои пределы, например называть Тимофеева Пушкиным можно только тогда, когда сам не замечаешь различия между этими двумя писателями. Мы могли бы привести бесчисленное множество подобных примеров, но довольно будет и двух: один, самый известный, изумивший многих в свое время, есть разбор драматической фантазии г. Кукольника «Торквато Тассо»; этой статьей дебютировала критика «Библиотеки для чтения» (1834, № 1); другой пример — отзыв о поэме г. В. Зотова «Последний Хеак»³¹.

Разбор «Торквато Тассо» начинается тем, что драматическая фантазия г. Кукольника признается явлением столь же высокого достоинства, как «Последний день Помпеи». Поводом к сравнению было то обстоятельство, что оба эти произведения сделались известными публике в один и тот же год.

Но — продолжает критик, подписавшийся именем Тютюнджи-Оглу — публика наша, к сожалению, встретила «Торквато Тассо» очень холодно. Впрочем, это ничего не доказывает: «первые творения музыки Байрона встретили точно такую же холодность в английской публике», лорд Брум, знаменитый в свое время ценитель литературных явлений, «советовал даже ему никогда не писать стихов», и только Вальтер Скотт объяснил англичанам величие нового поэтического гения. «Я желал бы, чтобы Вальтер Скотт воскрес из могилы и оказал другую подобную услугу нам, русским: по скромной недоверчивости к собственным нашим силам, мы не смеем подумать, чтобы между нами возник необыкновенный поэтический талант — молодой Кукольник». Рассказав содержание поэмы и выписав из нее два или три «превосходные отрывка», критик доходит до видения большого Тассо в доме сумасшедших, этой «чудесной, единственной сцены, достойной величайшего поэтического гения, истинной, высшей поэзии ужаса». Для тех, кто позабыл этот удивительный отрывок, красоты которого столь верно воспроизведены во втором отрывке, «Доменикино Фети», драматической фантазии Нового поэта³², скажем, что в этой сцене «Торквато Тассо» беспрестанно сверкает молния, при блесках которой возникает «Черный дух с крыльями», Тассо бросается обнимать его, «но упавшая за самым окном с ужасным треском молния несколько моментов ярко освещает комнату», дух исчезает, Тассо «обнимает воздух», «неволью падает на колени» и начинает изъяснять свое отчаяние высокопарными словами, потом «подъемлет голову, но,

увидев над собою золотой венец в сиянии, падает ниц». Представив читателям это нескладное, напыщенное подражание первым сценам «Фауста», критик говорит: «Если это не поэзия, не самая высокая драматическая поэзия, то во мне нет души. Этой сцены нельзя читать без трепета. Один Тальма был бы в состоянии представлять ее: в его руках она произвела бы такой же ужасный и гораздо высший эффект, как прославленная сцена лунатизма в Макбете». Почти так же прекрасно драматизирован, на взгляд критика, смерть Лукреции, приключившаяся таким манером:

Тасс подбегает и падает у ее кровати на колени. Лукреция хватается за сердце:

Лукреция.
Ах, сердце, сердце!
(с пронзительным криком)
Гал разорвалось! (Умирает.)

Все эти удивительно поэтические места «приносят (по словам критика) величайшую честь поэтическим дарованиям юного нашего Гете, и «я так же громко восклицаю (говорит он): *великий Кукольник!* перед его видением Тасса и кончиною Лукреции, как восклицаю: *великий Байрон!* перед многими местами творений Байрона».

Обыкновенно принимали этот разбор за насмешку над публикою и автором. Смысл этой статьи может быть только таков: собственно говоря, «Манфред» Байрона так же плох или хорош, как «Тассо» г. Кукольника, и я решительно не знаю, хорош или дурен «Манфред» — вы, публика, думаете, что он хорош — так вот вам другое произведение, которое не хуже его. — Вот отзыв того же критика о «Последнем Хеаке»:

«Не должно судить о даровании г. В. Зотова по этой поэме: она его первая поэма, а первая поэма бывает всегда слаба, хотя бы, например, «Хаджи Абрек» Лермонтова». «Мы уговаривали даровитого Лермонтова не печатать своей первой поэмы», уверяя его, что он будет писать хорошо впоследствии времени, а первая поэма его слаба; но «юный поэт не отставал», и, «чтобы удовлетворить эту невинную мечту неопытности», мы «напечатали «Хаджи Абрека» в сокращении, с выпуском главнейших длиннот и страшнейших картин». — «Между «Абреком» и «Последним Хеаком» мы видим большое сходство. Здесь также встречаются очень скучные длинноты, но, так же, как и в «Абреке», есть места, предвещающие решительный талант». Рецензент доказывает это длинными отрывками из «Хеака», — отрывками, достоинство которых читатели могут вообразить себе и без наших объяснений. «После этих выписок (заключает рецензент) нам остается только пожелать, чтобы... невольное сближение «Последнего Хеака» с «Абреком» принесло счастье юному поэту

и чтобы г. В. Зотов, уже товарищ Лермонтову по первому поэтическому преху, точно так же загладил свою поэму истинными успехами в искусстве и явился со временем товарищем ему по таланту и славе».

Здесь опять то же самое: вы, публика, говорите, что «Хаджи Абрек» в целом слаб, но имеет места, предвещающие решительное дарование. Вы говорите, что Лермонтов великий поэт. Не знаю, так ли это; но «Последний Хеак», на мой взгляд, ничем не отличается от «Хаджи Абрека»; потому надобно предрекать, что со временем вы, публика, будете находить, что г. В. Зотов «товарищ Лермонтову по таланту и славе». Можно морочить публику относительно Кювье и Шампольйона, потому что публика не читала и не будет читать их; но Лермонтова она прочла, Байрона также знает довольно хорошо, и говорить о них такие странные вещи можно только проговариваясь.

Невольным сознанием перед собою в своей неспособности оценивать достоинства и недостатки литературных произведений надобно объяснять постоянное правило барона Брамбеуса: с одной стороны, о замечательных явлениях нашей словесности упоминать только вскользь, отделяясь от них несколькими общими фразами, одной или двумя страничками, почти всегда повторяя только то, что уже было сказано другими, но, чтобы придать оригинальность заимствованным суждениям, повторяя их в утрированной форме; и, с другой стороны, распространяться о серобумажных книжках, в которых главное дело не художественные недостатки — к эстетике не имеют они никакого отношения — а просто бессмысленность и безграмотность. Для того, чтобы уметь осудить их, не впадая в промахи, довольно быть человеком грамотным и неглупым. Вначале барон Брамбеус попробовал писать большие статьи о романах и драмах, которые хотел расхвалить или побранить: так, в первых номерах «Библиотеки» помещены были обширные критические разборы «Торкватто Тассо» и некоторых других произведений г. Кукольника, «Мазепы» г. Булгарина, «Черной женщины» г. Греча. Но скоро он перестал пускаться в подобные предприятия, вероятно, сам, как человек умный, заметив, что они не в характере его способностей. Критический отдел «Библиотеки для чтения» стал наполняться почти исключительно разборами ученых сочинений, а «Литературная летопись» — длинными рецензиями о пустых, не заслуживающих внимания книжках. Вот, например, заглавия литературных произведений, которые удостоены очень длинных рецензий в последних номерах «Библиотеки для чтения» 1842 года.

«Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей, дан л'этранже»³³, «Княжна Хабиба, повесть в стихах Александры Фукс», «Мечты и звуки поэзии Иосифа Грузинова», «Заветные думы, Осенние цветы и Вечерние досуги, стихотворения М. Демидова», «Последний Хеак, поэма В. Зотова», «Мать и

дочь, роман, сочинение Михайла Чернявского», «Сердце женщины, роман М. Воскресенского» *Etincelles et Cendres, poésies par mademoiselle E. Qulybycheff **, Moscou, 1842», «Любовь музыканта, роман А. Ярославцева», «Повести для добрых москвитян, сочинение Эммануила Люмина».

О каждой из этих книг говорится подробно, об иных на 15, об иных на 20 страницах. Зато в старых годах «Библиотеки», начиная с 1838 года (в 1836 и 1837 гг. разборы для этого журнала доставлял Н. А. Полевой), напрасно стали бы вы искать хотя таких статей, как разборы «Торквато Тассо» и «Черной женщины». А между тем, журнал проникнут был сильной потребностью хвалить романистов и поэтов, к которым благоволил. Он и хвалил их беспрестанно, но только общими фразами, чувствуя, что подробные разборы даже посредственных произведений ему не по силам.

Теперь нет надобности нам распространяться о том, мог ли барон Брамбеус сказать о Гоголе что-нибудь в самом деле замечательное. Кто не сказал ни о ком ничего, тот, конечно, ничего особенного не сказал и о Гоголе. Сначала «Библиотека для чтения» верно держалась своего правила: о «Миргороде» и «Арабесках» она сказала только по несколько слов, довольно благосклонных, потому что все другие журналы отзывались об этих книгах выгодно³⁴. О «Вечерах на хуторе близ Диканьки» было сказано («Библиотека для чтения», 1834, № 5), что «у автора есть большое дарование», и с обычной меткостью эстетических суждений барона Брамбеуса было прибавлено, что «у него нет чувства», между тем, как на каждого читателя, не лишенного вкуса, сильнейшее впечатление производят «Вечера на хуторе» именно своею задушевностью и теплотою. О «Миргороде», в третьем номере «Библиотеки» 1836 года, было сказано:

В продолжение двух томов вы только и видите, что малороссийских мужиков, казаков, дьячков, мастеровых. Публика г. Гоголя «утирает нос полою своего балахона» и жестоко пахнет дегтем, и все его повести, или правильнее, сказки, имеют одинаковую физиономию. Литература эта, конечно, невысока, эта публика еще одной степенью ниже знаменитой публики поль-де-коковой; однакож, книга читается с большим удовольствием, потому что она писана слогом плавным, приятным, исполненным непринужденной веселости, для которой часто прощаешь автору неправильность языка и грамматические ошибки. Самое замечательное качество манеры г. Гоголя — когда г. Гоголь не вдается в суждения об ученых предметах — есть то особенное малороссийское забавничанье, та простодушная украинская насмешка, которыми он обладает в высшей степени и которые столь же различны с английским юмором, сколько с французскими тюрлюпинадами или с тем, что во Франции называют *goguenardise*. Что это отнюдь не *esprit*, в том нет никакого сомнения: а тем, которые принимали манеру автора «Вечеров на хуторе» за *humour*, имеем честь доложить, со всем должным почтением к их проникательности, что они, повидимому, не имеют ясного понятия об юморе. Мы настаиваем на этих различиях, которые не каждому

* «Искры и пепел; стихотворения Е. Улыбышевой». — Ред.

дано чувствовать в равной степени, и хотя, слава богу, не смешиваем мало-российской потехи с юмором Стерна, Лема или Гогга, желали б, однакож, двух вещей: чтобы г. Гоголь не оставлял своей манеры, потому что она оригинальна, забавна и носит неподдельный отпечаток народности ума; и чтобы другие не подражали его манере, если они не родились в Малороссии, потому что она так же неподражаема и самобытна, как еврит и как юмор. Действующие лица этих сказок принадлежат к самым низким сословиям и говорят языком, приличным своему званию; при всем том язык этот не поражает читателя ни пошлыми оборотами беседы вприсядку, ни грубостью, слишком верною черной природе. Как не полюбить этих молодых казаков, с такими круглыми бровями, с таким свежим и румяным лицом? Как не находить удовольствия в картине этих нравов, добродушных, простых, забавных? Самая милая сказка — «Ночь перед Рождеством»; она очень весела, очень drôle, — вернее мы не умеем выразить ее свойства. Здесь часто попадает и остроумие, и вообще вы читаете ее с наслаждением и любопытством с начала до конца. «Иван Федорович Шпонька» есть единственная в целом сочинении повесть, в которой нет мужиков и казаков, и она именно столь занимательна, сколько нужно, чтоб пожалеть о том, что она не кончена.

Самый недоверчивый читатель согласится, что эта рецензия написана в благосклонном тоне. Но не дальше, как через два месяца, в пятом номере «Библиотеки» того же года, был помещен разбор «Ревизора» совершенно в другом роде. Мы возвратимся к некоторым местам этой рецензии, а теперь заметим только, что Н. А. Полевой, не слишком церемонившийся с Гоголем, называет ее «бранью» и считает нужным отклонить от себя подозрение, что она писана им. После того «Библиотека» в течение семнадцати или восемнадцати лет постоянно нападала на Гоголя. Было бы слишком долго припоминать все ее выходки против этого писателя; да это и не представляет особенного интереса, потому что они слишком однообразны: три-четыре колкости, показавшиеся рецензенту остроумными, повторяются бесконечное число раз; иная отправляет службу бессменно целый год, иная и несколько лет. Особенно долговечны были каламбуры с словом «нос», как-то: «лучшее средство достичь до бессмертия есть писать о носе», «хорошо описать нос есть верх остроумия», и т. д. Оставляя в стороне все эти бесчисленные нападения, статьи и статейки по поводу разных повестей Гоголя и особенно «Переписки с друзьями», по поводу упоминаний о Гоголе в других журналах и проч., мы приведем только некоторые факты остроумия, порожденные первым изданием «Мертвых душ» только в двух номерах «Библиотеки» 1842 года: достаточно будет и этих примеров, чтобы судить о степени меткости и остроты в нападениях на Гоголя, составлявших едва ли не единственную живую сторону «Литературной летописи» «Библиотеки» до последнего времени.

«Литературная летопись» того номера «Библиотеки для чтения», в котором помещен разбор «Мертвых душ», начинается статейкою о трех стихотворных брошюрках Алипанова, стихи которого своими качествами соответствовали прозе Федота Куз-

мичева, А. А. Орлова, Сигова и прочих. Выписывая заглавия этих книжонок, рецензент везде прибавляет слово «поэма»: 1) Теофил. «Поэма» Е. Алипанова, СПб, 1842; 2) Военные песни. «Поэмы» Е. Алипанова, СПб, 1842; 3) Досуги для детей. «Поэмы» Е. Алипанова, СПб, 1842. Вдоволь потешившись над нелепыми его виршами, выписав из них множество отрывков такого рода:

Как летни настали
Прекрасны деньки,
В лесу выросстали
Младые грибки,

и т. д., рецензент говорит, что Алипанов сочиняет «чудесные поэмы». «Я не смею (продолжает он) провозглашать Алипанова величайшим из современных поэтов, потому что в нашей литературе есть уже другой величайший из современных поэтов; но, по моему мнению, смело можно автору «Досугов для детей» и проч. дать первое место после величайшего». «Самая поэтическая поэма», в «Досугах для детей» — послание к шестилетнему мальчику о том, как хорошо сделал «крестьянин, друг людей», подав милостыню нищему. «В нынешнем положении поэтических дел и при настоящих понятиях о поэзии нельзя и желать прекраснейшей поэмы. Но век наш обилен чудесами. Я вокруг себя вижу одни только поэмы, одна пленительнее другой. Что значит эта поэма (о крестьянине, друге людей) в сравнении с тою, о которой я сейчас буду иметь честь вам представить! Вот она: *«Похождения Чичикова, или Мертвые души»*. Поэма Н. Гоголя».

Вы видите меня в таком восторге, в каком еще никогда не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю от восхищения: объявляю вам о таком литературном чуде, какого еще не бывало ни в одной словесности. Поэма! Да еще какая поэма! Одиссея, Ненстовый Орланд, Чайльд-Гарольд, Фауст, Онегин, с позволения сказать, *дрянь* в сравнении с этой поэмой. Поэт! Да еще какой поэт! поэт, перед которым Гомер, Ариосто, Пушкин, лорд Байрон и Гете, с позволения сказать, то, чем Ноздрев называет Чичикова*. Это, может быть, превосходит все силы вашего воображения, но это действительно так, как я вам докладываю. Никогда еще гений человеческий не производил подобной поэмы. Никогда смертный род Адама не удивлялся такому великому поэту. Книга названа поэмой не в шутку. Поэт провозглашен первым современным поэтом не в насмешку. Все это, уверяю вас, серьезно, и очень серьезно. Можно с ума сойти от радости, если хоть немножко любишь искусство, русский язык и честь своей литературы.

Потом рецензент начинает разговор с читателем. Читатель спрашивает, возможно ли поэмы писать прозой; а не стихами; рецензент отвечает, что вещи «необъятные, как грезы тщеславия в бреду», выше «всякого понятия, всякой похвалы, всякого порицания», что невозможно и разбирать их, а можно только знакомить с ними читателей посредством выписок. Начинаются вы-

* Далее выписано, что Ноздрев называет Чичикова свинтусом.

писки. Читатель беспрестанно прерывает текст «Мертвых душ» замечаниями о неправильности выражений, жесткости слога, неприличии многих слов в литературном языке. Замечания большей частью такого достоинства: ветер и дым имеют в родительном падеже ветру, дыму, а не ветра, дыма; сказать «хотя... но», неправильно; надобно говорить: «хотя... однако»; нельзя сказать «совершенно никакого», должно говорить просто «никакого»; «слуги возились около экипажа», «слуга рассказывал ему всякий вздор» — выражения низкие, грязные. Рецензент отвечает, что в этих выражениях именно и заключается истинная поэзия, высочайшее остроумие; восклицает, что он «от восторга становится на колени перед первым современным поэтом». Наконец читатель останавливает его и говорит, что «Мертвые души» то же самое, что романы Поль-де-Кока, с тою только разницею, что у Гоголя менее хорошего и более грязного, нежели у Поль-де-Кока.

После того все остальные книги, разбираемые в «Литературной летописи», называются «поэмами»: «Холодная вода, как всегдашнее лекарство», сочинение доктора медицины Вайгерсгейма. «Эта удивительная поэма описывает насморки, холодной водой доктор Вайгерсгейм вылечивает всех людей от всех болезней, в том числе и посредственных романистов от гордости и тщеславия». — «Общая анатомия, сочинение доктора медицины Ивана Быстрова», и «О распознавании и лечении аневризмов, сочинение И. Гильдебранда» — «две очень любопытные и полезные поэмы». — «Практические упражнения в физике, перевод с французского» — «поэма бесполезная и нелюбопытная». «Древняя флора, или описание растущих в Российском государстве дерев и кустарников» — «поэма, изданная книгопродавцем для известной ему цели».

Из многих продолжений этого остроумия по поводу «Мертвых душ» выбираем только один пример — остроумие, повод к которому подала брошюра г. К. Аксакова, написанная в восторженном тоне. Вот рецензия на эту книжку:

Несколько слов о поэме «Похождения Чичикова, или Мертвые души», сочинение Константина Аксакова, Москва, 1842. Эта брошюра имеет целью доказать, что автор поэмы «Похождения Чичикова» — Гомер, а сама поэма «Похождения Чичикова» — Илиада; что в Илиаде является Греция с своим миром, а в эпическом сочинении автора поэмы «Похождения Чичикова» является чорт знает что, но тоже с своим миром; что это эпическое его сочинение и есть чистый древний эпос, совершенно то же, что у Гомера, что это — «чудное, чудное явление!» и прочая, и прочая. Это плохо! Когда люди издают на свои деньги такие похвальные брошюры, это очень плохо! Это показывает то, что поэма нехороша!» (Слова, напечатанные курсивом, так напечатаны в самой «Библиотеке для чтения».)

И, не давая испариться букету остроумия, рецензент тотчас же переносит его в отзыв о романе Поль-де-Кока, поставленный вслед за отзывом о брошюре г. К. Аксакова:

Парижская красавица. Роман Поль-де-Кока. СПб. 1842. В подлиннике эта поэма называется *La jolie fille du faubourg* *. Все поэмы Поль-де-Кока переводятся на русский язык. Это единственный из современных писателей, которого «создания» (курсив и язвительные «—» сохранены, как поставлены в «Библиотеке для чтения») удостоиваются у нас такой чести. Мы не пропуская ни одного его создания. Можно ли после этого сомневаться в нашем решительном вкусе к поль-де-коковским поэмам? «Парижская красавица» довольно скучное «создание». Перевод довольно плох. Но это не удержит читателей. Мы так любим Поль-де-Кока, что между его родом и Одиссеей уже не делаем никакого различия, уверяем, что это — совершенно одно и то же, и всякого, кто творит подобные романы, некоторые называют Гомером, не страшась нисколько, что если Европа услышит это, то она подумает, что они — в белой горячке.

Здесь для нас непонятно только одно: каким образом можно было сказать по поводу панегирика, написанного г. К. Аксаковым: «Когда люди издают на свои деньги такие похвальные брошюры, это очень плохо! Это показывает, что поэма плоха!» Смысл этих выражений ясен: Гоголь заказал г. К. Аксакову похвальную брошюру и напечатал ее на свой счет. Можно не соглашаться с г. К. Аксаковым, нет преступления и острить над ним, если угодно; но между русскими писателями едва ли был тогда или есть теперь хотя один, столь мало знакомый с общественным положением и личным характером г. К. Аксакова, чтобы незнание давало ему право делать предположение, будто бы г. К. Аксаков может писать панегирики по заказу и печатать их на чужой счет. Велика должна была быть досада рецензента, если доводила его до столь несообразных намеков. Довольно остроум уже мы выписали. Если Гоголь еще не убит ими во мнении читателя, то все остальные уже не нанесли бы ему новых ран, потому что они только вариации на малочисленные темы, которые достаточно истощены и выписанными у нас отрывками. Пора поговорить о том, отчего эти убийственные нападения были так многочисленны.

Помещая длинные статьи о Гоголе, барон Брамбеус нарушал свое неизменное во всех других случаях правило уклоняться от подробных разборов замечательных явлений нашей словесности. Это одно заставляет предполагать особенные причины для объяснения его исключительного внимания к Гоголю: кто не считал нужным говорить с своими читателями о Пушкине, Лермонтове, Кольцове, не стал бы распространяться и о Гоголе, если б не имел на то своих частных побуждений. Притом же мы заметили, что тон его отзывов слишком решительно изменился в течение короткого времени, отделявшего третий номер «Библиотеки для чтения» 1836 года от пятой книжки того же года: в первых числах марта он говорил о Гоголе благосклонно, в первых числах мая отзывался о нем уже так, что самому Н. А. Полевому разбор этот казался неприличною «бранью». Эта быстрая и резкая перемена совершенно объясняется тем, что в первых числах

* Красивая девушка из предместья. — Ред.

апреля вышел первый том пушкинского «Современника», заключающий в себе статью «О движении журнальной литературы», одну выписку из которой привели мы выше. Вот другой отрывок, объясняющий историю возникновения пушкинского журнала и отношения его издателя и сотрудников к барону Брамбеусу. Сказав, что в 1833 году все прежние журналы наши «имели постный вид» и тесный круг читателей, автор статьи продолжает:

В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностью и добросовестностью, решился издавать журнал обширный, энциклопедический, завоевать всех литераторов, сколько их ни есть в России, и заставить их участвовать в своем предприятии. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей. Профессор арабской словесности, г. Сенковский, взялся быть распорядителем журнала. К нему был присоединен редактор г. Греч. Никто тогда не заботился о весьма важном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков? Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности — обещание, которое дает всякий журналист. С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствуют тон, мнения и мысли одного, что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взяты были только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков. Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г. Сенковский. Имя г. Греча выставлено было только для формы. Но какая была цель редакции этого журнала, какую задачу предполагала она решить? Здесь мы поневоле должны задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г. Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал для себя цель; все увидели только, что он взошел незаметно в первый номер, а в конце его развернулся как полный хозяин. Но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, были ли где заметны те неподвижные правила, без коих человек делается бесхарактерным, которые определяют его физиономию? Прочитав все помещенное им в этом журнале, невольно остановился в изумлении: что это такое? что заставляло писать этого человека? Последуем за распорядителем во всех родах его сочинений.

Автор обзора пересматривает ученые статьи, критические статьи и повести этого писателя и отзывается о них справедливо, но вовсе не с похвалою, замечая, как главный недостаток, что во всех этих повестях и статьях нет единства мысли, определенных убеждений, нет никакой цели. Мы выписали уже суждение автора обзора о содержании рецензий барона Брамбеуса. Несколькоми строками раньше, еще точнее определяется общий характер его разборов: «В критике г. Сенковский показал отсутствие всякого мнения: в его рецензиях нет ни положительного, ни отрицательного вкуса, вовсе никакого. (Подчеркнуто в подлиннике.) То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек; у него рецензия не есть дело убеждения и чувства, а просто следствие расположения духа и обстоятельств. Он никогда не заботится о том что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей». Выбор статей для отдела оригинальной и переводной словесности «показывал очень мало вкуса».

В «Библиотеке для чтения» случилось еще одно дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые. Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало. Многие писатели начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так уменьшилось, что на другой год издателя уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая, какие. Статьи заметно начали быть хуже. «Библиотеку» уже менее читали в столицах.

Другие журналы (продолжает автор) были слабы по объему и по числу подписчиков по сравнению с «Библиотекой для чтения». Что же было делать литераторам, которые увидели себя в необходимости отказаться от участия в «Библиотеке для чтения»? * Некоторые московские литераторы решились основать

* Чтобы представить читателям хотя один пример того, каким образом переделывались в «Библиотеке для чтения» статьи самых известных литераторов, приведем объяснение Н. А. Полевого из «предисловия» к его «Очеркам русской литературы». Тут мы видим замечательный пример того, каким образом все литераторы, от участия которых зависела достоинство и успех журнала, были привлечены к «Библиотеке для чтения» почтенным А. Ф. Смирдиным, и каким образом распорядитель «Библиотеки» лишил этот журнал их полезного содействия. Мы еще помним, как, перечитывая в старые годы «Библиотеку», мы были поражены чрезвычайно резким улучшением ее критической части в 1836 году; тон статей оставался почти всегда прежний, но они подробно говорили о замечательных литературных произведениях, чего не было прежде; содержание разборов было несравненно дельнее, а развитие мыслей гораздо основательнее и остроумнее прежнего. Через несколько времени попались нам в руки «Очерки литературы», и дело объяснилось:

«Не здесь место (говорит Н. А. Полевой) излагать мое мнение о ней («Библиотеке для чтения») или рассказывать о моих отношениях к ее почтенному редактору. Скажу одно, что с самого начала сего журнала я был решительно не согласен с его целью, планом, воззрением и отрекался от всякого постоянного в нем участия, хотя неоднократно был убедительно приглашаем к тому. В 1836 году, когда давно уже прекратился журнал, мною издававшийся, я приезжал в Петербург, и — для чего скрывать? о подобных поступках надобно говорить во всеуслышание — добрый, благородный издатель «Библиотеки для чтения» А. Ф. Смирдин оказал мне тогда бескорыстную и важную услугу в моих тогдашних стесненных обстоятельствах, — услугу, когда люди, называвшиеся моими друзьями, — люди, которым я имел, быть может, некогда случай быть полезным, отвергли меня, показали мне себя в самой темной краске бесчувственного эгоизма... Бог с ними, я давно простил им! тем с большею признательностью вспоминаю о немногих, тем благодарнее был и всегда буду я доброму, благородному А. Ф. Смирдину, который за услугу свою требовал участия моего в «Библиотеке для чтения». Отказаться я не мог. Мы сошлись с редактором ее. После продолжительного с ним переговора, я взял на себя отделения критики и библиографии и начал доставлять из Москвы статьи по обоим отделениям. С первого шага все условия моего сотрудничества были нарушены редактором. Не мое было дело отвечать за статьи самого редактора и других сотрудников: но, к изумлению моему, редактор наложил право нестерпимого цензора на все мои статьи, переделывал в них язык по своей методе, переправлял их, прибавлял к ним, убавлял из них, и многое являлось в таком извращенном виде, что, читая «Библиотеку для чтения», иногда вовсе я не мог отличить, что такое хотел я сказать в той или другой статье... Возражения мои были тщетны, и, несмотря на все желание мое исполнить жела-

новый журнал: «он был нужен 1) для тех, которые желали иметь приют для своих мнений, ибо «Библиотека для чтения» не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя, ибо г. Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в «Библиотеку для чтения». Таким образом явился «Московский наблюдатель». Через несколько времени, по тем же самым причинам и побуждениям, основан был Пушкиным «Современник». — Очень понятно, с какими чувствами «Библиотека для чтения» и ее «распорядитель» встретили оба эти журнала. О вражде против «Московского наблюдателя» не будем говорить; но вот какие слова вырвались у распорядителя «Библиотеки для чтения», когда он узнал о намерении Пушкина издавать журнал и прочитал программу этого издания:

«Африканский король Ашантиев, говорят, объявил войну

ние доброго А. Ф. Смирдина, я принужден был решительно отказаться от всякого участия в «Библиотеке для чтения»... До какой степени мысли мои были изменены, поверить трудно. Приведу три или четыре примера. Я послал редактору статью о комедии М. Н. Загоскина «Недовольные», где говорил о комедии Грибоедова, изъявляя беспристрастно мнение мое и отдавая справедливость и прекрасному произведению М. Н. Загоскина, и превосходному произведению Грибоедова. Редактор прибавил брань на «Ревизора», комедию г. Гоголя, и придал словам моим о Грибоедове такой смысл, что ими оскорбил всех почитателей памяти Грибоедова и прежде всех — первого меня... (Следуют примеры искажения трех других статей.) Но всего забавнее было приключение с статьею о стихотворениях г. Соколовского, «Мироздание» и «Хеверь». Желая показать, что поэт совершенно превратно смотрит на предмет свой, я написал статью, где подробно изложил свои мысли о поэзии духовной и о сочинениях г. Соколовского. Редактор «Библиотеки для чтения», каким-то непостижимым для меня образом, умел вырезать из статьи некоторые частицы и поместил их в «Библиографии», а остальному дал название «О духовной поэзии» и в виде статьи отдельной напечатал в отделении «Прозы», с моим именем. В этой статье столько нашел я прибавок, урезок, изменений, что вовсе не понял и теперь не понимаю, о чем идет в ней речь. Статья начинается, например, небывалым анекдотом, будто Пушкин разговаривал некогда с Батюшковым о русских стихах. Но Батюшкова с 1817 года не было уже в Петербурге, когда Пушкин был еще учеником в Лицее, писал детские стихи, и не мог рассуждать о поэзии русской с одним из корифеев тогдашней русской поэзии. По крайней мере, я ничего подобного не слыхивал от Пушкина и ничего не писал о разговоре его с Батюшковым. Радуюсь, что теперь, печатая «Очерки», могу освободить себя от непринадлежащего мне и непризнаваемого мною. Беру из «Библиотеки для чтения» те только мои статьи, которым (не имея у себя прежних оригиналов) мог я памятью возвратить, по возможности, настоящий смысл их. От всего остального, что писано в «Библиотеке для чтения» 1836 и 1837 годов, я решительно отрекаюсь и ничего, там помещенного, прошу не почитать моим: оно ни мое, ни редакторское, а бог знает чье, и что оно такое, я первый менее всех понимаю».

Нам понадобится это объяснение Н. А. Полевого, когда мы возвратимся к разбору «Ревизора», помещенному в «Библиотеке для чтения» 1836 года и содержащему такое внезапное объявление непримиримой войны Гоголю.

Англии и уже открыл кампанию. Александр Сергеевич Пушкин, в исходе весны, тоже вступает на поле брани: он хочет издавать альманах или журнал «Современник». Этот журнал или альманах учреждается нарочно против «Библиотеки для чтения», с явным и открытым намерением при помощи божией уничтожить ее в прах!» «О вы, которые читаете разные русские журналы, скажите нам по милости, который это уже журнал возникает с этим благим намерением? Четвертый, кажется? или пятый?» «Библиотека для чтения» поставила себе правилом не вступать в полемику с другими журналами; она только позволяет себе уведомить публику о программе нового журнала». «Но с появления первой его книжки водворяется глубокое и красноречивое молчание: ни слова об этом журнале, особенно, если он плох и смеет еще браниться!» «Журнал Пушкина будет содержать в себе обозрения русской журналистики. Этого не делают английские *Rewiew*s и французские *Revue*s, — следовательно, журнал Пушкина сам объявляет, что будет принадлежать к «журнальной черни», которая одна занимается литературною полемикою». «Как горько, как прискорбно видеть, когда гений, каков Александра Сергеевича Пушкина, рожденный вить бессмертные венки на вершине зеленого Геликона, нарвав там горсть колючих острот, бежит стремглав по скату горы в объятия собравшейся на равнине толпы Виофан, которая обещает, за подарок, наградить его грубым хохотом! Берегитесь, неосторожный гений! Последнее слон горы обрывисты, и у самого подножия Геликона лежит Михонское болото, — бездонное болото, наполненное черною грязью! Эта грязь — журнальная полемика, самый низкий и отвратительный род прозы, после рифмованных пасквилей». «Быть может, Александр Сергеевич надеется придать своему журналу более занимательности войною с «Библиотекою для чтения», «но он ошибается в расчете: «Библиотека для чтения» никогда не унижится до ответа другим журналам. И зачем вам отвечать, друзья? Не лучший ли вам ответ — молчание? Вообще, не бесполезно знать, что презрения у нас достанет для всех нападок, от кого бы они ни происходили» («Библиотека для чтения», 1836 г., апрельская книжка).

В тоне этих слов столько гнева и вражды, что они, без всякого сомнения, диктованы чувством оскорбленного самолюбия. Того, что Пушкин обещал в своем журнале помещать обозрения журнальной литературы, было бы недостаточно для столь сильного раздражения рецензента «Библиотеки»; но ему, без сомнения, уже за несколько дней до появления первой книжки пушкинского журнала, в то время, как писал он эту филиппику, было известно, в какой степени неблагоприятны для барона Брамбеуса будут отзывы нового журнала; да и могло ли это быть неизвестно? Двадцать лет тому назад литературных слухов и толков в пишущем кружке было гораздо более, нежели теперь; а еще и ныне

о каждом замечательном литературном явлении каждому нечуждому литературного кружка приходится волею или неволею слышать задолго до выхода книги в свет. Невозможно сомневаться в том, что барон Брамбеус знал вперед, какова будет в новом издании первая статья о журналистике и что резкие выходки «Библиотеки» писаны под влиянием этих слухов. Когда явился первый том нового издания с статьею, отрывки из которой мы привели, писатель, против которого она была направлена, также не мог — волею или неволею — не услышать, кто такой был автором этой статьи. Люди, чуждые литературному кружку, могли приписывать статью самому Пушкину; но в литературном кружке не могло быть тайною, что писал ее Гоголь; и скоро Пушкин печатным образом объявил, что статья «О движении журнальной литературы» принадлежит не ему. Для людей, знающих нашу литературу, все подобные объяснения совершенно излишни: они знают, что в нашей литературе тайны невозможны, и теперь у нас пишущих людей так мало, что все псевдонимы и анонимы — пустая ипрushка, прозрачный флёр, ничего не прикрывающий. Хотя бы даже вовсе того не желал он, литератору нет возможности не знать истинного автора каждой анонимной статьи, возбуждающей некоторое внимание.

Таким образом, барон Брамбеус имел две основательные причины изменить тон своих суждений о Гоголе. Во-первых, Гоголь явился одним из главных участников пушкинского журнала: в первой же книжке «Современника» были помещены два произведения, подписанные его именем: «Коляска» и «Утро делового человека»; в одной из следующих — «Нос». Во-вторых, что еще важнее, Гоголь был автор неблагоприятной ему статьи «О движении журнальной литературы». Сам барон Брамбеус обнаружил третью причину своего нерасположения к автору «Ревизора»: он считал его, как юмористического писателя, своим соперником. Вот предварительные замечания из «брани на «Ревизора», вставленной распорядителем «Библиотеки для чтения» в статью Н. А. Полевого о «Горе от ума» и «Недовольных» Загоскина, как мы видели из свидетельства самого Полевого. Очевидно, что в этом отрывке остались некоторые выражения, написанные Полевым. Но читатель легко отличит фразы, которые мог написать только барон Брамбеус:

Перейдем к «Ревизору». Здесь прежде всего надобно приветствовать в его авторе нового комического писателя, с которым можно поздравить русскую словесность. Первый опыт г. Гоголя (*т. е. первый опыт в комедии*) вдруг обнаружил в нем необыкновенный дар комики, и еще такой комики, которая обещает поставить его между отличнейшими в этом роде писателями. Мы с удовольствием предаемся этой приятной надежде, хотя один весьма умный человек сказал нам в ответ на подобное предсказание: «Ничего не будет! его захвалят!» В самом деле, опасность, кажется, угрожает автору с этой стороны, и если у него есть самолюбие, он не может употребить его с большею пользою для себя и для литературы, как поручив ему оберегать

себя от яда необдуманных похвал. Кажется, что одна из котерий, которая чрезвычайно нуждается в примечательном таланте для того, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, избрала его своим героем и условилась превозносить до небес каждое его сочинение, скрывая от него и от публики их несовершенства. Ежели это правда, то нельзя не предостеречь г. Гоголя, что он стоит на пропасти, прикрытой цветами, и может упасть в нее со всею своею будущею славой. Что касается до нас, то мы никогда не были в состоянии усмотреть малейшего сходства между талантом г. Гоголя и таинственного барона и не понимаем, каким образом литературная досада могла ослепить котерию до того, чтоб она вздумала сделать из автора «Вечеров на хуторе» и «Миргорода» соперника автору «Фантастических путешествий» и «Похождений одной ревизжской души». Если г. Гоголь приметит это во-время, то его личное самолюбие поможет ему воспользоваться замечаниями тех, которые ничего столько не желают, как полного развития его таланта, не доверять умышленным панегирикам и усовершенствовать свое дарование.

«Котерия, нуждающаяся в примечательном таланте для того, чтобы противопоставить его барону Брамбеусу, избравшая Гоголя своим героем и условившаяся превозносить до небес каждое его сочинение, чтобы сделать его соперником таинственного барона», по смыслу слов и по тогдашним отношениям, могла означать только Пушкина и его сподвижников. Но где ж барон Брамбеус нашел доказательство этого намерения? В то время был издан только один том пушкинского журнала, а единственным местом, относившимся в этом томе к Гоголю, была небольшая рецензия второго издания «Вечеров на хуторе», которую мы вполне приводим в примечании*.

Читатели видят, что несовершенства произведений Гоголя вовсе не скрываются этою рецензиею, и она не заключает ни самого отдаленнейшего намека на противопоставление Гоголя таинственному барону, если не видеть этого намека в подчеркнутом нами выражении «мы, не смеявшиеся со времен фон-Визина». Надобно принимать одно из двух: или слова барона написаны по дошедшим до него слухам, что Пушкин в разговорах ставит Гоголя выше барона Брамбеуса — и это служило бы новым под-

* «Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, — мы, не смеявшиеся со времен фон-Визина! Мы были так благодарны молодому автору, что охотно простили ему *неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов*, предоставляя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед затем явился «Миргород», где с жадностью все прочли и «Старосветских помещиков», эту шутиливую трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы, грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтера Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале. Наднях будет представлена на здешнем театре его комедия «Ревизор».

тверждением нашему прежнему объяснению резкой выходки против Пушкина — или слова барона Брамбеуса вызваны неудовольствием на то, что Гоголь поставлен прямым наследником фон-Визина, без оговорки, что юмористические статьи барона Брамбеуса также превосходны, — и это послужило бы новым подтверждением мнения о его щекотливости.

Как бы то ни было, но факты, нами сведенные, не оставляют сомнения, что в отзывах барона Брамбеуса о Гоголе участвовало оскорбленное самолюбие. И чем дальше шло время, тем сильнее должно было становиться это побуждение, потому что удивление барону Брамбеусу, как «отличнейшему юмористу», сначала очень сильное в известном кружке читателей, с каждым годом быстро ослабевало, а слава Гоголя быстро увеличивалась. Только этим личным отношением — мыслью барона Брамбеуса видеть в Гоголе своего противника — можно объяснить факт, что барон в отзывах о Гоголе отступал от постоянного правила своей критической деятельности: как можно менее говорить о замечательных явлениях словесности, чтобы избежать промахов в деле, для которого нужен вкус. Еще разительнее его отступление от постоянной тактики в том, что он неизменно продолжал говорить о Гоголе лет пятнадцать то же самое, что сказал в 1836 году. Обыкновенно, он поступал иначе; как скоро замечал он, что восхваленный им писатель уничтожен критикою других журналов, он тотчас же начинал повторять мнения, высказанные критиком-победителем, не заботясь о противоречии этих мнений с его прежними выпрепными похвалами; и наоборот, когда слава писателя утверждалась, он начинал также хвалить его вслед за другими журналами. Примеры последнего излишни: все наши талантливые писатели довольно долго сначала не обращали на себя никакого внимания барона Брамбеуса, как люди, не обнаруживающие дарований, или даже были им осмеиваемы, не по злему умыслу, а просто по неумению его отличить, действительно ли они талантливы; а потом всех их он хвалил, когда другими критиками были объяснены ему их достоинства. Что же касается примеров того, как он покидал своих прежних клиентов, когда слава их была разрушена другими, расскажем один случай. Мы привели отрывки из разбора «Торквато Тассо», где это произведение было превознесено до небес; через два-три месяца с автора были сняты чин Байрона и сан «великого», объявлено было даже, что барон Брамбеус, хваля его, только забавлялся: критику вздумалось, говорила «Библиотека для чтения», сестя у окна и бросить венок славы на голову первому прохожему, прохожий, то есть г. Кукольник, не в меру возгордился, и надобно снять с него венки, данный по капризу, а не по заслуге³⁵. Это объяснение, повидимому, столь откровенное, возмутило многих и наделало в свое время большого шума: «как! раздавать и снимать венки байроновской славы по одному капризу!» говорили все с негодо-

ванием. Но, разобрав дело ближе, мы увидим, что негодовать на барона было почти не за что: он, кажется, говорил о капризе только для оправдания своей переменчивости в обращении с г. Кукольниковом, а на самом деле поступал по своему искреннему убеждению и крайнему разумению. История возвышения и низложения г. Кукольника в «Библиотеке для чтения» произошла следующим образом. Н. А. Полевой поместил в «Телеграфе» краткий отзыв о «Торквато Тассо», в том смысле, что «юный автор подает надежды и уже выказал большое дарование». — Из этого отзыва и выросла восторженная статья барона Брамбеуса. Потом Полевой поместил в «Телеграфе» подробный разбор «Торквато Тассо», где, как обыкновенно бывает при подробном разборе, рядом с достоинствами указал и недостатки драматической фантазии г. Кукольника, кстати и мимоходом заметив, что «Библиотека для чтения» уже слишком далеко зашла в похвалах этому произведению, и что странно видеть в г. Кукольнике Байрона. Вслед за этим и «Библиотека» перестала безусловно восхищаться г. Кукольниковом, даже почла за нужное унизить его. Видите ли, как просто было дело! Если каприз и участвовал в увенчании и развенчании русского юного Байрона, то участвовал очень мало; и мы готовы даже хвалить барона Брамбеуса за то, что он, взяв слишком высокую ноту с чужого голоса, с таким послушанием понизил ее, как скоро наставник заметил ему его промах. То же самое было с его суждениями о Марлинском, Загоскине и проч. Так бывало постоянно. Пока никто еще не хвалил и не бранил писателя, барон Брамбеус хвалил или бранил его наудачу. Как скоро сильнейшие голоса в критике произносили свое суждение, он повторял их слова.

Относительно одного Гоголя не мог он, увлеченный личным чувством, пересилить себя, и до конца повторял свои первые отзывы, сделанные с голоса Н. А. Полевого, хотя и видел, что сильнейшие голоса говорят противное. Не будем осуждать этой ошибки: надобно же уступать человеку некоторую свободу в чувствах, не всегда же можно требовать от человека, чтоб он действовал только по внушению благоразумного расчета и холодного рассудка. Ужели вы изгоняете из мира поэзию? ведь увлечение чувством и есть поэзия.

Таким-то образом, увлеченный до поэзии чувством своим, барон Брамбеус семнадцать лет повторял то, что было когда-то сказано о Гоголе Н. А. Полевым. Действительно, сличив статьи того и другого критика, мы увидим, что все, решительно все суждения о Гоголе заимствованы бароном Брамбеусом у Н. А. Полевого, — даже знаменитое сравнение Гоголя с Польде-Коком, даже замечания относительно разных мелочей. Одно остается у него свое — остроумные насмешки над тем, что «Мертвые души», сочинение, написанное в прозе, названо поэмою. Какого внимания они заслуживают, предоставляем судить чита-

телю. Мы знаем только то, что на отзывы барона Брамбеуса о Гоголе публика обращала несравненно менее внимания, нежели наши журналы; говоря по всей справедливости, надобно даже сказать, что суждения барона Брамбеуса о Гоголе не произвели на публику ровно никакого влияния.

И не только едкие отзывы барона Брамбеуса о Гоголе, но и вся его продолжительная, многосторонняя, неутомимая журнальная деятельность едва ли произвела хотя малейшее действие на публику или имела хотя слабое влияние на развитие литературы, в полезном или вредном смысле. Потому и история литературы, если мало будет говорить о его заслугах, то мало скажет и в осуждение ему. Она только пожалеет, как жалеет и мы, что этот человек растратил свои дарования отчасти на предприятия, несвойственные его таланту и знаниям, — например, на поверхностные гипотезы в науках, чуждых его специальности, на усилia приобрести славу романиста и быть законодателем в области изящной словесности, при недостатке эстетического вкуса, — отчасти на мелочи, которыми также надеялся он приобрести славу. К этим мелочам относим мы желание отличаться оригинальностью слога, приведшее его к вычурности; стремление выдавать себя за преобразователя русской прозы, которая не нуждалась в преобразованиях, по крайней мере, подобных тем мелочным нововведениям, какие он считал нужными и важными; стремление прослыть остроумнейшим из русских писателей. Всю эту напрасную растрату сил надобно будет приписать тому, что он, вследствие ли своей натуры, или вследствие своего фальшивого положения в нашей литературе, не имел в своей деятельности ни одной из тех возвышенных целей, без стремления к которым нельзя писателю достигнуть истинной славы. Но, с другой стороны, история литературы скажет, что, не будучи ни гением, ни даже даровитейшим или ученым из современных ему русских журналистов, он обладал замечательными силами: и знаниями, и проницательным умом, и остроумием, и неутомимою жаждою славы и деятельности. Она прибавит также, что если самолюбие вовлекало его в ошибки, то, по нравственному характеру, его невозможно сравнивать с людьми, которые достойны «презрения» (чтобы выразиться его термином): у него было много истинной гордости, — силы, исключительно и неотъемлемо принадлежащей личностям благородным по своей натуре, каковы бы ни были обстоятельства их деятельности. И если мы захотим вникнуть в отношения и интриги некоторых литературных котерий (чтобы опять употребить его термин) того времени, когда он успел прочно занять столь важное для литературы место распорядителя единственного журнала, бывшего тогда сильным, то мы должны будем сказать, что умение его поставить себя на это видное место было, хотя отрицательным образом, очень полезно для русской литературы: не займи он этого места, еще бог знает, кто захва-

тил бы этот столь важный пост, и, по всей вероятности, захватил бы его тот или другой из людей, с которыми, как мы выразились, невозможно его смешивать. Он не хотел делать ничего дурного, не сделал ничего вредного; некоторые другие на его месте хотели бы дурного и успели бы сделать много вредного. И наконец, чтобы назвать положительную заслугу его, скажем, что действительно ему принадлежит честь изгнания из русского литературного языка, в самом деле вредных его легкости местоимений «сей» и «оный».

Внимательный читатель заметит, что вся настоящая статья есть только развитие относящихся к барону Брамбеусу эпизодов из статьи Гоголя «О движении журнальной литературы», а во многих местах должна быть названа только парафразом слов Гоголя. Если из нашей характеристики следует, что барон Брамбеус гораздо реже, чем думают многие, писал с намерением подшутить над публикою и гораздо чаще, нежели думают, писал серьезно, не дурача никого, а излагая свои настоящие мнения, только в форме несколько манерной, то это опять мысль Гоголя, и мысль совершенно справедливая. И если она представляет лучшее оправдание для литературной деятельности барона Брамбеуса, то нам опять приятно сказать, что именно с таким сознанием и выражается она у Гоголя, который, осуждая многие из действий своего противника, постоянно прибавляет, что нравственный характер этого писателя выше подозрений и что он все делал не с другою какою-нибудь целью, но именно с тою, чтобы сделать, как ему казалось, лучше. Это, кажется, совершенно справедливо.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Представив характеристику критической деятельности и отношений к Гоголю Н. А. Полевого и г. Сенковского, мы перейдем прямо к журналам и журналистам, бывшим на стороне Гоголя, не упоминая ни одним словом о некоторых других журналистах, бранивших автора «Мертвых душ»³⁶. Не считаем также, с другой стороны, нужным беспокоить некоторых невинных журналистов припоминаниями о их простодушных сомнениях в Гоголе: добрые люди давно простили им грех неведения, в котором они находились, а иные из них, быть может, еще и по сию пору находятся, повторяя разные обвинения, вычитанные из статей Н. А. Полевого. Таким образом, мы можем, оставив в стороне различных мелких вонтелей, усиливавшихся подвизаться против Гоголя, перейти к изложению критической деятельности и мнений о Гоголе тех журналистов, которые считали Гоголя великим писателем.

Если б кто, придерживаясь исключительно строго хроноло-

гического порядка, решился разрывать тесно связанные между собой факты, при изложении различных мнений о Гоголе, ему пришлось бы начать свой обзор свидетельством Пушкина о достоинствах «Вечеров на хуторе», потому что Пушкин не только первый похвалил Гоголя, но и вообще был первым из всех, в каком бы то ни было смысле заговорившим нашей публике о Гоголе. Поставив себе целью дать не бессвязный хронологический перечень статей о Гоголе, а изложение распространения в литературном мире и в публике понятий о значении Гоголя, мы должны были соединять в одну цельную характеристику все, что было сказано о Гоголе с той или другой точки зрения, соблюдая порядок, в каком одно направление приобрело первенство над другим в литературе. Таким образом, надобно было начать наш обзор суждениями журналистов, бывших представителями направлений, господствовавших в нашей критике до того времени, когда приобрели решительное преобладание «Отечественные записки», которым, в числе других заслуг, принадлежит и честь прочного утверждения в публике справедливых понятий о Гоголе. Следуя этому плану, нам должно, прежде нежели мы займемся изложением этих ныне господствующих и совершенно разделяемых нами мнений, представить обзор литературных воззрений «Москвитянина», который, в продолжение первых двух или трех лет своего существования, имел некоторую долю влияния на публику и литературу, пока, отчасти по причинам, лежавшим в сущности его собственного характера, отчасти по неудержимо возрастающему влиянию «Отечественных записок», совершенно ослабел. Это решительно обозначилось в 1844, если еще не в 1843 году. После того существование «Москвитянина» было едва заметно в литературе до 1849 или 1850 года, когда «молодая редакция» (термин, употребленный самим издателем) обновила его силы. Мы здесь говорим о мнениях, которые существовали в русской литературе до приобретения «Отечественными записками» совершенного преобладания; потому исключительно говорим о «Москвитянине» первой редакции, — «Старом Москвитянине», если можно так выразиться, и (повторяем слова, сказанные в начале предыдущей статьи) выводы наши нисколько не относятся к обновленному, или «новому» «Москвитянину». Но кроме этой краткой оговорки необходима другая, требующая более обстоятельного развития.

Старый «Москвитянин» иногда называли журналом славянофильским. Поводом к этому мнению было то, что из всех существовавших до нынешнего года журналов он по преимуществу, или даже он один, высказывал относительно некоторых вопросов понятия довольно, повидимому, близкие к славянофильским. Но только в «некоторых вопросах» и только «повидимому»; в сущности же старый «Москвитянин» был органом г. Погодина и г. Шевырева, как новый «Москвитянин» — органом г. Погодина

и г. А. Григорьева. Иногда помещались в этом журнале и чисто славянофильские статьи; однажды (в 1845 году) заведывал им один из славянофилов³⁷, но только три или четыре номера журнала в этом году были замечательны, остальные не представляли ничего интересного; а отдельные статьи, являвшиеся изредка в другие годы, не имели влияния на общий характер журнала.

Мы не знаем, много или мало соответствия с своим образом мыслей находят славянофилы в мнениях г. Погодина; но, во всяком случае, это мнения отдельного человека, а не целой школы. Что же касается мнений г. Шевырева, не подлежит сомнению, что гг. Аксаковы, Киреевские, Хомяков не считают г. Шевырева своим. Из этих слов очевидно, что мы не находим особенной близости в характере понятий гг. Шевырева и Погодина, а еще менее возможным считаем присоединять г. Шевырева к славянофилам, и что из нашей характеристики образа понятий г. Шевырева не должно выводить никаких суждений ни о г. Погодине, ни тем более о славянофилах.

Но этого отрицательного указания было бы недостаточно. У многих понятия о г. Шевыреве, о г. Погодине, о славянофильстве так тесно связаны, что для предупреждения ошибочных заключений необходимо точнее определить различие в литературном характере двух редакторов старого «Москвитянина» и высказать определенное мнение о славянофильстве.

Г. Погодин не принимал на себя роли критика художественных произведений, потому о нем здесь мы можем упомянуть только эпизодически: его деятельность как журналиста, ограничивавшаяся статьями или чисто ученого, или публицистического содержания, не входит в границы наших очерков; содержание его статей не касается нашего предмета. Мы обратим внимание читателя только на их изложение. Слог г. Погодина богат странностями, которые подавали даже повод к забавным пародиям³⁸. Но невозможно не признать, что точность, меткость, оригинальность, непринужденность, сжатость, энергия, совершенная естественность составляют неотъемлемые его качества. Нельзя также не прибавить, что наблюдательность, проницательность, отсутствие всякого педантизма, строгая логика в развитии мыслей и вообще замечательная сила здравого смысла — неизменные достоинства всего, что было написано господином Погодиным. Мы не принадлежим к числу его поклонников, — но справедливость требует назвать его ученым основательным; и самые противники его соглашались, что он оказал своей специальной науке — русской истории — значительные услуги. Та же справедливость требует сказать, что в его любви к науке нет ни жеманства, ни притворства, что он защитник просвещения и что как бы ни казались нам странны некоторые его мнения, но никто не может и подумать назвать его обскурантом. Этого достаточно, чтобы вынудить у

каждого здравомыслящего человека сочувствие к нему во многих случаях и во всяком случае обеспечить ему право на уважение.

Мы никогда не разделяли и не чувствуем ни малейшего влечения разделять мнения славянофилов *, но по всей справедливости должны сказать, что если понятия их и надобно признать ошибочными, то нельзя не сочувствовать им как людям, проникнутым сочувствием к просвещению. Отчасти в увлечении жаром полемики, еще более потому, что смешивали истинных славянофилов с людьми, которые пустоту и кичливость своих мнений прикрывают напыщенными родомонтадами на отрывочные и непонятные мысли, заимствованные напрокат у славянофилов, эту школу обвиняли во вражде к науке, в обскурантизме, в стремлении возвратить Россию «ко дням Кошихина» и т. д. Упреки эти делались не по слепой ненависти, не по желанию взвести на противников предосудительную небыль, а по искреннему убеждению в их справедливости; но они несправедливы, — по крайней мере, относительно таких людей, как гг. Аксаковы, Кошелев, Киреевские, Хомяков, решительно несправедливы. Горячая ревность к основному началу всякого блага, просвещению, одушевляет их. Нет нужды лично знать их, чтобы быть твердо убежден, что они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе; а эти качества достаточно ручаются за чистоту и возвышенность их намерений. Считаю излишним прибавлять, что личный характер каждого из этих людей выше всякой укоризны. Кто знаком с славянофилами только по полемике, которую некогда вели петербургские журналы против старого «Москвитянина», тот их не знает. Мы не возьмем на себя смелости от своего лица излагать перед читателями полную систему их убеждений, как мы их понимаем: система эта представляется нам не во всех пунктах достаточно ясною, и мы не хотим подвергаться опасности ввести читателей в заблуждение; вернее будет, если мы представим извлечение из статьи г. И. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» **. Она пока остается едва ли не лучшим выражением славянофильства. Мы будем совершенно строго держаться собственных слов автора.

Еще не очень давно то время, когда вопрос об отношении русского просвещения к западному был почти невозможен или разрешался так легко, что не стоило труда его предлагать. Тому тридцать лет, едва ли можно было встретить мыслящего человека, который бы постигал возможность другого просвещения, кроме заимствованного от Западной Европы. Общее мнение

* Мы употребляем это имя, как наиболее всем известное; но нам кажется, что, будучи придумано в то время, когда мнения лучших последователей школы были еще мало известны, оно не имеет в настоящее время никакого внутреннего смысла. Мы готовы с удовольствием заменить его другим, какое будет нам указано самими последователями мнений, о которых идет речь.

** «Московский сборник», 1852 г., стр. 1—68.

было таково, что различие между просвещением Европы и России существует только в степени, а не в духе или основных началах образованности. У нас (говорили тогда) было прежде только варварство: образованность наша начинается только с той минуты, как мы начали учиться у Европы. Оттого там учителя, мы — ученики.

Но с тех пор в просвещении западном и в просвещении русском произошла перемена. Европейское просвещение достигло той полноты развития, где его особенное начало выразилось с очевидною ясностью. Результатом этой полноты развития, ясности итогов было общее чувство недовольства. Правда, науки процветали, внешняя жизнь устраивалась благоприятно. Но жизнь лишена была своего существенного смысла, ибо, не проникнутая никаким общим, сильным убеждением, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни согрета глубоким сочувствием. Анализ разрушил все основы, на которых стояло европейское просвещение с самого начала своего развития. И с тем вместе этот анализ, эта логическая деятельность, этот отвлеченный разум дошел до сознания своей ограниченной односторонности. Он убедился, что высшие истины ума, его существенные убеждения лежат вне отвлеченного круга его диалектического процесса. Этот результат европейской образованности выражен передовыми мыслителями Запада. Теперь западному человеку остается или ограничиться равнодушием ко всему, что выше чувственных интересов, — но это неестественно и унижительно, или возвратиться к тем отвергнутым убеждениям, которые одушевляли Запад прежде конечного развития отвлеченного разума, — но эти убеждения уже разрушены. Потому-то почти каждый, чтоб избегнуть этой мучительной пустоты, начал избирать в своей голове для всего мира новые общие начала жизни и истины, мешая старое с новым, возможное с невозможным.

У нас большая часть людей, следивших за явлениями европейской жизни, убедившись после этого в неудовлетворительности европейской образованности, обратили внимание свое на те особенные начала просвещения, не оцененные европейским умом, которыми прежде жила Россия и которые теперь еще замечаются в ней помимо европейского влияния. — Эти основные начала, которых мы не замечали прежде по пристрастию к западной образованности и безотчетному предубеждению против своей старины, представлявшейся варварскою, совершенно отличны от тех элементов, из которых составилось просвещение европейских народов.

Основными элементами в развитии Западной Европы были: римская церковь, древне-римская образованность и государственность (общественное устройство), возникшая посредством завоевания и из борьбы побежденных с победителями. Все эти три элемента были совершенно чужды древней России. Она приняла христианство из Византии, древне-языческая образованность переходила к ней уже сквозь учение христианское, русское государство основалось и утвердилось самобытно, не испытав завоевания.

Развитие элементов западной образованности обнаружило их неудовлетворительность и односторонность. Потому нам нужно прилепиться к своим основным элементам образованности, исчисленным выше, гораздо полнейшим и плодотворнейшим. Тогда возможна будет в России наука, основанная на самобытных началах, отличных от тех, какие нам предлагает просвещение европейское. Тогда возможно будет в России искусство, на самородном корне расцветающее. Тогда жизнь общественная в России утвердится в направлении, отличном от того, какое может ей сообщить образованность западная.

Однако же, говоря: «направление», я не излишним почитаю прибавить, что этим словом я резко ограничиваю весь смысл моего желания. Ибо, если когда-нибудь случилось бы мне увидеть во сне, что какая-либо из внешних особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдруг воскресла посреди нас и в прежнем виде своем вмешалась в настоящую жизнь нашу, то это видение не обрадовало бы меня. Напротив, оно испугало бы меня. Ибо такое перемещение прошлого в новое, отжившего в живущее, было бы то же, что перестановка колеса из одной машины в другую, другого устрой-

ства и размера: в таком случае или колесо должно сломаться, или машина. Одного только желаю я... чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие»³⁹.

Из читателей, которые не принадлежат к числу записных последователей славянофильства, очень немногим понравятся эти выписанные нами места, если только они потрудятся внимательнее всмотреться в смысл основных мыслей и подумать о выводах, до которых могут и должны привести эти основания, будучи логически развиты. А тем, которые читали самую статью г. И. Киреевского, она, без сомнения, понравилась еще гораздо менее, нежели наше извлечение: в ней слишком ярко выставлены на первый план иные слишком сомнительные тезисы, которые мы почли удобным сделать едва заметными в нашем изложении, потому что у других славянофилов они действительно не играют особенно важной роли; мы старались извлечь из статьи г. Киреевского общие всей школе положения, а не принадлежащие лично автору преувеличения тех или других мнений школы. Другие, может быть, сообщили бы этим тезисам развитие более обольстительное, и сам г. И. Киреевский в других случаях говорит гораздо завлекательнее. Чтобы дать пример этого, укажем на его статью «Обозрение современного состояния словесности». Специальный смысл ее, по нашему мнению, также существенно несправедлив, и многие факты также приведены или поняты ошибочно, — да иначе и быть не могло, иначе она была бы помещена не в «Москвитянине» 1845 года, иначе не явился бы и «Московский сборник» с статьею И. Киреевского; но дело не в том: мы указываем на «Обозрение современного состояния словесности» с целью выставить на вид, что в этой статье очень много есть мыслей верных и прекрасных. Ее введение, представляемое нами в выноске, достаточно убедит в этом читателя *. А превосходное заключение

* Было время, когда, говоря: «словесность», разумели обыкновенно изящную литературу: в наше время изящная литература составляет только незначительную часть словесности. Может быть, от самой эпохи так называемого возрождения наук в Европе, никогда изящная литература не играла такой жалкой роли, как теперь, особенно в последние годы нашего времени, хотя, может быть, никогда не писалось так много во всех родах и никогда не читалось так жадно все, что пишется. Еще XVIII век был по преимуществу литературный; еще в первой четверти XIX века чисто литературные интересы были одною из пружин умственного движения народов; великие поэты возбуждали великие сочувствия; различия литературных мнений производили страстные партии. Но теперь отношение изящной литературы к обществу изменилось; из великих всеувлекających поэтов не осталось ни одного; при множестве стихов и, скажем еще, при множестве замечательных талантов, нет поэзии; не заметно даже ее потребности; литературные мнения повторяются без участия; из первой блистательной роли изящная словесность сошла на роль наперсницы других героинь нашего времени. Мы читаем много, читаем больше прежнего, читаем все, что попало, но все мимоходом, без участия, как чиновник прочитывает входящие и исходящие

статьи послужит для нас наилучшим заключением эпизода о славнофильстве.

Но возвратимся к статье «Московского сборника» и рассмотрим главные положения, из которых развита система воззрений, в ней изложенная. Существеннейшим основанием всему служит в ней аксиома: западная цивилизация оказалась неудовлетворительною и одностороннею. Анализ показал, что элементы, из которых она развивалась, односторонни, и не дал новых оснований для жизни и убеждений. Да откуда же известно все это? Уж, конечно, не из творений тех «передовых мыслителей», на которых ссылается автор. Они говорят совершенно противное: анализ их показал новые основания для жизни и убеждений; они вовсе не находят, чтобы западная цивилизация дошла до своего «полного развития»; напротив, они утверждают, что нравственные науки еще только начинают развиваться, общественные отношения тоже, приложения науки к жизни — тоже, и за что ни возьмись — то же самое: все отрасли знания (исключая чистую математику и астрономию, которые уже достигли очень высокой степени совершенства), все сферы жизни находятся еще в первых периодах развития, быстро развиваются и через сто, даже через пятьдесят

бумаги, когда он их прочитывает. Читая, мы не наслаждаемся, еще менее можем забыть, но только принимаем к соображению, ищем извлечь применение, пользу; и тот живой, бескорыстный интерес к явлениям чисто-литературным, та отвлеченная любовь к прекрасным формам, то наслаждение стройностью речи, то упоительное самозабвение в гармонии стиха, какое мы испытали в нашей молодости, наступающее поколение будет знать о нем разве только по преданию.

В наше время изящную словесность заменила словесность журнальная. — И не надобно думать, чтобы характер журнализма принадлежал одним периодическим изданиям: он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключениями. В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты. Роман обратился в статистику нравов, поэзия в стихи на случай; история, быв отголоском прошлого, старается быть вместе и зеркалом настоящего или доказательством какого-нибудь общественного убеждения, цитатой в пользу какого-нибудь современного воззрения; философия, при самых отвлеченных созерцаниях вечных истин, постоянно занята их отношением к текущей минуте; даже произведения богословские на Западе по большей части порождаются каким-нибудь посторонним обстоятельством внешней жизни.

Впрочем, это общее стремление умов к событиям действительности, к интересам дня, имеет источником своим не одни личные выгоды или корыстные цели, как думают некоторые. Хотя выгоды частные и связаны с делами общественными, но общий интерес к последним происходит не из одного этого расчета. По большей части это просто интерес сочувствия. Ум разбужен и направлен в эту сторону. Мысль человека срослась с мыслию о человечестве, — это стремление любви, а не выгоды. Он хочет знать, что делается в мире, в судьбе ему подобных, часто без малейшего отношения к себе. Он хочет знать, чтобы только участвовать мыслию в общей жизни, сочувствовать ей изнутри своего ограниченного круга.

Несмотря на то, однако, кажется, не без основания, жалуются многие на это излишнее уважение к минуте, на этот всепоглощающий интерес к со-

лет далеко уйдут вперед по пути развития. Одним словом, Запад — не человек преклонных лет, который говорит: «карьера моя уже сделана, и сделана неудовлетворительно: увы! жизнь моя шла по ложному пути; а начинать новую жизнь мне уже не под силу... увы, увы!» Нет, — Запад юноша, и юноша еще очень молодой и свежий, который (устаами своих «передовых мыслителей») говорит: «кое-что (и довольно много) я знаю; но очень многому мне еще остается учиться, я еще горю жаждою большего знания и учусь довольно успешно. Я не совершенно неопытен; но мне еще нужно приобрести гораздо более опытности. Моя карьера только что еще начинается, я едва еще только начинаю отгадывать, что такое жизнь и как устроится моя жизнь. Мне еще остается много трудиться, чтобы обеспечить себе прочное, безбедное существование; но трудиться я готов: силы у меня довольно, и, пожалуйста, не отчаивайтесь за мою будущность: я уже имею некоторые верные залогов того, что моя будущность малопомалу устроится довольно хорошо». — Вот что говорит Запад устаами своих «передовых мыслителей». Возьмите французского, немецкого, английского ученого, все равно, лишь бы только он был человек умный и дельный: каждый из них скажет вам то же самое.

бытиям дня, к внешней, деловой стороне жизни. Такое направление, думают они, не обнимает жизни, но касается только ее наружной стороны, ее несущественной поверхности. Скорлупа, конечно, необходима, но только для сохранения зерна, без которого она свист. Может быть, это состояние умов понятно как состояние переходное; но бессмыслица, как состояние высшего разряда. Крыльцо к дому хорошо, как крыльцо; но если мы расположимся на нем жить, как будто оно весь дом, тогда нам оттого может быть и тесно и холодно.

Впрочем, заметим, что вопросы собственно политические, правительственные, которые так долго волновали умы на Западе, теперь уже начинают удаляться на второй план умственных движений, и хотя при поверхностном наблюдении может показаться, будто они еще в прежней силе, потому что попрежнему еще занимают большинство голосов, но это большинство уже отсталое; оно уже не составляет выражения века; передовые мыслители решительно переступили в другую сферу — в область вопросов общественных, где первое место занимает уже не внешняя форма, но сама внутренняя жизнь общества, в ее действительных, существенных отношениях.

Умственные движения на Западе совершаются теперь с меньшим шумом и блеском, но, очевидно, имеют больше глубины и общности. Вместо ограниченной сферы событий дня и внешних интересов, мысль устремляется к самому источнику всего внешнего — к человеку, как он есть, и к его жизни, как она должна быть. Западные писатели начинают понимать, что под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все, и потому в мысленной заботе своей стараются перейти от явления к причине, от формальных внешних вопросов хотят возвыситься к тому объему идеи общества, где и минутные события дня, и вечные условия жизни, и политика, и философия, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религия, и вместе с ними словесность народа, сливаются в одну необозримую задачу: усовершенствование человека и его жизненных отношений («Москвитин», 1845 г., № 1).

Откуда же взялась у нас (да и у некоторой части западной публики) мысль, или, лучше сказать, не мысль, а мелодраматическая фраза о том, что Запад дряхлый старец, который извлек из жизни уже все, что мог извлечь, который истощился жизнью, и т. д.? Да все из разных западных же пустыньких или тупоумненьких книжонок и статей, потому что, нечего греха таить, и на Западе много сочиняется пустых книжек и статей, по крайней мере, по десяти на одну дельную, все равно, как и у нас, на одну умную статью г. И. Киреевского приходится, по крайней мере, десяток жалких статей, написанных на ту же, повидимому, тему, но написанных педантами или людьми ограниченными. По преимуществу эти унылые книжки и статейки пишутся на французском диалекте; главные богадельни для этих беззубых воздыханий — различные *Revue des deux Mondes*, *Revue Contemporaine*, *Revue de Paris* и газеты с фельетонами. Пишутся они отчасти французскими Маниловыми, отчасти французскими Чичиковыми, потому что, опять нечего греха таить, во Франции, как и повсюду, есть свои Маниловы и Чичиковы, отчасти людьми плутоватыми, отчасти добродушными, но вообще людьми отсталыми. Основание для вздохов и охов о бедной европейской цивилизации, о погибающей Европе — то, что они по поверхностному простодушию не могут или по расчету не хотят понять строгих, но благих идей современной науки, выраженных «передовыми мыслителями». Для низших слоев публики, упивающихся переводами дюмазовских романов, эти книжки и статейки в огромном количестве переводятся и на немецкий язык. Впрочем, и немецкие Маниловы фабрикуют подобные книжки и статейки в изрядном количестве и качестве, потому что Германия, довольно скудная Чичиковыми, преизобилует Маниловыми. Переводятся и переделываются они также и в Англии, но в меньшем количестве, потому что англичане мало расположены к маниловщине, как народ сухой, а Чичиковы там заняты биржевыми и фабричными проделками. Читая воздыхания людей, поневоле впадешь в тоску об участи европейской литературы, науки, цивилизации и т. д., все равно, как, перечитывая в старом «Москвитянине» статьи г. М. Дмитриева, г. А. Студитского, г. Шевырева и т. д., мы впадали в совершенную тоску об участи русской науки, литературы и т. д. Но мы извиняемся, по крайней мере, необходимостью пересмотреть старый «Москвитянин» для дела, которым теперь занимаемся; а кому какая необходимость читать произведения Сент-Бева, Филарета Шаля, Сен-Рене-Тальяндье, Луи Ребо, Мишеля Шевалье и т. д., и т. д.? Тут уж совершается чисто произвольный грех. Зато и наказание за этот грех посылается тяжкое: оплакивать скоропостижную дряхлость и безнадежную гибель целой части света! Чтобы составить себе справедливое понятие о современном состоянии европейской науки и цивилизации, надобно действительно изучать его в произведениях «пере-

довых мыслителей» Запада. И кто поймет значение их трудов, тому общий вопрос о Европе и об отношении России к Западной Европе представится столь же простым, как представлялся, по мнению автора, тридцать лет тому назад. А в частности он будет думать о старинной Руси точно так же, как думал о ней Петр Великий, который очень близко, кажется, знал ее по собственному опыту. Относительно понятий о различии основных элементов старинной русской жизни от элементов жизни западной он также будет судить очень скромно, потому что современная европейская наука хотя и не занималась специальной разработкою русской старины, но достаточно уяснила вопросы об исторической жизни многих других народов, которые находились или находятся в положении, очень похожем на состояние допетровской Руси, или имели на старинную нашу жизнь влияние. Результаты исследований наших собственных ученых о нашей старине совершенно подтверждают справедливость общих понятий современной науки о тех специальных элементах, присутствие которых в старинной Руси кажется автору столь важным и оригинальным. Кстати, невозможно сомневаться в том, что славянофилы говорят об этих элементах без непосредственного знакомства с объяснениями и взглядами лучших специалистов наших и европейских. По всему очевидно, что они представляют себе эти элементы не в том истинном виде, как они излагаются в специальных сочинениях, а сообразно своим личным понятиям, — понятиям дилетантов, не углублявшихся в тяжелые специальные сочинения, а узнавших о содержании этих сочинений из рецензий, писанных людьми отсталыми.

Кроме главной мысли об односторонности западной цивилизации и неспособности ее к дальнейшему развитию, — мысли, навеянной журналами в роде *Revue des deux Mondes*, есть еще другая основная мысль в системе славянофилов — одностороннее пристрастие к своему. Чувство любви к своему хорошо; но оно должно быть проверяемо анализом фактов. Мы долго придумывали, как бы объяснить это удовлетворительным образом, но вспомнили, что очень удовлетворительно объяснен этот вопрос в стихотворении г. Хомякова («Московский сборник», 1852, стр. 141):

«Мы род избранный», — говорили
Сиона дети в старину,
«Нам божьи громы осушили
Морей волнистых глубину.

Для нас Синай оделся в пламя,
Дрожала гор кремнистых грудь,
И дым и огнь, как божье знамя,
В пустынях нам казали путь.

Нам камень лил воды потоки,
Дождили манной небеса,

Для нас закон, у нас пророки,
В нас божьей силы чудеса».

Не терпит бог людской гордыни;
Не с теми он, кто говорит:
«Мы соль земли, мы столб святыни,
Мы божий меч, мы божий щит!»

Не с теми он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв и спит умом.

Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил... и т. д. ⁴⁰.

Вообще должно сказать, что славянофильство навеяно к нам с Запада: нет ни одной существенной мысли в нем (решительно ни одной), которая не была бы заимствована из некоторых второстепенных французских и немецких писателей, преимущественно из писателей, недовольных тем, что их различные отсталые понятия или наивные ожидания не подтверждаются наукою. Но известно, что многое уже ненужное в одной стране еще может приносить некоторую пользу в некоторых других странах. Многие понятия, сделавшиеся в своем отечестве уже совершенно отсталыми, нисколько не основательными, в других странах еще могут получить достоинство относительной свежести и основательности, потому что противопоставляются мыслям, еще более отсталым, еще менее основательным, могут иметь интерес живости и новости и в этом качестве возбуждать деятельность ума, направляя его к дальнейшим успехам, — одним словом, приносить пользу. Объяснимся примером. Для Германии уже устарели системы Канта и Шеллинга, когда Кузен переделал их для Франции; но во Франции они были еще новостью и, несмотря на то, что искажены были в переделке, принесли довольно значительную пользу. И наоборот, многие сочинения, уже устарелые для Франции, приносили свою пользу в Германии, будучи переводимы или переделываемы на немецкий язык. Так надобно смотреть и на наше славянофильство. Оно основано на заимствовании мыслей, устаревших на их родине; но у нас эти мысли могут еще для очень многих иметь новизну, возбуждать деятельность ума, приносить пользу. Не говорим уже о том, что они живительно действуют на развитие в нашей литературе действительно современных мыслей, вызывая противодействие.

Но мало сказать в оправдание славянофильства, что оно приносит относительную или отрицательную пользу. Есть в нем некоторые стороны и безусловно хорошие. Посредственные французские или немецкие писатели, которыми оно навеяно, конечно, сами не могли бы придумать ничего особенно хорошего; зато они мало и придумали своего: почти все у них взято из писателей действи-

тельно хороших. Правда, многие из книг, откуда они почерпали, слишком заплесневели от ветхости; но кое-что, и даже довольно многое (преимущественно критика всех пережитых современною наукою и жизнью ступеней развития), заимствовано из современных гениальных писателей. Правда, они иногда порядочно искажают заимствуемые гениальные мысли, но все-таки не все живое стерли с них. Правда, эти свежие мысли вплетены в систему, сущность которой довольно ветха; но новые заплаты на ветхом платье тем ярче блещут свежестью своих красок, — они безобразят самое платье, но сами по себе еще больше выигрывают от его безобразия. Если бы в посредственную повесть какого-нибудь дюжинного беллетриста была вставлена глава из «Мертвых душ», повесть в целом стала бы вдвое безобразнее, но прелесть отрывка из «Мертвых душ» была бы — хотя бы он был даже отчасти переделан к худшему — вдвое поразительнее в этой повести, нежели в самых «Мертвых душах». И скажите, разве было бы бесполезно прочесть эту повесть человеку, который еще не имел (и, быть может, долго не будет иметь) случая прочесть «Мертвые души»? И не бойтесь продолжительности его заблуждения: так или иначе, но он услышит, что отрывок, ему понравившийся, заимствован из Гоголя, и тогда никто его не удержит от чтения самого Гоголя. Есть люди требовательные, неуступчивые, которые говорят: «всё или ничего, клочки и обрывки никуда не годятся»; но иногда самый требовательный человек видит себя в необходимости с благоразумною уступчивостью говорить: «лучше хлеб с мякиной, нежели совершенно ничего».

Это о положительном содержании славянофильства. Что же касается его стремлений, нельзя не отдать ему полной справедливости. В извлечении статьи г. Киреевского: «О характере просвещения Европы», последние строки, отмечены у нас вносными знаками, выписаны нами без всяких перемен и составляют заключение в самом подлиннике: истязуйте эти строки, как хотите, но вы не можете найти в них вражды к просвещению; напротив, они внушены горячею ревностью к просвещению и к улучшению русской жизни. Можно и должно не соглашаться с почтенным автором в средствах к достижению, но нельзя не признаться: цель его — цель всех благомыслящих людей.

Можно отыскать и много других хороших сторон в славянофильстве; но мы боимся, что уже утомили читателей слишком длинным отступлением. Потому скажем только, что для развития той части русской публики, которая им увлекается, эти убеждения гораздо более полезны, нежели вредны, служа переходною ступенью от умственной дремоты, от индифферентизма или даже вражды против просвещения к совершенно современному взгляду на вещи, к совершенному разрыву с нашей старинной бездейственностью и холодностью в деле общем. Потому-то люди, которых в насмешку называли «западниками», и славянофилы,

несмотря на жаркие споры между собою, были сподвижниками в одном общем стремлении, которое тем и другим было в сущности дороже всего остального, что их разделяло. Что же касается этих пунктов несогласия, мы изложили о них мнение, которое кажется нам справедливым, и можем прибавить только, что довольно было бы выставить на вид основные мысли, например, из приведенного нами в выноске начала статьи самого г. И. Киреевского «Обозрение современного состояния словесности», — и эти его собственные понятия обличили бы несправедливость его выводов относительно дряхлости западной цивилизации. Но к чему это? лучше будет окончить наш эпизод о славянофилах превосходным заключением, которое дал г. Киреевский своей статье о современном состоянии словесности:

Мы думаем, что все споры о превосходстве Запада или России, о достоинстве истории европейской или нашей и тому подобные рассуждения принадлежат к числу самых бесполезных, самых пустых вопросов, какие только может придумать праздное любопытство мыслящего человека. И что, в самом деле, за польза нам отвергать или порочить то, что было или есть доброго в жизни Запада? Не есть ли она, напротив, выражение нашего же начала, если наше начало истинное? Вследствие его господства над нами (то есть господства этого истинного начала) все прекрасное, благородное, по необходимости нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское. Голос истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является истинным, где бы то ни было («Москвитянин», 1845, № 2).

Теперь, хотя в общих чертах определив наше понятие о славянофилах, мы можем перейти к характеристике критической деятельности г. Шевырева. Г. Шевырев многими был считаем за славянофила, и он сам отчасти подавал к тому повод, очень часто, или, лучше сказать, постоянно, в каждой статье своей, развивая три или четыре темы, повидимому, сходные с мыслями славянофилов. Различие было, повидимому, только в том, что г. Шевырев выражал эти мнения гораздо красноречивее, и так как красноречие состоит в употреблении различных фигур, как-то: усугубления, наращивания, напряжения и тому подобных, то, по необходимости, мысли эти выражались у него гораздо сильнее, нежели у г. Аксакова, г. Киреевского или г. Хомякова. Мы скажем даже: выражение этих мыслей было у него отчасти доведено до излишней утрировки, если бы могло быть излишество в столь приятной вещи, как красноречие. Из этих трех, четырех тем самою любимую было так называемое на языке г. Шевырева «гниение Запада». Самые ревностные славянофилы не выражались об этом предмете и в десятую долю так сильно и картинно, как г. Шевырев. Приводим один только пример:

В наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом мы имеем дело с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства — и не замечаем скрытого яда в беспечном

общении нашем, не чуем в потехе пира будущего труппа, которым он уже пахнет. Он увлек нас роскошью своей образованности; он возит нас на своих окрыленных пароходах, катает по железным дорогам, угождает без нашего труда всем прихотям нашей чувственности, расточает перед нами остроумие мысли, наслаждения искусства. Мы рады, что попали на пир к такому богатому хозяину. Мы упоены, нам весело так дешево вкусить то, что так дорого стоило. Но мы не замечаем, что в этих яствах таится сок, которого не вынесет свежая природа наша; мы не предвидим, что пресыщенный хозяин, обольстив нас всеми прелестями великолепного пира, развратит ум и сердце наше, что мы выйдем от него опьяненные не по летам, с тяжким впечатлением от оргии, нам непонятной («Москвитянин», 1841, № 1, стр. 247—248. «Взгляд русского на образование Европы»).

Ужасная картина! Вообразите только: «мы делим трапезу мысли и пьем чашу чувства с трупом»! Если мы не ошибаемся, истинные славянофилы назовут эти выражения более поэтическими, нежели точными; вероятно, прибавят даже, что от подобного взгляда на западную цивилизацию они столь же далеки, как и от безусловного поклонения Западу. Впрочем, если мы не имеем прямых указаний на то, как думают славянофилы о мнениях г. Шевырева, зато г. Шевырев достаточно определил свои понятия о славянофилах, — например, хотя бы в следующих строках, заимствованных из его статьи об «Одиссее», переведенной Жуковским. В пояснение этого отрывка предварительно заметим, что понятия о преобладании «мира», общины над отдельною личностью в древней Руси — одно из самых дорогих убеждений для славянофилов, и подчинение личного произвола в отдельном человеке общественной воле — едва ли не существеннейшая черта их идеала в будущем. Мы не подозреваем себя в пристрастии славянофильскому образу мыслей, но должны сказать, что учение об отношении личности к обществу — здоровая часть их системы и вообще достойно всякого уважения по своей справедливости. Г. Шевырев выразился об этом предмете следующим образом, рассуждая о циклопах:

Главный источник их дикости (т. е. дикости циклопов) — отсутствие веры в богов. Когда Одиссей вздумал убеждать циклопа именем Зевса, бога гостеприимца и заступника странников, тот отвечал ему:

Видно, что ты издадека, или вовсе безумен, пришелец,
Если мог вздумать, что я побоюсь иль уважу бессмертных.
Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевесе, ни в прочих
Ваших блаженных богах; мы породой их всех знаменитей.
Страх громовержца Зевеса разгневать меня не принудит
Вас пощадить; поступаю я, как мне самому то угодно.

Такое безверие соединено в циклопе с отсутствием всякого понятия о личности человеческой. Человек ему ничтожен. Он считает его наравне с бараном. Такое безумие объясняет нам, почему циклоп, правда, пьяный, поверил тому, что человек может называться *Никто* и не иметь никакого личного имени. Разумная хитрость Одиссея здесь вполне торжествует над грубою дикостью людоеда, не признающего личности человеческой. При этом кстати нельзя не вспомнить, что некоторые мнимые мыслители наши,

увлекшись немецкою философию, вадумали было навязать такие циклопические понятия об личности человеческой народу древней Руси, иные умышленно, с неуважением к ее значению, другие же с добродушным отсутствием всякого умысла, а принося от чистой русской ду ти бессознательную жертву русскою же непонятою ими народностию в пользу германского любомудрия. («Москвитинин», 1849, № 3. «Критика», стр. 109.)

После этого, конечно, никто не будет смешивать г. Шевырева с славянофилами; а внимательное рассмотрение статей ученого автора приведет каждого к решительному убеждению, что если г. Шевырев находит некоторые отдельные их мысли полезными, но слишком недостаточно развитыми и слишком слабо выраженными у самих славянофилов, и потому старается повторять эти мысли как можно чаще, в самых энергических выражениях, сообщая им самое всеобъемлющее значение, прилагая их ко всякому данному предмету, — если, говорим мы, он делает это, то делает как мыслитель своеобразный. Определить его образ мыслей было бы очень затруднительно, потому мы и не беремся за это, предоставляя каждому читателю выводить из фактов, представляемых нами на следующих страницах этой статьи, такие заключения, какие ему покажутся естественными. Мы можем сказать только одно: г. Шевырев мыслитель своеобразный. Считаем также небесполезным заметить, что писатели, вступавшие в учено-литературные прения с г. Шевыревым, конечно, напрасно жаловались, будто он, в возражениях своим противникам, переступал иногда границы чисто ученого или литературного прения, вовлекая в сферу спора предметы и понятия, которых у нас ни в какой полемике не должно касаться; что несправедливо утверждали также, будто бы иногда он увлекался даже в некоторые опасения против просвещения. Несправедливость всех этих упреков до очевидности изобличается тем, что, разбирая сочинение князя Вяземского «Фон-Визин», ученый критик выписывает из этой книги следующие благородные и прекрасные строки:

Немного таких истин несомнительных, немного таких правил непреложных, коих святость должна пребыть несомненною и тогда, когда противоречат им последствия частные, случайные и независимые от воли людей. Но, посвятив себя на служение одной из сих истин, должно пребыть ей верным без изъятия, применяя к себе рыцарское восклицание французских роялистов: *Vive le roi quand même!* Польза просвещения есть одна из малого числа сих исключительных истин. Почитая его единым, прочным основанием благосостояния общего и частного, совестью правительств и лиц, простиительно ли, например, пугаться малодушно некоторых прискорбных явлений, приписываемых просвещению, или, положим, и влекущихся за ним по неисповедимым законам провидения, которое отказало в совершенстве всему, что ни есть на земле? Писатель, который, по званию своему, обязан быть проповедником просвещения, а вместо того бывает доносчиком на него, подобен врачу, который, призван будучи к больному, пугает его неверностию своей науки и раскрывает перед ним гибельные ошибки врачевания. Пусть каждый остается в духе своего звания. Довольно и без писателей найдется людей, которые готовы остерегать от властолюбивых посяганий разума и даже клеветать на него при удобном случае.

И не только выписывает г. Шевырев эти строки, но и похлительно называет «прекрасными» («Москвитянин», 1848, № 7, стр. 18).

Будучи известен как один из наших почетнейших критиков, г. Шевырев столько же известен как поэт и знаменит как ученый. Здесь нас занимает исключительно его критическая деятельность; поэтических и ученых его произведений мы должны коснуться только мимоходом, насколько то нужно для дополнения общего понятия об ученом критике.

«Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» до сих пор остается из ученых сочинений г. Шевырева лучшим в научном отношении. Это — полезная компиляция, в которой своеобразная мыслительность автора еще едва проглядывает, но достаточно — и не во вред компиляции — обнаруживается порядочная начитанность. «История поэзии у всех народов» началась и окончилась первым томом, «содержащим (как сказано в заглавии) историю поэзии индейцев и евреев, с присовокуплением двух вступительных чтений о характере образования и поэзии главных народов Западной Европы». — Этот единственный из многих предполагавшихся томов был поводом к полемике, знаменитой в летописях нашей журналистики. Некоторые эпизоды ее могли бы быть занимательны, но отвлекали бы нас от предмета. Лет через десять после того явились первые две части «Истории русской словесности, преимущественно древней». Это самое ученое и самое важное сочинение г. Шевырева. Хорошую сторону его составляет то, что факты, относящиеся к истории литературы, собраны довольно полно; слабая сторона — то, что они переплетены с гипотезами и мечтами, не выдерживающими самой снисходительной критики. Это было бы еще не очень вредно для книги, если бы автор делал хотя какое-нибудь различие между положительными фактами и созданиями своего поэтического воображения: почему же и не пофантазировать? Но ученое достоинство сочинения теряет оттого, что все эти гипотезы и фантазии высказаны догматически, что ничем не отличены они от достоверных фактов: автор совершенно одинаковым тоном говорит и о том, что Владимир Мономах написал поучение своим детям, и о том, что гегелева философия возникла из мыслей, изложенных в послании Никифора к Мономаху; и о том, что «Слово о полку Игореве» проникнуто грустью о междоусобицах, и о том, что Москва возвысилась благодаря не другому кому, как именно Даниилу Паломнику. Какая связь между Гегелем и Никифором, Даниилом Паломником и Москвою, этого уж мы не беремся объяснить: надобно было бы выписывать подлинные слова; а у нас и без того слишком много выписок. О мелких ошибках в изложении фактов мы не говорим, — не говорим и о том, справедливо ли воззрение г. Шевырева на историю русской литературы: невольную ошибку легко извинить;

но произвольность фантазий, два примера которых мы представили, должна быть очевидна каждому, каковы бы ни были его понятия о старинной русской литературе. Нет сомнения, что все эти пылкие мечты должно объяснять желанием ученого автора сообщить своему сочинению художественные достоинства: известно, что в художественном создании форма, то есть красноречие, важна не менее содержания. Автор очень успешно достиг этой цели. Его сочинение отличается вдохновенным красноречием; но как ученым пособием пользоваться им затруднительно. «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь»⁴¹ имеет в двух томах две интересные страницы: одна из них представляет не лишенную цены для науки выписку из «Паисиевского сборника» о языческих суевериях; другая страница содержит знаменитое размышление о том, что «не жаден русский человек, не завистлив: летает вокруг его птица — он не бьет ее, плавают рыба — он не ловит ее, и довольствуется скудной и неудобоваримой пищею», зная, что пища и питье — суета, заботясь только о неземных благах. Все остальное в «Поездке» не имеет особенной важности.

Переходя к чисто-поэтическим созданиям г. Шевырева, мы не будем произносить суждения о их достоинстве: достоинства эти очевидны. Немногие из знаменитых критиков писали стихи; но если кто из них писал, то стихи всегда бывали такого рода, что доставляли ему славу лучшего поэта своей эпохи. Иначе и быть не могло: критик должен быть одарен тонким вкусом и плохих стихов не почтет достойными печати, хотя бы они были его собственные. Вспомним Буало, Попе: будучи хорошими критиками, они были и лучшими поэтами своего времени. То же и у нас — вспомним Карамзина и Мерзлякова: судите, как хотите, о их поэтическом таланте, плохих стихов вы у них не найдете. Из всего этого очевидно, что стихи г. Шевырева должны также быть хороши. Это мнение некоторым читателям может показаться довольно смело. Но мы докажем его фактами. Жалеем, что недостаток места не позволяет нам украсить этих страниц гармоническими октавами ученого поэта⁴²; ограничимся двумя другими, небольшими отрывками. По случаю начала постройки Московской железной дороги г. Шевырев написал стихотворение, из которого мы приводим только одну строфу:

«Что-то будет? — православный
Думу думает народ: —
Аль Москве перводержавной
Позабыть свои семьсот?
Загудев колоколами
Золотой своей главы,
Двинуть всеми сороками,
Да итти на брег Невы?»⁴³

Этот энергический порыв мысли к дивным картинам не есть в его таланте черта временная или случайная: до последнего вре-

мени она сохранилась во всей живости. Так, например, одно из стихотворений, писанных г. Шевыревым в 1853 году, начинается следующим образом:

Пушкин! встань, проснись из гробу!
Где твой голос и язык?
Поражай врагов и злобу,
Зачинай победный крик!
Но ты спишь; умоляю Жуковский!
Мир наш нем, как стихший гром,
Будто колокол кремлевский
С отлетевшим языком.
Если вестники к вам в гости
Прилетают с наших стран, —
О! твои играют кости,
Словно радостный орган!.. и т. д.⁴⁴

Самые завистники поэта согласятся, что в этих смелых образах выразилась титаническая сила фантазии. Мы упоминали о стихах г. Шевырева собственно потому, что уверены в их достоинстве: хороший критик может писать плохие стихи, но не будет печатать их, — по крайней мере, не будет печатать их в продолжение тридцати лет.

Мы уже отказались от слишком трудной задачи положительным образом определить мнения г. Шевырева. Приступая теперь к изложению его критической деятельности, сообразно своему решению, мы не будем отыскивать принципов его критики, вовсе даже не будем касаться их. Пусть они будут справедливы, — тем лучше, пусть они будут неудовлетворительны, — это не помешает нам отдать полную честь верности его суждений об отдельных фактах, тонкости и проницательности его вкуса. Ведь теоретические принципы Буало, Лагарпа, Попе, Карамзина, Мерзлякова были неудовлетворительны в научном отношении, а между тем, эти критики, благодаря своему уму и вкусу, об отдельных произведениях литературы судили очень здраво, хорошими называли действительно лучших писателей своего времени, восхищались именно тем, что было у этих писателей лучшего. Возьмем примеры еще ближе: Пушкин не был отличным теоретиком, а его суждения об отдельных писателях и произведениях литературы удивительно верны и метки. Гоголь был абсолютно плохим теоретиком, а судил о литературных произведениях тоже с изумительною верностью и проницательностью. Иначе и быть не могло, потому что у этих людей не было недостатка ни в здравом уме, ни в эстетическом вкусе. Чтобы верно делать общие выводы или верно прилагать к фактам общие принципы, нужны и особенная привычка и специальная способность к тому. Но, чтобы отличить г. Бенедиктова от Лермонтова или Гоголя от Ариоста, вовсе не требуется быть мыслителем.

Г. Шевырев приобрел известность как критик задолго до основания «Москвитянина». Не говоря уже о «Московском вестнике» и «Телескопе» с «Молвою», в которых он еще не играл

первой роли, упомянем только, что при основании «Московского наблюдателя» он явился главным лицом в этом журнале, первая книжка которого начиналась статьею г. Шевырева «Словесность и торговля», — статьею, которая в свое время подала повод ко многим насмешкам, — потому мы оставим ее в покое; заметим только, что Гоголь (в статье о движении журнальной литературы) справедливо удивляется тому, как автору удалось, заговорив об отношениях (денежные отношения литераторов), представляющих столь много сторон, достойных порицания, выбрать для своих нападений как будто нарочно единственную хорошую сторону этих отношений (именно то, что литературный труд начал у нас в России хотя несколько вознаграждаться, как и всякий другой труд, в том числе и ученый). Не будем припоминать и других его статей в «Московском наблюдателе», даже знаменитого в свое время разбора стихотворений г. Бенедиктова, в котором было доказано, что г. Бенедиктов есть «поэт мысли», и с ним в первый раз является в русской литературе мысль⁴⁵, — оставим все это в покое: в то время г. Шевырев только еще начинал развивать своеобразность своих понятий, и участие в «Московском наблюдателе» еще не было блестящею эпохою его деятельности. Мы хотим ограничиться изучением его критики во времена полнейшего ее развития: прочную известность г. Шевырев как критик приобрел только уже тогда, когда «Москвитянин» сделался его органом. Займемся же изучением этих статей.

Общий взгляд свой на всю русскую словесность г. Шевырев выразил, или обещал выразить, в статьях, под заглавием: «Взгляд на современное направление русской литературы». Из них первая, «Темная сторона», явилась в первой книжке «Москвитянина» — за 1842 год. Она очень замечательна, и мы должны дать подробный отчет в ее содержании.

Статья начинается размышлением об огромности пространства, занимаемого Россиею, и о том, что все в ней имеет громадные размеры. — В рассуждении об этом автор доходит до поэтического предположения, которое в свое время поразило ужасом бедных итальянцев:

Разгульно текут многоводные наши реки; невольно подумаешь: что, если бы Волгу, Днепр да Урал скатить в три потока с Альпов на Италию, куда бы делись от них итальянцы? Разве спаслись бы на высотах апеннинских.

И не только итальянцы, даже русские были смущены этим ужасным и новым предположением, этим неслыханным бедствием, угрожающим целой стране. До 1842 года только однажды было высказано столь роковое опасение*. Но, не останавливаясь на уча-

* «Меня чрезвычайно огорчило событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны...» и т. д. (Соч. Гоголя, ч. 3, стр. 348).

сти итальянцев, автор удивляется особенно тому, что в России две столицы*, и подробно описывает одну из них, Петербург. О верности этого описания можно судить из того, что автор хвалит чистоту здешних каналов. «Каналы, как чистые реки, голубыми лентами переплели город». Эта черта замечена была до 1842 года опять только одним Гоголем, в описании Невского проспекта. Рано поутру, говорит Гоголь, на Невском видны только рабочие люди, например, «русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии был бы обмыть». После того автор советует читателю «посмотреть на чудо-город» — то есть Петербург — с вершины Александровской колонны, вероятно, предполагая, что внутри ее существует витая лестница, как в Трояновой колонне — смешение неудивительное, потому что г. Шевырев очень хорошо знает Италию. Когда вы взберетесь на вершину Александровской колонны и посмотрите вниз, то отгадайте, что представится вашим глазам? Вероятно, величественные здания, окружающие площадь, где поставлена колонна? Нет! «необыкновенная, безобразная куча, в роде муравьиной», в которой «безыменные насекомые работают над ничтожною кучею бесполезного сора». Эта куча — петербургская журнальная литература. «Как могла появиться эта безобразная куча на том месте, где недавно работал плотник и зодчий истории государства российского», то есть Карамзин? В ответ на это излагается вся история нашей литературы, и результат обзора — важная истина, что труды Ломоносова, Карамзина и Пушкина пробудили у нас охоту к чтению, и петербургские журналы удовлетворяют этой пробужденной потребности. Повидимому, тут нет ничего ужасного. Но автор приходит в негодование, которое изливается следующей аллегорией:

Весело стоит на поле и тяжелым колосом гнется книзу поспелая нива: честные земледельцы положили в нее труд свой; благосклонное небо ее поливало и грело; осталось одно легкое, последнее дело — снять и потребить ее. Но вот — смотрите — что это там за серая туча на небосклоне? Как будто из мелких точек вся соткана и летит быстро, жадно на чужой плод. Это саранча — настоящий потребитель приготовленной жатвы. Нагло предоставляет она себе последнее, легкое дело, бросается на ниву и ест ее.

По прямому смыслу аллегории должно было бы казаться, что саранчой, потребляющею жатву, г. Шевырев называет читателей; но он объясняет сам, что хочет разуместь не читателей, а тогдашних (1842) журналистов. В таком случае, аллегория составлена неправильно. Читатели извинят нас, если мы подвергнем «мертвящему анализу рассудочной науки» поэтически-живую филиппику ученого и почтенного автора по правилам, предписываемым

* Но ведь в Японии тоже две: Иеддо и Миако; в Великобритании с Ирландиею даже три: Лондон, Эдинбург, Дублин.

для аллегорий теориями красноречия и пиитики. Ученость необходимо разбирать ученым образом. Итак, первое правило аллегории, по учению пиитик: каждый избранный символ должен сохранять одно и то же значение во все продолжение аллегии. Применим это правило к филиппике ученого автора. В начале приведенной нами тирады «спелая жатва» означает плоды наук, просвещение; «пожать эту жатву», значит посредством чтения сделаться просвещенным человеком; люди, для которых она зреет, — читатели; сообразно тому — «саранча пожрала жатву», должно значить: «неразборчивые читатели или злонамеренные читатели поглотили, с жадностью прочли все»; но г. Шевырев хочет выразить этою фразою: «Нынешние (1842) журналисты пользуются тем, что приготовили Карамзин и Пушкин, и портят вкус публики» — воля ваша, аллегория составлена неправильно. Понять ее в смысле ученого автора, значит погрешить против реторики. Но согласимся понимать ее, как то угодно г. Шевыреву. Что же следует из нее и в этом случае? В чем обвинял г. Шевырев петербургских журналистов? По смыслу его собственной речи, в том, что в 1842 году в петербургских журналах не помещали своих статей ни Ломоносов, ни Карамзин, ни Пушкин, — но что же делать, если эти великие писатели не дожили до 1842 года? Ни журналисты, ни г. Шевырев не виноваты в этом. Второе правило аллегорий: выбирать символы, действительно соответствующие по своему значению тем понятиям, о которых должны напоминать. Если литература, просвещение — жатва, то саранча, истребляющая жатву, никак не может обозначать каких бы то ни было читателей или литераторов, хотя бы самых плохих: саранча в этом случае может означать только врагов литературы и просвещения, обскурантов. Воля ваша, а аллегория составлена не по правилам пиитики и реторики. Впрочем, это не мешает нам восхищаться ее высоко лирическим парением.

Кстати, заметим, что правила, предписываемые реторикой для аллегорий, никогда не соблюдаются ученым автором. Так, например, в другой своей капитальной статье о положении нашей словесности: «Очерки современной русской литературы» («Москвитянин», 1848, № 1), он дает следующий — конечно, прекрасный — совет нашим (тогдашним) молодым беллетристам, особенно гг. Гончарову, Григоровичу и Тургеневу:

Наши писатели должны бы были помнить миф об Антее. Когда он боролся с Геркулесом, то земля придавала ему силы, лишь только он касался ее. Чтобы обессилить его, Геркулес должен был отвлечь его от земли и задушить на воздухе. Таков и поэт и писатель вообще. Большая же часть наших писателей современных, развивающих свою личность в какой-то отвлеченной сфере, чуждой основным началам народной жизни, похожи на Антея, но в ту самую минуту, когда он поднят был Геркулесом, ногами на воздух, и там в отвлеченной пустоте дрыгал ими, отчаявшись в возможности коснуться родной земли, которая дает силу (стр. 42).

Совет прекрасен; но аллегорическая одежда для него сшита не по правилам. Припомним, что символы должны соответствовать предметам, символами которых служат. Ведь Антей был гигант; а г. Шевырев, во все продолжение своей статьи, доказывает, что вышепоименованные молодые писатели, которым он дает совет, очень мелкий народ, — как же после этого начинать аллгорию об Антее? И притом, каждый символ должен в аллгории иметь определенное значение. Спрашивается теперь, кто же этот Геркулес, который отрывает Антея (то есть ничтожных писателей, каковы гг. Гончаров, Григорович, Тургенев) от матери-земли? Решительно, не придумаем; кажется, никто никогда не думал советовать им писать повести не из русского быта. И хотя на одной странице какой бы то ни было своей повести отрывался ли хотя один из них от изображений родного быта? Каким же образом и когда они «дрягали ногами в отвлеченной пустоте»? Воля ваша, ничего нельзя понять. А не оттого непонятно, чтобы совет был нехорош: нет! просто оттого, что выражен он неудачно; да разве еще оттого, что нимало не прилагается к данному случаю: ведь согласитесь, что гг. Гончарову, Григоровичу и Тургеневу совершенно излишне читать назидания о том, чтобы они верно изображали русский быт: другого ничего никогда и не делали они. Нас очень интересуют вопросы о риторических красотах ученого автора потому, что красноречие есть существеннейшее достоинство его ученых и критических произведений. Но возвратимся к статье о темной стороне русской литературы.

После притчи о жатве и саранче г. Шевырев довольно подробными чертами и самыми темными красками рисует портреты петербургских журналистов и рецензентов, людей, возбуждающих его неудовольствие, — в этих картинах опять восхитителен пиитический колорит; но опять нас приводит в недоумение невыдержанность характеров; смешение нескольких физиономий в один портрет, раздробление одного лица на несколько портретов, так что в целом галлерей портретов представляет страшный и смутный хаос. Стрелы, направленные против одного, например, против «Русского вестника», летят в другого, кажутся направленными, например, против «Библиотеки», «Сына отечества»⁴⁶ или «Эконома»⁴⁷, и не попадают ни в кого. Видно, что автор руководился более пафосом, нежели наблюдательностью. Исключение остается за одним портретом, который обработан с особенною подробностью: это «рыцарь без имени, на щите которого громадными кривыми буквами написано: «Убеждение»⁴⁸. Тут уже нет смешения: все собранные автором черты должны, по некоторым внешним признакам, относиться к одному человеку, писавшему в «Отечественных записках». Нельзя претендовать на чрезвычайную жесткость выражений в этом очерке: если в полемике сохраняется прямота, она всегда жестка, и, во всяком случае, прямота лучше косвенных намеков; дурно только то, когда жесткость

формы сопровождается разными намеками. Но странно то, как неудачно выбран г. Шевыревым пункт нападения. Вообразите, какой существенный порок изобличает он в «рыцаре без имени»? — переменчивость и отсутствие убеждений. Это решительно невероятно, этого никак невозможно было бы ожидать. Но вот слова ученого автора:

Всякое странное мнение, всякая нелепость, сказанная решительно и громко, прикрываются всегда щитом и ярким его девизом, который бросается в глаза, особенно неопытной молодежи, легко увлекающейся благородным значением самого слова. Но если бы это убеждение было постоянно и верно, — будь оно убеждением хотя младенца или сонного человека, — еще можно было бы его уважить. А когда видишь, что оно так часто меняется и падает иногда на предметы, совершенно того недостойные, что рыцарь сегодня скажет одно, а завтра другое, и все противоречия прикрывает одним и тем же щитом своим, то под конец еще более отвращаешься от такой маски, на которую употреблено чувство совести, чувство внутреннее и священное.

Rem acu tetigisti, как раз попали вы в цель! Только этою ученою фразою и можно выразить удивление, возбуждаемое столь удачным выбором слабой стороны в противнике. Обвинять его за изменчивость и отсутствие убеждений то же самое, что обвинять Пушкина за недостаток поэтического элемента в его стихах или г. Шевырева за недостаток ученых цитат в его ученых статьях. «Но, — восклицает с негодованием г. Шевырев, — мимо этих дрязг, от которых отвращаем глаза с чувством стесненным!» Взглянем на светлую сторону русской литературы, противоположную характеру петербургской журналистики. Тут опять овладевает автором пафос:

Но что же случилось с теми писателями, которые не могут сочувствовать направлению современному? Где они? где наши таланты? Ужели ими оскудела Россия? О, нет! они есть! Но, смотрите, они там, укрылись в тени. Чувствуя свое истинное призвание и питая уважение к делу литературы, они отошли в сторону от торжища, по невольному движению благородного стыда и приличия. Не сознавая в себе достаточных сил, чтобы противодействовать толпе, которая кричит, зажмуря глаза, зная, что наглость деятельна, они не выходят на сцену. Вид прежнего их поприща, занятого теперь рынком, наводит даже какое-то оцепенение на их производительность, которая прежде была живее. Словно бояться они имени литератора, опасаются, чтобы не смешали их с теми, которых не презирать они не могут. Взгляните на их почти онемелые группы!..

Между тем, капиталы русского ума, воображения, сокровища мыслей, знаний, языка находятся в руках талантов по большей части бездейственных. Довольствуясь мирными беседами приятельскими, расточая в них по мелочи игру живых способностей, более и более отвыкая от труда и частыми отказами отучая от себя вдохновение, они почти не пускают капитала своих дарований в оборот всенародный.

Грустно, грустно дойти до такого заключения...

В самом деле, как грустно!

«— Где наши таланты?

— Смотрите, они там (где же это «там»?), укрылись в тени!»

Прискорбный разговор! Но если бы фразы г. Шевырева были справедливы, не слишком выгодное заключение надобно бы вывести о силе дарований в этих талантливых людях, «которые не чувствуют в себе достаточно сил», чтобы «выйти на сцену прежнего своего поприща», и в «бессилии стоят (где-то «там») в тени оцепенелыми, почти онемелыми группами». Г. Шевырев неосторожен в выборе выражений: он более заботится о их силе или картинности, нежели о том, к каким заключениям подают они повод. Но дело в том, что из его слов не надобно выводить никаких заключений: цель всех этих картинных изображений — в них самих; они — прекрасные поэтические украшения речи, имеющие своим назначением не выражение фактов действительности, а осуществление идеальных воззрений творческой фантазии поэта. В самом деле, ужели около 1841—1842 годов те писатели, которых г. Шевырев, подобно другим журналистам, признавал лучшими нашими талантами, стояли «вдали от торжища литературы онемелыми группами?» Вовсе нет: Жуковский трудился над переводом «Одиссеи», переводил «Рустема и Зораба», Гоголь напечатал «Рим», приготавливал к изданию первый том «Мертвых душ» и четыре части своих сочинений, — все это было известно г. Шевыреву; г. Вельтман быстро издавал один роман за другим; Загоскин тоже, и в той самой книжке «Москвитянина», где выражена эта жалоба, помещен отрывок из его «Мирошева»; г. Хомяков писал новых стихотворений, правда, немного, но не менее, нежели когда-нибудь; г-жа Павлова писала более, нежели когда-нибудь; г-жа Ростопчина тоже; казак Луганский тоже. А их г. Шевырев признавал во второй своей статье хорошими писателями. О петербургских молодых писателях, которых не признавал г. Шевырев, мы не говорим. Неумоимо писали и г. М. Дмитриев, и девица Зражевская, в которых ученый критик специально признавал талант. Вся патетическая тирада, которою заключается первая его статья, скорее принадлежит области поэзии, нежели прозы.

Одним словом, сожаление о том, что в 1841—1842 годах наши лучшие таланты ничего не писали, и скорбь о печальном положении нашей литературы не могут быть, по своей основательности, сравнены ни с чем иным, как с следующей элегиею г. М. Дмитриева о грустном положении русских девиц в том же 1842 году. Кстати, эта элегия с эпиграфом из Кольриджа:

O, my brethren! I have told,
Most bitter, truth, but without bitterness*.

напечатана тотчас вслед за статьею г. Шевырева, как бы составляя продолжение ее. Потому считаем необходимою выписать первые куплеты:

* О братья мои! горчайшую правду, но без горечи сказал я.

ЖАЛЬ МНЕ ВАС

Жаль мне вас, молодые девы,
Что родились вы в наш век,
Как молчат любви напевы
И туманен человек!

Ваши матери весною
Дней безоблачных своих
Для любви цвели красою
И для песен золотых.

Вы цветете без привета;
В ваших плясках — скуки след;
На любовь вам нет ответа,
На красу вам песен нет! и т. д.

Вот удивительное было время! Вообразите себе: в 1842 году по Р. Х. молодые люди не влюблялись в девиц, даже не писали им сладеньких стихов («на красу вам песен нет»), даже не говорили им комплиментов («вы цветете без привета»); а девицы с своей стороны не пели романсов («молчат любви напевы») и скучали танцами, не любили танцевать («в ваших плясках скуки след»). Странное было время в 1842 году, по словам г. Шевырева и М. Дмитриева.

Начало второй статьи г. Шевырева («Светлая сторона», «Моск[витянин]», 1842, № 2) патетичностью тона соответствует окончанию первой:

Прочь, прочь, несносная плесень, которая под обманчивою личиною весенней зелени скрывала от нас ясный поток современной русской литературы! Прочь, прочь ее тяжкий наплав! Сметем, счистим его в нашем воображении! Удалим прежнес неприятное впечатление и, освежившись очами, взглянем теперь на светлую, желанную сторону нашего предмета.

Светлую, желанную сторону предмета ученый автор предполагал обозреть с нескольких различных точек зрения и описать, сообразно тому, в нескольких статьях: в первой он хотел «изобразить современное состояние русского языка и слога», во второй — «деятельность наших стихотворцев», в третьей — «картину наших прозаиков», в четвертой — «влияние иностранных литератур на нашу отечественную», в пятой, наконец — «общую картину образования русского развития науки в нашем отечестве и в особенности познания России». — Исполнение этой «трудной задачи, которую он задавал себе», казалось ему «необходимым и полезным» делом, казалось даже «нравственным подвигом». Однако же, это «необходимое дело» не было совершено, этот «нравственный подвиг» не был исполнен, — потому ли что охота совершать нравственные подвиги может охлаждаться, или потому, что иногда, поразмыслив, перестаешь считать полезным то, что показалось на первый взгляд необходимым. Почему бы то ни было, но из обещанных многочисленных «картин» была напечатана ученым автором только одна, изображающая состояние

языка и слога; ни «деятельность наших стихотворцев», ни «картина наших прозаиков», ни все дальнейшие интересные предметы не были обсуждены ученым автором. Какая причина лишила русскую литературу этих интересных рассуждений, неизвестно нам, в чем мы уж и признались; можно поручиться только за одно: виною остановки не было сомнение почтенного автора в собственных силах, — этого сомнения никогда не обнаруживал г. Шевырев. Впрочем, вообще мы должны заметить, что ученые занятия, как уведомляет во многих местах «Москвитянина» сам почтенный автор, часто отрывали его от журнальной работы. Этому скорее всего надобно приписать то, что вообще он не сделал для «Москвитянина» многого из того, что первоначально предполагал сделать. Например, в одном втором нумере «Москвитянина» за первый год издания (1841) мы находим два подобные предположения. В своей статье «Вместо введения», служащей предисловием к его критике, г. Шевырев обещал «предлагать читателям теоретические статьи по эстетике». Исполнением этого намерения можно считать только небольшое рассуждение «О смешном», явившееся через двенадцать лет (в 1853 году). На странице 538-й той же второй книжки он говорит, что «дал обещание г. издателю «Москвитянина» заниматься в его журнале разбором замечательных произведений литературы отечественной и иностранной» — ни одного разбора замечательных творений «иностранной литературы» ученый автор, кажется, не поместил в «Москвитянине». — Отчасти уже и теперь могут судить читатели, не знакомые с старым «Москвитянином», а еще точнее увидят из всего продолжения нашей характеристики, до какой степени оправдалось исполнение предположение ученого критика, выраженное в следующих строках его «Вместо введения»:

Мы вменим себе в особенную обязанность подмечать движение общественной жизни в нашей словесности, мы употребим все усилия, необходимые для разрешения вопроса жизненного: в какой степени словесность наша отражает жизнь нашего общества? Что берет она у жизни и что отдает ей? какими вопросами с нею связана? — Разрешение всего этого может привести нас к некоторому сознанию настоящей минуты нашего отечественного быта, может указать нам на наши недостатки и достоинства, может определить наше положение в настоящем и надежды на будущее (стр. 509).

В свое время петербургские журналы чрезвычайно огорчались тем, что судьба не дает осуществиться в надлежащем размере ни одному из интересных обещаний автора, и каждый из его трактатов, обещавших разъяснить очень важные и, по мнению г. Шевырева, худо понимаемые другими журналами вопросы, всегда останавливается на введении, которое содержит только некоторые обличения петербургских журналов да несколько замечаний о слоге, каррарском мраморе и галлерее Дорна, с которыми мы скоро встретимся. Мы упоминаем об этом потому, что разделяем огорчение тогдашних петербургских журналов; но «горем делу не

поможешь», и мы должны тем внимательнее изучать *exordium*'ы, которые одни дано нам читать. Возвратимся же к продолжению неоконченных статей ученого автора.

Вместо любопытной характеристики русской литературы по ее духу и художественным достоинствам, господин Шевырев дал своим читателям только трактат из реторики — «О языке и слоге». Впрочем, рассуждая об этом предмете, повидимому, исчерпанном и потерявшем интерес после трактата почтенного Шишкова «О старом и новом слоге»⁴⁹, ученый автор высказал столько поразительно верных суждений, что, при самом высоком понятии об оригинальности воображения и взглядов глубокомысленного критика, трудно решить, могли ли бы его статьи о содержании и художественной форме в нашей литературе быть интереснее его статьи о языке и слоге. Перечисляя писателей, которые отличаются хорошим слогом, автор сначала хвалит Карамзина, Жуковского, князя Вяземского, Пушкина, Лермонтова и некоторых других. Тут нет еще ничего особенного; должно только сказать, что он поступил справедливо, начав свой перечень их именами; но в продолжении списка лучших литераторов встречаются суждения более интересные. Так, например, о г. Ф. Глинке ученый автор говорит, что «слог его осыпается яркими искрами», и желает, чтобы он больше писал «своим пылким пером»; слог г. Греча прежде был очень хорош, но «испортился» от подражания слогу барона Брамбеуса. К числу замечательнейших явлений нашей литературы, вместе с господином Ф. Глинкою, принадлежат госпожа Шишкина и девица Эражевская: первая «придала особенную прелесть вкуса простонародному слогу, какой он не имел до нее», а «резвое перо г-жи Эражевской отличается непринужденной разговорчивостью». К замечательнейшим писателям принадлежат, между прочим, гг. Масальский и Каменский: слог первого «отличается какою-то благородною чистотою», а в последнем главная черта — «пылая живость». — Это все наши лучшие писатели; их произведения составляют светлую сторону нашей литературы. Напротив того, Полевой, барон Брамбеус и г. Кукольник очень плохо владеют русским языком: они подвергаются подробным выговорам за то, что не умеют писать так хорошо, как г-жа Шишкина и девица Эражевская, как гг. Масальский и Каменский. Но все эти частности незначительны в сравнении с главной, общею мыслью всей статьи: г. Шевырев доказывает, что все хорошие прозаики по 1842 год включительно писали «слогом Карамзина»; даже Пушкин, Лермонтов и Гоголь не сообщили своей прозаической речи оригинального характера: все они писали «слогом Карамзина». Ученый автор, вероятно, не признавал справедливым, что у каждого хорошего писателя бывает свой собственный слог, или, может быть, это какая-нибудь аллегория.

От этих своеобразных взглядов на темную и светлую стороны

нашей литературы перейдем к другой капитальной статье о русской литературе вообще, именно к «Очеркам современной русской словесности», помещенным в первой книжке «Москвитянина» за 1848 год. Существенное содержание этих «очерков» — объяснение того, что все молодые (т. е. бывшие тогда молодыми) беллетристы, которых петербургские журналы, в особенности «Отеч[ественные] записки» и «Современник» называют талантливыми людьми, пишут очень плохо. Положим на минуту, что это мнение справедливо: ведь мы уже сказали, что не будем спорить с г. Шевыревым относительно того, что худо, что хорошо, а будем только изучать своеобразный способ развития его воззрений и оригинальную методу его доказывать справедливость своих понятий. Положим, что все эти беллетристы писали дурно; но каким же способом доказывает это ученый автор? Следующим: все лучшие петербургские молодые беллетристы составляют одну школу, которая тогда была называема натуральной; глава этой школы — г. Никитенко. Докажем же, что г. Никитенко ошибается в своих теориях, — и дело будет решено. Вследствие этого, бóльшая половина «очерков» посвящена изобличению ошибочной теории г. Никитенко⁵⁰. Что сказать об этом умозаключении? Никому не запрещается искать ошибок у г. Никитенко, как и у всякого другого писателя; но какое дело г. Никитенко до всей петербургской беллетристики? Когда он объявлял себя или какой повод подавал он считать себя ее представителем? Ведь каждому известно, что г. Никитенко всегда стоял вне всяких партий и школ, в журнальные прения не пускался и никогда не имел мысли образовать вокруг себя какую бы то ни было школу. С другой стороны, какое дело беллетристам натуральной школы до справедливости или несправедливости теорий г. Никитенко? Разве они объявляли себя или кто-нибудь считал их учениками г. Никитенко? Ведь каждому, кто имел в руках хотя одну книжку «Отеч[ественных] зап[исок]» или «Современника», было в то время известно, что теория г. Никитенко и натуральная школа — предметы, нисколько друг от друга не зависимые. Каким же образом можно было вообразить, что, опровергая теорию г. Никитенко, можно поразить натуральную школу, а для поражения натуральной школы необходимо нападать на теорию г. Никитенко? «Да, много такого пишется на земле, друг Горацію, чего не понять мудрецам», невольно скажешь, применяя к этому непостижимому случаю слова Гамлета. Но вот, за длинными опровержениями теории г. Никитенко, следуют, в самом конце статьи, краткие выговоры, уже прямо обращенные к натуральной школе: она уничтожена критикою теории г. Никитенко, следовательно, много толковать с нею не для чего. — Дело решено: искусство в России погибает от теории г. Никитенко. Остается только указать признаки упадка. Признаки эти, отысканные преимущественно у г. Григоровича и г. Тургенева, следующие:

Укажем на признаки этого падения искусства в школе, которая всех деятельнее участвует в современной словесности. Первый признак — отсутствие художественной совести в большей части ее произведений. Редко заметите вы свободу личного чувства, которое совершенно увлекалось бы искусством и служило бы ему по призванию. Редко коснется вас творчество вдохновения, редко повеет свежестью дара; все большею частью сочинения деланные, прошедшие иногда через скуку усилий, которая отзывается даже и в лучших произведениях школы.

Второй признак — эфемерность рождающихся талантов. Прежде у нас был мор на дарования. Какой-то таинственный рок их преследовал, — и мы оплакивали преждевременную их кончину. Теперь таланты умирают заживо. Первая повесть пробудит в вас надежду, вторая ослабит ее, третья приведет в отчаяние, а четвертой вы уже и не читаете.

Третий признак — какое-то совершенное отрицание коренных начал народной жизни, той основной сущности, той живой истины, которая глубоко лежит в народе... Всего более нападают на низшие слои народа и клеветают на его действительность в дурную сторону. Народ наш, главными свойствами своего большинства, конечно, не заслужил таких наветов со стороны литературы отечественной... Какую же цель имеет наша литература, возбуждая в образованном обществе почти отвращение к народу своими литературными доносами? Иные, читая все это, пожалуй, подумают, что народ наш едва ли достоин какого-нибудь улучшения своей участи. Мы решительно не понимаем здесь цели наших писателей («Москвитянин», 1848, № 1, стр. 49).

Мы опять говорим: нас занимает не то, хвалит или осуждает г. Шевырев, а то, как и за что хвалит или осуждает он. Почему не искать недостатков и у лучших тогдашних (и нынешних) беллетристов? Но странно находить, что у них недостает именно того, чем они особенно богаты. Как понять первый признак упадка, мы не придумаем: кто заставлял или что заставляло г. Григоровича и г. Тургенева насиловать дарование? Ужели теория г. Никитенко? По ходу речи, должно быть, или он, или, скорее, тот загадочный Геркулес, который, как мы выше видели, подымал их в отвлеченную пустоту, где они дрягали ногами? Должно быть, он, потому что он выведен на сцену именно в этой статье. Но кто он? этого не разрешили бы ни Конфуций, ни Лао-дзы. Как блистательно оправдывается второй признак — эфемерность талантов, мы постоянно видим, было очень хорошо видно и в то время. Действительно, г. Григорович после своей «Деревни», а г. Тургенев после первого из «Рассказов охотника» — «Хорь и Калиныч» — не написали уже ничего сносного, и в настоящее время имена их уже давно забыты публикою. Мы готовы держать пари, что из тысячи читателей едва ли один припомнит теперь, что существовали когда-то г. Григорович и г. Тургенев. Но удачнее всего выбран третий признак. Можно говорить против писателей, нами названных, что угодно; но упрекать их в недостатке любви к народу, упрекать в том, что их произведения возбуждают отвращение к народу, — да ведь это все равно, что упрекать огонь в холодности, Говарда в эгоизме, Вильберфорса в жестокости.

Кроме всех исчисленных причин, гибель русской литературы предстояла в наискорейшем времени от порчи языка в петербург-

ских журналах неправильными и чудовищными выражениями. Г. Шевырев был так возмущен этой страшной опасностью, что решился для спасения русского языка составлять и печатать в «Москвитянине» словарь «барбаризмов, солецизмов и прочих измов»⁵¹. Необходимость и пользу его он объясняет следующим образом: «С некоторых пор русский язык до того начал страдать от нововведений, что становится и больно и страшно за родное слово всякому, кто его любит и уважает». Для противодействия этой гибели родного слова, он обещается «постоянно выдавать словарь всех чудовищных выражений, которыми так особенно богата наша периодическая словесность». Этот словарь принесет пользу литературе, «производя в публике тот комический хохот, который будет весьма спасителен для русского слова». — Обещание «выдавать постоянно» столь полезный труд, конечно, не состоялось: за первым, довольно большим отрывком явился в следующей книжке «Москвитянина» второй, гораздо меньший отрывок словаря. Тем дело и кончилось. Но интересно познакомить читателя с несколькими образцами тех «чудовищных выражений», которые угрожали гибелью родному слову и которые, по мнению почтенного автора, должны были «произвести в публике комический хохот». Вот какого рода эти «чудовищные выражения»:

Из-под салфетки, покрывавшей стол, высовывалась голова лягавой собаки. — Он начал подымать взоры. — Толстый, рослый мужчина, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен. — Миньютюрная старушка, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. — Люди хилые, раббитые параличом», и т. д., и т. д.

«Комический хохот» должны возбуждать преимущественно слова, напечатанные курсивом.

Читатели, быть может, еще помнят, что в этом благом деле ученый составитель словаря имел столь же искусного, но более неутомимого преемника — г. И. Покровского, который, года два или три тому назад, постоянно обогащал каждую книжку «Москвитянина» своим превосходным «Памятным листком ошибок против русского языка»⁵². Приятно нам заметить, что г. Шевырев имел и достойного предшественника, именно известного нашего журналиста князя Шаликова, который украсил одну из книжек «Москвитянина» за 1841 год небольшою, но очень полезною статьею под заглавием, столь же остроумным, как заглавие, данное ученым автором своему словарю, — именно статьею — «О литературном размежевании». Вот небольшой отрывок из этого прекрасного труда, послужившего образцом для г. Шевырева:

Подражать в прозе Карамзину, а в стихах Пушкину значит избрать лучшие образцы. Повинноваться же номофетам бездарным единственно потому, что размножилось их число — смешная и жалкая слабость, которая, наконец,

может пролиять во все суставы нашей литературы, ныне, кажется, более не жели когда-нибудь, похожей на венецу ладню, не управляемую рулем усердного, ревностного Палинура, низвергнутого коварным Морфеем в морские бездны, и бросаемую во все стороны мятежными волнами, не подчиненными в заливах нашей литературы спасительному трезубцу Нептуна, за неизменением сего божества. — Кто, например, оспорит нас, если скажем видимую истину, что к нам из младенчества русской словесности возвратились самые грубые галлицизмы, солецизмы, барбаризмы, изгнанные великим ее законодателем? И кому же она обязана сею пагубною амнистиею? Тем первоклассным (как, очевидно, они думают о себе) современным писателям, которые заменили предлог о предлогом *про* и пишут про Рим, про бал, про родину, — нисколько вместо нимало, раз *вм.* однажды, надо *вм.* надобно, да вместо так... О, времена! Князь Шаликов. («Москвитянин», 1841, № 7, стр. 236—238).

Заметим, однако, что в одном пункте (только в одном) мнения князя Шаликова и г. Шевырева расходились. Издатель «Дамского журнала» был, как известно, ревностным последователем Карамзина, а г. Шевырев блистательным образом защищал понятия Шишкова. Ученый адмирал и ученый профессор одинаково утверждали, что славянские слова чрезвычайно возвышают и украшают русскую речь. Оба они были непреклонны в борьбе против людей, думавших, что по-русски надобно писать на русском, а не на славянском языке, и приводили в пример нашим поэтам выражение:

Соблещет молния мечу * 53

Но г. Шевырев шел гораздо далее Шишкова, который хотел только, чтобы в слоге подражали Ломоносову, между тем как для г. Шевырева учителем русского современного языка был Кирилл Туровский, живший за 600 лет до Ломоносова и совершенно чистый от галлицизмов. Г. Шевырев советовал нашим поэтам восстановить употребление местоимения *иже*, *яже*, *еже* и дательного самостоятельного падежа, именно писать таким образом: «волнующемуся морю (то есть *при морском волнении*, от морского волнения) корабль, *иже* входил в гавань, подвергался опасности, а лодка, *яже* была выслана к нему навстречу, потонувшей (когда лодка, высланная к нему навстречу, потонула), гибель стала неизбежна». Желаящие могут видеть примеры и доказательства красоты такого слога в «Истории русской словесности» г. Шевырева и в его ответе на разбор этой книги, помещенный в «Сыне отечества» ⁵⁴. Шишков, кажется, не предполагал возможности восстановить дательный самостоятельный.

Кстати, о слоге самого г. Шевырева. Ученый критик писал, без сомнения, очень цветисто и патетично; но, к сожалению, слог его вообще растянут и напыщен, а язык неточен и неправилен. Никто из русских журналистов со времени Свиньина, прославившегося дивным слогом своего романа «Якуб Скупалов», не владел языком так дурно, как г. Шевырев. Мы, конечно, не

* «Москвитянин», 1854 г., № 7, статья г. Шевырева о Фонвизине.

упомянули бы об этом деле, если бы сам г. Шевырев не толковал так много о языке и слоге. Ошибки против языка или логики режут глаза почти в каждой его фразе, потому и не нужно приводить примеров: желающий найдет их десятки в каждой нашей выписке из статей г. Шевырева. На всякий случай, разберем хотя первую фразу в первом из помещенных у нас суждений его о Гоголе. Оно принадлежит еще 1835 году; впоследствии г. Шевырев писал гораздо хуже, и мы нарочно указываем лучшую по слогу из его статей. «Автор «Вечеров Диканьки» (то есть *Вечеров на Диканьке, или на хуторе близ Диканьки*) имеет от природы чудный дар схватывать бессмыслицу в жизни человеческой и обращать ее (*жизнь или бессмыслицу?*) в неизъяснимую (то есть *несиъяснимую*) поэзию смеха». На двух строках две ошибки против языка и одна неточность. Так писал г. Шевырев в «Московском наблюдателе». В «Москвитянине» он писал еще неправильно. О напыщенности и натянутости слога мы уж и не говорим.

Читатели, быть может, думают, что достаточно познакомились с критическими статьями г. Шевырева? Нет, тысячу раз нет! Ведь определительнее всего характеризует человек нравственную или умственную сторону своей личности суждениями об отдельных фактах: общие суждения, как бы ни были ярки, всегда бывают бесцветны в сравнении с приговорами об индивидуальных явлениях. Скажем, например: вообще литература вздор, побасенки, — это будет мысль удивительная; но если мы, в частности, скажем: Шекспир писал вздор, блеск этого суждения будет уже превышать всякую меру изумительности. Возьмем другой пример: «Гоголь есть Гомер» — мысль довольно поразительная; но скажите: «Чичиков есть Ахиллес» — и мысль сделается еще в тысячу раз поразительнее. Все это мы говорим только к примеру, что способность каждого критика с наибольшим блеском выказывается именно в суждениях его об отдельных писателях и об отдельных произведениях литературы.

Перейдем же к статьям г. Шевырева об отдельных русских писателях. Посмотрим, например, какие мысли высказаны им в критическом разборе сочинений Пушкина («Москвитянин», 1841, № 9).

Прежде всего и более всего занимает ученого критика вопрос о том, не ошибочно ли поступал Пушкин в том, что одни произведения написал прозою, а другие — стихами. Ответ: он поступил хорошо. Удовлетворительно разрешив эту важнейшую задачу, он уже совершенно исполнил все, что в праве ожидать читатель от критической оценки Пушкина. Остается только сказать по нескольку слов о разных мелочах — отношении Пушкина к предшествовавшим ему поэтам и о значении его произведений. Первое обстоятельство излагается так: до Пушкина были две школы в нашей поэзии — пластическая и музыкальная; главою пласти-

ческой был Державин, — у него недоставало мелодичности; корифеями музыкальной — Батюшков и Жуковский; у них мало было пластики. Пушкин соединил оба эти направления. Как же могло случиться, что в стихе Батюшкова оказалось мало пластичности? Ведь каждому известно, что он в особенности знаменит этим качеством. Но к чему наши вопросы? Лучше послушаем, что составляет существенную черту в поэзии Пушкина, что такое вообще произведения Пушкина. «Главная черта Пушкина — эскизность». В «Москвит[янина]» это определение поэзии Пушкина указано только кратким намеком, потому что прежде уже было подробно развито в «Московском наблюдателе» (часть XII, стр. 316). «Пушкин, столько прилежный и рачительный в исполнении, почти всегда довольствовался одним эскизом в изобретении. Эскиз был стихию неукротимого Пушкина» и т. п. Примером этому служит «Медный всадник», продолжает статья «Москвитянина». «Если взглянуть «мыслящим взором внутрь этого произведения», то мы найдем, что сюжет «Медного всадника»... вы думаете, знаменитое наводнение, вы думаете, апотеоз Петра Великого как творца Петербурга? Нет, «соответствие между хаосом природы и между хаосом ума, пораженного утратой. Здесь, по нашему мнению, главная мысль, зерно и единство художественного создания. Жаль только, что этот основной мотив не довольно развит»; но его неразвитостью именно и доказывается, что основная черта поэзии Пушкина — эскизность. Прекрасно! Теперь мы узнали существенную черту поэзии Пушкина. Интересно узнать, что такое «произведения Пушкина, рассматриваемые в их совокупности». Этот вопрос предложен в самом конце статьи, и на него дан очень удовлетворительный ответ строками, исполненными высокой картинности:

Произведения Пушкина, рассматриваемые в их совокупности — чудные массы, готовые колонны, или стоящие на месте, или ждущие руки воздвигающей, dokonченные архитравы, выделанные резцом украшения и при этом богатый запас готового дивного материала. Да, да, вся поэзия Пушкина представляет чудный, богатый эскиз недовершенного здания, которое русскому народу и многим векам его жизни предназначено долго, еще долго строить и славно закончить.

Точка. Конец. Мы нарочно напечатали эти слова мелким шрифтом, чтобы читатели видели, что мы не прибавили и не убавили в них ни одной буквы. Кроме этой прекрасной, в живописном отношении, тирады, вы ничего не найдете в статье г. Шевырева о содержании поэзии Пушкина, ее значении в нашей литературе, ее отношениях к обществу. Зато очень много говорится об Италии⁵⁵. Например, скажет ли г. Шевырев, что у Пушкина был «русский глаз», тотчас же прибавит: «под именем русского глаза мы разумеем тот верный глаз, который подмечает точно и подробно все образы внешнего мира. Он имеет много сходства с итальянским». Говорит ли он, что трудно писать та-

кие прекрасные стихи, какие писал Пушкин, тотчас же пояснит дело: «В Италии есть поговорка о Рафаэле, что он унес с собою в могилу тайну своих красок. У нас то же самое можно сказать о Пушкине, что он взял с собою тайну своего стиха». Через несколько страниц еще больше разъяснен вопрос о резце Пушкина: «Это резец Кановы или Тенерани, покоривший себе до конца всю звонкую твердость нашего мрамора. Мы желали бы расположить сочинения Пушкина по эпохам стиля, как располагают стиль Рафаэля или Гвидо-Рени». Что такое «наш звонкий мрамор», доскажет г. Шевырев через несколько страниц. Вообще «русский язык — каррарский мрамор лучшего сорта», а «русский стих у Пушкина достиг до прозрачности алебаstra восточного, возделанного резцом фидиевым». Как «расположен стиль Рафаэля», он вам разъяснит в другом месте: «в Перуджии есть зала, которую можно назвать пеленки и колыбель живописца Рафаэля», и т. д. Но об Италии довольно. Много другого интересного могли бы мы заимствовать из разбора сочинений Пушкина; но пора перейти к мнениям г. Шевырева о Лермонтове: они еще интереснее. Заметим только, что ученый критик, справедливо находя, что издание Пушкина 1835—1841 годов наполнено опечатками, очень удачно поправляет их. Между прочим, в одном из лицейских стихотворений есть выражение:

Бранной забавы
Любить нельзя.

Пушкин-лицеист не мог так написать, по мнению г. Шевырева. Г. Шевырев не знает, как именно была написана эта фраза в автографе Пушкина; но он «уверен», что ее надлежит восстановить следующим образом:

Бранной забавы
Любит не я.

Не подумайте, что у нас вкралась опечатка. Нет, именно так: «Любит не я». «Этой поправки хвалит не я»⁵⁶, и потому скорее «переходит мы» к разбору «Героя нашего времени» и «Стихотворений Лермонтова». Кстати прибавим: неудивительно, если критик, столь проникательно отгадывающий ошибки и столь верно понимающий условия грамматической правильности, находит, что язык Лермонтова неправилен и что этот поэт «вообще не умел совладеть с грамматическим смыслом», хотя каждому известно, что решительно ни один из наших поэтов до 1841 года включительно (когда была написана эта статья) не писал стихов таким безукоризненным языком, как Лермонтов; у самого Пушкина неправильных и натянутых оборотов более, нежели у Лермонтова. Лермонтов вообще не пользовался особенною благоклонностью со стороны г. Шевырева, утверждавшего, что он только подавал хорошие надежды, но еще не оправдал их. Мы

не будем останавливаться на этом: нас интересует не сущность мнений г. Шевырева, а их развитие. Итак, что же говорит г. Шевырев, например, о характерах, изображенных в «Герое нашего времени»? Во-первых, он желал бы, чтоб Лермонтов сделал из княжны Мери и Бэлы одно лицо: тогда это была бы хорошая женщина или девица. «Если бы можно было слить Бэлу и Мери в одно лицо, вот был бы идеал женщины!» Впрочем, характер княжны Мери заимствован у какого-то русского повествователя, — у какого, мы не можем придумать. На всякий случай, вот подлинные слова ученого критика: «В княжне Мери есть черты, взятые с другой княжны» — не отгадает ли кто этой загадки? ⁵⁷ Вера, характер которой очерчен Лермонтовым с такою нежною любовью, — «Вера есть лицо непривлекательное ничем». В характере Печорина есть две важные ошибки: во-первых, такой человек не может любить природу. Ученому критику было легко решить это, потому что ему неизвестно, что люди, утомленные жизнью, скучающие с людьми, с двойною силою привязываются к природе. Во-вторых, г. Шевырев «никак не думает, чтобы прошедшее сильно действовало на Печорина», и потому неправдоподобно, чтобы он вел дневник. Да ведь он скучает: почему ж от скуки не вести ему дневника? Настоящее наводит на него тоску, будущее безотраднo: как же ему не возвращаться мыслью к прошедшему? И ведь эгоизм силен в Печорине; а чем более развит эгоизм в человеке, тем больше думает он о своей личности и о всем, что до нее касается. Кажется, это очень просто; да притом и сам Печорин объясняет это. Но главный недостаток в характере Печорина: «он не имеет в себе ничего существенного относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера»; потому он «призрак». После этого не нужно говорить, до какой степени понятен для г. Шевырева и до какой степени нравится ему «Герой нашего времени». Но интересно заметить, чем более всего занимается он в своей статье об этом романе — никак не угадаете... защитою Москвы. Да где же Лермонтов нападает на Москву в своем романе? Кажется, нигде. Как нигде? Вы забыли, что княгиня Лиговская, которая любит поговорить, как и все почти пожилые женщины в России и во Франции, в Китае и в Каффарии, жила несколько лет в Москве: ведь это кровная, по мнению г. Шевырева, обида Москве. И на нескольких страницах он доказывает, что напрасно Лермонтов взвел такую клевету на Москву. Вот это именно и значит, по выражению Гоголя, «как раз смекнуть, в чем дело» ⁵⁸. Заметим также, что по поводу Кавказа опять является на сцене Италия. Еще любопытнее разбор «Стихотворений» Лермонтова. Знаете ли, какое отличительное свойство в таланте Лермонтова? «Протензм», бесхарактерность, отсутствие определенной физиономии. Помилуйте! можно было бы назвать стихотворения Лермонтова монотонными, однообразными; но

как же говорить, что они не имеют одного оригинального характера, резко обозначившегося на каждом — мало того, стихотворении — на каждом стихе? Скорее можно было назвать «протеем» кого угодно из наших поэтов, только — воля ваша — никто, кроме г. Шевырева, не мог бы заметить у Лермонтова бесхарактерности или протейства. Но вы еще не знаете, что «в галереях живописи отгадывают без каталога, чья картина», а стихотворения Лермонтова не носят на себе таких характерных примет; г. Шевырев, не видев подписи имени на пьесе, отгадает стих Жуковского, Батюшкова, Пушкина, кн. Вяземского, г. Ф. Глинки, а не может сказать этого о стихе Лермонтова. Публика, скажете вы, говорит, что именно стих Лермонтова угадать легче всего; но это она говорит только по незнанию важного обстоятельства: Лермонтов был не более, как подражатель Пушкина и Жуковского, и не только этих двух великих поэтов, но также г. Бенедиктова. «Когда вы внимательно прислушиваетесь к звукам новой лиры, вам слышатся попеременно звуки то Жуковского, то Пушкина, то Кириши Данилова, то Бенедиктова, иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова». Удивительно тонкий слух, изумительно зоркий глаз! Каждому известно, что некоторые из наименее зрелых стихотворений Лермонтова по внешней форме — подражания пьесам Пушкина, но только по форме, а не по мысли; потому что идея и в них чисто лермонтовская, самобытная, выходящая из круга пушкинских идей. Но ведь таких пьес у Лермонтова немного: он очень скоро совершенно освободился от внешнего подчинения Пушкину и сделался оригинальнейшим из всех бывших у нас до него поэтов, не исключая и Пушкина. Ведь это известно каждому. Но дело не в том, подражатель он или самобытный поэт: интересно знать, как развивает г. Шевырев свою мысль. В каких пьесах, например, видно влияние Жуковского? Вы, быть может, ожидаете, что ученый критик укажет на единственное из всех стихотворений Лермонтова, хотя самым отдаленным образом напоминающее Жуковского, укажет на пьесу «Ветка Палестины», в которой можно видеть некоторое сходство с пьесой Жуковского:

Он был весной своей
В земле Обетованной...⁵⁹

хотя, собственно говоря, и «Ветка Палестины» подражание не Жуковскому, а Пушкину («Цветок засохший, безуханный»). Нет, не то, вы недогадливы: Лермонтов подражал Жуковскому в «Ручейке» (!); «Мцыри» тоже подражание Жуковскому (!); «Три пальмы» тоже, хотя каждому известно, что это чрезвычайно близкое подражание стихотворению Пушкина «И путник усталый на бога роптал», откуда не только размер, но едва ли не половина стихов почти целиком заимствованы Лермонтовым. Нужды нет, пусть будут «Три пальмы» подражанием Жуковскому, у которого

нет ничего похожего: ведь заимствовал же у него Лермонтов «Мцыри». Но где подражания Бенедиктову? Ужели вы не знаете? — *Молитва* («Я, мать божия, ныне с молитвою») и *Тучи* до того отзываются звуками, оборотами, выражением лиры Бенедиктова, что могли бы быть перенесены в собрание его стихотворений. — Читая эти стихи, кто не припомнит *Полярную звезду* и *Незабвенную* Бенедиктова?» Далее уже не так интересно. «Бородино» — подражание Денису Давыдову (!); «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой!» и «Печально я гляжу на наше поколение» — подражание Баратынскому (!); «Демон» — подражание Марлинскому; «Казачья колыбельная песня» — подражание Вальтеру Скотту. Мы от себя можем прибавить только, что стихи:

Есть речи, значенье
Темно иль ничтожно...⁶⁰

должны быть подражанием г. Шевыреву: только авторская скромность помешала ему это заметить. Но довольно о частных. Бросим вместе с г. Шевыревым еще раз общий взгляд на Лермонтова. Хороши ли грустные стихотворения Лермонтова? И как вы думаете, был ли грустный тон этих пьес (т. е. решительно всех пьес, потому что пьес другого тона нет у него) существенной чертой поэзии Лермонтова? Нет, не был, по мнению г. Шевырева: грустные стихотворения у Лермонтова «только мгновенные плоды какой-то мрачной хандры, посещающей по временам поэта», и не просто плохи они: они не заслуживали бы чести быть напечатанными — «лучше было бы таить их про себя и не поверять взыскательному свету». Правда. Правда. Правда.

Но ведь Лермонтов, хотя и писал очень плохо, все же заслуживал некоторого сочувствия, по своей, правда, жалкой страсти к стихоплетению. Г. Шевырев советует Лермонтову писать не так, как он писал прежде; вот заключение его статьи:

Поэты русской лиры! если вы сознаете в себе высокое призвание, прозревайте же от бога данным вам предчувствием в великое будущее России; передавайте нам видения ваши и создайте мир русской мечты из всего того, что есть светлого и прекрасного в небе и природе, святого, великого и благородного в душе человеческой!

Ну, теперь вздохнем свободнее: история о некоем стихотропателе Лермонтове, который напрасно печатал свои стихотворения, кончилась. А тяжело нам было присутствовать при его истязании, тяжело было видеть, как одно за другим обрывают чужие перья с этой нарядившейся в павлиньи перья вороны, то есть с Лермонтова. Видим, что строгий критик справедлив; но по человечеству жаль, по человечеству! Кончилась история!.. Как бы не так! По рассеянности — проклятая рассеянность! — мы едва не забыли чрезвычайно тонкого замечания о характере таланта Лермонтова. «Нет ли в нем, — замечает ученый критик, — признаков того, что Жан-Поль в своей эстетике так прекрасно назвал

женственным гением?» Это предположение, впрочем, едва ли принадлежит самому г. Шевыреву. Так мы думаем, основываясь на словах Пигасова (в повести г. Тургенева: «Рудин»): «Мужчина может ошибаться. Но, знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вот какая: мужчина может, например, сказать, что дважды-два не четыре, а пять или три с половиною, а женщина скажет, что дважды-два — стеариновая свечка». Поэтому мы думаем, что г. Шевырев заимствовал иногда свои критические замечания из разговоров с дамами.

Много других замечательных суждений о г. Каменском, г. Вельтмане, Кольцове (песни которого далеко хуже русских песен Дельвига), Баратынском (которого губило отсутствие мысли)⁶¹, г. Павлове (который выдвинул все ящики в бюро женского сердца и которого г. Шевырев долго предпочитал Гоголю), Языкове, г. Хомякове, г. Майкове и вообще почти о каждом из русских писателей могли бы мы привести из критических статей г. Шевырева; но если, как он сам выразился:

Что в море купаться, что Данта читать⁶²,

то хотеть исчерпать все замечательное в критических статьях ученого автора — все равно, что хотеть вычерпать море: труд решительно невозможный; потому мы не возьмемся за дело, столь необозримо великое.

Мы затруднялись и теперь затрудняемся высказать наше мнение о г. Шевыреве как критике, но не можем не сказать, что чтение его статей должно доставить высокое наслаждение каждому, кто способен следить за смелыми полетами мысли глубоко-мысленного критика. Неожиданность выводов и замечаний превышает в них самые смелые надежды. Впечатление, которое производят они, когда перечитываешь их подряд, можно сравнить только с тем, как если бы смотреть картины несколько расшатавшейся в пружинах народной нашей панорамы, то есть так называемого в просторечии «райка». Приложишь глаз к стеклу — видна широкая река, на берегу стоят пирамиды — «вид итальянского города Неаполя», — поясняет народный наш чичероне: повертывается ручка — являются Тюильри, Лувр, вдали Notre Dame de Paris — «Морская виктория при Гангуте, одержанная Петром Великим над шведами», — поясняет народный чичероне; опять повертывается ручка — является храм св. Петра в Риме — «вот это самая и есть Москва златоглавая», — поясняет чичероне и т. д., и т. д. Вы недоумеваете, но не можете оторваться от панорамы с интереснейшими пояснениями чичероне. А он стоит, серьезно поглаживая бороду, и думает: «погоди, еще не такие штуки покажем».

Мы сказали, что отказываемся выражать свое мнение о том, ошибочны или справедливы мнения г. Шевырева, но видели, что

ученый автор не должен быть причисляем к славянофилам. Теперь, познакомив читателя с некоторыми фактами его учено-критической деятельности, мы полагаем делом, не подлежащим спору, что г. Шевырев должен быть считаем, как мыслитель в высочайшей степени своеобразный, главою особенной школы в нашей литературе. Важнейшими из второстепенных писателей этой школы надобно считать М. Дмитриева, г. А. Стурдзу, г. Н. Иванчина-Писарева, г. А. Студитского⁶³. Первых трех читатели, без сомнения, знают; но необходимо им познакомиться с г. А. Студитским, которого они, вероятно, не знают и который был деятельнейшим сподвижником г. Шевырева в старом «Москвитянине». Его суждения также отличались диктаторским тоном; он, подобно г. Шевыреву, обо всем мыслил совершенно своеобразно и, о каком бы предмете ни заговорил, ни в чем не разделял мнений суемудрствующего Запада. Он показал ничтожность санскритского языка, опроверг Боппа и Гримма, не говоря уже о всех наших филологах от г. Востокова до г. Буслаева, и положил новые основания филологии; он опроверг Кеплера и Ньютона — уступкою с его стороны должно считать, что он принимал систему Коперника, и то, конечно, только в уважение его славянского происхождения — и положил новые основания астрономии (понимайте все это буквально, без малейшего преувеличения); он опроверг всех философов от Канта до Гегеля и положил новые основания психологии, метафизики и проч.; опроверг Либиха, Кювье, Гумбольдта и Араго и положил новые основания физиологии, геологии, метеорологии, химии, — действительно, положил, потому что это был ум по преимуществу творческий, не ограничивавшийся критикою, но занимавшийся и воссозданием разрушенного. Девиз его был, подобно девизу г. Шевырева, «Destruam et aedificabo» — «разорю и созижду». Для убеждения читателей в том, что мы ничего не преувеличиваем, приводим в выноске небольшой отрывок из его критики на гипотезу Гумбольдта об аэролитах *. Какая смелость, оригинальность

* «Главная мысль Гумбольдта состоит в том, что аэролиты — обломки малых небесных тел, блуждающих в пространстве и случайно попадающих в пределы нашей атмосферы. С первого взгляда на эту мысль видно, что она обязана своим происхождением не ученому сознанию, а недостатку ученого сознания. — «В пространстве, где нет ничего, плавают малые тела» — не правда ли, это очень замысловато? — «Эти тела, заблудившись, попадают в пределы земной атмосферы» — еще замысловатее. — «Самые эти тела не падают, а падают только их обломки» — еще замысловатее. — Вообще говоря, мы не находим, чтобы:

- 1) Были достаточные причины для построения такой гипотезы.
- 2) Было достаточное оправдание ее в наблюдениях.
- 3) Не было возможности объяснить ее иначе и гораздо проще.

Нет никакого сомнения, что неорганическая химия в нашем столетии сделала огромные успехи; но чтобы она решила все, что ей должно решить, в этом мы не поверим ни Деви, ни Берцелиусу, ни Гумбольдту» и т. д. («Москвитянин», 1846, № 3, стр. 206).

и твердость мысли! Все это мы говорим, желая показать, что у г. Шевырева были достойные сподвижники и что его надобно считать главою совершенно особенной школы, которая принадлежала исключительно Москве, но мнения которой имели большое родство с учениями петербургского журнала «Маяк».

После всех фактов, приведенных выше, естественно родиться недоумению: каким же образом г. Шевырев, столь своеобразно мысливший и о Лермонтове, и о писателях, бывших учениками Гоголя, — г. Шевырев, отвергавший всякий грустный тон в литературе, советовавший писателям заниматься исключительно возведением к улыбающемуся идеалу светлых сторон жизни, — каким образом мог он сочувствовать «Мертвым душам»? Каким образом он мог быть поклонником Гоголя и как он мог понимать его, — он, столь глубоко понимавший содержание и столь занимавшийся жизненными вопросами в произведениях каждого из наших писателей? А ведь существует у многих воспоминание, что г. Шевырев был поклонником Гоголя и понимал его. Изучение статей его о Гоголе разрешит все недоумения.

Вот существенные места из его статьи о «Миргороде». Мы оставили в стороне только колонны, фронтисписы, архитравы, резцы и картинные галлерей, но не опустили ни одной фразы, относящейся к делу. Правда, от этого из довольно большой статьи вышло в нашей выписке менее одной страницы, но, повторяем, остальные страницы разбора наполнены архитравами.

Автор Вечеров Диканьки имеет от природы чудный дар схватывать бессмыслицу в жизни человеческой и обращать ее в неизъяснимую поэзию смеха. В этом даре его мы видим зародыш истинного комического таланта. Но желательно бы было, чтоб он обратил свой наблюдательный взор и меткую кисть на общество, нас окружающее. До сих пор, за этим смехом он водил нас или в Миргород, или в лавку жестяных дел мастера Шиллера, или в сумасшедший дом. Мы охотно за ним следовали всюду, потому что везде и над всем приятно посмеяться. Но столица уже довольно смеялась над провинциею и деревенщиною, хотя никто так не смешал ими, как автор «Миргорода»: высший и образованный класс общества всегда смеется над низшим: потому и немудрено рассмешить и жестяных дел мастером. Но как бы хотелось, чтобы автор, который, кажется каким-то магнитом притягивает к себе все смешное, рассмешил нас нами же самими, чтобы он открыл эту бессмыслицу в нашей собственной жизни, в кругу так называемом образованном, в нашей гостини, среди модных фраков и галстуков, под модными головными уборами. Вот что ожидает его кисти! Как ни рисуйте нам верно провинцию, все она покажется карикатурой, потому что она не в наших нравах. Я уверен, что Иван Иванович и Иван Никифорович существовали. Так они живо написаны. Но общество наше не может поверить в их существование. Для него это или прошлое столетие, или смешная мечта автора. Конечно, автор начал свой дебют в комическом с того, что ярче нарезалось в его памяти с своих малороссийских преданий; но должно надеяться, что он соберет нам впечатления из той общественной жизни, в которой живет теперь, и разовьет блистательно свой комический талант в том высшем кругу, который есть средоточие русской образованности («Московский наблюдатель», т. I).

Кажется, в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе», в «Повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»

есть нечто, кроме смешного и веселого; кажется, что каждая из этих повестей, в своем целом, производит впечатление нисколько не водеvilное: «Тарас Бульба» — чисто трагическое, остальные — глубоко грустное. Ученый критик нисколько не заметил этого. Гоголь в «Миргороде» — беззаботный весельчак, который для столичных светских людей рисует преуморительные карикатуры провинции, не имеющей понятия о модных галстуках. Очень удовлетворительное понятие. Еще лучше мнение, что лица, изображенные Гоголем, едва ли существуют в действительности. Оно хорошо и тем, что критик откровенно высказывает, что вовсе не знает провинциальной жизни. Но всего лучше совет — перестать писать о провинции и описывать высшее светское общество: этот совет восхитителен. Вот, если бы Гоголь послушался — нечего сказать, одолжил бы нас, людей в модных галстуках! С тою же меткостью, которая помогла критику открыть у Лермонтова заимствования из Марлинского и Бенедиктова, он замечает, что Гоголь — подражатель Тика и Гофмана:

Нельзя не заметить, что в новых повестях, которые мы читаем в «Арабесках», этот юмор малороссийский не устоял против западных искушений и покорился в своих фантастических созданиях влиянию Гофмана и Тика. И мне это досадно. Ужели ничто оригинально русское не может устоять против немецкого? Может быть, это есть влияние Петербурга на автора.

Да ведь нужно было бы спросить, слыхивал ли Гоголь в 1835 году о Гофмане и Тике? О Гофмане — без сомнения, потому что в «Невском проспекте» сапожник, помогавший своему приятелю Шиллеру в совершении неучтывого поступка над поручиком Пироговым, называется Гофманом; и писатель Гофман был тогда уже несколько известен русской публике. Но каким бы образом Гоголь мог подчиниться влиянию Тика, которого едва ли хоть сколько-нибудь знал? Считаем ненужным замечать, что с Гофманом у Гоголя нет ни малейшего сходства: один сам придумывает, самостоятельно изобретает фантастические похождения из чисто немецкой жизни, другой буквально пересказывает малорусские предания («Вий») или общеизвестные анекдоты («Нос»): какое же тут сходство? Уж после этого «Песня о Калашникове» не есть ли подражание «Гецу фон Берлихингену»? ведь у Гете тоже изображено владычество «кулачного права», Faustrecht. С Тиком, этим праздным фантазером, у Гоголя еще меньше сходства. Но довольно для г. Шевырева заглавия «фантастическая повесть» — и дело решено, подражание открыто. Удивительно! ⁶⁴

Заметим еще, что критик и у Гоголя, как у Пушкина, главною чертою всех произведений нашел эскизность. Видите ли, слог Гоголя нехорош, как и следовало ожидать: «Виною этому, кажется, скоропись, которою увлекается повествователь. Он слишком эскизует свои прекрасные создания. Даже самый «Тарас

Бульба» отзываясь скоростью эскиза». — «Миргород», как мы видели, собрание водевильных повестей; но пронизательный критик заметил в нем один эпизод грустный — только один небольшой эпизод, — именно в «Старосветских помещиках» — теплое, страстное размышление о силе привычки (в новом издании стр. 35—36). Этот эпизод принадлежит к числу самых лучших, самых глубоко прочувствованных страниц, когда-либо написанных Гоголем; г. Шевырев ужасно им недоволен и хочет вычеркнуть его, как советовал Лермонтову «скрывать от взыскательного света» свои стихотворения: «Мне не нравится тут (в «Старосв[етских] помещ[иках])» одна только мысль — убийственная мысль о привычке, которая как будто разрушает нравственное впечатление целой картины. Я бы вымарал эти строки». Прекрасно! «Разрушает впечатление целой картины». А в этих строках и высказан существенный мотив всего рассказа.

От «Миргорода» перейдем прямо к «Мертвым душам», минуя «Ревизора»: мнение г. Шевырева об этой комедии увидим после. Критическая статья о «Мертвых душах» помещена г. Шевыревым в VII и VIII книжках «Москвитянина» за 1842 год.

В разборе «Миргорода» г. Шевырев не делает ни малейшего намека на то, что можно считать Гоголя великим писателем; он кажется ему не более, как хорошим беллетристом шуточного характера. Мы видели, что за «Миргород» и «Арабески» некоторый другой критик уже назвал Гоголя главою русских писателей, преемником Пушкина. Г. Шевырев не только не видит, но и не предчувствует этого: для него многие из тогдашних, ныне полузабытых, беллетристов продолжают стоять выше Гоголя. В «Тарасе Бульбе», «Невском проспекте», «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», как мы видели, г. Шевырев находил еще только «зародыш таланта». Возвысился ли Гоголь в глазах его изданием «Ревизора», увидим после, но еще в «Москвитянине» 1841 года мы могли бы найти доказательства, что г. Шевырев продолжал ставить Гоголя ниже некоторых из второстепенных тогдашних писателей. Но «Мертвые души» он уже разбирает как высокохудожественное произведение; о значении Гоголя в русской литературе он говорит, правда, очень уклончиво, о значении его для развития общества, о смысле «Мертвых душ» не говорит ровно ничего, но все-таки осмеливается отчасти обнаруживать, что ставит Гоголя очень высоко, хотя не дерзает решительно поставить на ряду с Жуковским или Пушкиным и вообще смотрит на него еще свысока, не оставляя его благими поучениями. Все-таки похвально уж и то, что он считает «Мертвые души» высоким художественным произведением. Разбор написан с точки зрения исключительно художественной. Мысль, руководящая критиком, та, что в художественном произведении все развитие плана и все подробности необходимо вытекают из общей идеи создания. Правда, как ни высоки художественные до-

стоинства «Мертвых душ», но видеть в Гоголе только художественные достоинства значит вовсе не понимать Гоголя; но не будем подражать «взыскательному свету», будем рады и тому, что хотя художественная сторона, если не содержание «Мертвых душ», кажется ученому критику достойною похвалы. И прежде всего нам очень приятно заметить следующее справедливое объяснение закона прогрессивности, по которому расположены различные главы «Мертвых душ»:

Взгляните на расстановку характеров: даром ли они выведены в такой перспективе? Сначала вы смеетесь над Маниловым, смеетесь над Коробочкою, несколько серьезнее взглянете на Ноздрева и Собакевича; но, увидев Плюшкина, вы уже вовсе задумаетесь: вам будет грустно при виде этой развалины человека.

А герой поэмы? Много смешит он вас, отважно двигая вперед свой странный замысел и заводя всю эту кутерьму между помещиками и в городе; но когда вы прочли всю историю его жизни и воспитания, когда поэт разоблачил перед вами всю внутренность человека, не правда ли, что вы глубоко задумались?

Наконец представим себе весь город N. Здесь, кажется, уж донельзя разыгрался комический юмор поэта, как будто к концу тома сосредоточив все свои силы... Но и тут даже, где смешное достигло своих крайних пределов, где автор, увлеченный своим юмором, отрешил местами фантазию от существенной жизни и нарушил тем ее характер, — и здесь смех при конце сменяется задумчивостью, когда, среди этой праздной суматохи, внезапно умирает прокурор, и всю тревогу заключают похороны. Невольно припоминаются слова автора о том, как в жизни веселое мигом обращается в печальное.

Чтобы выставить на первый план все хорошее в статье г. Шевырева о «Мертвых душах», приведем здесь и замечания его о том, что в двух или трех местах автор едва ли не нарушает строгой объективности своих лиц, заставляя их говорить вещи, которые удобнее мог бы сказать прямо от себя:

Комический демон шутки иногда увлекает до того фантазию поэта, что характеры иногда выходят из границ своей истины; правда, что это бывает очень редко. Так, например, неестественно нам кажется, чтобы Собакевич, человек положительный и солидный, стал выхвалять свои мертвые души и пустился в такую фантазию. Даже самое красноречие, этот дар слова, который он внезапно по какому-то особенному наитию обнаружил в своем панегирике каретнику Михееву, плотнику Пробке и другим мертвым душам, кажутся противны его обыкновенному слову, которое кратко и все рубит топором, как его самого обрубилa природа. Автор сам это чувствовал и оговорился словами: «откуда взялись рысь и дар слова в Собакевиче». — То же самое можно заметить о Чичикове: прекрасны его думы о мертвых душах, им купленных, но напрасно приписаны они самому Чичикову, которому, как человеку положительному, едва ли могли бы прийти в голову такие чудные поэтические были о Степане Пробке, о Максиме Телятникове — сапожнике, и особенно о грамотее Попове беспашпортном, да об Фырове Абакуме, гуляющем с бурлаками. Мы не понимаем, почему все эти размышления поэт не предложил от себя. Неестественно также нам показалось, чтобы Чичиков уж до того напился пьян, что Селифану велел сделать всем мертвым душам головную переклячку. Чичиков человек солидный и едва ли напьется до того, чтобы впасть в подобное мечтание.

Быть может, этим не нарушается объективность характера ни Чичикова, который любил пофантазировать в чувствительном роде, как все положительные и плутоватые люди, и который, действительно, во многих местах поэмы фантазирует (например, при встрече на дороге с губернаторскою дочкою), ни Собакевича, который не любит говорить попусту, а для своих выгод не поспытается на слова — удивительно, в самом деле, как самые холодные, дубовые люди оживляются и делаются красноречивы при продаже и покупке, — однако же, справедливо или несправедливо замечание г. Шевырева об этих случаях, все-таки оно не заключает в себе ничего нелепого, скорее даже может быть названо остроумным; но, к сожалению, только и может быть найдено хорошего в его статьях. Вообще говоря, критик слишком далеко заходит, желая решительно о каждой мелочи доказать, что она решительно необходима именно на том самом месте, где помещена Гоголем: он совершенно упускает из виду, что, выражаясь ученым образом, «необходимость облекается в искусство формою случайности», то есть, например, Чичиков мог бы встретить на дороге к Манилову не одного, а двух или трех мужиков, деревня Манилова могла бы лежать налево, а не направо от большой дороги, Собакевич мог бы назвать единственным порядочным человеком в городе не прокурора, а председателя гражданской палаты или вице-губернатора, и так далее, и художественное достоинство «Мертвых душ» нимало не потеряло бы и не выиграло бы от этого. А г. Шевыреву кажется, что все это решительно так же существенно неизменяемо, так же вытекает из идеи «Мертвых душ», как, например, характер Чичикова или общая физиономия губернского города N, где происходит действие поэмы. Ограничимся одним примером: излагая главу о Коробочке, критик говорит:

Вся птица, как заметно, уж так приучена заботливою хозяйкою, составляет с нею как будто одно семейство и близко подходит к окнам ее дома: вот отчего у Коробочки только могла произойти не совсем учтивая встреча между индейским петухом и Чичиковым... Вы заметили, что мужики Коробочки отличаются от других помещичьих мужиков все какими-то необыкновенными прозвищами: знаете ли, почему это? Коробочка себе на уме: уж у ней что ее, то крепко ее, и мужики так же помечены особыми именами, как птица помечается у аккуратных хозяев, чтобы не сбежала. Вот почему так трудно было Чичикову уладить с нею дело: она хоть и любит продать и продает всякий продукт хозяйственный, но зато и на мертвые души смотрит так же, как на свиное сало, на пеньку или на мед, полагая, что и они в хозяйстве могут спонадобиться.

Ужели Коробочка не продает мертвых душ по расчетливости? напротив, просто по глупости: тупоумная старуха никак не может понять предложений Чичикова. И почему у нее именно крестьяне имеют длинные прозвища? Почему не имеют этих прозвищ крестьяне Собакевича, который занимается хозяйством лучше Коробочки? Просто, Гоголю нужно было дать чьим-нибудь крестья-

нам длинные прозвища, какие встречаются в иных околотках; а чьих именно крестьян окрестить длинными именами, было решительно все равно. И почему индюк мог закухатать только под окном у Коробочки, а не у Собакевича или Ноздрева, или не под окном городской гостиницы? Критик думает, что только Коробочка, кормившая птицу из своих рук, могла приучить птицу бродить под окнами; но ведь домовитые хозяйки бросают корм птице, не сидя под окном, а с крыльца. Из окна, чувствительно и романтически, могли скорее кормить птицу Маниловы. Сору и крошек из окон выбрасывалось в гостинице больше, нежели у Коробочки, и птица чаще, нежели где-нибудь, бродила под окнами гостиницы. Одним словом, той необходимости, которую видит критик, нет в незначительных мелочах «Мертвых душ», как и вообще не бывает в художественных произведениях. Об этом подробно и основательно говорится, например, в эстетике Гегеля (чтобы и нам блеснуть ученостью). Но критик механически, а не по внушению собственного вкуса, развивая заимствованную и не вполне понятую мысль о необходимости выводить подробности художественного произведения из его идеи, подробно излагает все содержание «Мертвых душ», при каждой фразе без всякого разбора повторяя: «так! иначе и не могло быть!» Это изложение занимает большую половину его критики. Частью держится он в нем слов самого Гоголя и тут, конечно, рисует характеры и события без особенных промахов: но иногда дополняет слова автора собственными соображениями, и тут-то надобно подивиться своеобразности его взгляда! Приведем один пример — понятие критика о главном действующем лице, Чичикове:

Из всех приобретателей Чичиков отличался необыкновенным поэтическим даром в вымысле средства к приобретению, не правда ли, что в этом замысле (покупать мертвые души) есть какая-то гениальная бойкость, какая-то удаля плутовства, фантазия и ирония, соединенные вместе! Чичиков, в самом деле, герой между мошенниками, поэт своего дела: посмотрите, затевая свой подвиг, какую мысль он увлекается: «А главное то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным — никто не поверит». Он веселится своему необычайному изобретению, радуется будущему изумлению мира, который до него не мог выдумать такого дела, и почти не заботится о последствиях, в порыве своей предприимчивости. Самопожертвование мошенничества доведено в нем до крайней степени: он закален в него, как Ахилл в свое бессмертие.

Изумительно! Да ведь, кажется, ясно, что Чичиков восхищается необыкновенностью задуманного плутовства потому, что легко будет его исполнить: никто не догадается, не поверит. Он восхищен тем, что вперед уверен в удаче. Чичиков—Ахилл самопожертвования! изумительно!

Но, конечно, не изумит читателей, что в разборе «Мертвых душ» Италия не сходит со сцены. Говорит ли критик о Плюшкине, он объясняет: «Плюшкин так живо видится нам, как будто бы мы его припоминаем на картине Альберта Дюрера⁶⁵ в гал-

лерее Дорна»; описывает ли Гоголь сероватыми красками русскую дорогу — это оттого, видите ли, что «пышная Италия дивами своего искусства и природы затмила все, что и могло бы на однообразной дороге русской сказаться сердцу поэта»; случится ли Гоголю поэтически очерчивать различие русского языка от немецкого, английского, французского, — опять-таки «замечательно, что поэт в числе языков не отметил резким карандашом своим итальянского слова, хотя, конечно, имел все данные перед собою, чтобы судить о нем: это не потому ли, что русский народ в меткости и живучести слова сходится с художником-итальянцем так, как и во многом другом, несмотря на то, что жар и мороз разделили оба народа?»

Вы скажете: да каким же образом и зачем тут Италия? а я скажу: да разве можно объяснить, почему припоминаешь то или другое? Иногда это бывает и совершенно без причины. Например, осудите ли вы меня, если мне совершенно некстати припоминаются слова Гоголя о начальнике Чичикова: «Начальник был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она была там все равно, что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда вытеребить» («Мертвые души», 3 изд., стр. 445). Осудите ли вы меня, если мне вздумается даже заменить тут слова: «которого водили за нос», словами: «который под носом у себя ничего не видел?» — ведь это моя фантазия, а в фантазиях всякий волен.

Все это, как мы сказали, не покажется читателю удивительно; но удивительно покажется то, что на «Мертвых душах», по мнению критика, ярко отразились итальянские краски, что талант Гоголя воспитан не русскою жизнью, а итальянскою природою и картинами Рафаэля, не беседою с русскими людьми, а обращением с итальянскими живописцами. Читайте и убеждайтесь:

Только близорукий не заметит, что небо Италии, прозрачный ее воздух, ясность каждого оттенка и каждого очерка в предмете, картинные галлерей, мастерские художников и частое обращение с ними, наконец, поэзия Италии воспитали в Гоголе фантазию тою стороною, которою обращена она ко всему внешнему миру, и дали ей такое живописное направление, такую полноту и оконченность. — Говоря об этом, нельзя не обратить внимания на симпатию Гоголя к Италии, на душевное влечение его к стране изящного. Откуда объяснить это? Из того только, что он истинный художник, что искусство — его призвание. Если так, то какая же другая сфера могла удовлетворить ему, кроме Италии, и в самой Италии какой город мог он избрать, если не Рим, где минувшее величие, природа и искусство сочетались в одно и образовали для всякого современного художника чудный приют, волшебное окружение? — Яркий отпечаток природы, живописи, поэзии изящного полудня Европы лежит на колорите «Мертвых душ» и на всем, что составляет внешнюю сторону изображаемого в них мира. Содержание, разумеется, дано России, и поэт всегда ему верен; но ясновидение и сила фантазии, с какими воссоздает он далекий мир отчизны, воспитаны в Гоголе итальянским окружением. В одном месте видно даже, что Италия невольно бросила несколько жарких красок на самое содержание картины, а именно в описании сада Плюшкина, где зе-

легкие облака и трепетolistные куполы деревьев, лежащих на небесном горизонте, напоминают ландшафты юга. Говоря об этой полуденной стихии в поэме Гоголя, как забыть чудные сравнения, встречающиеся нередко в «Мертвых душах»? Их полную художественную красоту может постигнуть только тот, кто научал сравнения Гомера и итальянских эпиков, Ариоста и особенно Данта.

Тут следует очень подробное пояснение последней мысли, — именно, что сравнения у Гоголя заимствованы у Гомера, Ариоста и Данта. Эта счастливая мысль критика была в свое время по достоинству превознесена петербургскими журналами, потому оставляем ее без объяснений; да и вообще объяснения на статьи г. Шевырева писать гораздо труднее, нежели комментарии на самого Данта. Читаем далее:

Все, к чему ни прикасается волшебная кисть Гоголя, все живет в его ярком слове, и каждый предмет сквозит из него и выдается своим видом и цветом. И это свойство своей фантазии русский поэт мог возвести на такую степень искусства только там, где творил Дант, где Ариост дружил с Рафаэлем и в его мастерской, созерцая бессмертную кисть, переносил живые ее краски в итальянское жаркое слово. Кто не понимает сочувствия Гоголя к Италии, тот не поймет и всей красоты в пластическом внешнем элементе его фантазии. Мы объяснили внешнюю сторону ясновидящей фантазии поэта, показали ее воспитание (т. е. в Италии) и отношение к стороне внутренней; перейдем теперь к сей последней. Под именем ее мы разумеем ясное созерцание всего внутреннего человека в различных его видах. В этом отношении Гоголь является достойным учеником поэзии севера, и особенно Шекспира и Вальтера Скотта.

Положим, что Гоголь был ученик Шекспира, хотя в том смысле, в каком и Лермонтов, и г. Григорович, и г. Гончаров, и г. Тургенев, и все хорошие писатели, настоящие и будущие — ученики этого великого человека: ведь особенного влияния Шекспира на Гоголя не заметно; положим, что он ученик и Вальтера Скотта, хотя он вовсе не был учеником его; но что ж из того? Как что! разве вы не предчувствуете:

Заклучим же: учителя юга и севера, Италия и Шекспир, положили печать свою на внешней и внутренней стороне фантазии поэта в отношении к ясновидению жизни. Такое сочетание двух элементов, заметное у нас и в других поэтах, особенно же в Пушкине, обещает в будущем для русской фантазии и для русского искусства развитие многостороннее и совершенно полное. О, если бы мы могли совместить в себе внешний юг с внутренним севером, изыщную пластику и форму первого и глубокую идею второго, мы достигли бы идеала в искусстве. Приятно мечтать о том и еще приятнее видеть, что наша мечта начала осуществляться.

А! вот к чему шло дело! т. е. вот к чему: Дант писатель великий, но односторонний: у него мысль подавлена формою; Шекспир тоже великий писатель, но опять односторонний: у него мысль подавила форму. Иначе и быть не могло: ведь Запад погружает в односторонности. А вот у нас так будут, а отчасти уж и есть писатели получше ваших Шекспиров. Соглашаемся, соглашаемся: ведь мы уже увидели себя вне возможности возражать

ученому критику. Но если «Мертвые души» внушают вам столь высокое ожидание и отчасти уже оправдывают его, то, по крайней мере, хорошая ли вещь эти «Мертвые души»? Мы хотим слышать о них от вас не комплименты и художественные фразы, — нет, нам нужен прямой ответ: правда или вздорная фантазия «Мертвые души», пустая выдумка праздного воображения или картина действительного быта? и, во всяком случае, хороша ли основная идея этого создания? — Увы! по мнению г. Шевырева: «нет!» Он говорит, что общество, которое изображено в «Мертвых душах», не существует, не может существовать на самом деле: создавая город N. (куда является Чичиков), «фантазия поэта разыгралась вволю и почти отрешилась от существенной жизни» (№ VII, стр. 220). Эта фраза повторяется несколько раз. Но «город N. придуман сообразно характеру героя», стало быть, и Чичиков лицо более фантастическое, нежели действительное. — А каковы характеры других лиц? И хотя фантастическим образом, но удовлетворительно ли изображена жизнь общества, которое состоит из этих лиц? Нет, нет! и характеры изображены неудовлетворительно, и жизнь также: всюду у Гоголя односторонность:

Велик талант Гоголя в создании характеров; но мы искренно выскажем и тот недостаток, который замечаем в отношении к полноте их изображения или произведения в действие. Комический юмор, под условием коего поэт созерцает все эти лица, и комизм самого события, куда они замешаны, препятствуют тому, чтобы они предстали всеми своими сторонами и раскрыли всю полноту жизни в своих действиях. Мы догадываемся, что, кроме свойств, в них теперь видимых, должны быть еще другие, добрые черты, которые раскрылись бы при иных обстоятельствах: так, например, Манилов, при всей своей пустой мечтательности, должен быть весьма добрым человеком, милостивым и кротким господином с своими людьми и честным в житейском отношении; Коробочка, с виду крохоборка, погружена в одни материальные интересы своего хозяйства, но она непременно будет набожна и милостива к нищим и т. д...

То, что сказали мы о характерах, должно повторить и о воссоздании всей русской жизни в поэме Гоголя... И здесь будет та же самая оговорка со стороны нашей, что комический юмор автора мешает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме. Это особенно ясно в тех ярких заметках о русском быте и русском человеке, которыми усеяна поэма. По большей части мы видим в них одну отрицательную, смешную сторону, полобхвата, а не весь обхват русского мира.

Итак, характеры и жизнь у Гоголя односторонни, неверны, фантастичны. Тут уж не помогут художественные совершенства плана и подробностей: ведь форма без содержания ничтожна, форма с фальшивым содержанием фальшива; следовательно, все похвалы ей также обращаются в ничтожество и фальшь. Сравним эту последнюю и единственную существенную выписку — потому что она одна касается сущности дела, все предыдущие толкуют еще об архитравах и колоннах, о резцах и картинных галереях — сравним ее с рецензиями Н. А. Полевого: ведь она вся целиком как будто взята из них; но Полевой имел твердость высказать

свое мнение [не обсахаривая его конфетными комплиментами] и, так как содержание «Мертвых душ» ему казалось неправдою, имел прямоthu сказать, что «Мертвые души» — произведение фальшивое. Почему же г. Шевырев, в сущности думая об изображении характеров и жизни в «Мертвых душах» то же самое, что Н. А. Полевой, осыпает, однако же, похвалами это произведение? Причин много: из них первую объясняет сам же г. Шевырев на первой же странице своей критики: видите ли, лишь только явились «Мертвые души», как тотчас же

Из тесных рядов толкучего рынка литературы (мы знаем уже, что это прозвище дано было петербургским журналам) выскочило наглое самохвальство в виде крикливого пигмея, с медным лбом и размахистою рукою (то есть выскочил рыцарь без имени, на щите которого кривыми буквами написан был девиз: «убеждение»); обрадовавшись случаю из-за похвалы Гоголю похвалить самого себя, оно, ставши перед произведением, пялит на нем свою тощую фигуру, силится прикрыть его собою, и потом показать вам и уверить вас, что точно оно вам его показало, а без того вам бы его и не увидеть.

Вот это-то хвастливое невежество так громко кричало о высоком значении «Мертвых душ», что, под опасением прослыть отсталым человеком, нельзя было не служить эхом хвастливому писателю. Другая причина: Гоголь сам незадолго перед изданием «Мертвых душ» объяснил значение своих произведений, в пьесе «Разъезд»; третья причина: голос публики в пользу Гоголя стал слишком громок; четвертая причина — надежды на исправление Гоголя, поданные некоторыми местами первого тома «Мертвых душ», где автор обещается представить добродетельного русского человека и добродетельную русскую девицу, перед которыми плохи покажутся все добродетельные люди всех других стран — «наглое невежество рыцаря без имени» предвидело в этих обещаниях сильную опасность для таланта Гоголя; а г. Шевырев получил надежду, что за легкомысленным и пустым первым томом «Мертвых душ» последуют произведения более удовлетворительные и серьезные, и решился ради этих следующих благих дел похвалить и начало их: во второй части Гоголь испулит односторонность первого тома, докажет, что талант его не односторонен:

Да не подумают читатели, чтоб мы признавали талант Гоголя односторонним, способным созерцать только отрицательную половину человеческой и русской души. О, конечно, мы так не думаем. Если в первом томе его поэмы мы видим русскую жизнь и русского человека по большей части отрицательною их стороною, то отсюда никак не следует, чтобы фантазия Гоголя не могла вознестись до полного объема всех сторон русской жизни. Он сам обещает нам далее представить «все несметное богатство русского духа», и мы уверены заранее, что он славно сдержит свое слово. К тому же и в этой части он чувствовал необходимость восполнить недостаток другой половины жизни, и потому в частых отступлениях, в ярких заметках, брошенных эпизодически, дал нам предчувствовать и другую сторону русской жизни, которую со временем раскроет во всей полноте ее.

Ради этих немногих отступлений и преимущественно ради этого благого обещания, прощаются пустота и легкомыслие первого тома. — Как, разве первый том «Мертвых душ» не только одно-стороннее и фальшивое, но и пустое, легкомысленное произведение? — А вы думали, нет? Вот вам доказательство:

Взгляните на вихорь: в начале бури легко и низко проносится он сперва; взметает пыль и всякую дрянь с земли; перья, листья, лоскутки летят вверх и вьются, — и скоро весь воздух наполняется его своенравным кружением. Легок и незначителен кажется он сначала; но в этом вихре скрываются слезы природы и страшная буря. Таков точно и комический юмор Гоголя. Но вот налетели тучи. Сверкнула молния. Гром раскатился по небу. Дождь хлынул потоками. Земля и небо смешались вместе. Не такова ли будет вторая часть его поэмы, в которой обещает он нам *лирическое течение*, *горизонт раздающийся* и величавый гром других речей?

Кажется, ясно, что первая часть «Мертвых душ», где нет «лирического течения» — вихорь, который «легок и незначителен», который сам по себе ничтожен и будет заслуживать некоторого внимания только тогда, когда «раздастся гром других речей», иначе сказать, пустота прощается первой части «Мертвых душ» только с условием и только в надежде, что вторая часть не будет нимало походить на первую.

«Прощается», сказали мы, первый том Гоголю ради следующих... да, именно прощается, потому что он был действительно преступлением со стороны Гоголя. Вам угодно доказательство? Оно в статье г. Шевырева, написанной по поводу «Переписки с друзьями». Цель этой статьи — опровергнуть упреки, со всех сторон раздавшиеся против этой книги. Нам нет нужды говорить, как г. Шевырев оправдывает Гоголя. Более странного оправдания никто никогда не читывал: все главнейшие упреки повторяет он от своего лица и думает, что говорит похвалы Гоголю. А если вникнуть в сущность статьи, то оказывается, что дело в ней идет вовсе не о Гоголе, а собственно о самом г. Шевыреве. Не обращая никакого внимания на истинный смысл слов «Переписки», он старается только доказать ею справедливость различных своих теорий, хотя и этого не достигает, потому что, каковы бы ни были мнения, запутавшие мысль Гоголя в эпоху «Переписки с друзьями», но, во всяком случае, они существенно различны от мнений г. Шевырева. Ведь очень сходные слова имеют различное значение, если произносятся по различным побуждениям, если произносятся людьми различных натур. «Я недоволен прежнею своею жизнью», говорит Фауст. «И я недоволен прежнею твоею жизнью»⁶⁶, говорит ему Вагнер. Согласитесь, что Фауст говорит вовсе не о том, о чем говорит Вагнер. Один недоволен собою потому, что не столько пользы принес людям, сколько хотел бы; другой недоволен потому, что Фауст думал прежде о таком вздоре, как грубая жизнь глупого — то есть неученого — народа. Но какое нам дело до Фауста и Вагнера? Мы хотели сказать, что нас

интересует не то, что говорил г. Шевырев о «Переписке с друзьями», а те откровенности насчет его мнений о прежних сочинениях Гоголя, на которые дает ему отвагу «Переписка с друзьями». В разборе «Мертвых душ» правда засыпана комплиментами; в статье по поводу «Переписки» она высказана без обиняков. Там г. Шевырев имел перед глазами «наглое невежество», которому противоречить страшно, голосу которого подчиняются иногда мнения самых ученых людей; здесь он был безопасен под щитом, на котором, — кривыми или прямыми буквами — не знаем, было написано: «ведь сам Гоголь осуждает свои прежние сочинения». Посмотрим же, как он говорил в это счастливое для откровенности время. Выписка длинна, но очень интересна и должна иметь для читателя ту прелесть, что она последняя выписка наша из статей г. Шевырева. — Гоголь дурно делал, что писал сочинения, подобные «Ревизору» и «Мертвым душам», говорит г. Шевырев, и нельзя не считать их важными проступками с его стороны:

Виноват ты, художник. Будь уверен, что мы сумеем оправдать тебя сами в твоём комизме и в твоём хохоте, насколько ты достоин и заслуживаешь оправдания, насколько ты сам остаешься недоволен в своём смехе и насколько в нём виновна жизнь, тебя окружающая. Но сознайся в том, что ты часто находил самоуслаждение в этом хохоте, через меру заливался своим смехом, в чём мы тебя и прежде попрекали, слишком тешился своим даром смешить других и забывал иногда о тех глубоких слезах, которые тяготели у тебя на душе, и забвение которых отнимало у твоего смеха глубину и силу, и отзывался он тогда чем-то пустым и даже приторным. Отчего же, чуя в себе другую, высшую сторону русского человека, не давал ты ей простора в широких пределах твоей фантазии? Отчего изменял другой, лучшей половине своей мысли? Мы не обвинили бы тебя, если бы ты сам не обвинил себя в этом своим же словами, которые невольно сорвались с пера твоего, как бы в собственное твоё обличение: «мне хотелось попробовать, говоришь ты, что скажет вообще русский человек, если его *попотчешь* его же *собственной пошлостью*». В искусстве никогда не должно хотеться *пробовать*: искусство должно быть свободно от всяких преднамерений личности. Стало, ты не всегда смеялся свободно и искренно, по призыву вдохновения? И чем же захотелось тебе попотчевать русского человека? его же пошлостью! Хорошо потчеванье, хорошо гостеприимство художника! Для того, чтобы лучше это выполнить, ты стал свою собственную дрянь, как говоришь, наваливать на героев своих. Для тебя хорошо, если ты таким способом очистил душу свою, но хорошо ли для искусства, которое через твою дрянь могло впасть в односторонность, особенно лишённое комического дара, принадлежащего лицу твоему?..

Но продолжать ли нам свои обвинения? Художник наказан двояко за злоупотребление своего дара в одну сторону и за свои увлечения. Если от высокого до смешного один шаг, то, наоборот, от смешного до высокого нет пути: между ними бездна. Когда вся пошлость действительной жизни поднята была хохотом в мир поэзии, тогда хохот одолел всё; и когда поэт захотел обратить глаза на другой мир, на другую, высокую сторону жизни, ему показалось страшно: он побоялся уже за своих исполнителей, чтобы они не пали перед Собакевичами и Ноздревыми, — и пепел второго тома «Мертвых душ» был первым ему же наказанием. Другое наказание в той школе, которую он произвел, сам, конечно, не воображая, что она родится и выведет от него свою родословную. Смешно быть отцом детей, которых не знаешь и которые навязываются к тебе с нежным наименованием

папеньки... Гоголь сам испугался той школы, которую нехотя произвел, и в этом испуге объявил прежние создания свои бесполезными («Москвит[янин]», 1848 г., № 1, Критика, стр. 26—29).

Вот, что правда, с тем нельзя не согласиться. Гоголь напрасно говорил, что под его смехом скрываются горькие слезы: смех его был без всякой глубины, отзывался чем-то пустым и приторным. Он виноват не только перед русскою жизнью, но и перед искусством, с которым обращался эгоистически, наваливая на него свою дрянь. Зато он и наказан: ему никогда не создать высоких произведений искусства: «от смешного до высокого нет пути».

Вот это мы называем прямою, верностью своим убеждениям, непреклонная чистота которых только на время была возмущена восторгом неученой толпы и криками «наглого невежества», восторженными криками «рыцаря без имени». — «Переписка с друзьями» дала г. Шевыреву силу высказать то, что он давно уж думал о Гоголе; а свидетельство о том, как он думал о Гоголе, сохранено в «Отечественных записках». Однажды «Москвитянин» намекнул о том, что «Московский наблюдатель», в котором г. Шевырев был главным критиком и вообще главным лицом, первый оценил Гоголя, и что статья, оценившая Гоголя, была написана г. Шевыревым. На это «Отечественные записки» отвечали:

Из журналов первый оценил Гоголя «Телескоп» (в статье «О русской повести и повестях 1. Гоголя», как мы говорили в начале наших «Очерков»), а совсем не тот, другой московский журнал, который отказался принять повесть Гоголя «Нос» по причине ее пошлости и тривияльности, и не тот именитый критик, который отказался писать о «Ревизоре», как опять о тривияльном и грязном произведении» («Отечественные записки», том XXV, Смесь, стр. 107).

Мы сделали обзор мнений тех журналов, которые не хотели понимать Гоголя. Теперь переходим к мнениям людей, которые понимали и ценили его.

Отрадно вспомнить, что первый оценил Гоголя, первый заговорил о нем печатно тот самый человек, который до Гоголя был величайшим из наших писателей. Радужным приветом встретил, благословением своим напутствовал Пушкин двадцатилетнего одинокого юношу, который сделался преемником его славы. И не только как писатель писателя встретил и ободрил он его, и как человек для человека сделал он для него все, что мог. Радостно и тепло становится душе при подобных воспоминаниях.

Вот первая статья из всех явившихся о Гоголе в русских периодических изданиях. Она прислана была Пушкиным в «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» и напечатана в этой газете в 79 номере 1831 года.

Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопор-

ности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов.

«Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновенно, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять *les précieuses ridicules* нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского».

Какою задушевною радостью о новом необыкновенном таланте проникнута эта статья! И как в ней много сказано, несмотря на ее краткость! И как верно и метко все в ней сказанное! Не укрылась от Пушкина и та грусть, которая после стала существеннейшею чертою гоголевых созданий, но которая так немногими замечается в его первых, еще так ярко озаренных радостью жизни произведениях.

Другую статью о Гоголе, помещенную в первой книжке пушкинского «Современника», мы уже привели в предыдущей нашей статье.

По смерти Пушкина, друзья его продолжали быть и друзьями Гоголя как человека и почитателями его таланта. Из этих людей, двое, князь Вяземский и г. Плетнев, были журналистами, и оба они очень верно понимали произведения Гоголя. Все написанное ими о нем принадлежит к числу лучшего, что только было написано о Гоголе.

Князь Вяземский занимает ныне такое высокое положение, что мы отважились бы на характеристику его критической деятельности только в таком случае, если б обязанность историка требовала обнаружить в ней какие-нибудь ошибки. [Но долгая и важная для литературы деятельность этого критика не представляет материалов для порицаний. Излагая его суждения, нам оставалось бы только выражать свое согласие, — ведь нельзя же противоречить справедливому.] Читатели поймут чувство, которое заставляет нас уклониться от полной характеристики критической деятельности этого писателя и ограничиться замечанием, что он был достойный подвижник Пушкина, достойный друг Жуковского, Пушкина и Гоголя ⁶⁷.

Потому мы просто, без всяких эпитетов представим только краткое извлечение из статьи кн. Вяземского о «Ревизоре». Она помещена в пушкинском «Современнике» ⁶⁸. Да и это мы делаем только потому, что статья князя Вяземского слишком важный факт в истории распространения справедливых суждений о Гоголе.

Разбор этот начинается замечаниями о том, что в нашей

литературе редки «события», редки книги, заслуживающие внимания, возбуждающие интерес в публике. «Ревизор» — такое событие; это первая русская комедия, которая появилась со времени «Горя от ума». Блистательный успех его на сцене доказал это. В чтении комедия Гоголя доставляет едва ли не более наслаждения, нежели даже на сцене, как и всегда бывает, когда пьеса написана с умом и талантом, с заботой не столько о сценических эффектах, сколько об истинном комизме. Но как ни блистателен успех «Ревизора», эта комедия подверглась некоторым оговоркам и осуждениям. Они могут быть разделены на три разряда: замечания литературные, нравственные и общественные.

Некоторые говорят, что «Ревизор» не комедия, а фарс. Дело не в названии: можно написать гениальный фарс и пошлую комедию. К тому же, в «Ревизоре» нет ни одной сцены в роде «Скапиновых обманов», «Доктора по неволе», «Пурсоньяка» или расиновых *Les Plaideurs*; нет нигде вымышленной карикатуры, переодеваний. За исключением падения Бобчинского, нет ни одной минуты, сбивающейся на фарс. В «Ревизоре» есть карикатурная природа, — это дело другое. В природе не все изящно; но в подражании природе неизящной может быть изящность в художественном отношении. Смотрите на картины Теньера, на корову Поль Потера * и спросите после: как могло возвышенное искусство посвятить кисть свою на подобные предметы?.. Говорят, что язык (комедии Гоголя) низок. Высокое и низкое высоко и низко по сравнению и отношению: низкое, когда оно на месте, не низко — оно в пору и в меру... Ваши требования доказывают, что вы придерживаетесь традиций классического века... это в глазах наших не безделица, вопреки мнению тех, которые ставят ни во что аристократические традиции гостинных века Людовика XIV или Екатерины II. Но именно по сей же самой терпимости, которую мы исповедуем как закон истинной образованности... мы в искусстве любим простор. Мы полагаем, что где есть природа и истина, там везде может быть и изящное подражание оной. А там уже дело вкуса, или, правильнее, вкусов, избирать любое для подражания и в подражаниях. Между тем, не излишним будет заметить, что фон-Визин читал своего «Бригадира» и своего «Недоросля» при просвещенном и великолепном дворе Екатерины II. — «Так; но в этих комедиях встречаются Добролюбовы, Стародумы, Милоны, а в «Ревизоре» нет ни одного Добролюбова, хоть для примера». — Согласны, но вот маленькая оговорка: когда играли «Недоросля» при императрице, то немилосердно сокращали благородные роли Стародума и Милона, потому что они скучны и неуместны: сохранялись же в неотъемлемой целостности низкие роли Скотинина, Простаковых, Кутейкина. При одних добродетельных лицах своих, фон-Визин остался бы незамеченным писателем, не читал бы своих комедий Екатерине Великой и не был бы и поныне типом русской комической оригинальности. Вывезли его к бессмертию лица, которые не выражают ни одного благородного чувства, ни одной светлой мысли, ни одного в человеческом отношении отрадного слова. А не в отсутствии ли всего этого обвиняете вы лица, представленные г. Гоголем?

...Другие говорят... что коренная основа «Ревизора» неправдоподобна, что городничий не мог так легковерно впасть в обман, а должен был потребовать подорожную и проч. Конечно, так, — но автор в этом случае помнил более психологическую поговорку, чем полицейский порядок и для

* Критик говорит о знаменитой картине Поля Потера «*Vache qui rit*», составляющей одно из драгоценнейших украшений Эрмитажа.

комика, кажется, не ошибся. Он помнил, что у страха глаза велики. К тому же, и минув пословицу, в самой сущности дела нет ни малейшего насилия правдоподобию. Известно, что ревизор придет инкогнито, следовательно, может приехать под чужим именем. Известие о пребывании в гостинице неизвестного человека падает на городничего и сотоварищей его в критическую минуту панического страха, по прочтении рокового письма. Далее, почему не думать городничему, что у Хлестакова две подорожные, два вида, из коих настоящий будет предъявлен когда нужно? Тут нет никакой натяжки, все натурально... В одной из наших губерний был, действительно, случай, подобный описанному в «Ревизоре»: по сходству фамилии, приняли одного молодого приезжего за известного государственного чиновника. Все городское начальство засуетилось и приехало к молодому человеку являться. Не знаем, случилась ли ему тогда нужда в деньгах, как проигравшемуся Хлестакову, но, вероятно, нашлись бы займодавцы. Все это в порядке вещей, не только в порядке комедии.

Некоторые критики, — продолжает защитник Гоголя, — недовольны простонародностью языка в «Ревизоре», не понимая, что выведенные лица не могут говорить другим языком. Они находят у Гоголя слова, по их мнению, неупотребительные в высшем обществе. Это показывает только, что подобные «жеманные словоловы» стараются показать людьми хорошего тона, которого не знают: хороший тон состоит в непринужденности, натуральности, и лучшее общество доказывает, что вовсе не оскорбляется естественностью языка в «Ревизоре»: «лучшее общество сидит в лужах и креслах, когда его играют; брошюрка «Ревизора» лежит на модных столиках работы Гамбса».

Говорят, что «Ревизор» — комедия безнравственная, потому что в ней выведены одни пороки и глупости людские, что уму и сердцу не на ком отдохнуть от негодования и отвращения: нет светлой стороны человечества для примирения зрителей с человечеством, для назидания их... Мы признаем безнравственным сочинением только то, которое вводит в соблазн и в искушение. Беспристрастное изложение самого соблазна не может быть безнравственно. Автор, следуя в этом случае провидению, допускает зло, предоставляя воле и совести читателя и зрителя пользоваться представленным уроком по своим чувствам и правилам. Не должно забывать, что есть литература взрослых людей и литература малолетних: конечно, между людьми взрослыми бывают и такие, которые любят до старости быть под указкою учителя; говорят им внятно: вот это делайте! а того не делайте, за это скажут вам: «пай, дитя», погладят по головке и дадут сахарцу! за другое: «фи, дитя», выдерут за ухо и поставят в угол. Не как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки? На что вам честные люди в комедии, если они не входили в план комического писателя? живописец представил вам сцену разбойников; вам этого недовольно: для нравственной симметрии, вы требуете, чтобы на первом же плане был изображен человек, который отдает полный кошелек свой нищему, иначе зрелище слишком прискорбно и тяжело действует на нервы ваши. Вы и в театре не можете просидеть двух часов без того, чтобы не явился вам хотя один честный человек, один герой добродетели, — именно герой; ибо в представлении просто доброго человека не было бы никакой цели: нет, нужна сопротивная сила для отпора и сокрушения порочных, — одним словом, «барыня требует весь туалет!» Да помилуйте, в жизни и в свете не два часа просидишь иногда без благородного, утешительного сочувствия. Кто из зрителей «Ревизора» пожелал бы быть Хлестаковым, Земляником или даже и невинными Петрами

Ивановичами Добчинским и Бобчинским? Верно, никто! Следовательно, в действии, производимом комедиею, нет ничего безнравственного, — может быть впечатление неприятное, как во всякой сатире, изображающей недуги общества, это дело другое. Но это неприятное действие умерено смехом. Следовательно, условия искусства выдержаны, комик прав.

Сущность общественных замечаний сбивается во многом на вышеприведенные замечания. Говорят, что эта комедия поклеп на русское общество, перебирают в Зябловском и Арсеньеве все уезды великороссийских, малороссийских, западных и восточных губерний и заключают, что такого города нет в государстве. Да есть ли на белом свете люди, похожие на тех, которые выведены в комедии? Бесспорно, есть! Довольно этого.

И возможно ли упрекать Гоголя в том, что он употребляет слишком черные краски? В «Ябед» Капниста злоупотребления изображаются гораздо беспощаднейшим языком.

Все возможные сатурналии и вакханалии Фемиды во всей наготе, во всем бесчинстве своем раскрываются тут на сцене гласно и торжественно. Гражданская палата заседает, слушает и судит дела в той же комнате, где за несколько часов перед тем бушевала оргия; вчерашние бутылки валяются под присутственным столом, прикрытым красным сукном, которое, по мнению повыхчика,

Множество придыкло прикрывать
И не таких грехов!

Деньги тут даются не в займы, а в явный подкуп. Председатель гражданской палаты, члены, прокурор поют хором:

Бери, — большой тут нет науки, —
Бери, что только можно взять!
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать, брать, брать?

Конечно (продолжает критик), и тогда находились многие, называвшие комедию Капниста клеветой на общество, как ныне говорят то же о комедии Гоголя. Но благородные чувства поэта были оценены императором Павлом Петровичем, который разрешил посвятить пьесу Капниста своему имени. Разбор заключается прекрасными словами:

Конечно, чувство патриотической щекотливости благородно: народное достоинство есть святыня, оскорбляющаяся малейшим прикосновением. Но при этих чувствах не должно быть односторонним в понятиях своих. При излишней щекотливости вы стесняете талант и искусство, стесняете самое нравственное действие благонамеренной литературы. Комедия, сатира, роман нравов исключаются из нее при допущении подобного чувства в безусловное и непреложное правило. После того ни одно злоупотребление не может подлежать кисти или клейму писателя, ни один писатель не может быть по мере сил споспешником общего блага, по выражению Капниста *. Личность, эва-

* Слова Капниста в посвящении «Ябеды» императору Павлу I:

Под Павловым щитом почю невредим,
Но, быв по мере сил споспешником твоим,
Сей слабый труд тебе я посвятить дерзаю,
Да именем твоим успех его венчаю.

ние, национальность, а наконец, и человечество будут ограждать злоупотребителей опасением нарушить уликою в злоупотреблении уважение к тому, что под ним скрывается достойного уважения и неприкосновенного. Но мир нравственный и мир гражданский имеют свои противоречия, свои прискорбные уклонения от законов общего благоустройства. Совершенство — цель недостижимая; но совершенствование есть, не менее того, обязанность и свойство природы человеческой. Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного умного человека; неправда: умен автор. Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного честного и благомыслящего лица; неправда: честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое, силою закона поражая злоупотребления, позволяет и таланту исправлять их оружием насмешки. В 1783 году оно допустило представление «Недоросля», в 1799 — «Ябеды», а в 1836 — «Ревизора».

И, можно прибавить теперь, в 1842 году — печатание первой, а в 1855 году — второй части «Мертвых душ».

Благородна ли эта статья, справедлива ли она, давно уже решено и публикою и признано лучшим нашим критиком [автором статей о Пушкине], который очень часто на нее ссылался.

Мы не будем также говорить подробно о критической деятельности г. Плетнева. Опять скажем только, что его имя неразрывно связано с именами Жуковского, Пушкина и Гоголя. Припомним еще, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» изданы были по совету г. Плетнева, да и самое заглавие этой книги дано по его же совету. (Биография Пушкина, г. Анненкова, в I томе «Сочинений А. С. Пушкина», стр. 366.) Считаю неловким говорить о г. Плетневе более, мы ограничимся тем, что представим — также без всяких эпитетов — извлечение из статьи о «Мертвых душах», которую он, под псевдонимом С. Ш., напечатал в XXVII томе издававшегося тогда им «Современника».

[Мы сказали, что считаем неловким хвалить ее, но не можем не упомянуть, что критик «Отеч[ественных] записок» (автор статей о Пушкине) несколько раз возвращался к похвалам этому разбору, как превышающему все остальные критические статьи о «Мертвых душах», помещенные в различных журналах.]

Цель этого разбора, так же, как статьи князя Вяземского о «Ревизоре», — доказать нелепость обвинений и упреков против Гоголя. Критик сначала объясняет, почему произведения Гоголя в художественном смысле неизмеримо выше всего остального в тогдашней русской литературе: они — создания живого, гениального творчества. Сюжет «Мертвых душ» немногосложен и превосходно развит. Жизнь и характеры изображены с поразительною живостью, с изумительною полнотою, в высшей степени объективно. В самых спокойных сценах обнаруживает автор гениальную проницательность, знание жизни и человеческого сердца, обнаруживает без всяких усилий, самым непринужденным и естественным образом. Это доказывается примерами, между прочим разговором Чичикова с Коробочкою (эта сцена, вовсе не блистательная для поверхностного читателя, действительно принадлежит к числу самых гениальных в художественном отноше-

нии). Гоголь не только не впадает в карикатуру или фарс: он даже не намерен ни одного слова сказать с тем, чтобы рассмешить вас. Он заботится только о верности с жизнью, об истине; а если эта жизнь кажется вам нелепа и смешна, это уже ее качество, а не его намерение. И ошибочно было бы думать, что сильнейшее впечатление, производимое «Мертвыми душами» — смех: напротив, это книга очень серьезная и грустная. Все лица в ней живые, все имеют глубокий смысл для того, кто хочет постичь нашу жизнь. При этом г. Плетнев, по нашему мнению, очень справедливо и тонко замечает, что типы Манилова и Плюшкина несколько уступают в значении для нашей жизни остальным лицам «Мертвых душ», хотя и они очень важны. Тесная связь с жизнью, серьезное значение для жизни — высочайшее качество художественного создания. В этом отношении нет в нашей литературе ничего равного «Мертвым душам». Однако же, хотя и нет ничего им равного, «Мертвые души» не совсем удовлетворяют критика в этом существеннейшем смысле — мысль чрезвычайно замечательная; мы просим читателей обратить на нее особенное внимание, и, выписывая вполне все это место из разбора г. Плетнева, не можем желать лучшего, более верного и значительного заключения для нашей статьи:

При всех достоинствах, поэма, конечно, поразит каждого недостатком важным. В ней нет того, чего мы еще не встречаем в нашей жизни — серьезного общественного интереса. Я не умел придумать другого названия тому качеству наших разговоров, мыслей и поступков, которое, не отнимая у них особенностей национальности, придает им ценность общую и вводит их в соприкосновение с интересами других народов. Самые поразительные места, от которых приходишь в восхищение, не выносят души на тот горизонт, откуда она обзирает подобные явления у иностранных писателей. Во всем чувствуешь мелочность и ограниченность. Для иностранца, который не в состоянии трепетать от художественного мастерства автора, вся прелесть исчезает за недостатком жизни более ценной и более общепонятной. Это все несколько не говорит против Гоголя, напротив, еще оправдывает его. Автор без такта, привыкший обманываться в своих ощущениях, легко подымающийся на ходули, когда не на чем более показаться высоким, обыкновенно подделывается под какой-нибудь известный ему тон и, таким образом, все рисует ложно. Гоголь возвратил обществу то, что оно могло дать ему само. Как прежняя, так и нынешняя наша общежительность хранит в своей истории любопытные доказательства в оправдание того, что и у всех, самых великих писателей русских, степень развития общественных интересов всегда была ниже, нежели у писателей других народов («Современник», 1842 г., часть XXVII, стр. 55—56).

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ

В критических статьях, или, лучше сказать, замечаниях Пушкина (замечаниях, говорим мы, потому что его рецензии почти все очень невелики по объему и набросаны, кажется, наскоро, под влиянием первого впечатления) почти всегда блещет тонкий и верный вкус нашего великого поэта. Иначе и быть не могло: как

ни важно участие бессознательной творческой силы в создании поэтических произведений, как ни достоверна всеми ныне признаваемая истина, что без этого элемента непосредственности, составляющей существеннейшее качество таланта, невозможно быть не только великим, но и порядочным поэтом, — но равно достоверно и то, что, при самом сильном даре бессознательного творчества, поэт не создаст ничего великого, если не одарен также замечательным умом, сильным здравым смыслом и тонким вкусом. То же самое, что о критических статьях Пушкина, надобно сказать и о журнальной деятельности людей, составлявших его литературную партию. Все эти деятели нашей критики отличались, подобно своему корифею, тонким вкусом, как и вообще походили на него многими прекрасными чертами своего литературного характера. — например, готовностью с нелицеприятным благородством отдавать каждому должное. Таким образом, Пушкин и его сподвижники обладали многими из качеств, необходимых для того, чтобы оказывать сильное влияние на мнения читающей публики, — и, однако же, их мнения имели и на публику и на развитие литературы менее влияния, нежели как должно было бы ожидать: и большинство читателей и новое поколение писателей поддавались преимущественно влиянию других литературных мнений. Каковы были эти мнения, мы старались показать подробными характеристиками критических направлений, которые преобладали в нашей литературе до той эпохи, когда приобрела в ней решительное господство критика «Отеч[ественных] записок», или усиливались бороться против литературных мнений этого журнала. Не может быть сомнения в том, что Пушкин и его сподвижники высказывали очень много верного и прекрасного. Почему ж их мнения не имели более значительного влияния на литературу и массу публики? Ответ готов у каждого читателя: журнал, бывший органом пушкинского направления критики, не проникал в массу публики, как не проникала в публику и «Литературная газета» Дельвига, предшествовавшая этому журналу, «Современнику» 1836—1846 годов. Подробное объяснение этого явления, принадлежащее истории пушкинского периода русской литературы, лежит вне пределов нашей задачи. Потому из многих причин малоизвестности кратко укажем только одну, специально касающуюся формальной стороны пушкинского направления критики: указывать причины, лежащие в самом содержании, в самом духе этой критики, мы не будем, потому что это завлекло бы нас слишком далеко. Для распространения в публике каких бы то ни было, хотя бы самых простых и справедливых мнений необходимо высказывать их очень настойчиво, упорно, с энтузиазмом страстного увлечения, не утомляющегося скучными для самого критика, но нужными для массы повторениями, не пренебрегающего подробным разбором книг и суждений, которые важны только по своему внешнему

значению — по влиянию на публику, а не по внутреннему интересу для искусства, наконец, не отвращающегося, ради интересов публики, даже от споров с людьми, вступать в споры с которыми вовсе не приятно и не почетно. Одним словом, критическая деятельность, подобно всякой другой общественной деятельности, имеет много сторон, тем более полезных для публики, чем неприятнее они для самого деятеля. Критик, который хочет говорить только о том, о чем интересно говорить для него самого, который хочет сохранить в своей деятельности столько же гордого спокойствия и достоинства, сколько сохраняет поэт или ученый, — такой критик пишет для немногих. Пушкин и его литературные друзья знали это; действуя на поприще критики, они и не хотели подчиняться условиям, несовместимым с их понятиями о собственном достоинстве; они знали, что чрез это отказываются от средств достичь господства над массою публики, — да они и не стремились к такому господству: они поставили себе целью довольствоваться спокойным сочувствием немногих читателей, которых считали избранными, и гордо думали, что качества их слушателей вознаграждают за количество. Это было положительно ими высказываемо много раз. Ограничиваемся указанием этого принципа их критической деятельности, потому что и его было бы достаточно для объяснения незначительности ее влияния на публику, если бы даже не было других причин, еще более важных, разбор которых завлек бы нас слишком далеко за пределы нашей задачи.

Таким образом, несмотря на многие несомненные достоинства критики пушкинского направления, она не имела обширного влияния, — отчасти, как мы сказали, оттого, что и не хотела иметь его. Кто вздумал бы писать историю развития литературных мнений не в русском обществе, а в кругу дилетантов, довольствовавшемся замкнутою для остальной массы публики жизнью, тот нашел бы много материалов для светлого изображения критической деятельности этого тесного избранного круга, — нашел бы, что многие истины, введение которых в сознание большинства совершенно (другими людьми) только после жестокой борьбы, всегда признавались школою Пушкина. Нас теперь занимает другая задача: собрать материалы для истории распространения справедливых литературных идей в массе публики. Потому, ограничиваясь теми краткими указаниями на характер критики пушкинского направления, которые нашли себе место в начале этой и в конце предыдущей нашей статьи, мы должны обратить все наше внимание на тот журнал, который был распространителем господствующих ныне литературных понятий в огромном большинстве публики, и на его достойных предшественников.

Читателям известно, что эта заслуга принадлежит критике, которая, образовавшись в «Телескопе» и явившись совершенно самостоятельного в «Московском наблюдателе» второй редакции

(1838—1839), достигла полного своего развития в «Отечественных записках», бывших ее органом в течение семи лет (1840—1846), и потом около года одушевляла наш журнал. Итак, показав ее зародыши в «Телескопе», предшественницами которого были статьи Надоумко (покойного Н. И. Надеждина) в «Вестнике Европы», вторую эпоху ее развития в «Московском наблюдателе», мы должны будем говорить преимущественно об «Отечественных записках». Читателям известно, что отношения между «Отечественными записками» и нашим журналом были не всегда дружелюбны, или, вернее сказать, почти всегда недружелюбны; они также знают, которому журналу принадлежала постоянно роль наступательная и которому оборонительная. Но читатели, конечно, должны ожидать, что в том отделе «Очерков», к которому мы теперь приступаем, не найдут они ни малейшего отголоска этих отношений. Мы пишем историю не журнальной полемики, а литературных мнений; следовательно, совершенно неуместно обращать здесь внимание на то, что происходило от причин чисто внешних и случайных. Притом же, мы не имеем не только охоты, но и хронологической возможности обращать здесь какое бы то ни было внимание на эту полемику, относящуюся к позднему времени: мы ограничиваемся теперь, как сказали, блестящею эпохою «Отечественных записок», когда в этом журнале действовали все те люди, которые отделились от него при основании нашего журнала. После 1847 года русская критика вообще заметно ослабела: она уже не шла впереди общественного мнения, — она была счастлива, если успевала быть хотя поздним и хотя слабым отголоском его; иногда и это счастье не доставалось ей на долю; она не имела влияния, она сама подвергалась влиянию: оттого вовсе не имеет той важности для истории литературы, как предшествовавшая ей критика 1840—1847 годов, которая одна доселе сохранила свою жизненность. Вообще, в критике последних лет только то и было здорового, что сохранилось от прежней критики. Все остальные направления были тунееды, пустопыльниками. Потому одна критика 1840—1847 годов заслуживает нашего внимания, она одна достойна того, чтобы называться «критикою гоголевского периода нашей литературы»: пусть же, за отсутствием собственного имени, это название будет для нее собственным именем.

Литературные стремления, одушевлявшие критику 1840—1847 годов, или, как мы согласились называть, критику гоголевского периода, кажутся нам, как и всем здравомыслящим людям настоящего времени, вполне справедливыми; мы все привязаны к ней горячею любовью преданных и благодарных учеников. И если у каждого из нас есть предметы, столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что,

при соблюдении всей возможной для него холодности, речь его будет очень горяча, — если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика гоголевского периода занимает между ними одно из первых мест, наравне с самим Гоголем. Каждый любящий свою литературу и следивший за ее развитием признает, что это «мы» относится и к нему. Потому-то будем говорить о критике гоголевского периода как можно холоднее; в настоящем случае нам не нужны и противны громкие фразы: есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются, как нечто не выражающее всей полноты чувства.

Много было достоинств у критики гоголевского периода; но все они приобретали жизнь, смысл и силу от одной одушевлявшей их страсти — от пламенного патриотизма. Как все высокие слова, как любовь, добродетель, слава, истина, слово патриотизм иногда употребляется во зло непонимающими его людьми для обозначения вещей, не имеющих ничего общего с истинным патриотизмом; потому, употребляя священное слово «патриотизм», часто бывает необходимо определять, что именно мы хотим разуметь под ним. Для нас идеал патриота — Петр Великий; высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека⁶⁹. Понимая патриотизм в этом единственном истинном смысле, мы замечаем, что судьба России в отношении к задушевым чувствам, руководившим деятельностью людей, которыми наша родина может гордиться, доселе отличалась от того, что представляет история многих других стран. Многие из великих людей Германии, Франции, Англии заслуживают свою славу, стремясь к целям, не имеющим прямой связи с благом их родины; например (чтобы ограничиться сферою деятельности, доступной частным людям), многие из величайших ученых, поэтов, художников имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины. Бэкон, Декарт, Галилей, Лейбниц, Ньютон, ныне Гумбольдт и Либих, Кювье и Фареде трудились и трудятся, думая о пользе науки вообще, а не о том, что в данное время нужно для блага известной страны, бывшей их родиною. Мы не знаем и не спрашиваем себя, любили ли они родину: так далеко их слава от связи с патриотическими заслугами. Они, как деятели умственного мира, космополиты. То же надобно сказать о многих великих поэтах Западной Европы. Укажем в пример на величайшего из них — Шекспира. Неизмеримо велики его заслуги для развития чистого искусства: по своему художественному совершенству и психологическому глубокому смыслу его произведения имели огромное и благотворительное действие на судьбу искусства и, чрез то, косвенным образом, вообще на развитие человечества — и в Англии, конечно, как в Германии, Франции, России. Но что хотел он сделать специально для совре-

менной ему Англии? В каком отношении был он к вопросам ее тогдашней исторической жизни? Он как поэт не думал об этом: он служил искусству, а не родине, не патриотические стремления, а только художественно-психологические вопросы были двинуты вперед Макбетом и Лиром, Ромео и Отелло. Из других великих поэтов о многих надобно сказать то же самое. Назовем Ариосто, Корнеля, Гете. О художественных заслугах перед искусством, а не особенных, преимущественных стремлениях действовать во благо родины, напоминают их имена. У нас не то: историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма. Ломоносов, Державин, Карамзин, Пушкин справедливо считаются великими писателями, — но почему? «Потому что оказали великие услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего народа». Ломоносов страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству. Державин даже считал себя имеющим право на уважение не столько за повстическую деятельность, сколько за благие свои стремления в государственной службе. Да и в своей поэзии что ценил он? Служение на пользу общую. То же думал и Пушкин. Любопытно в этом отношении сравнить, как они видоизменяют существенную мысль горацевой оды «Памятник», выставляя свои права на бессмертие. Гораций говорит: «я считаю себя достойным славы за то, что хорошо писал стихи»; Державин заменяет это другим: «я считаю себя достойным славы за то, что говорил правду и народу и царям»; Пушкин — «за то, что я благотельно действовал на общество и защищал страдальцев»:

Всяк будет помнить то,
Что первый я дерзнул...
О добродетелях Фелицы возгласить...
И истину царям с улыбкой говорить. (Д.)

И долго буду я народу тем любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал. (П.)⁷⁰.

Но ни в ком из наших великих писателей не выражалось так живо и ясно сознание своего патриотического значения, как в Гоголе. Он прямо себя считал человеком, призванным служить не искусству, а отечеству; он думал о себе:

Я не поэт, я гражданин⁷¹.

Невозможно, чтобы наши великие поэты ошибались в этой мысли о своем призвании и деятельности, которая руководила всеми ими. Невозможно, чтоб все отечество ошибалось в течение слишком ста лет, о каждом из своих замечательных писателей,

ученых и поэтов одинаково говоря: «он велик потому, что деятельность его была направлена к общей пользе». Действительно, до сих пор для русского человека единственная возможная заслуга перед высокими идеями правды, искусства, науки — содействие распространению их в его родине. Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но, пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успешными нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое к сердцу — содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим. Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных и нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные сыны нашей родины. Русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть ничем иным, как патриотом, в смысле Петра Великого, — деятелем в великой задаче просвещения русской земли. Все остальные интересы его деятельности — служение чистой науке, если он ученый, чистому искусству, если он художник, даже идее общечеловеческой правды, если он юрист — подчиняются у русского ученого, художника, юриста великой идее служения на пользу своего отечества.

В этом смысле, немного найдется в нашей литературной истории явлений, вызванных таким чистым патриотизмом, как критика гоголевского периода. Любовь к благу родины была единственной страстью, которая руководила ею: каждый факт искусства ценила она по мере того, какое значение он имеет для русской жизни. Эта идея — пафос всей ее деятельности. В этом пафосе и тайна ее собственного могущества.

Но если деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не одушевлена высокою идеею, то идея получает ценность в действительности только тогда, когда в человеке, посвящающем себя служению высокой идее, есть достаточные силы для ее удовлетворительного осуществления. Посмотрим же, какими силами располагала критика гоголевского периода.

Человека, который был органом этой критики, невозможно не признать гениальным. Мы не слишком щедры в употреблении этого эпитета: гениальных людей очень мало. В людях с самыми, повидимому, блестящими силами ума оказываются большею частью признаки некоторой ограниченности, не в том, так в другом отношении. Исключений очень мало, и в новой русской литературе их не более двух: кроме указанного нами человека, Гоголь, — и только. Быть может, Кольцов был бы третьим в этом ряду, если бы прожил долее или обстоятельства позволили его уму развиться ранее. Гениальный человек производит на вас впечатление совершенно особенного рода, какого не производят самые умные, самые даровитые из других людей: вы видите в нем такой ум, которому ясны самые трудные вопросы, который даже не по-

нимает, что в них трудного; когда он говорит, и для вас становится ясно и просто все, — вы дивитесь не тому, что он разрешил вопрос, а только тому, что вы сами не разрешили этого вопроса без всякого труда: ведь стоило только взглянуть на дело простыми, вовсе не мудрыми глазами. Ведь камень летит к земле, — ясно, что земля притягивает его к себе. Ведь поставить яйцо на остром конце — самая простая вещь, над которой и думать нечего. Ведь каждый глупец, кажется, мог бы знать не хуже Наполеона, что решение войны зависит от сосредоточения всех сил в главном пункте. Ведь каждый глупец мог бы, кажется, догадаться, что жизнь есть ряд перемен, что все в мире изменяется и что одна крайность влечет за собою другую; а в открытии втих истин заключается едва ли не главная тайна гегелевской философии. Необычайная простота, необычайная ясность — удивительнейшее качество гениального ума. Но дело в том, что он берется за существенную сторону вопроса, от решения которой все зависит, а из всех вопросов опять берется за существеннейший в деле, от решения которого зависит понимание остальных вопросов, потому-то и ясен для него каждый вопрос, каждое дело. Удивительно, подумаешь, как и мне и вам не случается каждый день делать гениальных открытий: ведь, кажется, будь каждый из нас на месте Колумба, Ньютона или Наполеона, у каждого достало бы ума догадаться о том, о чем они догадались и за что называют их гениальными людьми? Просто, они были люди не без здравого смысла.

И, если хотите, это так: гений — просто человек, который говорит и действует так, как должно на его месте говорить и действовать человеку с здравым смыслом; гений — ум, развившийся совершенно здоровым образом, как высочайшая красота — форма, развившаяся совершенно здоровым образом. Если хотите, красоте и гению не нужно удивляться; скорее надобно было бы дивиться только тому, что совершенная красота и гений так редко встречаются между людьми: ведь для этого человеку нужно только развиваться, как бы ему всегда следовало развиваться. Непонятно и мудрено заблуждение и тупоумие, потому что они неестественны, а гений прост и понятен, как истина: ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде.

Такое впечатление совершенной простоты и ясности производит критика гоголевского периода. Она провела в наше литературное сознание самые простые истины, ныне ясные, как светлый день, для каждого здравомыслящего человека, значение которых очень велико. Итак, мы дошли до вопроса о системе литературных воззрений в критике гоголевского периода и постараемся изложить, по возможности, ясно и точно этот предмет, важнейший в истории нашей литературы: только Гоголь равняется своим значением для общества и литературы значению автора статей о Пушкине.

Факт, столь значительный, как критика гоголевского периода, не мог возникнуть внезапно, в одно прекрасное утро: так являются только литературные грибы; не мог возрасти из ничего: так надуваются собственной пустотой только литературные мыльные пузыри, которых мы видывали довольно и которые лопались в глазах насмешливо улыбающейся публики, несмотря на все крики своих записных поклонников, которые, впрочем, на другой же день забывали о их эфемерном существовании. Критика гоголевского периода росла долго, прежде нежели достигла своего полного развития: предшественником «Отечественных записок» был «Телескоп», образователем автора статей о Пушкине — покойный Надеждин, один из замечательнейших людей в истории нашей литературы, человек замечательного ума и учености.

До последнего времени не было у нас отдаваемо должной справедливости заслугам Надеждина в науке и литературе. Вина эта равно падает и на журналы, по преимуществу называемые литературными, и на специалистов. Специалисты слишком мало обращали внимания на его труды по различным отраслям науки; отчасти, быть может, потому, что они были рассеяны в различных периодических изданиях, так что трудно было собрать и обозреть, как одно целое, его статьи, например, по русской истории или этнографии, отчасти потому, что они в свое время едва ли могли быть поняты и прошли мало замеченными по тому самому, что были глубокомысленнее, нежели того требовалось двадцать лет назад. Только те специалисты, которые лично знали Надеждина, всегда думали о нем, как об ученом, у которого каждый из них может учиться, но только думали, а не писали. В журналах имя Надеждина упоминалось очень редко да и то разве вскользь, и всегда эти беглые отзывы были неблагоприятны ему: его считали каким-то зонлом, бранившим дивные создания нашей поэзии, которых не мог он ценить по своему безвкусию. В прошедшем году наш журнал заговорил о нем иначе. Излагая историю развития понятий о значении Пушкина, мы объясняли основания, по которым Надеждин, писавший в 1828—1831 годах под псевдонимом экс-студента Недоумко, произносил строгий приговор всей тогдашней нашей литературе. Это был едва ли не первый голос в защиту энергического критика, многими забытого, всеми другими осуждаемого⁷². Тогда мы не нашли себе товарищей в деле восстановления доброй славы этого имени. И когда, назад тому всего три месяца, во второй статье наших «Очерков», мы упоминали о нем, наш голос попрежнему оставался единственным, возвышавшимся в его защиту. Теперь нет нужды защищать его: смерть явилась печальной восстановительницей общего уважения к нему в нашей литературе: все соединилось в похвалах умершему, которого не чтили при жизни⁷³. Прекрасная статья т. Савельева, напечатанная в № 5 «Русского вестника», встречена общим одобрением

и сочувствием. Жаль только, что хвалы не проникают в могилы.

Теперь не нужно защищать Надеждина; но похвалы общими фразами недостаточны: надобно определить его значение в русской литературе, показать меру заслуг его науке и изящной словесности. Если бы здесь должно было представить полную оценку всей его ученой деятельности, мы отказались бы от такой задачи, превышающей силы наши. По многим и разнороднейшим отраслям науки, особенно касающимся России, он был первым нашим специалистом; по многим другим, общим нам с Западною Европою, равнялся с лучшими немецкими или французскими специалистами. Все отрасли нравственно-исторических наук, от философии до этнографии, были так глубоко изучены им, как редкому специалисту удастся изучить одну свою частную науку. Этим страшным запасом знаний располагал ум необыкновенно сильный, светлый и проницательный, и потому, о чем бы он ни писал, он проливал новый свет на предмет, какой бы науки ни касался, двигал ее вперед. А писал он обо всем, от богословия до русской истории и этнографии, от философии до археологии. Такой многосторонней ученой деятельности не может вполне оценить один человек. Когда исполнится высказанное многими желание, чтобы издано было полное собрание сочинений Надеждина, почти каждый из наших ученых, чем бы ни занимался он, найдет, что многие важные вопросы его специальной науки лучше, нежели кем-нибудь у нас, объяснены Надеждиным, и будет изучать его труды: тогда один ученый объяснит нам важность его услуг богословским наукам в России; другой оценит его важные труды по русской истории, третий — по археологии, четвертый — по филологии, и из десяти — двадцати частных характеристик составит достойный памятник его заслугам науке в России.

Мы должны показать значение только одной из различных сторон его ученой деятельности, рассмотреть, какое влияние имел он как критик на развитие у нас здравых литературных понятий.

Едва ли кому из критиков удавалось начать свою литературную карьеру таким блестящим образом, как Надеждину. Первая его критическая статья, помещенная в №№ 21-м и 22-м «Вестника Европы» 1828 года, произвела чрезвычайно сильное впечатление на весь тогдашний литературный мир. Это были знаменитые «Литературные опасения за будущий год». Все в ней было необычайно, все показалось странно и дико: и греческий эпиграф из Софокла, и подпись: «Экс-студент Никодим Надоумко. Писано между студентства и поступления на службу. Ноября 22, 1828. На Патриарших прудах», — и диалогическая форма: статья начинается довольно длинным вступлением в повествовательном роде, рассказом, как экс-студент Николим Аристархович Надоумко, в своей одинокой каморке, на Патриарших прудах, раз-

мышлял о наступающем новом годе, как влетел в эту каморку его знакомец, записной поэт Тленский, осыпав его брызгами с опущенного снегом воротника шубы, и как завязался между Тленским и экс-студентом разговор о литературе. На вопрос о здоровье хозяин шутливо отвечал: «Слава Эскулапу!» — Тленский не знал, кто такой Эскулап, и, узнав, что это «эпидаврский грек», начал упрекать экс-студента, что он все бредит греками, перетряхает старинную труху, не обращая внимания «на новый мир дивных чудес нашей поэзии», на что хозяин отвечает, что эти чудеса ему кажутся просто «озорными чудищами», по выражению Тредьяковского. Необычайна была и вся внешность статьи, наполненной латинскими фразами, латинскими, немецкими и английскими стихами, усеянной упоминаниями об известных и малозвестных исторических именах и фактах, проникнутой стремлением к неведомому тогда у нас юмору. Но нелепее всего показалось самое направление статьи: в ней доказывалось, что блестящая, повидимому, тогдашняя литература наша в сущности представляет очень мало утешительного; что лучшие наши тогдашние поэты не выдерживают критики, потому что таланты их не развиты ни образованием, ни жизнью, так что сами они не знают, как, что, зачем и почему они пишут; доказывалось, что их прославленные поэмы состоят из бессвязных, сшитых белыми нитками клочков; что их содержание не прочувствовано, потому фальшиво и пусто; что поэты наши не понимают Байрона, которому подражают, уродуют заимствованные из него мысли и характеры, и т. д. Все это было высказано чрезвычайно резко, с бесчисленными, самыми ясными и очень дерзкими намеками на поэмы Пушкина и критические панегирики им в «Телеграфе» Полевого.

Нам, привыкшим видеть в печати самые резкие отзывы о наиболее уважаемых нами писателях, привыкшим хотя до некоторой степени к терпимости относительно мнений, несходных с нашими, трудно себе вообразить, как велик был скандал, наделанный этою статьею. Крики негодования раздались против нее отовсюду, она была осыпана бранью, еще более резкою, нежели сама статья. Никодим Надоумко был не такой человек, которого легко было запутать или переспорить: на выходки против его статьи отвечал он в том же тоне и продолжал печатать в «Вестнике Европы» одну статью за другою: в первых же книжках 1829 года явились разборы поэмы Баратынского «Бал» и Пушкина «Граф Нулин» и статья «Сонмище Нигилистов»⁷⁴ (Полевой, Пушкин и проч.), потом разбор поэмы Подолинского «Борский», «Полтавы» Пушкина, и ряд этих частных нападений в 1829 году завершился общею атакою в статье «Всем сестрам по серьгам»⁷⁵. В 1830 году продолжалась битва статьями «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии», о русской истории Полевого, о поэме Подолинского «Нищий», о VII главе «Евгения Оне-

гина» *. Все они (кроме последней, писанной в защиту Пушкина от нелепых нападений со стороны прежних его льстецов), и по внешней форме, и по тону, и по духу, точно таковы же, как «Литературные опасения». Надеждин, опираясь на эстетические начала, ищет, есть ли высшие художественные достоинства в разбираемых им поэмах, и находит, что в них нет ни тени художественного единства, нет идеи, нет лиц, которые были бы ясно поняты самим автором, нет выдержанных характеров, наконец, нет и действия, — все бессвязно, наполнено промахами против природы и условий искусства, все вяло, бледно, натянуто и холодно, несмотря на кажущийся блеск и жар: этот блеск и жар искусственный, поддельный и потому фальшив. Чтобы дать читателям понятие об этих замечательных статьях, от которых, по выражению Надоумко, сыры-боры загорелись в нашей литературе, приведем несколько отрывков из двух или трех.

Главные места из первой статьи Надоумко «Литературные опасения» были уже приведены в нашем журнале («Совр[еменник]», 1855 г., № 7, «Критика»). Смысл их мы представили выше; потому перейдем к следующим разборам знаменитых тогда поэм и, не желая без крайней необходимости касаться нападений на Пушкина, уважаемого нами не менее, нежели кем бы то ни было, взглянем на разборы поэм Баратынского «Бал» и Подолинского «Борский». Первый начинается так:

Напрасно восклицают брюзгливые старики, что мир стареется. Они судят по себе и думают, что когда сами ползвигаются вперед, то и все туда же за ними движется. Ничего не бывало! Мир идет совершенно обратного дорогою: чем долее он живет, тем более молодится. Оглянитесь хоть на минутку назад: что вы там увидите? Седую древность, коей старушечье чело изрыто глубокими браздами сурового размышления и строгой отчетливости. Это страшилище, коим можно только пугать настоящее цветущее время детской шаловливости! У нас ныне живут, действуют, абонируются на славу и бессмертие, не потяя, по-старинному, в тяжелых и бесполезных трудах **, а попросту, припеваючи. Оттого и произведения настоящего времени отличаются не стародавнему грубостью, прочностью и полновесностью, а эфирною легкостью и миниатюрностью. Посмотрите на настоящие явления книжного мира: это не книги, а книжечки, или, лучше сказать, книжоночки, в собствен-

* Кроме полемических, в «Вестнике Европы» есть еще чисто ученые статьи Надеждина «О Высоком» и «Платон». Мы называем только важнейшие и обширнейшие статьи из помещенных Надеждиным в «Вестнике Европы», не упоминая о многих других, отчасти не отмеченных его подписью. Если бы кому-нибудь вздумалось напечатать полный список всего, что помещено было Надеждиным в этом и других журналах до 1831 года, когда начался «Телескоп», мы могли бы сообщить некоторые соображения относительно анонимных статей Надеждина. Что касается статей, писанных им для «Телескопа», сомнения, остающиеся у нас относительно многих рецензий, особенно в первых трех годах этого издания, вероятно, могли бы быть разрешены положительными указаниями лиц, бывших тогда близкими к этому журналу или его издателю: из них назовем М. П. Погодина.

** Т. е. не трудясь над собственным образованием и не думая о том, что поэт должен глубоко изучать жизнь и людей.

нейшем смысле слова! Печать, чернила, бумага, обертка — загляденье! Формат уместится в самом маленьком дамском рабочем ящичке; толщина не утомит самых неженных ручек; содержание — не затруднит ни одною мыслию самой чегреней и резвой головки!

Встарину, продолжает Недоумко, разборы начинались определением, к какому роду относится произведение. Это ныне было бы совершенно неуместным педантизмом: наши гении пустились в погоню за славой, как рьяный конь в басне Крылова, закусив узду,

Не взвидя света, ни дорог ⁷⁶.

и смешно измерять циркулем бурный бег их. «Произведения подобных гениев всегда бывают из ряду вон». Так же смешно было бы искать в них «идеи, которая составляла бы их эстетическую душу; это значило бы искать порожного места. Сотни Пигмалионов самыми жарчайшими лобзаниями не могли бы пробудить малейшей жизненной искорки в этих разряженных куколках». Да и к чему искать в наших поэмах идеи? «Статочное ли дело налагать на поэта тяжкую обязанность говорить о чем-нибудь?» — у нас говорят ни о чем. «У нас главный закон: пиши, пока пишется, не размышляя о том, что пишется. Чем менее холодного смысла, тем огненнее поэзия». Можно вообразить, каково продолжение разбора, начинающегося подобным образом. Язвительно восхищаясь в поэме всем, Надоумко обнаруживает, что все в ней фальшиво, натянуто и неправдоподобно: и сцепление событий, и характеры, и разговоры. Вот один пример: повесть состоит в том, что княгиня Нина, женщина страстная до наглости, до совершенного презрения к мнению света, с улыбкою меняющая своих любовников, которую поэт изображает так:

В ней жар упившейся вакханки,

любит Арсения, который, «нося на челе»

Следы мучительных страстей,
Следы печальных размышлений,

любит, в свою очередь, Олиньку, которая описывается им самим так:

...Жеманная девчонка,
Со сладкой глупостью в глазах.

Нина адски ревнует Арсения и отравляет себя ядом, когда он женится на Олиньке. Кто не видит, какое широкое поле насмешке дается этим сцеплением неправдоподобных событий и карикатурных снимков с непонятых героев и героинь Байрона?

Вот как рассказывает Надоумко содержание «Борского». Народные сказки, созданные простодушными нашими прадедами, — говорит он, — отличаются в рассказе событий спокойствием и обыкновенно кончаются поговоркою: «Стали жить да поживать, да добра наживать». Нынешние так называемые романтические поэмы не таковы:

Нет ни одной из них, которая бы не гремела проклятиями, не корчилась судорожно, не заговаривалась во сне и наяву, и кончилась бы не смертоубийством. Душегубство есть любимая тема нынешней поэзии, разыгрываемая в бесчисленных вариациях: резанья, стрелянья, утопленничества, давки, заморозенья. Самый изобретательнейший инквизитор века Филиппа II подивился бы неистощимому разнообразию убийств и самоубийств, измышляемых настоящими гениями в услужение и назидание наше. Сей поэтической кровожадности не чужд и «Борский». Содержание его есть следующее: Владимир Борский любит Елену, происходящую из рода, враждебного и ненавистного Борским. Отец Владимиров не благословляет страсти сей, и несчастный три года скитается по Европе с безнадежно болящей душой. Возвратясь домой, он не застаёт в живых отца, но получает из рук священника, присутствовавшего при его кончине, завещание, заключающее в себе прощение Владимиру, если он не будет мыслить об Елене, и — проклятие, если последняя воля отца не будет для него священна. Владимир не может противиться искушению любви, расpalенной уверенностью в ненарушимой Елениной верности. Он женится: но в самый час венчания совесть пробуждается в груди виновного. Он смущается, трепещет, с мрачным бесчувствием отвечает на первое лобзание юной супруги, и — Елена с первого дня брака разочарована. Она преследует своими подозрениями Владимира, и в омраченном сердце его на подозрения откликаются тодозрения. В одну несчастную ночь, когда сон бежал от возмущенного ревностью Владимира, Елена

...вдруг встает,
Как призрак в сумраке проходит
И тихо стала у окна.
Все видит Борский: он не сводит
С нее дозорливых очей,
Он притаился, он чуть дышит, —
Вот слышит шопот — и ясней;
Потом Елены голос слышит:
«Мой друг! постой! постой! побудь
Со мной еще одно мгновенье!
Позволь прижать уста и грудь
В последний раз!.. Мое моленье
Ты отвергаешь... ты молчишь!
Жестокий! стой! куда бежишь?
Я за тобой готова всюду;
Какая б ни была страна,
Тебя преследовать я буду!»

Владимир, испуганный, бросается на свою жертву. По несчастию, месяц осветил висящий над ним кинжал:

«Стой!» — грянул голос. — «Стой! не дале!»
И вот сверкнуло лезвие,
И кровь Елены на кинжале,
И рана в сердце у нее!

Убийца вторгается в хижину священника, прерывает его благочестивые размышления на мирном ложе и получает от него изъяснение ужаснейшей тайны:

...Твоя жена
Невинна! знай: она была
Лунатик!

Все, конечно, ахнут, все воскликнут вместе с Борским:

...Лунатик!

И мы должны будем, пожав плечами, повторить ответ священника:

...Знаем.
Удар жестокий совершаем;
Но мы не лжем — свидетель бог!

Мудрено ли после того, что Владимира нашли под снегом, замерзшего у могилы Елены?.. У кого не застынет и среди жаркого лета кровь в жилах при столь ужасной катастрофе? Зарезать добрую жену — ни за что, ни про что!..

Мы потому приводим содержание этих поэм, что ныне они забыты: немногие ныне перечитывают «Эду», «Бал», «Наложницу», «Чернеца», «Наталью Долгорукую», «Борского», «Нищего»⁷⁷. Автор статей о Пушкине, лет уж двенадцать тому назад, утверждал, будто бы нет возможности без крайней необходимости перечитать даже «Руслана», «Кавказского пленника» и проч. А, между тем, до сих пор о Надоумке говорили, как о скифе, как вандале, без вкуса, без совести, даже без таланта писать умно и взваливали на него все эти обвинения за то, что не говорил с благоговением о художественных красотах «Борского», «Нищего», «Наложницы» и т. д., и т. д. После приведенных нами выписок, большая часть из наших читателей, вероятно, не будет сомневаться, что Надоумко знал, за что и почему он осуждает эти поэмы, знал, на какие стороны поэтического произведения надобно обращать внимание, чтобы решить, выдерживает ли оно эстетическую критику, понимал, в чем состоит художественная красота. На всякий случай помещаем в приложении существенные места из статей о «Борском». Нам пора хладнокровно судить о делах, от которых мы отделены двадцатью семью годами, и о столкновениях между людьми, мнения которых давно примирены, споры давно кончены. Величие Пушкина не в том, что он был равен Байрону или похож на этого мизантропа, страдающего от любви к людям; мы знаем теперь, что Байрон был бы у нас тогда невозможен и бесполезен, потому что не был бы понят ни публикою, ни даже даровитейшими литераторами. У Пушкина есть другие качества, другие великие заслуги. И, кажется, давно пора нам прекратить свое негодование на Надеждина за то, что он заметил решительное несходство между этими великими поэтами, в самом деле нимало не похожими друг на друга. Пора нам перестать негодовать на Надеждина и за то, что он разоблачил бедность нашей тогдашней литературы: во-первых, теперь литература у нас достигла большего развития, отчасти благодаря его справедливым указаниям на лживость того, чем так обольщались, — следовательно, нам нечего обижаться его словами, которые теперь уже не прилагаются к нам вполне. как прилагались тогда; во-вторых, и это всего важнее, в сущности высказывал он правду. Говоря просто и коротко. Надеждин сделал относительно пушкинского периода нашей литературы то же, что критики романтического направления, из которых последним и важнейшим был Полевой, сделали относительно преды-

дущего периода: подверг его строгой критике и тем приготовил возможность дальнейшего литературного развития для нашей публики. То и другое дело были одинаково законны и необходимы; то и другое равно дают право на нашу признательность тем людям, силами которых были они совершены. То и другое одинаково возбудили вопли негодования со стороны людей, которые не могли возвыситься до понимания новых идей.

Но зачем Надоумко говорил таким жестким тоном? Разве не мог он высказать то же самое в мягких формах? Удивительное дело — наши литературные да и всякие другие понятия. Вечно предлагаются вопросы, почему земледелец пашет поле грубым железным плугом или сошником! Да чем же иначе можно вспахать плодородную, но тяжелую на подъем почву? Ужели можно не понимать, что без войны не решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и мечом, а не дипломатическими фразами, которые уместны только тогда, когда цель борьбы, веденной оружием, достигнута. Беззаконно нападать только на безоружного и беззащитного, на старцев и калек; а поэты и литераторы, против которых выступил Надеждин, были не таковы: они были люди сильные и умевшие владеть оружием. За нападения ему заплатили нападениями, по крайней мере, не менее жесткими.

Полемика, возбужденная статьями Надоумко, составляет едва ли не важнейший эпизод этого рода в истории всего пушкинского периода. Все журналы, кроме «Атеней»⁷⁸, не посещаемого никем, почти все альманахи единодушно ополчились против «Вестника Европы». Все затронутые Надеждиным литераторы соединились против его статей. «Московский телеграф» и «Северные цветы» были главными действующими в этой борьбе за собственную честь и жизнь. Пушкин и Полевой были предводителями нападающих. Оставляя без внимания многих бойцов, не достойных памяти, сосредоточим внимание на подвигах, совершенных этими главными и их сподвижниками.

Первым, как и следовало ожидать, вышел на дерзкий вызов Полевой. На него Надоумко нападал с первого раза еще прямее и жесточе, нежели на Пушкина. Все насмешки над тем, что у нас не понимают пустоты и бедности нашей литературы, напротив, называют наших поэтов Байронами, относились прямо к нему, главе тогдашней журналистики. Он не замедлил ответом: в первом же номере «Телеграфа», вышедшем после той книжки «Вестника Европы», где находилось начало первой статьи Надеждина («Литературные опасения за будущий год»), он поместил очень хорошо и едко написанную тираду, в которой, впрочем, говорилось более о редакторе «Вестника Европы», Каченовском, нежели о статье Надоумко или ее авторе⁷⁹. Надеждин отвечал на его возражения также едко. Он мог отвечать, потому что сознавал свою силу. Но Каченовский вздумал для своей защиты прибегнуть не к обыкновенному литературному оружию, а к странному

и вовсе не похвальному средству, и объявил об этом в примечании к возражениям Надоумки на статейку «Телеграфа»⁸⁰. Разумеется, дело кончилось, к его собственному стыду, решительною неудачею. Тогда-то градом посыпались на него, и справедливо, насмешки и упреки со всех сторон. Полевой напечатал длинную статью «Литературные опасения за кое-что», в которой была подробно просмотрена вся его литературная и ученая деятельность, и доказано, что его произведения, до той поры (1829) напечатанные, ни числом своим, ни тем более качествами, вовсе не оправдывают громкой известности, которою он пользуется. Сам Пушкин поместил в «Северных цветах» превосходно написанную статью, в которой изложил приключение Каченовского в самом смешном виде. Так как эта статья не вошла ни в издание Пушкина, сделанное г. Анненковым, ни в прежнее издание, то мы в приложении II сообщаем ее читателям, окружив, для большей ясности, другими отрывками, касающимися этого случая. Эпиграммы, едкие статьи и статейки сыпались на «Вестник Европы» со всех сторон, сначала преимущественно падая на редактора, но вскоре еще в гораздо большем количестве и на автора статей, когда все увидели, что Надоумко не просто прислужник Каченовского, а самостоятельное лицо, которому нельзя зажать рот, нападая на Каченовского. Все знаменитейшие эпиграммы Пушкина написаны по этому случаю. Из них большая часть еще направлена на Каченовского и вообще на его журнал, прямо не касаясь экс-студента, потому что, когда другие обратили на него главное внимание, Пушкин уже перестал писать эпиграммы по поводу статей Надоумки, увидев своего сильнейшего защитника в том, кого считал злейшим врагом. — По случаю статей Надоумки явилось и «Собрание насекомых», в котором стих:

Вот **** злой паук

надобно читать:

Вот Каченовский, злой паук,

и «Литературное известие» (в самом заглавии показано отношение к «Литературным опасениям»).

В Элизии Василий Тредьяковский
(Преострый муж, достойный много хвал)
С усердием принялся за журнал.
В сотрудники сам вызвался Поповский,
Свои статьи Елагин обещал;
Курганов сам над критикой хлопочет:
Блеснуть умом «Письмовник» снова хочет,
И, говорят, на-днях они начнут,
Благословясь, сей преполозный труд. —
И только ждет Василий Тредьяковский,
Чтоб подоспел Михайло **** (Каченовский).

К нему относится также эпиграмма, написанная по поводу того, что в одной из статей «Русского вестника» было упомянуто

о предыдущих эпиграммах, как о «камешках, которыми Пушкин бросает в людей, говорящих ему правду».

Как сатирой безымянной
Лик Зоиля я пятнал,
Признаюсь, на вызов бранимый
Возражений я не ждал.
Справедливы ль эти слухи?
Отвечал он? Точно ль так?
В полученьи оплеухи
Расписался мой дурак?

Кроме того, еще одна приведена нами в приложении II. К этим четверем, вошедшим в «Полное собрание сочинений Пушкина», прибавим пятую, не вошедшую в него, и уже приведенную нами в № 7 «Современника» прошедшего года: ⁸¹

Там, где древний Кочерговский
Под Ролленом опочил,
Дней новейших Тредьяковский
Колдовал и ворожил:
Дурень, к солнцу став спиною,
Под холодный «Вестник» свой
Прыскал мертвою водою,
Прыскал ижицу живой ⁸².

Читателю известно, что Каченовский вздумал попробовать, нельзя ли русскую орфографию приучить к соблюдению в греческих словах букв греческой орфографии, как соблюдается она в западных языках; потому он писал в «Вестнике Европы»: енеузіасм, Евгений, політіка и проч. Против самого Надоумки написана «Притча»:

Картину раз высматривал сапожник, и т. д., —

имеющая в рукописи, по замечанию г. Анненкова, эпиграф: «По всему видно, что он семинарист» (не приводим ее вполне, потому что напечатана была она уж много лет спустя после того, как написана), и другая:

Мальчишка Фебу гимн поднес.
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему?» вопрос.
— Пятнадцать. «Только-то? Эй, розгу!»
За сим принес семинарист
Тетрадь лакейских диссертаций,
И Фебу вслух прочел Гораций
Кусая губы, первый лист.
Отяжелев, как от дурмана,
Сердито Феб его прервал
И тотчас взрослого болвана
Поставить в палки приказал.

Гораций, а не кто другой, читает «лакейские диссертации болвана-семинариста» не для одной рифмы, а потому, что Надо-

умко очень часто цитовал Горация. А самая эпиграмма возникла из известной эпиграммы Василия Львовича, дяди Пушкина:

Какой-то стихотвор (довольно их у нас), и проч.⁸³.

по тому случаю, что в первой статье Надоумки о «Полтаве» есть следующее место: Флюгеровский (романтик) говорит, что Пушкин — гений. Незнакомец-старик, в словах которого излагаются собственные мысли автора, говорит, что признает Пушкина гением тогда, когда он создаст что-нибудь истинно великое, а теперь в нем виден только огромный талант. Надоумко спрашивает его: неужели же ошибается «Сын отечества»:

...Там напечатано, помнится, так: «Сомневаюсь, чтобы между явными противниками Пушкина были такие, которые бы не сознались, что он гений. Пушкин начал писать в таких летах, когда невозможно делать усилий, чтоб быть стихотворцем». Что вы на это скажете?

Незнакомец. То, что сей набор слов едва ли понятен самому тому, с чьего пера он стек. Начать писать слишком рано — еще не признак гения. В противном случае, пятнадцатилетний юноша, которого историю рассказал так забавно почтеннейший дядюшка обсуживаемого нами теперь поэта (в примечании прибавлено: Незнакомец, вероятно, разумел прекрасную басню В. Л. Пушкина, в коей Аполлон вершит суд свой над одним пятнадцатилетним поэтом), был бы, по всем признакам — гений.

Это самая грубая из всех выхонок Надоумки, относящихся к Пушкину, и мы вовсе не хотим доказывать, что она деликатна. Мы хотим только дать читателю сравнить, в чьих словах больше жесткости — в словах ли критика, или в словах поэта. Но другой такой выходки на Пушкина мы не найдем у Надоумки, и едва ли можно сказать, чтобы в полемике своей против Пушкина он, кроме этого случая, переступал границы, возлагаемые — не говорим: тогдашними, но и нынешними понятиями о литературных приличиях.

Все были душевно возмущены статьями Надоумки, как мы сказали, и даже «почтеннейший дядюшка» Василий Львович почел своею обязанностью написать, по случаю, о котором мы упоминали, стихотворение, в оправдание себя от возведенного на него соумышленничества с Надоумкою и в защиту обижаемого племянника⁸⁴.

Посмотрим теперь, как восставал против Надеждина другой, сильнейший тогда после Пушкина человек, Н. А. Полевой, журнал которого был единственным, имевшим серьезное влияние на публику.

В приложении II у нас вполне приведены из статьи «Телеграфа» по поводу «Литературных опасений» все замечания, прямо относящиеся к Надоумке. Он опроверг их совершенно, наговорив новых колкостей и разоблачив несколько промахов «Телеграфа». «Телеграф» обещал дать о «Литературных опасениях за будущий год» особенную подробную статью; но она не являлась. Только во второй, подробнейшей статье «Телеграфа» против Каченов-

ского, которой, в насмешку над статьею Надоумки, дано было заглавие «Литературные опасения за кое-что» (то есть за ученую славу редактора «Вестника Европы»), выведен был «Желтяк» (житель желтого дома, сумасшедший), который усиливался защищать ученые труды Каченовского и говорил фразами Надоумки, но принужден был соглашаться, что Каченовский — самый плохой ученый. Греческий эпиграф к этой статье был также насмешкою над Надоумкой. Но тем и ограничились опровержения, которыми ему грозили. Долго после того, несмотря на множество жестоких нападений от него на Полевого, полемике против него не было посвящено и нескольких строк сряду. Все возражения ему ограничивались тем, что довольно часто имя Надоумки презрительно упоминалось кстати, когда дело шло о каких-нибудь бездарных писаках или оскорбителях, которые не достойны ответа. Чему приписать такую скромность? Во-первых, скажем к великой чести Н. А. Полевого, тому, что он не любил полемики: он прибегал к ней только в редких случаях и только по необходимости. Другою причиною было действительное презрение к такому бесильному врагу, как «Вестник Европы»: этот журнал имел самую жалкую репутацию в публике и едва ли имел читателей на белом свете. Мы сделаем читателю вопрос, можно ли предполагать еще третью причину того, что Полевой так долго не возражал Надеждину, когда увидим характер возражений, сделанных ему «Телеграфом» впоследствии времени. Более полугода прошло таким образом без ответа Надоумке. Наконец явилось замечание о стихах, помещенных Надеждиным в «Русском зрителе»^{*85} с полной подписью его имени. Кто такой этот Н. И. Надеждин? — спрашивала рецензия. Никому не известно, чтобы существовал такой писатель. Мы спрашивали о нем — никто не мог отвечать. «Один литератор утверждал, что имя Н. И. Надеждин должно быть псевдонимическое, и стихи, вероятно, заимствованы из ненапечатанных донныне бумаг покойного профессора элоквенции В. К. Тредьяковского, а не сочинены в наше время. Кто когда-либо, кроме Тредьяковского, писал такие стихи? Кто, особенно в наше время, станет писать такие стихи?» Потом опять встречаются только беглые упоминания о жалком зоице Надоумке. Еще через полгода был помещен довольно большой разбор отрывка из его готовившейся к изданию диссертации о романтической поэзии. Разбор носил заглавие «Литературные прински» и объявлял, что все основные мысли диссертации похищены у Аста и Штуцмана, что было подтверждено обширною выпискою из последнего философа. Наконец явилась самая диссертация (на латинском языке), и Н. А. Полевой написал ее разбор,

* В первые два или три года своей литературной деятельности Надеждин печатал довольно много стихов. Направление в них было шиллеровское; художественная сторона, действительно, слаба.

памятный в истории нашей полемики по остроумию и чрезвычайной резкости⁸⁶. Латинская диссертация Надеждина разбирается вместе с полуграмотною книжкою: «О трагедии греков, французов и романтиков. Сочинение белебеевского уездного землемера Виктора-Фомы Товарницкого», и начинается благодарностью Товарницкому «за его шутку, весьма милую и острую», — Полевой называет книжку Товарницкого пародиею на сочинение Надеждина, которого считает защитником классицизма; но, говорит Полевой, в пародии остроумного белебеевского землемера упущена из виду отличительная черта русских классиков: она состоит в том, что «все прильнуло к ним снаружи, что их мнения, будучи не следствием внутреннего убеждения, не собственной (хотя неправильно развитой) мысли, представляют нелепую смесь, разнородную, странную сложность противоречий, лишенную всякой формы и всяких приличий».

Русский классик должен, во-первых, украсть что-нибудь у немцев, французов, англичан, перевернуть это и потом утверждать что-нибудь самое нелепое, самое пошлое, перед чем лагарповы, баттёвы, баур-лормиановы суждения казались бы солнцем светозарным; во-вторых, он должен цитоваться особенно латинью (если же можно, по-гречески: это еще лучше), и засыпать свои доказательства фразами, нахватаанными из Горация, Лукана, Буало, Блера и проч.; третье — и самое важнейшее — он должен громко вопиать о разврате, о гибели вкуса, должен искусно соединять с этим мысль, что романтизм есть то же, что атензм, шеллингизм, либерализм, терроризм, чадо безверия и революции; должен сильно вопить о славе Державина, Ломоносова, Хераскова, Поповского, Кострова, Петрова, Майкова. К этому надобно с горестью прибавить, что ныне пишут разбойничьи поэмы, а не гремят торжественными одами. Тут должно исчислить наши победы, в которых, разумеется, классик столько же участвовал душою и телом, сколько он понимает, что говорит. В заключение, четвертое, надобно как можно надутее заговорить о славе России вообще, о возвышении нашем над всеми народами, о величии предков, о просвещении России при Яроглаве и Мономахе, о Баяне, о Петре Могиле, «Слове о полку Игоревом», Сильвестре Кулябке, яко доводах нашей славы.

«Если бы г. уездный белебеевский землемер написал свою пародию по этой программе (продолжает Полевой), она еще ближе подходила бы к нашим классическим диссертациям. И пусть не думают читатели, что на классиков возводится небыльщина: диссертация Надеждина — свежее доказательство, что рассуждения их действительно таковы, как предписывает эта программа. Опровергать Надеждина не стоит: что смешно, то неопасно».

Вот основание этой диссертации, годной в кунсткамеру литературных редкостей: г. Надеждин начитал где-то, что доньше поэзия бывала первобытная, классическая и романтическая; начитал он еще, что классическая поэзия кончилась с греками; узнал вдобавок, что поэзия, начавшаяся в новом мире средних времен, названа романтической. Тут начал г. Надеждин мыслить — и что же вымыслил? что и романтическая поэзия решительно кончилась. Что же такое творения Гете, Байронов, Муров, Пушкиных? Положим, что вы правы; но чего же вы хотите? Признаемся, мы ничего не

поняли. Кажется, что г. Надеждин хочет какого-то соединения романтизма с классицизмом: но как, для чего — пусть это разгадывают другие. Видим, что мысль в основании нелепа; но, за всем тем, лучше сознаться, что мы худо ее понимаем. Где нет ни логического, ни грамматического смысла, там ве стыдно сознаться в незнании. Одно только несмысл ясно заметно у г. Надеждина: следы школьной ферулы, и под эту ферулу хочется ему подвести всех. Неудачный опыт ее над г. Надеждиным едва ли может быть доказательством справедливости его слов.

«Изучение древности добывается не без кровавого пота». Ясно, что кровавый пот намекает на ферулу и скамейку, вразумляющие бурсаков. Но кто еще сомневается, пусть читает далее:

Сей флейтщик, песнями пленяющий собрание,
Учился и терпел старейших наказание.

«Итак, прежде нежели приниматься за письмо, должно учиться, учиться, непременно учиться». Очень рады и советуем; только надобно доучиться, а иначе будем походить на какого-нибудь недоумку, который, что слово скажет, то и видно, что он в бурсе и не досечен и не доучен!

Стоит ли такое рассуждение опровержений? — продолжает Полевой. — Нет! Пародия г. Товарищского «померкает перед этим оригиналом», который вполне осуществляет «представленный нами выше сего план для русской классической диссертации, ибо:

1) Основные мысли в ней чужие, взятые у Штуцмана и Аста (ссылка на «Литературные прииски», о которых говорили мы выше). 2) Сии мысли не поняты г. Надеждиным и вывод из них есть этому доказательство. 3) Непонятных разноязычных цитат в диссертации конца нет. 4) Романтизм представляется исчадием безбожия и революции. 5) Говорено вкривь и вкось о всех европейцах, все обруганы, и указано на Россию, на упадок патриотизма в России, на Баяна, Петрова, Кострова, Ломоносова, Румянцова. Этот приторный патриотизм есть венец теории г. Надеждина. И такое создание осмелился он представить на суд почтенных профессоров Московского университета! Из этого создания поместили отрывки два почтенные профессора в издаваемых ими журналах!.. Стыдимся за почтенных издателей «Вестника Европы» и «Атеней», и предоставляем диссертацию г. Надеждина ученикам латинского класса в уездных училищах.

Разбор этот был написан с большим умом, не только с чрезвычайною едкостью. Он убил диссертацию во мнении публики. И, однако же, на каких основаниях идеи Надеждина были объявлены нелепыми? Полевой сам объяснил это: когда впоследствии между «Телеграфом» и «Телескопом» велась жаркая полемика, Полевой напомнил публике о «нелепой» диссертации Надеждина следующим объявлением:

В книжной лавке Амоса Курносова принимается подписка на новую книгу, под названием «Сорванная маска с философа-самозванца, или Кузен перед судом Аристарха Никодимовича. Надоумки, филологичко-критико-историческо-ирритабельно-сатирическое исследование, сочиненное Иваном Белоомутовым, с эпиграфом из повести М. П. Погодина: «Где я? в вертепе нищих, воров, плашадных мошенников! И вот какие происшествия, друг мой, не производят во мне никакого болезненного ощущения! Удивительное явление!» («Телескоп», 1832, № 7, стр. 362). В сем новом, достойном особенного внимания творении г. Белоомутова доказывается явно, что Кузен есть шарлатан и обманщик, что он обокрал немецких философов, не понял их, переврал и только гнусным красноречием своим заставил Европу думать, будто и он не

последняя спица в колеснице современного мышления. Ясно также доказывалось и подтверждается тут, что каждый русский студент смыслит философию больше Кузена * 37.

Итак, вот почему мысли Надеждина показались нелепы Полевому: они были несогласны с философиею Кузена; а основная ошибка Надеждина, как видим, состояла, по мнению Полевого, в том, что он предпочитал немецких философов Кузену, философию которого осмеливался признавать не заслуживающею внимания.

После этого «Телеграф» чаще прежнего упоминает о Надоумке и Надеждине, но попрежнему всегда только в нескольких словах. Когда Надеждин стал издавать «Телескоп», Полевой мало-помалу вовлечен был в более обширную полемику с ним и иногда по несколько месяцев не выпускал ни одной книжки «Телеграфа» без статей и статей против Надеждина. Надобно признаться, что он был вынуждаем к тому беспрестанными нападениями. Но, между тем, как нападения «Телескопа» очень часто касались предметов серьезных, изобличали важные промахи в «Телеграфе», чем отвечал на это «Телеграф»? Он нападал на слог, на непонятность различных философских терминов. Однажды, когда в «Телескопе» была напечатана статья Гулянова, переведенная с французского, с приложением к русскому переводу и французского текста, «Телеграф» начал доказывать, что в переводе есть грубые ошибки, что, следовательно, Надеждин не знает по-французски. Улики в незнании были такого рода: вместо «овальные рамки соприкасаются» надобно было перевести «продолговатые ободочки соединяются между собою», и т. п. Но и в этом потерпел «Телеграф» неудачу: оказалось, что русский перевод статьи Гулянова был сделан самим же Гуляновым. Потом, когда Надеждин, в 1832 году, стал печатать обертку своего журнала без знаков препинания в строках крупного шрифта (как это и вошло теперь в обычай), «Телеграф» стал смеяться над «1832-рым Телескопом», доказывая, что «Телескоп» не знает правил об употреблении точки: видите ли, грамматика требует, чтобы было напечатано так:

1832.

ТЕЛЕСКОП.

а не просто (без точки):

* Белоумов — потому, что под некоторыми статьями Надоумки выставлено, для обозначения места, откуда они присланы, «Белый омут» (имя села, в котором родился Надеждин). Эпиграф взят из повести г. Погодина, вероятно, потому, что одним из первых поводов к полемике была статья г. Погодина «О Московской выставке». Филологико-критико- и т. д. — пародия многосложного заглавия диссертации Надеждина: *Dissertatio historico-critico-elenctica* (историко-критико-полемическое); но дело в том, что, по обычаю новых латинистов, подобная многосложность требуется для изящности латинского слога. Не нужно прибавлять, что «обокрал, переврал» и проч. — буквальное повторение выражений, употребленных Полевым в разборе диссертации Надеждина.

1832

ТЕЛЕСКОП

Когда «Телескоп» шутиливо отвечал на это, что «несчастливая точка в заглавии есть пункт, на котором запнулся «Телеграф», журнал Полевого, не понимая, что противник в этом случае играет словами, серьезно начал доказывать, что «Телескоп» не знает, что «точка» и «пункт» — одно и то же слово, и не понимает смысла слова «пункт». В третий раз, по случаю того, что Надеждин, в насмешку над романами одного тогдашнего писателя⁸⁸, стал иронически уверять, что произведения Александра Анфимовича Орлова лучше этих романов, и Пушкин, вздумав продолжить эту шутку, напечатал в «Телескопе» свои знаменитые статьи, подписанные псевдонимом Феофилакта Косичкина⁸⁹, «Телеграф» серьезно начал уверять, что Надеждин хвалит А. А. Орлова, и доказывать тем безвкусице Надеждина. Не будем продолжать этого исчисления: нам нисколько не приятно говорить о неудачах «Телеграфа», которому так много обязана русская литература. Мы не стали бы приводить и этих примеров, если бы уверены были, что без всяких доказательств читатели поверят основательности нашего мнения. Оно состоит в том, что Н. А. Полевой мог играть только жалкую роль в спорах с своим противником. Впрочем, ошибся бы тот, кто вздумал бы выводить из этого следствия, неблагоприятные именно для Н. А. Полевого: не он один, а решительно никто в тогдашней нашей литературе не мог быть достойным противником Надеждину. В этом согласится каждый, кто знает нашу тогдашнюю литературу. Мы избавляем читателя от подробнейших доказательств, предполагая, что они нужны разве для немногих. Мы боимся, что утомили читателя выписками, да и статья наша приняла уже объем более обширный, нежели мы того хотели бы.

Мы останавливались так долго на полемике, возбужденной статьями Надоумки, и сделанном Полевым разборe диссертации Надеждина потому, что эти факты имели решительное влияние на мнение огромного большинства публики и литераторов о Надеждине, как критике. Тогда все ахнули и возопили: «зоил, педант, шарлатан!» и до последнего времени, не вникая в сущность дела, повторяли: «Надеждин был хулителем Пушкина — о, варвар без вкуса и стыда! Надеждин выдавал мысли, взятые из Аста и Штуцмана, за свои собственные — о, шарлатан! Надеждин говорил школьною латынью, шпиговал свои статьи греческими цитатами — о, педант!»

На самом деле так много горячиться нам не из чего. Если Надеждин был чем неправ, то разве тем, что с жаром увлечения заговорил о предметах, которые не стоили того, чтобы серьезно ими заниматься. Он и сам очень хорошо понимал это: оттого у него часто среди горьких или пламенных тирад вырывается невольная улыбка, — вдруг он вспомнит: «да над чем я хлопочу?

да стоит ли горячиться? да не смешон ли я, говоря с любовью и гневом?» — и все-таки он не мог удержаться: привязанность к своему, родному брала верх над шопотом рассудка: «не стоит об этом говорить!» — и он опять бился с жаром, достойным более крупного предмета страсти, нежели наша тогдашняя литература. Простим ему увлечение: ведь он тогда был молод; притом же, и все другие, увлекавшиеся потом подобно ему, ошибались подобно ему: игра не стоила свеч. Ну, что они выиграли? То, что мы с вами, читатель, вспоминаем о них с признательностью? Да стоило ли убиваться для приобретения признательности той маленькой горсти людей, которая составляет у нас так называемую публику? Ну, какую пользу принесли они? Ту, что мы от них научились чему-нибудь доброму? Да многому ли мы научились? Многому, очень многому, нечего сказать! Стоило портить свою грудь, пренебрегать другими, лучшими карьерами для того, чтобы образовывать ум и сердце пяти с половиной человек, которые, к довершению счастья, забыли почти все, о чем толковали им с такою горячностью! Нет, здравый рассудок говорит, что лучше было бы покачать головой и не поднимать гласа вопиющего в пустыне.

Однако ж, так как они уж сделали ту ошибку, что любили нас с вами, читатель, и хотели нам добра, то постараемся же припомнить хотя часть того, чему они желали научить нас. Теперь речь зашла у нас о Надеждине: посмотрим же, чего хотел он, как критик.

В то время, как он готовился выступить на литературное прище, литература наша страдала чрезвычайно поверхностностью. Литератору нет необходимости быть особенно ученым; но он не должен быть человеком легкомысленным и поверхностным. А тогда почти все лучшие люди были таковы. Сам Н. А. Полевой, серьезнейший из них, так пылко желал осуществления того, чего желал для русской литературы, что воображаемое принимал уже за осуществленное и разделял общее упоение нашими дивными подвигами в области литературы. К чему вело это самобольщение? ровно ни к чему хорошему. Никто не понимал того, чем он восхищался; никто не понимал, что радоваться, собственно говоря, было еще нечему. А все радовались и восхищались. Сами не могли в прозе написать ни о чем порядочной статейки в двадцать страничек, не говорим: книги, — в поэзии имели только несколько лирических пьес истинно прекрасных, а больше ничего выдерживающего критику, — не имели ни одной сносной прозаической повести, не говорим уж: романа, — ни одной поэмы в стихах, которая была бы прочувствована, а не пропета с чужого голоса, — а уж воображали, что постигли всю мудрость земную, что имеют довольно хорошую литературу; то были невинные,

Златые игры первых дней!⁹⁰

Юные мечты, сладкие мечты, как наивно прекрасны были вы!

Есть законная пора самообольщений. Но всякое самообольщение должно иметь свой срок, или оно станет вредным. Срок этот приближался. Новое поколение подрастало, с новыми требованиями, с более глубокими стремлениями. Веневитинов был ранним провозвестником этого поколения; но он умер, едва сказав первое свое слово, еще ничего не успев совершить...

Все продолжалось, повидимому, прежним порядком. И опять явился человек, все еще несколькими годами опередив поколение, которое должно было понять его. Он не погиб так рано, как Веневитинов, не успев подать руку новому поколению; но когда он явился, никто еще не мог ему сочувствовать, и долго он был предметом общего [глумления]. И сам он не мог еще указать ни на кого, кто был бы человеком, каких желал он. Все, что видел он вокруг себя, было достойно только разрушения и отрицания. И он явился каким-то злым духом отрицания и разрушения. Таково было положение Надоумки в нашей литературе.

Он один тогда понимал вещи в их истинном виде. Его не понял никто: и потому, что он высказывал истину очень горькую для тех, кому говорил ее, и потому, что высказывал ее горько, и, более всего, потому, что основания, на которых опирались его приговоры, были незнакомы никому. Немецкая философия, питомцем которой он был, неизвестна была никому. Все видели только, что он противоречит французским книжкам, из которых была почерпнута вся наша тогдашняя мудрость — и его объявили безумцем. Чего он хочет, не понимал никто, потому что у нас не было ничего подобного тому, чего хотел он, — и всем показалось, что он только хочет бранить и унижать нашу литературу.

И, однако же, чем он был недоволен в литературе? Теми поэмами, над сочинением которых тратились все наши силы, восхищение которыми отнимало всякую мысль о возможности чего-нибудь лучшего. Ныне кто не называет этих поэм детскими произведениями? Он восставал против Пушкина; но известны ли были тогда создания Пушкина, перед которыми мы теперь преклоняемся? «Бориса Годунова», «Каменного гостя», «Мелного всадника», повестей в прозе, — ничего этого еще не было. Были только поэмы в байроновском роде, над которыми потом смеялся сам Пушкин, — поэмы не прочувствованные, странные подражания байроновской форме без всякого понимания байроновского духа. И разве потому восставал он против этих поэм, что хотел унижить талант Пушкина? Напротив, никто так резко не замечал безграничной разницы между Пушкиным и другими тогдашними знаменитостями; а ведь тогда никто, кроме его, не замечал этой разницы. И разве он унижал в поэмах Пушкина то, что в них есть хорошего? Напротив, он безусловно хвалил в них отдельные картины природы и грациозные сцены из современного быта, — единственное, что мы теперь находим в них прекрасным. Он так хорошо понимал это, что «Графа Нулина» ставил выше «Бахчи-

сарайского фонтана». Но он все-таки осуждал Пушкина? Однако, за что же? за то, что предполагал, будто Пушкин удовлетворяется своими прежними произведениями и не думает о том, что еще не создал произведений, вполне достойных своего великого таланта. Ведь это недовольство, которого источник — очень высокое мнение о таланте Пушкина. А когда Пушкин издал «Бориса Годунова», он один оценил это произведение, в последней статье, подписанной именем Надоумки⁹¹. И, наконец, разве он восставал именно против Пушкина? Он доказывал только, что вся наша тогдашняя литература вовсе не так богата, как тогда все были уверены. И если мы внимлем в сущность его статей, мы увидим, что если никто не судил о нашей литературе так строго, как он, то и никто не превозносил так Пушкина, как он. Он первый высказал о характере и силах его таланта те понятия, которые господствуют до сих пор. Кажется, этого довольно, чтобы не считать его злом.

Статьи Надоумки были печальны — он ли виноват в том? Но они содействовали приготовлению лучшей будущности. Разве он отчаивался в лучшей будущности, разве не призывал ее? Прочтите хотя окончание его мрачной, желчной статьи: «Сонмище Нигилистов». На Васильев вечер, накануне того дня, когда солнце поворачивает на лето, в тот вечер, когда на Руси гадают о будущем, выходит Надоумко из беспорядочного сонмища, где все кричат, под хлопанье пробок, о талантах друг друга, все упоены чадом взаимных похвал своим дивным произведениям, все толкуют о пустяках, все кричат о том, чего не понимают; он идет домой, грустно думая об общем ничтожестве всей этой превозносимой литературы. Нет ей выхода из бессильного и шумного хаоса... «Как нет? вдруг спрашивает он себя: ужели, в самом деле, нет?»

Неужели для бедной нашей литературы не будет возврата с зимы на лето? неужели ей вечно мыкаться в мрачной проенсподней губительного нигилизма? — Нет, подумал я: нет, это невозможно:

...Как бы ночь
Ни длилась и неба ни темнила,
А все рассвета нам не миновать!

Будет время, когда слово, наилучшее произведение наилучшего создания божия, проливаться будет от избытка сердца чистого, растворенного святою любовью ко всему доброму, истинному и прекрасному!

Еще лежит на небе тень,
Еще далеко светлый день!
Но жив господь! Он знает срок!
Он вышлет утро на восток!

«Это будет, это будет, непременно!» — повторял я сам себя, взбираясь домой по высокой лестнице. — «Но, — прибавил я с горестным вздохом, отворяя двери передней, —

...Но когда ж тому случиться?»

Тут раздались из соседней комнаты звонкие голоса девушек, певших подблюдные песни:

Кому вынется, тому сбудется,
Тому сбудется, не минуется!

«Дай бог, чтобы сбылось поскорее!» вскричал я, довершая остальное путешествие до своей каморки. — Между тем, дремать нечего! Может быть, если я раз-другой подам голос, —

И петухи начнут мне откликаться,
И воздух утренний начнет в лицо мне дуть!

Беспристрастный читатель, вероятно, согласится с нами, что Надоумку нельзя считать зоилом, бросавшим грязью в знаменитых людей из одного тщеславного желания наделать шуму. Остается сказать несколько слов о его диссертации.

К сожалению, она у нас очень мало известна, потому что написана на латинском языке. Его называли за то педантом; но латинской диссертации требовали правила докторского экзамена, — следовательно, Надеждин не виноват в том, что написал свое рассуждение не по-русски. Зная, что латынь не найдет у нас много читателей, он перевел любопытнейшие отрывки своего исследования на русский язык и поместил в журналах: чего же требовать больше? Только эти отрывки и были прочитаны людьми, которые так решительно судили о его диссертации. Это беда была, впрочем, не главная: хуже всего было то, что ни Н. А. Полевой, ни другие противники Надеждина не знали и не могли понять немецкой философии. А если бы знали, не пришло бы им в голову говорить, что он выдал чужие мысли за свои и исказил их. Основная идея у Надеждина, конечно, та же, что и во всей немецкой философии, от Фихте до нашего времени. И то правда, что ближайшим образом он был последователем Шеллинга. Но дело в том, что он пошел далее Шеллинга и приблизился, силою самостоятельного мышления, к Гегелю, которого, как по всему видно, не изучал. Развивать эту мысль было бы здесь неуместно. Но кто сличит диссертацию Надеждина с «Эстетикою» Гегеля (изданную через пять лет после диссертации Надеждина), тот увидит, как близко к нему подошел Надеждин. Это факт. Узнав его, нечего говорить об Астах и Штуцманах *. Надеждин, тогда двадцатипятилетний юноша, стоял уже выше этих людей, не очень значительных в истории философии. Это был ум глубокий — вот все, что мы можем сказать по его первому философскому сочинению, оставшемуся единственным. И Полевой, думая сказать насмешку, сказал чистую правду: этот «русский студент смыслил в философии больше Кузена», и не только Кузена, а многих мыслителей, которые и в Германии успели приобрести

* Впрочем, Аст и Штуцман сделаны в «Телеграфе» учителями Надеждина явно по незнанию. Это очевидно каждому имеющему понятие об истории новой философии. Доказывать это и не стоит. От улик в похищениях Надеждина из Аста Полевой сам скоро отказался; а книги Штуцмана Надеждин и не видывал, потому что не считал его заслуживающим внимания в чем и не ошибался.

себе известность, как самостоятельные ученики того или другого великого философа.

И вот этот человек, не только хорошо знакомый с немецкою эстетикою, но имевший силу двигать эту науку вперед, занялся критикою: мог ли он не произвести решительно новой эпохи в нашей критике, которая до него знала только поверхностные французские приемы? И действительно, он заговорил о таких вещах, о которых до него и не слыхивали: об идее, как душе художественного создания, о художественности, как сообразности формы с идеею, и т. д., и т. д. Мудрость, неслыханная тогдашними нашими писателями и непостижимая для них. О, наивные времена, когда все это было новостью! Все слушали, соображали, изумлялись, оскорблялись, махнули, наконец, рукою и решили, что все это нелепость, порожденная педантизмом. Это было истинное «Горе от ума».

Статьями Надоумки была решена судьба Надеждина в литературном мире. Он восстал против всей литературы, — вся литература восстала против него. Он явился слишком рано и оставался одинок, пока не выступило на сцену новое поколение, предшественником которого был он. Когда он стал издавать «Телескоп», публика знала его только по презрительным отзывам «Телеграфа», «Сына отечества», «Северных цветов» и всех остальных журналов, газет и альманахов. Очень естественно, что «Телескоп», лишенный всякой помощи со стороны литераторов, имел только ограниченный успех. Критика его, продолжавшая развивать идеи, выраженные Надеждиным прежде, долгое время не могла достичь до публики. Но вот начало выступать на сцену молодое поколение: Надеждин в нем нашел себе помощников. «Телескопу» предстояла, по всей вероятности, блистательная будущность. Но он перестал существовать.

Едва ли теперь надобно объяснять, почему критика Надеждина не имела, в свое время, особенного влияния на публику. Она явилась слишком рано. Публика еще не была настолько развита, чтобы сочувствовать ей. И, притом, «Вестник Европы», в котором Надеждин поместил значительных статей гораздо более, нежели потом в собственном журнале, был почти совершенно неизвестен публике. Он и заслуживал этой судьбы, потому что был очень плох. А если кому и попадалась в руки книжка этого журнала, едва ли из десяти читателей один мог без смеха читать ее страницы, изукрашенные, по замысловатой орфографии Каченовского, фитами и ижицами. Мы упоминали об эпиграмме, написанной на Каченовского Баратынским, по случаю статей Надоумки. Вот она, с сохранением того правописания, которое придавало ей соль в «Телеграфе»:

ВСТОРІЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА

Хвала, мастытый наш Зоіа!
Когда-то Дмитріевъ бѣсѣлъ

Тебя счастливыми струнами;
Бѣсилъ Жуковскій въ слѣдъ за нимъ;
Вотъ бѣситъ Пушкинъ: какъ любимъ
Ты дальновидными Судьбами!
Три поколѣнія пѣвцовъ
Тебя, красой своихъ вѣнцовъ,
В негодованье приводилъ:
Пекись о здравіи своемъ,
Чтобы, подобно первымъ тремъ
Другіе три тебя бѣсѣли⁹².

Многие ли могли без смеха взять в руки журнал, самая орфография которого подает повод к подобным пародиям?

Но вред Надеждину оттого, что он первое и самое деятельное время своей критики отдал «Вестнику Европы», состоял не только в том, что статьи его остались почти никем не прочитаны или возбуждали свою нелепую внешностью улыбку в тех немногих, которым попадались на глаза: был нанесен ему участием в «Вестнике Европы» и другой вред, еще более важный. Этот журнал считался защитником всего устарелого и бездарного в литературе, врагом всего современного и даровитого. Статьи Надеждина, существенный смысл которых так трудно было угадать неприготовленной публике, получали самый невыгодный смысл уж от одного того, что являлись в таком журнале. Да и сам Надеждин подавал еще новый повод к недоразумениям: чтобы кольнуть тогдашних писателей, он иногда иронически превозносил старых писателей. Для нас ирония очень понятна, — в то время она многими не была понята.

Но все это только внешние причины неуспеха. Были и внутренние. Одну из них мы уже видели: Надеждин явился слишком рано для публики и литературы. Теперь прибавим другую: он явился слишком рано и для себя. Образ мыслей его не совершенно еще установился в то время, когда он начал свою литературную деятельность. Основные воззрения его были тверды и справедливы; но много осталось еще в нем следов прежнего образования, и почти вся его последующая журнальная деятельность представляется, как история постепенного его освобождения от различных остатков той «старой трухи» (по его выражению), которая так связывает движения мысли. Вначале он часто, сам того не замечая, выражал понятия, несообразные с его истинным образом мыслей, с его основными идеями.

Это придавало еще больше двусмысленности многим страницам его статей, и без того уже бывшим слишком трудными для разумения тех наивных людей, с которыми он говорил. Но если это было вредно для его первых статей, то мы видим новое доказательство силы его в быстром и неудержимом стремлении вперед. Немногим, и только самым сильным из нас, возможно совершенно перевоспитать себя. Надеждину было дано это. Силою мысли и знания достиг он того, что, быв в двадцать лет чело-

веком XVII века, в двадцать пять лет, при начале своей литературной деятельности, был человеком XIX века в одежде XVII века, в тридцать лет стал вполне человеком XIX века. Кто знает, как трудно это перерождение, тот поймет, сколько душевной силы нужно, чтобы пройти этот путь и стать у цели свежим и бодрым, без подчинения прошедшему, с одним нераздельным стремлением к будущему.

Чтобы указать определеннее на характер этого перевоспитания, обратим внимание хотя на внешность. Нельзя не согласиться, что мысли Надеждина, по сущности своей чуждые схоластики, выражались иногда в первых его статьях под формою схоластическою. В последних его статьях вы не найдете никаких следов схоластики; а как трудно достичь этого! Скажите, много ли найдется в истории литературы людей, которые успевали бы совершенно сбросить с себя иго схоластики, если когда-нибудь носили его?

В своем журнале Надеждин помещал значительные статьи гораздо реже, нежели прежде, в «Вестнике Европы». Конечно, тому мешали мелочные труды по редижированию журнала, занятия по званию профессора и, вероятно, различные случайные обстоятельства. Но вообще он писал для журнала много и, как видно по всему, энергия его не ослабела, — напротив, в последнее время, он и значительных статей начал печатать более, нежели когда-нибудь. Видно, что участие молодого поколения придало новые силы этому замечательному человеку, который, впрочем, и сам только еще вступал в период полнейшего развития сил: в тридцать два года, для большей части людей, только еще начинается истинная деятельность, для Надеждина — время литературной деятельности кончилось.

«Телескоп» не пользовался особенным успехом, хотя и не был журналом совершенно без читателей; он пользовался некоторым, но не очень значительным, влиянием на публику. Но влияние Надеждина на литературный наш круг было очень значительно. Все восставали против него — и, однако же, против воли, подчинялись его мнению, на сколько могли понимать его. Чтобы не обременять статьи нашей множеством примеров, укажем только на «Телеграф», который, до самого конца своего существования, пользовался предпочтительною любовью публики: через год или полтора после того, как Надеждин начал писать свои статьи, в журнале Полевого стала ощутительна значительная перемена. Прежде почти не бывало критических статей большого объема; о самых значительных писателях, по случаю издания собрания их сочинений, высказывалось лишь несколько кратких замечаний; теперь чаще и чаще начали являться большие статьи о том или другом писателе, и разборы значительных книг не ограничивались, как прежде, двумя-тремя страницами. Развитие критики «Телеграфа» не ограничивалось расширением объема: самые приемы ее сле-

лались основательнее. Самое направление ее изменилось: Полевой, видимо, учился многому у своего противника. Так, например, «Телеграф» начал говорить, что мы не романтики и не классики, что в наше время романтизм и классицизм должны соединиться, из их слияния должна возникнуть новая литература, и т. д. Все это чисто мысли Надеждина. Исчезло и прежнее самообольщение в богатстве нашей литературы: начались толки о том, что она скудна. «Телеграф», прежде восхищавшийся «гигантскими шагами, которые делают наш век и наша литература», начал подсмеиваться над медленным и часто попятным ходом этого развития, быстротою которого еще недавно восхищался; начал отдавать справедливость тому, что было хорошего в старой литературе; начал говорить, что литературе нашей всего нужнее солидное образование и привычка к серьезному образу мыслей в писателях, что нынешние писатели не удовлетворяют этим условиям, потому, несмотря на свои таланты, не могут произвести ничего великого, и т. д., и т. д. — всего нельзя и перечесть — и все эти понятия были наваяны Надеждиным. Едва ли можно найти хотя одну мысль его, которая не была бы повторена в «Телеграфе». Как любопытный пример, приводим в приложении III извлечение из той статьи, которая служит заключением «Нового живописца общества и литературы». Полевой, конечно, хотел завершить эти очерки изложением своих общих выводов, своих существенных понятий о литературе, — и что же? он буквально повторил то, что за три или четыре года говорил Надоумко. Но, конечно, все эти наваянные мысли остались в «Телеграфе» только наваянными мыслями. Сущность свою он изменить уже не мог, и под новую одежду он остался старым.

Вполне привились основные идеи критики Надеждина только к деятелям нового поколения, важнейший из которых образовался под его непосредственным руководством и чрез «Отечественные записки» влил новую жизнь в нашу литературу и в нашу публику.

Если за Н. А. Полевым неоспоримо остается та заслуга, что он первый сделал критику существенною и важною частью нашей журналистики, то Надеждину принадлежит заслуга еще более важная: он первый дал прочные основания нашей критике. До него повторялись у нас непрочувствованные, непрожитые мысли, и повторялись с голоса учителей очень поверхностных, которые сами не понимали хорошенько и себя, не только других. Эти учителя были французские романтики. Надеждин первый прочно ввел в нашу мыслительность глубокий философский взгляд. Он дал нашей критике глубокие, всеобъемлющие принципы, открытые для эстетики немецкою наукою. Он первый объяснил нашей критике, что такое поэзия, что такое художественное произведение. От него узнали у нас, что поэзия есть воплощение идеи, что идея есть зерно, из которого вырастает художественное произве-

дение, есть душа, его оживляющая; что красота формы состоит в соответствии ее с идеею. Он первый начал строго и верно рассматривать, понята ли и прочувствована ли идея, выраженная в произведении, есть ли в нем художественное единство, выдержаны ли и верны ли человеческой природе, условиям времени и народности характеры действующих лиц, истекают ли подробности произведения из его идеи, естественно ли, по закону поэтической необходимости, развивается весь ход событий, воплощающих идею автора, из данных характеров и положений, — словом, он первый дал русской критике все эстетические основания, на которых должна была она развиться, и показал примеры, как прилагать эти принципы к суждению о поэтическом произведении. Это первая, общая заслуга его критики. Вторая, частная, состоит в том, что он подверг этой критике, которой научил нас, всю нашу литературу тридцатых годов, высказал свои выводы громко и, объяснив, чем была наша литература до появления Гоголя и других великих талантов, ознаменовавших своим появлением начало гоголевского периода, приготовил последующую критику к справедливой оценке того развития, которое дано нашей литературе этими новыми писателями.

Но он действовал в самое неблагоприятное для нашей поэзии время — во время перехода от прежнего направления к новому. Ему дано было только призывать новое время, но не быть его действителем. Его критическая деятельность прекратилась в то самое время, когда гений Гоголя начал выражаться произведениями, составившими эпоху в нашей литературе, в то самое время, когда начиналась деятельность Кольцова и Лермонтова. Потому его критика произносила почти исключительно приговоры только отрицательные. Она доказала, что прежнее наше богатство ложно; она не могла еще воодушевить нашу публику указанием и объяснением новых приобретений. Он явился слишком рано и потому не мог иметь непосредственного влияния на мнения публики, еще не приготовленной к тому, чтобы сочувствовать ему. Он кончил тогда, когда только еще начиналась истинная пора для критики того направления, которое ввел он в нее. Потому существенное значение его критической деятельности состоит только в том, что она была приготовительницею последующей критики, — и главнейшая заслуга Надеждина-критика в нашей литературе состоит в том, что он был образователем автора статей о Пушкине. Выражаясь любимым его языком классической поэзии, он незабвенен для нас, как Хрон, воспитатель Ахиллеса⁹³.

Критика была только одна из многих сторон его разнообразной литературной деятельности. Она принесла уже свой плод. Другие, быть может, еще значительнейшие труды его по другим отраслям науки до сих пор остаются еще неоцененными. Придет время. будут оценены и они.

Приложения

I

Отрывок из статьи экс-студента Никодима Надоумки. К стр. 146.
Борский, сочинение А. Подолинского, СПб. 1829.
(Статья 2. «Вестник Европы», 1829, № 7, стр. 200—220).

Прежде всего заметим, что Подолинский возбуждал в то время самые блестящие ожидания. Многие думали, что в нем является достойный соперник Пушкину. Потому-то Надоумко и обращает внимание на его поэму, которую превозносили до небес.

Эпиграф разбора, взятый из горадиевой «Науки стихотворства»:

Nunc satis est dixisse: ego mira poemata pango —

по обыкновению, опять заключает в себе двусмысленную колкость. Проще всего его надобно перевести: «Теперь довольствуются словами: я пишу удивительные поэмы»; но, по смыслу статей Надоумко, должно перевести его так: «Просто скажу: об удивительных поэмах пишу я», — то есть Надоумко. Это еще более язвительно, потому что относится уже не к одному Подолинскому, а ко всем тогдашним знаменитым поэтам. [Впрочем, второй смысл едва ли был понят кем-нибудь из них.]

Первая статья начинается общими размышлениями о тогдашней нашей поэзии и оканчивается, как мы видели, рассказом содержания поэмы Подолинского, после чего Надоумко начинает вторую статью так:

Спрашивается: что за удовольствие представлять подобные кровавые зрелища?.. Ужасные картины кровопролития и убийств весьма редки в вещественной нашей жизни: как же могут они обратиться во всеобщую прихоть вкуса? Справедливее бы, кажется, можно было упрекнуть нас в недостатке вкуса, чем в подобном развращении оного. У нас доселе, несмотря на неслабона распространяющиеся успехи просвещения, господствует еще какая-то мудреная апатия к истинно изящным наслаждениям. Наши театры полны бывают только при представлениях Киарини (фокусника), и из наших периодических изданий больше всех расходятся «Московские ведомости». Не эта ли слишком заметная скудость чувствительности вынуждает наших поэтов прибегать к насильственным средствам для пробуждения в наших неспросыпных душах приветного отклика?.. Но отчего бы нашим поэтам не попытаться прибегнуть к другому, менее шумному, но более надежному средству возбуждать эстетическое участие?.. Отчего бы не допустить им в поэтический механизм свой, кроме кинжала и яда, других пружин, меньше смертоносных, но не меньше действительных?.. Не могло ли бы с избытком заменить всю эту романтическую стукотню и ревню — существенное достоинство и величие изображаемых предметов, наставительная знаменательность драпировки, не ослепительная для умственного взора светлость мыслей, не удушающая теплота ощущений?.. А этого-то, по несчастью, и недостает в наших новых поэтических произведениях! — Они обращаются около предметов совершенно ничтожных: одеваются в маскарадные костюмы, представляющие уродливое смешение этнографических и хронологических противоречий; блещут пошлыми двучичевыми островами; дышат чадными и нередко смрадными чувствами. От двух первых обвинительных пунктов не оправдается и Борский. Что за

предмет для поэмы?.. Ревнивый муж убивает жену-лунатика и замерзает сам на ее могиле... Что тут интересного?.. И в психологическом отношении — это не великое дело, и в эстетическом — не весьма занимательное зрелище! Будь это событие историческое или по крайней мере основанное на народном предании, — тогда б оно могло иметь для нас важность истины или прелести наследственной собственности — прелесть родного... Но сочинять нарочно такие истории значит изнушать воображение над пустяками! — Недостаток сей можно было бы, однако же, искупить счастливым выбором, живописною полнотою, изящною отделкой поэтического костюма. Мы разумеем здесь под костюмом все те многочисленные, многообразные черты и картины, кои сообщают поэтическую индивидуальность повествованию, определяя место и время, к коим оно относится. Происшествие, само по себе ничтожное, может служить гению канвою для поэтического изображения целой эпохи, целой страны, целого народа: и тогда ничтожность его совершенно теряется из виду. Так ли поступлено в *Борском*?.. *Владимир Борский* и весь причт лиц, составляющих историческое бытие сей поэмы, суть, как видно по именам и прозваниям, люди *русские*. Перемените сии имена и прозвания — кто узнает в них русских?.. Ни одной малейшей черты народного характера русского! Переименуйте *Владимира* в *Адольфа* — это будет француз во всех статьях! О прекрасной *Елене* и говорить нечего: она отлита в обыкновенной форме *красавиц*, заказываемых для исторических романов à la madame Genlis. А добрый деревенский священник!.. Его дружеское отношение к *Владимиру* у нас, на святой Руси, есть совершенный анахронизм, взятый из будущего, может быть, XX века! — Но пусть историческая живопись *Борского* слаба, неопределенна, бесцветна: не заменяет ли он ее живописью ландшафтной?.. Кажись бы, так и следовало! Действие совершается на цветущих берегах широкого Днепра, под благословенным малороссийским небом. Какая богатая сцена! Какая неистощимая жатва для гения!.. Сколько поэтических красот могло бы представить живописное изображение величественного Днепра, носившего на выблющемся хребте своем младенчеству Русь в колыбели! Сии маститые холмы, на которых возлегал древняя мать городов русских; сии сыпучие пески, расстилающиеся перловою бахромою вскрай вод днепровских, не освящены ли на каждом шагу воспоминаниями, драгоценнейшими для каждого русского сердца?.. И что же?.. Величественного Днепра как будто б и не было. А мирная, идиллическая жизнь добрых наших малороссиян, о ней и вовсе ни слуху, ни духу! — Так ли надобно поступать поэтам, провозглашающим себя поборниками романтизма? Романтизм, в чистейшем своем знаменовании, тем преимущественно и отличается от классицизма, что исчерпывает мощное лоно природы всеобъемлющим оком, со всех точек, во всех направлениях. Посмотрите на творения чудного Байрона!.. Его «Чайльд-Гарольд» есть богатейшая ткань идеализированной истории человечества, убранный драгоценнейшими воспоминаниями, собранными из всех веков, под всеми земными поясами. Его «Джаур» дышит палящим зноем Востока; в его «Мазепе» кипит буйная кровь сарматская; его «Каин» предстает во всей суровой наготе первобытного мира. Отчего бы и *Борскому* не окостюмиться равно полным, равно верным, равно занимательным образом?.. Это, право, сообщило бы ему больше романтической прелести и произвело бы живейший и прочнейший эффект, чем подобные эвменидистические сцены:

..... Иступленный
Он дал в бешенстве бежит:
То здесь, то там кинжал блестит
В руке, луною озаренный —
Нет жертвы боле!
.....
..... Он стоит,
Недвижен взор, ужасен вид —
В его руке окровавленной

Рука Елены, но она
Уже недвижна и холодна
И костенеет постепенно...

Отчего бы... Но увя! — это легко сказать, но легко ли сделать?.. Чтобы дать полную, определенную, выразительную физиономию поэтической картине, не довольно одного юного, свежего и мощного таланта: нужно еще — *учение*... проклятое *учение*!.. Без него не обогнать ни на шаг сильного, могучего богатыря «Илью Муромца»!..

Искусство мыслить — ключ к искусству сочинять.

Так учивал в старину Гораций! А у нас теперь?

Не знавший грамоте стихи кропает смело!..
«И для чего не так?.. Я вольностью дышу!
Я знатен, я богат, я барин и... пишу!»

Повторим снова приведенный нами эпиграф:

Nunc vatis est dixisse: «ego mīra poēmata pango!..
Мудрец наш мыслит так: «пред смелым награжденье!
Погибни всякий труд: могу и без него
Казаться знатоком, не зная ничего!»

«Но, говорят, поэтический инстинкт может заменить для гения всю школьную пыль учености! — Природа-де познается не из книг и не за скамьями: сердце свое можно изучать самому, без указки профессорской; посему живописцем природы, историографом сердца легко сделаться, не прошедши ни физики Страхова, ни истории Шрека. Ведь Гомер и Шекспир не учились в университетах!» — Просим извинения, мм. гг.! Гомер учился всю жизнь свою: его «Илиада» и «Одиссея» написаны не по одним слухам, а с собственных долговременных наблюдений над обычаями различных стран и народов... Что до Шекспира, то пора бы также перестать ссылаться на него, как на образец гения-неуча. Шекспиру не совсем была чужда классическая древность, составлявшая издавна родовое наследие всех европейских наций, и едва ли кому из наших автодидактических всезнаек удалось смести столько пыли со старинных отечественных летописей, как творцу Генриха IV и двух Ричардов. Гомер и Шекспир знали, следовательно, природу и сердце не по одному только инстинкту. Оттого-то их творения дышат поэтической истиною и составляют наследственное богатство всего человечества. А наши молодые поэты? Они знают природу и сердце лишь по наслышке; вот почему и творения их представляют не историю природы и сердца, а различные истории о природе и о сердце. Неестественность и нелепость составляют их отличительное качество. Возьмемся за Борского: как неудачно состеганы кусочки, из которых спита сия поэмка; рука художника не умела даже прикрыть швов, которые везде в глаза мечутся. Владимир есть единственный герой, или, лучше, единственное живое лицо поэмы: ибо все прочие суть восковые фигуры. Его характер должен, следовательно, быть средоточием, из которого должна развиваться вся поэма. Спрашивается: что это за характер?.. Господь один знает. В первой главе первой части Владимир представляется состарившимся юношею, по крайней мере, он так говорит сам о себе:

Едва доверчивую младость
До половины отжил я,
Уж знаю тягость бытия,
И сердцу чуждо слово: радости!

Непонятно, отчего он так скоро состарился. Его любовь не была любовью обманутая, разочарованная, безнадежная. Правда, он преследуем был гневом раздраженного отца; но сей гнев не раздражался еще над ним в убийственном проклятии. Это доказывают собственные чувства его при вскрытии рокового письма, заключающего последнюю волю отца его:

. долго он,
В волнении страха переменою,
Не смеет робкою рукой
Раскрыть бумаги роковой.
Отца таинственные строки
Его тревожат и страшат:
Черты заветные хранят,
Быть может, горькие упреки!

Упреки! — слышите ли! не более?.. Это все, что только мог он представить себе ужаснейшего при виде таинственного завещания. До того — он и о них мало думал. Его тревожили только одни любовнические сомнения о верности Елены:

Не раз, сомненьям предана,
Моя душа изнемогала:
Теперь... опять... но нет, не знала
Притворства хитрого она!..

Статочное ли дело, чтобы подобные сомнения, которые, по свидетельству опытных знатоков любви, не разрушают, а питают блаженство любящих сердец, могли «разоблачить до ужасной наготы всю жизнь» для *Владимира*?.. И если бы это была правда, если, по собственному сознанию *Владимира*, в крови его уже не было

...Жара первых впечатлений,

то как бы он, угрожаемый проклятием скончавшегося отца, мог сказать в ту же пору:

Но если долго так она (*Елена*)
Обету пребыла верна,
Ее отвергнуть я не смею!
Я на преступную главу
Проклятий новых не сзову!

Нет! это не история сердца! Как бы, однако, то ни было, при окончании *первой* части поэмы *Владимир* женится. — Заметим, что сия первая, *седмиглавая*, часть есть не более, как длинные сени с переходами ко второй, *пятиглавой*, части, составляющей главный корпус всего поэтического здания *Борского*. И что же сия *вторая* часть? Те же противоречия, та же невероятность, та же невозможность!.. Брак для *Елены* есть источник несчастья: она не может изгнать из своей памяти того страшного мгновенья, когда

...озарен свечой венчальной,
Ее супруг у алтаря,
Стоял недвижный, думы полный,
И принял, бледный и безмолвный,
Лобзання жаркие ея.

Растерзанное сердце ее предается подозрениям ревности. Это очень естественно. Не невозможно также было и *Владимиру*, коего несчастная подозрительность уже известна, отозваться подобным чувством на неизъяснимую тоску *Елены*. Но естественно ли, вероятно, ли, возможно ли по законам самого необузданного поэтического своеволия, чтобы после дышащего истинным огнем страсти разговора *Елены* с *Владимиром* составляющего содержание *второй главы* второй части *Борского*, сей последний мог предаться столь страшному, столь несправедливому, столь неблагоприятному гневу:

. В чем еще сомненье?
Я ей наскучил — мало ей
И дружбы и любви моих!
Быть может, страстию позорной
Давно душа ее горит,

Но мыслит; мужа усыпит
Она любовию притворной...
Да, это верно! мне она
Недаром Рим напоминала!
Она мечтала — та страна
Меня давно очаровала
И увлечет опять меня...
Ошиблась! — Здесь останусь я!
Я вижу замысел коварный —
Еще открытие одно —
И пусть я гибну — все равно, —
Я не щажу неблагодарной!..

И это открытие?.. Это открытие, от которого зависела жизнь или смерть —
сколь ничтожно!.. Бред лунатика... бред бессвязный, бессмысленный, без-
жизненный — и...

И вот сверкнуло лезвие,
И кровь Елены на кинжале —
И рана в сердце у нее!

Не всяк ли видит, что поэту хотелось только довести Владимира до убийства
и до самоубийства, во что бы то ни стало!.. Он и успел в том! Но каким
новым фактом, каким новым открытием может все это обогатить историю
сердца?.. Как вам угодно, гг. романтики, а нам, слепым людям, кажется, что
ежели инстинктуальное знание природы и сердца разрождается подобными
следствиями, то оно — никауда не годится!

II

К стр. 148

Первые последствия первой статьи экс-студента Надоумко.

№ 21 «Вестника Европы» 1828 года, в котором было помещено начало статьи «Литературные опасения», вышел 14 ноября; первым вышедшим после того номером «Телеграфа» был 20-й, явившийся 28 ноября, в один день с № 22 «Вестника Европы», в котором было окончание статьи Надоумко. Полевой спешил с первого же разу оборвать выскочку, решившегося заговорить так дерзко, и хотел внушить ему надлежащий страх, не ожидая, как видим, окончания его «Опасений».

Тирада «Телеграфа» составляла эпизод в общем обозрении журналов. Полевой не считал нужным входить в подробные объяснения с писателем, еще не имеющим известности, и, упомянув о нем кратко и презрительно, главные свои нападения обратил на Каченовского, которого, как видно, считал и главным виновником «Литературных опасений». Каченовский, как известно, был главным врагом романтиков, и Полевому естественно было предполагать, что он подучил или заставил Надоумко написать дерзкую статью. Вот тирада «Телеграфа», очень интересная по своей едкости:

(«Телеграф» 1828 г. № 20, стр. 490—493)

Известно, что с давнего времени «Вестник Европы» упadal, валялся, и нынешний год, в кунных мордаках и ученических исследованиях об истории

русской, все думали слышать последний вздох «Вестника Европы»... Но дух перемен грянул и над ним, и 16 доля № 18 занята объявлением: «Желаю еще потрудиться, беру на свою ответственность составление и печатание»... Все это возбуждает какое-то умиливательное чувство при мысли, что так говорит издатель журнала, 26 лет издающегося и — падающего. Издатель уверяет, что, в неизмеримой области истории едва проложены тропы; «с другой стороны видим беспомощное состояние литературы, усилия партий водрузить свои знамена на земле, которая не была возделываема их трудами. Законы словесности молчат при звуках журнальной полемики. Надобно, чтобы голос их доходил до слуха любознательного, который не услаждается звуками кимвала бряцающего и меди звенящей». Следуют обещания, какие всегда дает и не исполняет издатель «Вестника Европы». Но до обещаний его дело читателям, а не нам. Мы напоминаем только «Вестнику Европы», что не так должно ему братья за законы словесности. Если бы он, старец по летам, признался в незнании своем, принялся за дело скромно, поучился, бросил свои смешные предрассудки, заговорил голосом беспристрастия, мы все охотно уважили бы его сознание в слабости, желание учиться и познавать истину, все охотно стали бы слушать его.

Но что сделал до сих пор издатель «Вестника Европы»? где его права, и на какой возделанной его трудами земле он водрузит свои знамена? где, за каким океаном эта обетованная земля? Юноши, обогнавшие издателя «Вестника Европы», не виноваты, что они шли вперед, когда издатель «Вестника Европы» засел на одном месте и неподвижно просидел более 20 лет. Дивиться ли, что теперь «Вестнику Европы» видятся чудные распри, греются кимвалы бряцающие и медь звенящая?

С 1805 года нынешний издатель «Вестника Европы» начал свое дело и — теперь только вздумал, что уже время трудиться самому. Оспаривая у других право литературного суда, он дает повод у него потребовать доказательств на его права: где они?

Журнальные статейки, выходки на Карамзиных, Жуковских, Буле, Калайдовичей, полдюжины диссертаций из чужих материалов, переделка статей Баузе, перевод вздорного романа («Тереза и Фальдони»), перекроение с польского «Хрестоматии» Якобса, смешные споры, коими пестрился иногда «Вестник Европы», — вот все, чем утилял себе издатель «Вестника Европы» дорогу в храм литературного бессмертия в течение 25 лет! Ни одной книги, достойной внимания, ни одной самобытной замечательной статьи в 25 лет — и г. издатель говорит о кимвалах бряцающих и меди звенящей!

Впрочем, посмотрим: может быть, и в самом деле «Вестник Европы» вдруг оживится, восстанет... Но нет! кажется, это уже невозможно. В № 21 сего года едва ли не начато преобразование, и — без смеха нельзя читать, испещренной греческими, латинскими, французскими, немецкими цитатами, статьи о литературе русской. В греческом эпиграфе в трех строках пять ошибок (сам издатель «Вестника Европы» знает по-гречески очень плохо: на это есть верные доказательства; а г. Надоумко, сочинитель статьи, как студент, разумеется, небольшой знаток греческих трагиков), и самое лучшее в статье есть то, что говорит сочинителю разговаривающее с ним лицо: «не стыдно ли тебе так далеко отстать от своего века и перетряхивать на безделье старинную труху!» Впрочем, эта драгоценная статья стоит особого разбора.

Статья «Телеграфа» подписана была псевдонимом «Бенигна». Каченовский имел слабость отвечать на нее следующим курьезным примечанием к статье Надоумко «Отклик с Патриарших прудов»:

Здесь приличным почитаю объявить, что препираться с Бенигну я не имею охоты, отказавшись навсегда от бесплодной полемики; а теперь не

имею на то и права, предприняв другие меры к охранению своей личности от игривого произвола сего Бенигны и всех прочих. Я даже не читал бы статьи Телеграфической, если б не был увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и к достоинству места, при котором имею счастье продолжать оную.

Рдр.

Через несколько времени после того, как жалкая попытка Каченовского оградиться тем, чем не следует и невозможно ограждаться в спорах чисто литературных, получила решение, какого заслуживала, Пушкин напечатал в «Северных цветах» 1830 года свою превосходно написанную статью, которую приводим здесь вполне, с некоторыми пояснениями. Вот первая половина ее:

ОТРЫВОК ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ

Распря между двумя известными журналистами наделала шуму. Постараемся изложить исторически все дело, *sine ira et studio*.

В конце минувшего года редактор «Вестника Европы», желая в следующем 1829 году потрудиться еще и в качестве издателя, объявил о том публике, все еще худо понимающей различие между сими двумя учеными званиями. Убедившись единогласным мнением критиков в односторонности и скудости «Вестника Европы», сверх того, «движимый глубоким чувством сострадания, при виде беспомощного состояния литературы», он обещал «употребить, наконец, свои старания, чтобы сделать журнал сей обширнее и разнообразнее». Он надеялся «отныне далее видеть, свободнее соображать и решительнее действовать». Он собирался «пуститьсь в неизмеримую область бытописания», по которой Карамзин, как всем известно, «проложил тропинку, теряющуюся в тундрах бесплодных». — «Предполагаю работать сам — говорил почтенный редактор — не отказывая, однако ж, и другим литераторам участвовать в трудах моих». Сии поэдины, но тем не менее благие намерения [сия похвальная заботливость о русской литературе], сия великодушная снисходительность к сотрудникам тронули и обрадовали нас чрезвычайно. Приятно было бы нам приветствовать первые [труды, первые] успехи знаменитого редактора «Вестника Европы». Его глубокие познания (думали мы), столь известные нам по слуху, дадут плод во время свое (в нынешнем 1829 году). Светильник исторической его критики озарит вышеупомянутые тундры области бытописаний, а законы словесности, «умолкшие при звуках журнальной полемики», заговорят устами ученого редактора. Он не ограничит своих глубокомысленных исследований замечаниями о заглавном листе «Истории Государства Российского» или даже рассуждениями о куньих мордках, но верным взором обнимет, наконец, творение Карамзина, оценит истину его разысканий, укажет источники новых соображений, дополнит недосказанное. В критиках собственно литературных мы не будем слышать то брюзгливого ворчанья какого-нибудь старого педанта, то непристойных криков пьяного семинариста. Критики г. Каченовского должны будут иметь решительное влияние на словесность. Молодые писатели не будут ими забавляться, как пошлыми шуточками журнального гаера. Писатели известные не будут ими презирать, ибо услышат окончательный суд своим произведением, оцененным ученостью, вкусом и хладнокровием.

Можем смело сказать, что мы ни единой минуты не усомнились в исполнении планов г. Каченовского, изложенных повитческим слогом в газетном объявлении о подписке на «Вестник Европы». Но г. Полевой, долгое время наблюдавший литературное поведение своих товарищей-журналистов, худо поверил новым обещаниям «Вестника». Не ограничиваясь безмолвными сомнениями, он напечатал в 20-й книжке «Московского телеграфа» прошедшего года статью, в которой сильно напал на почтенного редактора «Вестника

Европы». Дав заметить неприличие некоторых выражений, употребленных, вероятно, неумышленно, г. Каченовским, он говорит:

«Если бы он («Вестник Европы»), старец по летам, признался в незнании своем, принял за дело скромно, поучился, бросил свои смешные пред-
рассудки, заговорил голосом беспристрастия, мы все охотно уважили бы его сознание в слабости, желание учиться и познавать истину, все охотно стали бы слушать его».

Странные требования! В летах «Вестника Европы» уже не учатся и не бросают предрассудков закоренелых. Скромность, украшение седины, не есть необходимость литературная; а если сознания, требуемые г. Полевым, и заслуживают какого-нибудь уважения, то можно ли нам оные слушать из уст почтенного старца без болезненного чувства стыда и сострадания?

«Но что сделал до сих пор издатель «Вестника Европы»? — продолжает г. Полевой. — Где его права и на какой возделанной его трудами земле он водрузит свои знамена? где, за каким океаном эта обетованная земля? Юноши, обогнавшие издателя «Вестника Европы», не виноваты, что они шли вперед, когда издатель «Вестника Европы» засел на одном месте и неподвижно просидел более 20 лет. Дивиться ли, что теперь «Вестнику Европы» видятся чудные распри, греются кимвалы бряцающие и медь звенящая?»

На сие отвечаем:

Если г. Каченовский, не написав ни одной книги, достойной некоторого внимания, не напечатав, в течение 26 лет, ни одной замечательной статьи, снискал, однако ж, себе бессмертную славу, то чего же должно нам ожидать от него, когда наконец он примется за дело не на шутку? Г. Каченовский просидел 26 лет на одном месте, — согласен; но как могли юноши обогнать его, если он ни за чем и не гнался? Г. Каченовский ошибочно судил о музыке Берстовского; но разве он виноват? Г. Каченовский перевел «Терезу и Фальдон» — что за беда?

Доселе казалось нам, что г. Полевой неправ, ибо обнаруживает какое-то пристрастие в замечаниях, которые с первого взгляда являются довольно основательными. Мы ожидали от г. Каченовского возражений неоспоримых или благородного молчания, каковым некоторые известные писатели всегда отвечивали на неприличные и пристрастные выходки некоторых журналистов. Но сколь изумились мы, прочитав в № 24 «Вестника Европы» следующее примечание редактора к статье своего почтенного сотрудника, г. Надумки (одного из великих писателей, приносящих истинную честь и своему веку и журналу, в коем они участвуют):

(Выписано примечание Каченовского к ответу Надеждина на статью Бенigny, приведенное нами выше, на стр. 170).

Сие загадочное примечание привело нас в большое беспокойство. Какие «меры к охранению своей личности от игривого произвола г. Бенigny» принял почтенный редактор? Что значит «игривый произвол г. Бенigny»? что такое: «был увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и достоинству места?» (Впрочем, смысл последней фразы донныне остается темен, как в логическом, так и в грамматическом отношении).

Многочисленные почитатели «Вестника Европы» затрепетали, прочитав сии мрачные, грозные, беспощадные строки. Не смели вообразить, на что могло решиться рыцарское негодование Михаила Трофимовича. К счастью, скоро все объяснилось...

Каким образом объяснилось дело и в чем оно состояло, статья Пушкина не говорит. Полевой (в разборе «Северных цветов») намекает, что в этом месте статьи есть довольно значительный пропуск. В чем состояла сущность дела, изложено

было статейкою одной петербургской газеты о ссоре некоего китайского журналиста-мандарина с другим журналистом, который не был мандарином. Статью эту перепечатал в свое время «Телеграф» (1829 г., № 5). Ее содержание таково: китайский журналист Гай-Чан жаловался на другого китайского же журналиста Чуна за то, что Чун доказал в своем журнале, что он, Гай-Чан, «ничего не знает и ничего хорошего не сочинил»; в доказательство своих знаний, Гай-Чан представил Хань-Линю, ученому собранию южной столицы Небесной Империи, членом которого он служит, «золотой шарик своей мандаринской шляпы, четыре жалованные ему павлиньи пера и двенадцать больших пуговиц с изображением дракона»; ученое собрание Хань-Линь убедилось этими доказательствами учености и решило, что Чун своей критикой «обидел личную честь мандарина-журналиста Гай-Чана и достоинство его золотых шариков, павлиньих перьев и больших позолоченных пуговиц, и тем нарушил правила пяти добродетелей, шести обязанностей и семи приличий», потому ученое сословие Хань-Линь за оскорбление своего сочлена Гай-Чана жаловалось палате стихов и прозы южной столицы; но в палате стихов и прозы мнения об этом деле были разногласны; потому палата стихов и прозы южной столицы представила затруднительный вопрос на разрешение палаты церемоний северной столицы; палата церемоний нашла справедливым суждение тех членов палаты стихов и прозы, которые полагали, что мнение ученого сословия Хань-Линя неосновательно, и что «можно быть набитым невеждою, нося золотые шарики не только на верхушке шляпы, но и на конце носа и на оконечностях всех двадцати пальцев, и имея сверх того все тело покрытое павлиньими перьями», и что журналист Чун, говоривший исключительно о литературных занятиях журналиста-мандарина Гай-Чана, нимало не оскорбил ни личной его чести, ни его шариков, перьев и пуговиц, а потому и не подлежит осуждению. — Короче и еще яснее дело изложено в знаменитой эпиграмме Пушкина, которая помещена была в «Телеграфе» 1829 года:

Обиженный журналами жестоко,
Зоял Пахом печалился глубоко.
Вот подал он на цензора донос;
Но цензор прав. Нам смех; Зоилу нос.
Иная брань, конечно, неприличность.
Нельзя писать: такой-то де старик
Козел в очках, плюсовый клеветник.
И вол и подл — все это будет личность;
Но можете печатать, например,
Что «господин парнасский старовер
(В своих статьях) бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат»:
Тут не лицо, а просто литератор.

Зоилом назывался Каченовский собственно потому, что осмелился говорить, будто бы «История Государства Российского» Карамзина не есть творение идеального совершенства, а имеет, в ученом отношении, некоторые недостатки. Долго лежала за то на Каченовском учения опала, как до сих пор лежит за то же на Полевом, который через несколько лет решился сказать то самое, за что прежде укорял Каченовского. С Каченовского теперь опала эта снята, благодаря прекрасному заступничеству последователей нового воззрения на русскую историю, развитого гг. Соловьевым, Кавелиным и другими. Заслуги Каченовского в русской истории признаны. Не пора ли сказать, что и в «Истории русского народа» Полевого есть свои хорошие, и даже очень хорошие стороны? Этого требовала бы справедливость. Здесь, впрочем, должны мы о Каченовском заметить, что его важнейшие груды явились после того, как написана статья о нем в «Телеграфе», и потому, признавая важность их, мы находим статью Полевого в сущности справедливою. Сделав эти замечания, казавшиеся нам нужными, помещаем вторую половину статьи Пушкина.

Усложившись насчет ужасного смысла вышеупомянутого примечания, мы сожалели о бесполезном действии почтенного редактора. Все предвидели последствия оного. В статье г. Полевого личная честь г. Каченовского не была оскорблена. Говоря с неуважением о его занятиях литературных, издатель «Московского телеграфа» не упомянул ни о его службе, ни о тайнах домашней жизни, ни о качествах его души.

Между тем ожесточенный издатель «Московского телеграфа» напечатал другую статью, в коей дерзновенно подтвердил и оправдал первые свои показания. Вся литературная жизнь г. Каченовского была разобрана по годам, все занятия оценены, все простодушные обмолвки выведены на позор. Г. Полевой доказал, что почтенный редактор пользуется славою ученого мужа, так сказать, на честное слово, а доньше, кроме переводов с переводов, и кой-каких заимствованных где-то статей, ничего не произвел. Скучность, более достойная сожаления, нежели укоризны! Но что всего важнее, г. Полевой доказал, что Михаил Трофимович несколько раз позволял себе личности в своих критических статейках, что он упрекал издателя «Московского телеграфа» виновным его заводом (пятном ужасным, как известно всему нашему дворянству!), что он неоднократно с упреком повторял г. Полевому, что сей последний — купец (другое, столь же ужасное обвинение!), и все сие в непристойных, оскорбительных выражениях. Тут уже мы приняли совершенно сторону г. Полевого. Никто, более нашего, не уважает истинного, родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном; но в мирной республике наук какое нам дело до гербов и пыльных грамот? Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны перед законами критики. Князь Вяземский уже дал однажды заметить неприличность сих аристократических выходов; но не худо повторять полезные истины.

Однако ж, таково действие долговременного уважения! И тут мы укоряли г. Полевого в запальчивости и неумеренности. Мы с умилением взирали на почтенного старца, расстроенного до такой степени, что для поддержания ученой своей славы принужден он был обратиться к русскому букварю и преобразовать оный удивительным образом. Утешительно для нас, по крайней мере, то, что сведения Михаила Трофимовича в греческой азбуке не подлежат уже никакому сомнению.

С нетерпением ожидали мы развязки дела. Наконец водворилось спокойствие в области словесности и прекратилась междоусобная война миром, равно выгодным для победителей и побежденных...

III

К стр. 163

*Извлечение из «Нового живописца общества и литературы»
(при «Телеграфе»).*
(«Телеграф», 1832 г., «Нов[ый] живописец», № 24)

Заключительная статья «Нового живописца» состоит из трех отделений: «Беседа у старого литератора», «Беседа у молодого литератора», «Разговор после бесед с литераторами» («Новый живописец», №№ 17, 21 и 24). Самая форма — совершенное подражание статьям Надоумки. Два друга, Леонид и Филофей, отправляются сначала на литературный вечер к Родосову, у которого собираются старые литераторы. Там читают оды, послания, мадригалы, говорят о лагарповых правилах и проч., — все это скучно, но совершенно прилично и чинно, совершенно безвредно и отчасти даже хорошо по своей усыпительности. Оттуда друзья идут к одному из своих приятелей, молодому литератору Сплетнину. Они предполагали застать его дома одного; но у него также собралось общество. Это повергает в ужас рассудительного Филофея.

«Уйдем отсюда назад!» — говорит он, когда, едва вошедши в зал, услышал шум гостей, собравшихся в другой комнате. — «Какой вздор!» — возражает добродушный Леонид: — «ты слышишь по голосам, что здесь собрался сок лучшей молодежи. Ведь здесь общество не хуже Родосова». — «Хуже, — отвечает Филофей: — там только скучно, а здесь несносно; там только смеешься, а здесь невольно рассердишься». Но выходит Сплетнин и начинает рассказывать литературные слухи; выходят гости, Талантин и другие, кричат, что Пушкин выше Байрона, что философия, эстетика и вообще наука вздор, лишняя тягость для поэта, что поэт не подчинен в своем творчестве никаким законам, кроме собственной необузданной фантазии, называют Талантина гением, и т. д. — одним словом, повторяют почти то же самое, что у Надоумки говорили Тленский, Флюгеровский, Чадский; толкуют, что люди прежних поколений ничто пред ними, людьми нового поколения, что Державин писал дрянь, что литература наша громадными шагами бежит к высочайшему совершенству. Все эти шумные толки происходят под звон стаканов, под хлопанье пробок шампанского. Вся эта беседа точнейший сколок с «Сонмища нигилистов» Надоумки. Расстроенные дикою бестолковостью, буйною пустотою молодых литераторов, друзья воз-

вращаются домой. Леонид в отчаянии от жалкого положения нашей бедной литературы: «Да, это грустно, это нестерпимо!» — с горечью восклицает он. — Филофей улыбается и насмешливо говорит:

Ф. Послушай, Леонид, не спросить ли у тебя:
Скажи, что сделалось с тобою?

Л. Право, твои шутки совсем не к стати, и вот, позволь мне сказать, одна из главных причин жалкого положения литературы русской: с нею всегда и все шутят.

Ф. Я готов доказывать противное. Мне кажется, главная беда в том, что на нее слишком важно смотрят.

Л. Но как же иначе? Литература — это важная часть общественной жизни, это голос общества, — и ты хочешь, чтобы мы не уважали литературы?

Ф. Пусть же это уважение походит на сознание собственных достоинств, какое всегда должно таиться в душе человека умного и образованного. Но что такое литература и литераторы в русской земле? Наши литераторы, как дети, ездят на палочках верхом и высоко задирают головы, думая, что они рыцари и великие паладины.

Л. Мне досадно слышать от тебя такую холодную насмешку насчет предмета собственных наших занятий. Можем ли мы надеяться создать что-нибудь хорошее, если не будем уважать предмета трудов своих? И можно ли с таким убийственным хладнокровием говорить о том поприще, на котором являлись Державины, Ломоносовы, фон-Визинны, Крыловы, Грибоедовы?

Ф. Продолжай, не забудь еще кого-нибудь из этих залетных лебедей, по которым ты думаешь, что лето литературы нашей настало... Эти случайности, эти преждевременные искры волкана, изредка вылетающие из могучей души русского народа и предвещающие нам, что будет некогда литература русская, почитаем мы уже страшным извержением... Какая тут литература? Все эти люди были ль следствия общего образования и стремления? Нет, это мимолетные явления людей, — гениальных, если угодно, но они не образуют собою литературы, а потому...

Л. Не хочешь ли ты сказать, что литературы русской нет?

Ф. Этого я не хочу сказать. В самом младенчестве народов, даже когда они не знают грамоте, начала литератур у них уже существуют.

Л. Следственно, и у нас есть литература!

Ф. Нет, есть начало литературы, опыты, а не полные явления.

Л. Чем ты докажешь это?

Ф. И обществом нашим, и самими литераторами, и так называемою русскою литературою... Тогда только назову я литературу голосом общества, когда литература будет необходимою потребностью общества. Нашему обществу... право, мало дела до литературы. Доныне книга для русского человека такая же вещь, как игрушки детские, или такое же занятие, как гулянье под Новинским. Так же хотят почитать, как покупают детям коньков и куколок, и ездят смотреть паяцов.

Л. Ну пусть так. Обращимся к литераторам.

Ф. Да где они? Я не вижу, не знаю литераторов. Я вижу ученых по званию, то есть учителей, в высшем или низшем значении этого слова; светских людей, которые мимоходом пишут в альбомы и альманахи, как играют в вист; людей, добывающих писаньем деньгу, и которые охотно примутся за карты, за ножицы, если только это будет им прибыльнее пера; чиновников, военных и гражданских, которые от скуки, для забавы, для денег кое-что пописывают. После этого, ты позволишь мне смеяться над литературною нашею спесью и над твоею литературною иеремiadoю... Все идет своим чередом. Литературе у нас время еще не пришло.

Л. Время, время! Да время и никогда не придет...

Ф. Какая нелепица! Придет оно, милый друг, и его ничто не остановит... И оно идет, движется незаметно, непрерывно движет и нас с собою. Посмотри на то, что сделано в литературе с 1732 по 1832 год... Все это мало, недостаточно; но начало сделано, и Дмитрий Донской стоит в таком же великом расстоянии от Семиры, в каком от него находится Борис Годунов; Грибоедов с своим *Горе от ума* так же выше фон-Визина с его *Недорослем*, как фон-Визин был выше Сумарокова с его *Чудовищами*.

Мы уже не доживем, милый друг, до того времени, когда в России литература займет важную степень между общественными отношениями, когда общество поставит литературу в число необходимостей жизни... Теперь нам еще некогда и думать об этом. У нас столько других дел и занятий. Не смешно ли требовать литературы, когда мы едва грамоте знаем? или созданий великих, когда образование и просвещение не дают к тому средств?

...Взгляни на общество, определи степень нашего образования и просвещения, ожидай в будущем, делай сам, что можешь, в надежде: не мне, так внукам пригодится, а между тем не требуй, чтобы дитя в пеленках плясало менуэт. Я нисколько не дивлюсь, замечая у нас мелкость литературную и находя повсюду бесцветность, холодность, подражательность. От этих ли пестрых кукол, от этих ли человечков на восковых ножках ждать высоких, сильных порывов души, глубокого восторга, самобытных созданий! У них все детские пороки! Самохвальство, горделивость, подражательность, все это найдешь ты в литературе нашей, и ни одной добродетели, даже ни одного порока взрослого человека... Да что я заговорил таким языком? С литературою русскою надо шутить и смеяться, потому что на детей сердиться смешно и грешно. Пусть критика ставит иногда русских литераторов в угол, за шалости; пусть публика иногда дарит вниманием их *стишки и твореньища*, как дарят детей обновками к празднику — и только!

— Все это буквальное повторение того, что говорилось в статьях Набоумко.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ

Критикою «Телескопа» было положено основание критике голевского периода. Это внутреннее родство мысли выразилось и внешним образом в первоначальных отношениях людей, из которых одному досталось на долю начать, а другому — совершить дело водворения у нас справедливых литературных понятий. Но как впоследствии времени эти люди стали чужды друг другу, так и мысль, через них выражавшаяся, достигнув полного развития в слове бывшего ученика, раскрыла в себе содержание, существенно различное от того, что обнаруживала в первых, еще несовершенных своих проявлениях у бывшего учителя. Коренные черты родства между этими двумя ее фазисами указать очень легко: стоит только припомнить общую точку зрения критики Надеждина. Существенным основанием всех его воззрений служили идеи, вырабатывавшиеся германскою философию. Сообразно духу этой философии, он рассматривал литературу, как одно из частных проявлений общей народной жизни, в связи с другими сторонами жизни; требовал, чтобы она сознала свое назначение — быть не праздною игрою личной фантазии поэта, а выразительницею народного самосознания и одною из могущественнейших сил, движущих народ по пути исторического развития. Вследствие таких

высоких понятий о назначении литературы, немецкая философия поставляла необходимостью, чтобы в ее произведениях значительность идеи, без которой форма пуста, соединялась с художественностью формы, осуществляющей идею. От этих эстетических аксиом критика гоголевского периода никогда не отступала. Напротив, чем более она развивалась, тем глубже, полнее и сильнее понимала и выражала эти идеи. Сходство, как видим, заключалось в одинаковости общего начала. Оно очень значительно; его можно назвать настоящим кровным родством. Различие было еще гораздо более важно. Оно зависело от степени развития этого общего начала; оно состояло в глубине и целостности воззрения, в последовательности его приложений и в важности выводов, какие давало его применение к фактам, представляемым литературой. Чтобы видеть, какое огромное расстояние, уже по необходимости, лежавшей в духе времени, не говоря о причинах различия, зависевших от личного характера критиков, отделяло критику гоголевского периода от критики «Телескопа», надобно сообразить, какому изменению подверглись в своем прогрессивном движении те элементы нашей умственной жизни, из взаимного проникновения которых складывается критика, с той поры, когда кончилась журнальная деятельность Надеждина (1834—1836), до той эпохи, когда критика гоголевского периода достигла (1844—1847) крайних пределов развития, положенных ей не столько границами сил и слишком кратковременной жизни человека, бывшего главным ее представителем (силы эти были огромны и раскрывались перед нами далеко не во всей полноте), сколько границами потребностей и требований нашей публики. Надобно припомнить ход постепенного развития у нас научных понятий и литературы в этот период времени, очень непродолжительный, обнимающий всего каких-нибудь двенадцать лет, но ознаменованный в нашей умственной жизни многими очень важными фактами.

Надеждин ввел в наше литературное сознание идеи, выработанные немецкою философиею*. Это заслуга очень важная. Но

* Задолго до Надеждина, немецкая философия имела последователей между русскими учеными. Особенного внимания заслуживает то, что ею с любовью занимались в наших духовных академиях. По случаю издания «Логики» Бахмана в русском переводе Надеждин говорит («Молва», 1832, № 20), что в одной из [наших] духовных академий давно уже переведены сочинения Канта, Шеллинга, Фихте, Якоби. Позднее, в Киевской духовной академии, история философии от Канта до Гегеля преподавалась по известному сочинению Мишелета (берлинского). Имена высокопреосвященного Филарета, митрополита московского, и преосвященного Иннокентия одесского должны занимать в истории философии у нас такое же место, как и в истории богословия. Всем известны заслуги протоиерея Ф. А. Голубинского. Из светских ученых, до Надеждина, нельзя не вспомнить о Фесслере, Велланском и в особенности И. Я. Кронеберге и М. Г. Павлове. Последний имел даже значительное влияние на молодое поколение, воспитывавшееся в Московском университете, и ему, быть может, даже более, нежели Надеждину, принадлежит слава распространения любви к философии между молодыми

Надеждин был последователем Шеллинга, и если принадлежал, как мы говорили, к тем из учеников этого философа, которые развивали его понятия сообразно духу времени, то все, однако же, в сущности оставался учеником Шеллинга. Но система этого мыслителя сама по себе неудовлетворительна, и главное значение ее состоит только в том, что она была зародышем, из которого развилась система Гегеля. Этого философа Надеждин, как по всему видно, никогда не признавал своим руководителем, считая его не более, как даровитым последователем Шеллинга. Понять Гегеля, который дал истинный смысл и настоящую цену неопределенным и отрывочным мыслям Шеллинга, было предоставлено уже следующему поколению, обратившемуся к изучению немецкой философии отчасти по самостоятельному стремлению, отчасти, конечно, благодаря деятельности Надеждина и Павлова. Несколько времени эти юноши абсолютною истиною считали учение Гегеля в таком виде, как излагал его этот мыслитель. Но скоро познакомились они с сочинениями учеников Гегеля, которые, с строгою последовательностью развивая существенные идеи учителя, отвергли все, что в его системе противоречило этим основным принципам, и, наконец, преобразовали его систему так, как прежде он преобразовал систему Шеллинга. Без всякого преувеличения, надобно сказать, что так называемую школу Гегеля образовано было совершенно новое философское учение, которому система самого Гегеля служила не более, как предшественницею, только в этом учении получившею свой смысл и оправдание. Тем завершилось развитие немецкой философии, которая, теперь в первый раз достигнув положительных решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признав тожество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теориею естествоведения и антропологию⁹⁵.

Тогда и увлечение системою Гегеля, которому на время совершенно подчинялись молодые русские приверженцы немецкой философии, уступило место новым воззрениям, высказанным его учениками. Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим и душою которого был Н. В. Станкевич⁹⁶, скончавшийся в первой поре молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой словесности, от Кольцова до г. Тургенева. Без сомнения, когда-нибудь этот благороднейший и чистейший эпизод истории русской литературы будет рассказан публике достойным образом. В настоящую минуту еще не пришла пора для того.

литераторами, о которых мы будем говорить. Тем не менее, когда выступил Надеждин, немецкая философия не только для большинства публики, но и для большей части образованнейших писателей наших оставалась еще предметом неслыханным и непостижимым⁹⁴.

Таким образом, в течение семи или восьми лет научные понятия, на которых должна основываться критика, прошли два великие фазиса развития и достигли той окончательной ясности, полноты и последовательности, которой недоставало им в системе самого Гегеля, не только в системе Шеллинга, [содержавшей не более, как отрывочные и неопределенные зародыши того, что было высказываемо Гегелем]. И если Шеллинг в настоящее время имеет значение только как непосредственный учитель Гегеля, то и сам Гегель, в свою очередь, имеет значение только как предшественник стройного и полного учения, выработанного его школою из тех принципов, которые в его системе высказывались не более, как в виде темных предчувствий, оставались без приложений и даже были подавляемы противоречащими их существенному смыслу трансцендентальными понятиями, наследием одностороннего идеализма. Только трудами новейших немецких мыслителей философия получила содержание, соответствующее требованиям точных наук, и основалась, подобно естествоведению, на строгом анализе фактов.

Но немецкая философия занималась по преимуществу только самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы общей системы воззрений на мир были, наконец, найдены ею и приложены к разъяснению нравственных и отчасти исторических вопросов; зато другие части науки, не менее важные, оставляемы были в Германии без особенного внимания, — преимущественно должно сказать это о практических вопросах, порождаемых материальною стороною человеческой жизни. Французских мыслителей занимали всегда эти предметы более, нежели немецких, но очень долго не постигались ими во всей глубине и разрешались или поверхностным, или фантастическим образом. Наконец, когда результаты немецкой философии проникли во Францию, а наблюдения, собранные французами, в Германию, пришло время искать положительных и точных решений. Тогда односторонность науки исчезла; ее содержание было уяснено относительно всех ее существенных задач. Материальные и нравственные условия человеческой жизни и экономические законы, управляющие общественным бытом, были исследованы с целью определить степень их соответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и получены довольно точные решения важнейших вопросов жизни. Этот новый элемент также вошел в наше умственное развитие; критика воспользовалась им, и ее основные воззрения во многих случаях получили большую определенность и жизненность.

Таков был ход науки вообще. Мы, насколько то было возможно, следовали развитию общечеловеческих понятий, которые под конец периода, здесь обозреваемого, нисколько уже не походили на то, что было нам известно в его начале. Те отрасли

науки, которые, имея предметом русский мир, должны быть обрабатываемы силами русских ученых, также сделали в этот промежуток времени очень значительные успехи, преимущественно русская история, от истинных понятий о которой так много зависит и справедливое понимание исторического хода нашей литературы. Около 1835 года, мы, подле безусловного поклонения Карамзину, встречаем, с одной стороны, скептическую школу, заслуживающую великого уважения за то, что первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта, но разрешавшую их без надлежащей основательности; с другой — «высшие взгляды» Полевого на русскую историю, — через десять лет, ни о высших взглядах, ни о скептицизме нет уже и речи: вместо этих слабых и поверхностных попыток, мы встречаем строго ученый взгляд новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут в первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни. Около того же времени или несколько раньше подвергается основательному исследованию вопрос о значении важнейшего явления нашей истории — реформы Петра Великого, о которой до того времени повторялись только наивные суждения Голицева или Карамзина. Нет надобности объяснять, как тесно связана с этим делом участь общего взгляда на нашу литературу. Издания Археографической комиссии дали каждому возможность изучать русскую историю по источникам. Самые упорные противники всего нового соглашались, что изучение русской истории сделало значительные успехи в течение десяти или двенадцати лет, о которых мы говорим.

Но ближайший предмет критики, русская литература, изменилась еще значительнее. Пушкин явился в совершенно новом свете, когда по смерти его обнародованы были произведения, в художественном отношении превышающие все, что было им напечатано при жизни. Гоголь напечатал «Ревизора». Явились Кольцов и Лермонтов. Все прежние знаменитости померкли перед этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавшихся под влиянием Гоголя. Гоголь издал «Мертвые души». Почти в одно время явились «Кто виноват?», «Бедные люди», «Записки охотника», «Обыкновенная история», первые повести г. Григоровича. Переворот был совершенный. Литература наша в 1847 году была так же мало похожа на литературу 1835 года, как эпоха Пушкина на эпоху Карамзина.

В литературах Западной Европы также совершались великие перемены. Виктора Гюго, Ламартина и Шатобриана, которых прежде считали величайшими поэтами нашего века, стали находить слишком фальшивыми, приторными или натянутыми, их не только перестали превозносить, перестали даже бранить. Вместо их, первую славою французской литературы явилась Жорж Санд, с которой началась совершенно новая эпоха. В английской литературе, вместо исторических романов Вальтера Скотта, этно-

графических романов Купера и фешенебельных изделий Бульвера, общее внимание привлекли романы Диккенса. В немецкой литературе не нашлось преемников не только Гете, но даже и Гофману. В тридцатых годах славу немецкой поэзии отчасти поддерживал Гейне; но скоро и он оказался человеком отсталым от своего времени; о немецкой беллетристике в сороковых годах не было и слухов за границами немецкой земли. Эти факты должны были оказать сильное влияние на понятия об искусстве: кто прочитал и умел оценить Диккенса и Жоржа Санда, тот не так будет понимать литературу, как поклонник Вальтера Скотта и Купера, не говоря уже о Ламартине и Викторе Гюго.

Словом, все кругом совершенно переменилось, и более всего переменились именно те элементы нашей умственной жизни, от которых непосредственно зависят характер и содержание критики: научные понятия, служащие ей основанием, и отечественная литература.

Условия, в которых действовала критика гоголевского периода, были, как видим, столь новы, что, по необходимости, возлагаемой самою сущностью дела, она должна была раскрывать собою для нашего литературного сознания совершенно новое содержание. Понятия, на которых она должна была опираться, факты, о которых должна была судить, до такой степени превышали своею глубиною и значительностью все, о чем прежде могла говорить русская критика, что все предшествовавшие ей периоды нашей критики должны были померкнуть в наших глазах, как маловажные в сравнении с нею.

Главным деятелем критики гоголевского периода был Белинский⁹⁷. Читатели, быть может, извинят нас, что в настоящей статье мы не даем ни биографических сведений об этом писателе, ни даже его характеристики, потому что сообщение биографических подробностей не входит в план наших «Очерков», ограничивающихся только рассмотрением произведений и не вдающихся в исследования о частной жизни и личном характере писателей. Мы сами первые чувствуем неполноту и, так сказать, отвлеченность этого плана и утешаемся только тем, что и неполный и сухой разбор все-таки имеет некоторое, хотя временное, значение, пока не являются труды более живые и полные. — Впрочем, при изложении развития и смысла критики гоголевского периода, быть может, менее, нежели в каком бы то ни было другом случае, чувствуется потребность в биографических соображениях: в делах, имеющих истинно важное значение, сущность не зависит от воли или характера, или житейских обстоятельств действующего лица; их исполнение не обуславливается даже ничьей личностью. Личность тут является только служительницею времени и исторической необходимости.

Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика гоголевского периода, ясно поймет, что ха-

рактик ее совершенно зависел от исторического нашего положения; и если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другою фамилиею, с другими чертами лица, но не с другим характером: историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду. «Время требует слуги своего», по глубокому изречению одного из таких слуг.

Итак, оставим в стороне личность Белинского: он был только слугою исторической потребности, и с нашей отвлеченной точки зрения нас интересует только развитие содержания русской критики, во всем существенно важном с необходимостью определявшееся обстоятельствами, созданными историею. И если мы будем иногда упоминать имя Белинского, говоря о той или другой идее, то вовсе не потому, чтобы собственно от его личности зависело выражение этой идеи: напротив, в том, что есть существенного в его критике, лично ему, как отдельному человеку, принадлежат только те или другие слова, употребление того или другого оборота речи, но вовсе не самая мысль: мысль всецело принадлежит его времени; от его личности зависело только то, удачно ли, сильно ли высказывалась мысль.

Белинский явился на литературное поприще сотрудником Надеждина, как его ученик и продолжатель. Начал он с того самого, на чем остановился Надеждин, — с чрезвычайно резкого и горького отрицания всей нашей литературы, до самого Гоголя, который и сам тогда еще не доказал, что его деятельность положит конец этому отрицанию. Первая значительная статья нового критика — «Литературные мечтания. Элегия в прозе» — помещенная в «Молве» 1834 года, имеет самый мрачный и беспощадный тон. Уже заглавие указывает на ее прямое происхождение от «Литературных опасений» Надеждина, намекает, что наша так называемая литература не более, как мечта, и говорит, что думать о ней значит наводить на себя тоску. Еще резче высказывают общее направление статьи эпиграфы, выставленные над нею. Их два:

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.

Грибоедов, «Горе от ума».

«Есть ли у вас хорошие книги?» — Нет; но у нас есть великие писатели. — «Так, по крайней мере, у вас есть словесность?» — Нет, у нас есть только книжная торговля.

Барон Брамбеус».

Статья, объявляющая о своем содержании таким заглавием и такими эпиграфами, заключает обзор всей истории нашей лите-

ратуры от ее начала до 1834 года. Нужно ли говорить, что она совершенно уничтожает ее? Вообще, только четыре писателя, по мнению автора, имеют право называться русскими писателями: Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов. Да и те — что такое успели сделать? Державина спасло от совершенной пустоты только его невежество, — а невежество может ли создать что-нибудь хорошее? Пушкин показал, что у него есть великий талант, но не произвел ничего, достойного своих сил, а теперь (1832—1834) не печатает ничего хорошего: «теперь он умер или, быть может, только обмер на время, — судя по «Анджело» и сказкам, умер». Крылов хорош в баснях — важное богатство для литературы! Грибоедов написал одну комедию, в которой главное достоинство — едкость, а не художественность. Итак, у нас еще нет литературы. Могут ли четыре человека составлять литературу, особенно если явились, как то было у нас, случайно, без предшественников и продолжателей? Литература явится у нас тогда, когда просвещение укоренится на нашей почве; а теперь нам рано и думать о такой роскоши. «Теперь нам нужно учение! учение! учение! а не литература». Тем же духом проникнуто и другое обозрение, явившееся в «Телескопе» через полтора года (1836). Существенная мысль его достаточно выражается самым заглавием: «Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы». Но Гоголь и Кольцов («Миргород», «Арабески» и «Стихотворения Кольцова» явились в 1835 году) уже вынуждают у автора некоторые уступки в пользу надежды на близость лучшей будущности. Обоих он приветствовал с восторгом, и с самого начала, когда самые проницательные из других ценителей еще не замечали Кольцова и отзывались о Гоголе с благосклонною снисходительностью, как о человеке, который пишет очень порядочно, он уже оценил их вполне, увидел в их первых произведениях начало новой эпохи для русской литературы и предсказал, какое высокое место они займут в ней. А между тем, Кольцов тогда напечатал только маленькую тетрадку с восемнадцатью пьесами, из числа которых разве шесть или семь были удачны, а Гоголь издал только «Миргород» и «Арабески», ни «Ревизора», ни большей половины его повестей, ни драматических сцен еще не было, — и, однако же, молодой критик не усомнился и тогда назвать его «главою нашей литературы». Эта проницательность, впрочем, покажется нам совершенно естественною, если мы захотим сообразить, что молодому сотруднику Надеждина были даны природою силы сделаться главою нашей критики в начинавшемся тогда новом периоде: само собою разумеется, что он только потому и исполнил свое назначение, что был готов к нему, что носил в своей душе идеал будущего, истолкователем которого был, когда оно осуществилось: трудно ли человеку, наполненному предчувствием, узнать и оценить с первого же взгляда то, чего он ждал, о чем мечтал? Во-

обще, человек очень легко понимает все сродное с его собственной натурой *.

В этом открываются уже решительные признаки самостоятельности Белинского при самом начале его деятельности, когда он, повидимому, еще совершенно следовал влиянию своего учителя. На Кольцова Надеждин не обратил внимания; а что касается первых повестей Гоголя, он понимал, что «Вечера на хуторе» и «Миргород» — произведения прекрасные, но всей важности этих явлений не замечал: находил их автора замечательным писателем, от которого надобно ожидать много прекрасного, но и не предполагал в нем корифея совершенно новой будущности. Эта разница объясняется тем, что один в душе совершенно был человеком нового периода, в уме другого стремление к будущему боролось с привычками прошедшего и если побеждало их, то после борьбы, помощью умозаключений и соображений, а не мгновенным инстинктивным влечением родственной природы.

* Вот существенные места из замечательной статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя»: «Арабески и Миргород» («Телескоп», т. XXVII).

«Роман и повесть суть единственные роды, которые появились в нашей литературе не столько по духу подражательности, сколько вследствие потребности... Роман все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладил даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя. В русской литературе повесть еще гостья, но гостья, которая вытесняет давнишних хозяев из их жилища...

У нас еще нет повести в собственном смысле этого слова... Первенство поэта-повествователя остается за г. Полевым. Но в его повестях есть один важный недостаток: в них заметно большое участие ума, для которого самая фантазия есть как бы средство (т. е. они сочинены, а не созданы, в них нет поэтического творчества). Посмотрим, нет ли между нашими писателями такого, который был бы поэт по призванию... Мне кажется, что из современных писателей — я не включая в это число Пушкина, который уже свершил круг своей художественной деятельности (так тогда думали, потому что после «Бориса Годунова» Пушкин в течение пяти или четырех лет печатал мало замечательного), никого не можно назвать поэтом с большею уверенностью и нисколько не задумываясь, как г. Гоголя...

Способность творчества есть великий дар природы. Творчество бесцельно с целью, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостью. Вот его основные законы. (Излагается эстетическая теория немецкой философии, введенная к нам Надеждиным.)

Очень нетрудно к этому приложить сочинения г. Гоголя, как факты к теории. Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, что вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными? Вот первый признак истинно-художественного произведения. Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы давно знали его, долго жили с ним вместе? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть чистая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатью истинного таланта. Эта простота вымысла, эта нагота действия — верные признаки творчества. Это поэзия

Сотрудничество с Надеждиным оставило навсегда довольно резкий отпечаток на некоторых привычках критики гоголевского периода. Самую существенную из этих принятых по наследству особенностей была беспощадная и непрерывная полемика против романтизма. У Надеждина она была едва ли не самой главной задачей всей критики и, очевидно, проистекала из самого положения нашей литературы. С первого взгляда может показаться, что через десять лет в этих непрерывных филиппиках уже не было настоящей надобности. Романтизм, повидимому, уже перестал быть опасным, его пора было бы оставить в покое, и несправедливо было бить лежащего врага. Но это заключение окажется ошибочно, если мы пристальнее вникнем в сущность дела. Во-первых, романтизм сделал только наружные уступки, отказался от своего имени, не более, но все же не исчез и очень долго старался оспаривать победу у нового направления; он имел еще много последователей в литературе и многих приверженцев в публике. Чтобы указать на факт, относящийся уже к самому последнему времени критики гоголевского периода, припомним, какою ожесточенною и всеобщую враждою встречена была от всех журналов (кроме «Отечественных записок» и потом «Современника») натуральная школа, которая на самом деле, а не только на словах, отказалась от романтических прикрас: все возмущались тем, что она описывает действительную жизнь в ее истинном виде, а не повествует о небывалых в мире злодеях и героях и невиданных красотах природы, — все эти нападения проистекали из привязанности к преданиям романтизма. Да и до сих пор романтизм еще живет во всех тех, которые, по добродушной робости или по любви к мишуре, не любят правды, высказываемой без прикрас, и находят, что как поле красно рожью, так речь — ложью, что отрицание бесплодно, что, впрочем, оно уж сделало свое дело, что

реальная, поэзия жизни действительной... И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? Что почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец, называется жизнью. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно. И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!

В художественных произведениях должно различать характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный индивидуальностью автора. Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность, — все это черты общие, потом комическое одушевление, побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния — черта индивидуальная.

Комизм, или юмор, г. Гоголя имеет свой особенный характер: это юмор чисто русский, спокойный, простодушный, спокойный в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лукавстве...

«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает; но он и в самом падении остается талантом.

пора нам обратиться к более благосклонному взгляду на жизнь, и т. д., т. е. тоскуют по блаженной поре Гремных и Ларинных, с прочими аркадскими принадлежностями. Если вы хотите испытать, на самом ли деле много еще осталось у нас романтиков, есть для того средство очень легкое: пробный камень для романтизма — критика гоголевского периода; кто не доволен ее мнимой излишней суровостью (разумеется, не по каким-нибудь личным расчетам или лицемерию—о подобных людях нечего и говорить—а по искреннему убеждению), в том не умер романтизм. А таких людей еще набирается довольно много. Ныне можно не обращать на них внимания: для большинства публики их мнения забавны и только, а никак не опасны. Пятнадцать лет тому назад было не то: мнения, которые ныне составляют лишь забаву, утешающую отдельных людей, не имеющих влияния на публику, были очень сильны в литературе. Стоит припомнить, как один из тогдашних критиков не хотел печатать повестей Гоголя в журнале, которому давал направление, и не хотел даже писать разбора его комедии, считая эту пьесу низким фарсом⁹⁸. Основанием его наивных понятий были, конечно, романтические требования возвышенных страстей и идеальных личностей в искусстве. А этот критик в то время считался представителем современной науки. Каковы же были понятия других литературных судей, даже и не подозревавших в искусстве ничего, кроме французских мелодраматических изделий? «Отечественные записки» одни боролись против всех журналов, в этом случае продолжая дело «Телескопа».

Но борьба с романтизмом, которая в критике гоголевского периода более всего остального могла бы казаться простым продолжением мысли Надеждина, сохранила только наружное сходство с его филиппиками, получив мало-помалу совершенно новое

Вообще, надобно сказать, что фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю.

Какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. (*Пушкина автор исключил, как мы видели, из числа действовавших тогда писателей.*) Поэт — высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава!.. Задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратьев. Но г. Гоголь только еще начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным.

Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, у других дар поэзии есть нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые иногда один раз в целую жизнь выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и ослабевают в последующих своих произведениях. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут. Г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!»

содержание. Надеждин восставал против романтизма с учено-литературной точки зрения, доказывая только, что французский новейший романтизм так же мало похож на романтизм средних веков, как псевдо-классическая литература на греческую, и потому, подобно ей, присвоивает себе ложное имя, а собственно должен считаться не более, как псевдо-романтизмом, жалкой подделкой под истинный романтизм, невозможный в наше время, и потому прославленные псевдо-романтические произведения нелепы в эстетическом отношении. Эту отвлеченную точку зрения ограничивалась его полемика. Критика гоголевского периода смотрела на вопрос шире: она восставала на романтизм как на выражение натянутых, экзальтированных, живых понятий о жизни, как на извращение умственных и нравственных сил человека, ведущее к фантазерству и пошлости, самообольщениям и кичливости. Надеждин и не предчувствовал, что сущность псевдо-романтизма заключается не в нарушении эстетических условий; а в искаженном понятии об условиях человеческой жизни; он сам не был свободен в этом отношении от заблуждений, которые ничем не отличались от основной ошибки романтиков, считавших только колоссальные страсти и эффектные явления достойными внимания поэта. Хорошо понимая мелочность того, что романтики воображали себе титаническим, Надеждин слишком склонен был искать поэзию в одном только возвышенном, далеко превышающем явления обыкновенной действительности. Не нужно говорить о том, как мало могли подходить под этот идеал писатели, подобные Диккенсу или Гоголю, изображающие повседневную жизнь, — да и не было таких поэтов во времена Надеждина. Все были тогда экзальтированы или старались прикинуться экзальтированными, — разочарованность была только особенным и едва ли не самым натянутым родом экзальтации. — никто не догадывался о лживости экзальтированного взгляда на жизнь. Потому-то и недовольство романтизмом возбуждалось более формальными недостатками его произведений, нежели фальшивостью основного его взгляда на жизнь. Только следующему поколению, воспитанному более положительною философиею и наслаждавшемуся более здоровыми созданиями искусства, предоставлено было восстать против романтических фантазий не с одной литературной, но и с житейской точки зрения. Словом, Надеждин имел дело с романтизмом, как противу-эстетическим явлением в литературе; критика гоголевского периода, разделяя этот взгляд, обращала главное свое внимание на романтиков, как людей, губящих жалким образом свои силы, как на людей, по заблуждению делающихся вредными для самих себя и смешными. Она заклеймила осмеянным именем романтизма всякую аффектацию, натянутость, болезненную апатию, величающую себя гордым разочарованием, всякую пошлость, прикрывающую себя пышными фразами, всякую реторику в словах и делах,

в чувствах и поступках. Борьба с этим романтизмом должна быть вменена в заслугу исключительно ей. В этом деле критика гоголевского периода не имела предшественников и своими едкими насмешками оказала несомненную услугу не только литературе, но и самой жизни; в нем доселе имеет она и долго будет иметь ревностным своим последователем каждого здравомыслящего писателя, потому что борьба против болезненного романтического направления в жизни доселе необходима и будет еще необходима и тогда, когда совершенно забудется имя литературного романтизма. Борьба эта продолжится до той поры, когда люди совершенно отвыкнут обольщаться аффектацией¹ в жизни, когда они привыкнут смеяться над всем неестественным, как пошлым, какими бы выгодными фразами и формами ни прикрывалась его внутренняя пошлость.

Малосведущие или увлеченные горячностью споров противники с диким негодованием вопияли, что критика гоголевского периода святотатственно посягает на славу знаменитых людей нашей литературы, что она разрушает пьедесталы, на которых стоят их величественные статуи, топчет в грязь все, чем должна гордиться наша прошедшая литература, и т. д., и т. д. Если б эти крики были справедливы, мы имели бы другую точку очень близкого сходства между деятельностью Надеждина и его бывшего ученика. К сожалению, они основаны только на незнании или беспомощности. Дело уничтожения литературных авторитетов вовсе нельзя причислять к новым и существенно-важным целям, достигнуть которых хотела критика гоголевского периода, и если она когда делала что-нибудь в этом роде, то разве относительно авторитетов, далеко не первостепенных и нимало не освященных древностью лет, напр., относительно Марлинского и Полевого. Конечно, для иных и это неприятно, но уж решительно никому не может казаться важным преступлением, по незначительности самого предмета. Что же касается до святотатственного, по мнению некоторых, посягательства на Ломоносова, Державина и других действительно первоклассных писателей, критика гоголевского периода совершенно лишена была возможности придумать что-нибудь в уменьшение их славы по очень простой причине: все, что можно было сказать в этом смысле, давно уж было высказано или Полевым, или Надеждиным. Обвинять в этом критику гоголевского периода значит приписывать ей заслугу, вовсе не ей принадлежащую*. Ей предстояло дело совершенно другого рода: не увлекаясь ни старым отрицанием, ни еще более старыми пане-

* Вообще, надобно заметить, что отрицание, выражающееся печатным образом, принимает формы, гораздо менее жесткие, нежели те, которыми облачается оно в разговорах и частной переписке. Литература и в этом случае, как и во многих других, пролагает путь к примирению, как скоро дает простор выражению чувства, которое, оставаясь безвыходным, не знало бы границ своей враждебности. Напрасно было бы воображать, что, например,

гириками, показать историческое значение различных периодов нашей литературы и замечательнейших ее деятелей, дать нам историю нашей литературы, чего еще не было сделано никем из предшествовавших критиков. Взгляд на литературу, предшествовавшую Пушкину, у критики гоголевского периода был умереннее и снисходительнее, нежели у критики романтического периода; а что касается Пушкина и его сподвижников, критика гоголевского периода почти постоянно должна была противоречить резким приговорам Надеждина. Словом, она не разрушала, а, напротив, воссоздавала все, что в прошедшем заслуживало уважения. Иначе и быть не могло: нападать на Ломоносова и Державина, на Карамзина и Пушкина уже было не нужно и неуместно; если когда-то их и превозносили безотчетными пенегириками, то это слепое поклонение в образованной части публики давно уже было уничтожено «Телеграфом» и «Телескопом», и когда явился Гоголь, наступило время говорить о прошедшем с уважением, потому что развившееся из него настоящее стало заслуживать уважения. Так с уважением начинают говорить об отцах, когда потомки их заслужат славу.

Откуда же взялось мнение, что одним из дел критики гоголевского периода было уничтожение прежних авторитетов? Не будем говорить о побуждениях, проистекавших из самолюбия многих раздраженных ею тогдашних писателей, которые находили удобным кричать: «вы не верьте, читатели, тому, что говорит этот человек о моих сочинениях; он бранит не только меня, он бранит и Державина, и Ломоносова, он всех великих писателей (в том числе и меня) хочет унижить»; не будем также указывать других подобных расчетов, какие внушаемы были завистью или враждою: все эти жалкие факты на заслуживают того, чтобы вспоминать о них. Обратим внимание только на законные, так сказать, причины, от которых происходило ошибоч-

Полевой, разрушитель устаревших литературных авторитетов, ценил писателей, предшествовавших Пушкину, менее, нежели всякий другой из его современников, имевших хотя некоторое литературное образование и не лишенных вкуса. Напротив, надобно признаться, что каждый из них втихомолку выражался гораздо резче, нежели говорил Полевой. Вот как, например, думал о Державине еще в 1825 году сам Пушкин, великий поклонник старины:

«По твоем отъезде перечел я Державина всего. Вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. У Державина должно будет сохранить од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом». (Отрывок из письма к Дельвигу, изд. 1855 г., часть I, стр. 156.)

Кажется, резче этого трудно придумать что-нибудь, и, наверное, в «Телеграфе» не найдется ни одного выражения, которое бы хотя сколько-нибудь подходило к словам Пушкина своею жесткостью. А кто знает «Телеграф» и «Телескоп», тот знает, что критика гоголевского периода вообще отзывалась о прежних наших писателях с гораздо большею умеренностью, нежели Полевой и Надеждин.

ное мнение, будто уничтожение прежних литературных авторитетов было одним из существенных дел критики гоголевского периода. «Отечественные записки» имели гораздо более обширный круг читателей, нежели «Телескоп» или «Телеграф»; потому даже из старых читателей многие, не знавшие прежних журналов, из «Отечественных записок» в первый раз вычитали суждения о нашей старой литературе, непохожие на безотчетные и нелепые похвалы, какие долго повторялись в разных книжках, называвших себя историями русской словесности, пиитками и т. п. Сюда надобно причислить и большую часть молодого поколения, не просматривавшего старых журналов и видевшего, что из новых только «Отечественные записки» говорят о Ломоносове и т. д. беспристрастно, между тем, как все остальные нападают за то на этот журнал. Молодое поколение, конечно, не ставило этого в вину «Отечественным запискам», — напротив; зато иные сердчно негодовали на молодое поколение, восхищающееся «Отечественными записками», и на «Отечественные записки», поселяющие в молодых людях непочтительность к Ломоносову и т. д. Эти добряки должны были бы помнить, что во время их молодости «Телеграф» говорил о старой литературе без подобострастия, которого они требовали, впрочем, сами не зная, чего требуют; они должны были бы помнить, что уничтожение авторитетов, существовавших до Пушкина, было делом «Телеграфа», а существовавших при Пушкине — делом Надеждина. Что однажды исполнено, того не было уже надобности, да и не могло быть охоты, делать во второй раз. Когда явились Гоголь, Лермонтов и писатели так называемой натуральной школы, возвышать или унижать предшествовавших писателей было уже поздно: надобно было только показать ход постепенного развития русской литературы, в существовании которой до того времени сомневались, и определить отношения между различными ее периодами — вот что, действительно, было делом новым и необходимым. И оно было исполнено Белинским. До него существовала критика, но истории литературы у нас еще не было. Ему обязаны мы тем, что имеем о ней верные и точные понятия.

Но русская литература до Гоголя находилась еще в первых периодах своего развития, из которых каждый предыдущий имеет значение не столько по безусловному совершенству ознаменовавших его явлений, сколько по тому, что служил приготовлением к следующему, более высокому развитию *. Сущность понятий кри-

* Чтобы не подать повода к недоразумению, будто мы без меры превозносим новое насчет старого, скажем здесь кстати, что и настоящий период русской литературы, несмотря на все свои неотъемлемые достоинства, имеет существенное значение, более всего только потому, что служит приготовлением к дальнейшему, будущему развитию нашей словесности. Мы настолько верим в будущее лучшее, что даже о Гоголе не сомневаясь говорим: будут у нас писатели, которые станут на столько же выше его, на сколько выше

тики гоголевского периода об истории русской литературы состояла в проведении этого основного взгляда чрез все факты. Это послужило для людей, не знавших резкого тона предыдущей критики, новою причиною предполагать, будто бы критика гоголевского периода уничтожает прежние авторитеты: она, видите ли, доказывала, что Державин имеет огромное историческое значение, как представитель екатерининского века в литературе и как один из предшественников и учителей Пушкина, а не говорила — какое преступление! — что Державин имеет более эстетических достоинств, нежели Пушкин. Добрые люди, находившие такие слова дерзкими и унижающими Державина, не догадывались, что этим суждением возвращалось Державину право на славу, которую прежняя критика совершенно отнимала у него, потому что, отрицая эстетические достоинства его произведений, не замечала и исторической их цены. Эти добрые люди не знали того, как судили о Державине писатели пушкинского периода. Тогда без дальних рассуждений решали, что Державин «кричал петухом», и потому его сочинения «должно сжечь». После таких решений, критика, доказывавшая, что Державин имеет большое историческое значение, уничтожала или восстанавливала его славу? Когда утверждали, что она стремилась уничтожить прежние авторитеты, ей приписывали чужую заслугу, — заслугу, говорим мы, потому что уничтожение слепого поклонения кумирам (кумирами называем старые литературные авторитеты не мы: это опять выражение Пушкина о Державине) всегда бывает великою заслугою для умственной жизни общества. Но у критики гоголевского периода так много своих собственных прав на высокое место в истории литературы, что она не нуждается в присвоении чужих. Кроме беспамятности или незнакомства с прежнею критикою, была, впрочем, еще причина считать Белинского первым человеком, заговорившим у нас, что период Пушкина бесконечно выше предшествовавшей нашей литературы: он излагал свой взгляд на историю русской литературы ясно, определительно и подкреплял его доказательствами, а романтическая критика ни о чем не могла говорить без громких фраз и доказательств не представляла, а вместо того скрашивала свои жестокие приговоры рассуждениями о брильянтах и изумрудах, о потомках Багрима и ярких искрах, вылетающих из могущественной груди русского волкана.

Есть также мнение, будто бы критика гоголевского периода простерла свои отрицания до того, что подвергла сомнению существование русской литературы до Гоголя. Это опять было вовсе не ее дело. Известно, что романтические критики прямо утвер-

своих предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время. Хорошо было бы, если б нашему поколению суждено было дожидаться этого лучшего будущего. Если мы будем говорить о школе Гоголя, то постараемся объяснить причины такого мнения подробнее.

ждали, что русская литература не существует. Это говорил, еще до появления «Телеграфа», Марлинский. Позднее то же самое еще сильнее высказывал Надеждин. Словом, это была общая тема всей нашей критики до самого того времени, когда русская литература получила новое направление, благодаря деятельности Гоголя. Белинский сначала разделял это мнение, потому что в нем было, для тридцатых годов, очень много справедливого. Но заслуга ли или преступление изобрести мысль: «русская литература доселе не существует», нисколько не принадлежит это изобретение Белинскому. Напротив, ему принадлежит та заслуга, что, когда через несколько лет положение русской литературы изменилось, он первый понял важность этого изменения и сказал: до сих пор надобно было сомневаться в существовании русской литературы; теперь должно положительно сказать, что она существует. Ему, а не кому-нибудь другому досталось на долю высказать это отрадное убеждение потому, что ему, из наших замечательных критиков, первому судьба назначила действовать в такое время, когда безусловное отрицание всего в нашей литературе сделалось уже несправедливо. Вместо обыкновенной фразы, что он был в нашей критике органом отрицания, надобно сказать, напротив, что он первый, сообразно изменившемуся положению нашей литературы, положил границы отрицанию, которое у Надеждина не имело границ.

Когда литература наша в течение гоголевского периода начала становиться тем, чем должна быть — выражением народного самосознания, и, таким образом, достигла, хотя до некоторой степени, цели, к которой стремилась, тогда и предыдущее развитие ее получило смысл, которого нельзя было заметить в нем прежде; только тогда можно было заметить, что одни явления сменялись в ней другими не напрасно и не случайно, что она имеет свою историю. Критика гоголевского периода заметила и высказала это. Она первая начала утверждать, что наша литература постоянно развивалась, что ее периоды имеют между собою связь, что Державин и Пушкин явились не случайно, как то казалось прежде, и, как мы заметили, Белинский был первым историком нашей литературы *. Недаром его первая значительная статья, отрица-

* Интересно проследить, по статьям Белинского, как изменяющееся положение нашей литературы постепенно приводило критику от надеждинского отрицания, справедливого в свое время (1834), к убеждению, сделавшемуся столь же справедливым через десять лет: «есть у нас, наконец, нечто достойное называться литературою; она получила, наконец, значение, какого не имела прежде, и мы теперь можем видеть, к какому результату вели, какой смысл имели те литературные явления, которые прежде казались бесплодными и случайными». Вот некоторые выписки, приблизительно обозначающие эпохи этого движения:

1834. (До Гоголя.) «У нас нет литературы». *Литературные мечтания*. «Молва», 1834 г., № 39, стр. 190.

1840. (Гоголь издал свои повести и «Ревизора», но еще не имеет реши-

существование русской литературы, содержанием своим имела подробный обзор ее фактов от Ломоносова до Пушкина.

Но если мы говорим о том, что критика гоголевского периода положила границы отрицанию и дала нам в первый раз историю русской литературы, считавшейся до того времени не более, как случайным, безжизненным и почти всегда бессмысленным отражением различных явлений иноземных литератур, то мы говорим это о позднейшей поре развития критики гоголевского периода, когда она достигла уже полной самостоятельности и когда положение русской литературы существенно изменилось влиянием Гоголя, деятельностью Лермонтова и многочисленных писателей нового поколения, воспитанных отчасти Пушкиным и Лермонтовым, а более всего творениями Гоголя и критикою Белинского. Но в 1834—1836 гг. это будущее едва можно было неопределенным образом только предвидеть, и почти все оставалось в настоящем неподвижно. Не было еще достаточных причин существенным образом изменять мнений, представителем которых был Надеждин, и автор статей о Пушкине начал, как мы заметили, почти тем же самым, что говорил Надеждин. Как то всегда бывает, если человек молодого поколения принимает мысль, выраженную его учителем, он придал этой мысли еще больше определенности, нежели она имела у самого Надеждина.

Однако, по исторической необходимости, это скоро должно было измениться: новый период для русской литературы уже начинался. Мы видели, как быстро и верно предугадывал ученик Надеждина, по «Миргороду» и «Арабескам», какого писателя мы будем иметь в Гоголе; скоро «Ревизор» должен был оправдать

тельного влияния на литературу.) «У нас нет литературы в точном значении этого слова, как выражения духа и жизни народной, но у нас есть уже начало литературы». *Русская литература в 1840 году*, «Отечественные записки», 1841 г., том XIV, Критика, стр. 33.

1843. (Изданы «Мертвые души»; школа Гоголя начинает занимать видное место.) «Несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное движение и органическое развитие; следовательно, у нее есть история. Мы желаем хоть намекнуть на это развитие и проложить другим дорогу там, где еще не протоптано и тропинки». *Первая статья о Пушкине*, «Отечественные записки», 1843 г., том XXVIII, стр. 24.

1847. (Влияние Гоголя решительно торжествует.) «Было время, когда вопрос: есть ли у нас литература? не казался парадоксом и многими разрешен был в отрицательном смысле... Один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы открыли, что у России была своя история. То же и в отношении к истории русской литературы... Литература наша дошла до такого положения, что успехи ее в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее введению, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие. Как бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрелости, то уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней; а это великий успех с ее стороны». *Взгляд на русскую литературу*, «Современник», 1847 г., № 1, Критика, стр. 4 и 28.

это предчувствие. Кольцов уже явился, Лермонтов скоро должен был явиться. Мы видели, какое существенное различие между учителем и учеником высказалось во взгляде на значение Гоголя и достоинства первых стихотворений Кольцова: один еще не замечал фактов, на которых другой уже основывал свои понятия о русской литературе.

Но коренное различие между понятиями ученика и учителя о русской литературе заключалось тогда (1835—1836) не только в том, что один замечал необыкновенную важность новых фактов, на которые другой медлил обратить надлежащее внимание: и те коренные воззрения, на основании которых произносятся суждения о фактах, были уже не одинаковы. Сотрудник «Телескопа» сделался приверженцем Гегеля, между тем как издатель, не будучи враждебен этому новому фазису развития немецкой науки, оставался, однако ж, в сущности учеником Шеллинга.

Биографические монографии, необходимость которых в настоящее время чувствуется живее, нежели когда-нибудь, должны объяснить нам, когда и как начались тесные дружеские отношения между Н. В. Станкевичем и Белинским⁹⁹. Мы теперь можем положительно сказать только, что они начались очень рано; что первым распространителем энтузиазма к Гегелю между молодым поколением в Москве был Станкевич; что он был другом Кольцова; что когда Надеждин, в 1835 году, уехал за границу и заведывание «Телескопом» поручил Белинскому, тотчас появились в этом журнале стихотворения Кольцова, перед тем самым временем отысканного Станкевичем в Воронеже, и чаще прежнего стали являться упоминания о Гегеле, а скоро было напечатано и обширное изложение системы этого мыслителя. Наконец, самое содержание статей, писанных в 1835—1836 годах молодым сотрудником Надеждина, обнаруживает, что он тогда уже находился под сильным влиянием этой новой у нас философии. Вообще, нельзя не видеть, что, в это время, если сохранялись еще в образе воззрений Белинского многие черты непосредственного родства с понятиями, собственно принадлежащими Надеждину, то еще гораздо более находилось тождественного с теми идеями, которые потом с такою пылкостью излагались людьми молодого поколения в «Московском наблюдателе», и, во многих частностях продолжая быть учеником Надеждина, его сотрудник совершенно принадлежал всеми стремлениями своими новым идеям, тогда прорывавшим в молодое поколение.

Различие в характере книжек «Телескопа», изданных в отсутствие Надеждина его сотрудником, от предыдущих номеров бросается в глаза. Оно так резко, что если бы издатель был человек неподвижный в умственной жизни, то, по возвращении, остался бы решительно недоволен направлением, приданным его журналу. Но, сколько то видно из фактов, представляемых самим журналом, этого не было. Напротив, оправдывая перед публикою

неисправность выхода журнала в свое отсутствие непредвиденными обстоятельствами, Надеждин указывал на достоинство содержания изданных без него номеров, как на доказательство того, что перед отъездом им были приняты все меры, чтобы читатели ничего не потеряли от его поездки за границу. Сотрудник, издавший эти номера, сохранил свое положение в журнале, даже приобрел на его направление более влияния, нежели имел до поездки Надеждина. Критика, относящаяся к произведениям изящной словесности и литературным журналам, перешла совершенно в руки Белинского и получила большее развитие. Себе Надеждин оставил только критические разборы ученых сочинений. Все, что начато было Белинским в отсутствие редактора, продолжалось и при редакторе, до конца «Телескопа». Молодые сотрудники, введенные в журнал Белинским, продолжали помещать свои статьи в нем и увлекали журнал вперед; Надеждин отдался молодому поколению. Разногласия от литературных причин не было и, сколько можно судить по самому журналу, не предвиделось*.

«Что было бы, если бы не случилось того, что случилось?» Что было бы, если бы «Телескоп» не прекратился? Вопросы подобного рода не пользуются репутациею особенного глубокомыслия, и ответы на них не принимаются в особенное уважение, хотя очень часто такие вопросы сами собой навязываются воображению, и ответы на них иногда очень легко подсказываются здравым смыслом. Признаемся, нам хотелось бы, подобно Кифе Мокиевичу, «обратиться к умозрительной стороне» и поразмыслить о «философическом», по его выражению, вопросе, который нам представился. Но мы вспомнили одно из основных положений тегелевой философии, к которой приводит нас «Московский наблюдатель»: «все действительное разумно и все разумное действительно», и заключили, что продолжение существования «Телескопа» было бы неразумно. Потому, оставляя умозрения, будем продолжать историю «разумной» действительности, в «Московском наблюдателе» — редкий случай! — являвшейся на самом деле разумною.

В «Телескопе» молодое поколение пользовалось очень значительным влиянием, получило, наконец, решительный перевес, но

* Эти выводы основываются на материалах, представляемых содержанием «Телескопа» и «Молвы». Мы очень хорошо понимаем, что один этот источник недостаточен и должен быть дополнен воспоминаниями лиц, бывших тогда близкими к «Телескопу»; и мы были бы очень рады, если бы такие воспоминания явились в печати, хотя бы и обнаружилось ими, что в том или другом случае мы ошиблись. Впрочем, каковы бы ни были отношения редактора «Телескопа» с его главным сотрудником и молодыми друзьями последнего, литературная сторона этих отношений, которая здесь исключительно важна для нас, с удовлетворительною точностью характеризуется данными, находящимися в самом журнале, и выводы, представленные выше, едва ли могут быть существенно изменены биографическими воспоминаниями.

все еще не было и не могло быть полным хозяином. По прекращении этого журнала, оно несколько времени не имело органа в литературе, но в 1838 году получило в полное свое распоряжение «Московский наблюдатель». Материальные средства этого журнала были в то время совершенно истощены жалким трехлетним существованием. Молодое поколение располагало богатым запасом энтузиазма и дарований, но не капиталами; потому «Московский наблюдатель» скоро прекратился. Но его кратковременная жизнь при второй редакции была блистательна. Он был прекрасным выражением стремлений молодежи, пылкой и благородной. Главными сотрудниками Белинского были в этом журнале: г. К. Аксаков, г. Боткин, г. Катков, Ключников (— 0 —), Красов и г. Кудрявцев. Невозможно отказать в уважении и сочувствии кружку, состоявшему из таких людей. А мы еще пропустили некоторые имена, еще более выразительные *. Душою их круга был Станкевич. Заведывание журналом принадлежало Белинскому. Все эти люди были тогда еще юношами. Все были исполнены веры в свои благородные стремления, надежд на близость прекрасного будущего. Мудрость устами Гегеля, все разгадавшего, как им казалось, все примирившего Гегеля, раскрыла перед ними тайны, дотоле непостижимые людям. Поэзией упоены были их сердца; слава готовила им венцы за благую весть, провозглашаемую от них людям, и, увлекаемые силою энтузиазма, стремились они вперед:

Как смело, с бодрою охотой,
Мечты надеясь достигнуть,
Еще не связанный заботой,
Пускался юноша в свой путь!
Как он легко вперед стремился!
Что для счастливица тяжело?
Какой воздушный рой теснился
Вкруг светлого пути его!
Любовь с улыбкой благосклонной
И счастье с золотым венцом,
И слава с звездною короной
И в свете истина живом... **

Могучая сила
В душе их кипит;
На бледных ланитах
Румянец горит;
Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят.
И с неба, и с время
Покровы сняты...

* Например, Кольцова ¹⁰⁰.
** «Идеалы» Шиллера, перевод К. Аксакова, «Московский наблюдатель», т. XVI, стр. 543.

Шумна их беседа
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет... *

И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное общество, пусть перечитает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева ¹⁰¹.

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ

«Московский наблюдатель» был передан в распоряжение друзей Станкевича уже тогда, когда материальные средства к продолжению издания были совершенно истощены и только бескорыстная энергия новых сотрудников могла продлить еще на год существование журнала, доведенного до гибели прежней редакцией. Но этот последний, слишком краткий, период жизни «Московского наблюдателя» был таков, что никогда еще ничего подобного, за исключением разве последних книжек «Телескопа», не бывало в русской журналистике. Даже «Телеграф» в свое лучшее время не был так проникнут единством задушевной мысли, не был одушевлен таким пламенным стремлением служить истине и искусству; и если бывали у нас до того времени альманахи и журналы, имевшие гораздо большее число сотрудников, уже пользовавшихся громкою знаменитостью, как, например, «Библиотека для чтения» в 1834, пушкинский «Современник» в 1836 году, то никогда еще не соединялось в русском журнале столько истинно замечательных дарований, столько истинного знания и неподдельной поэзии, как в «Московском наблюдателе» второй редакции (томы XVI, XVII и XVIII прежней нумерации и томы I и II новой). В 1838—1839 годах новые сотрудники «Наблюдателя» были юношами, еще почти совершенно неизвестными; но почти все они оказались людьми сильными и даровитыми, почти каждому из них суждено было составить себе прочную, благородную, безукоризненную известность в нашей литературе, а некоторым и приобрести блестящую славу; будущность принадлежала им, как и теперь настоящее принадлежит им и тем людям, которые впоследствии примкнули к ним.

«Московский наблюдатель» менее известен, нежели «Телеграф» и «Телескоп»; потому не излишне будет, прежде нежели говорить подробно об его учено-критических воззрениях, сказать два-три слова об общей физиономии последних томов журнала, изданных людьми нового поколения, деятельность которых теперь занимает нас.

До того времени, когда решительное влияние Гоголя на моло-

* Из стихотворения Кольцова в память Станкевича.

дые таланты обратило большинство даровитых писателей к предпочтению прозаической формы рассказа, стихотворения были блестящею стороною нашей изящной литературы. «Московский наблюдатель» не имел между своими сотрудниками Пушкина, как альманахи 1823—1833 годов или первые годы «Библиотеки» и (пушкинского) «Современника». Но если взять поэтический отдел «Наблюдателя» весь вместе и сравнить его с тем, что представляла наша поэзия в прежних столь знаменитых ею альманахах и в самом пушкинском «Современнике» (не говоря уже о «Библиотеке», далеко уступавшей в этом отношении «Современнику», «Северным цветам» и проч.), то нельзя не признать, что по отделу поэзии «Московский наблюдатель» был гораздо выше всех прежних наших журналов и альманахов, где, кроме произведений Пушкина и переводов Жуковского, только немногие стихотворения возвышаются над уровнем бесцветной и пустой посредственности, между тем, как в «Московском наблюдателе» мы почти не найдем стихотворений, которых нельзя было бы с удовольствием прочитать и ныне, а напротив, кроме дивных созданий Кольцова, многие другие пьесы остаются до сих пор замечательны и прекрасны *.

* Кроме стихотворений Кольцова, в «Московском наблюдателе» помещались:

Переводы из Гете и Шиллера, г. К. С. Аксакова¹⁰², которого надобно назвать одним из лучших наших поэтов-переводчиков. Мнение, иногда высказываемое ныне, будто стих этих переводов был тяжел, не совершенно основательно; нам кажется, напротив, что мало найдется таких прекрасных и поэтических переводов, как, например, следующая пьеса из Гете («Московский наблюдатель» XVI, 92):

НА ОЗЕРЕ

Как освежается душа
И кровь течет быстрей!
О, как природа хороша!
Я на груди у ней!

Качает наш челнок волна,
В лад с нею весла бьют.
И горы в мшистых пеленах
Навстречу нам встают.

Что же, мой взор, опускаешься ты?
Вы ли опять, золотые мечты?
О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно!
Здесь все так любовью и жизнью полно!

Светлою толпою
Звезды в волнах глядятся,
Туманы грядую
На дальних высях ложатся:

Ветер утра качает
Деревья над зеркалом вод;

Мало того, что из многочисленных стихотворений, помещенных в «Московском наблюдателе» второй редакции, только разве немногие могут быть названы слабыми — достоинство, которым не мог похвалиться до того времени ни один из наших журналов, — есть в этой массе пьес другое качество, еще более новое для того времени: пустых стихотворений в ней не найдется решительно ни одного, каждая лирическая пьеса действительно проникнута чувством и мыслью, так что стихотворный отдел «Московского наблюдателя» не может быть и сравниваем с тем, что встречаем в других тогдашних журналах.

Беллетристическую журналы не могли тогда похвалиться: хороших повестей писалось очень мало, потому что всего три-четыре человека умели тогда писать прозою так, что их произведения можно теперь перечитывать без улыбки. Но и по отделу беллетристики «Московский наблюдатель» был едва ли не выше всех остальных своих собратий, печатая повести Нестроева (г. Кудрявцева), за которыми должно остаться одно из самых первых мест в истории возникновения нашей изящной прозаической литературы. В настоящей статье не место оценивать талант Нестроева: это мы надеемся сделать впоследствии¹⁰⁴; но в том нет сомнения, что повести его по своему художественному достоинству должны были занять в истории русской прозы почетное место. Нестроев — писатель с дарованием самостоятельным и сильным, каких тогда было очень немного, или, лучше сказать, почти вовсе не было, кроме таких колоссальных талантов, как Пушкин, Гоголь и Лермонтов¹⁰⁵.

Таким образом, изящная словесность в «Московском наблюдателе» замечательна по художественному достоинству; но еще гораздо интереснее она в том отношении, что служит вообще верным и полным отражением принципов, одушевлявших общество молодых людей, которые собрались вокруг Станкевича. До того времени только очень немногие из наших поэтов и нувелли-

Тихо отражает
Озеро спеющий плод.

Приводя это стихотворение, мы имеем целью не только представить доказательство, что не напрасно причисляем переводы г. К. Аксакова, в «М[осковском] н[аблюдателе]» к произведениям, имеющим положительное достоинство: для нас «На озере» послужит поэтическим выражением самой характеристической особенности того мирозерцания, которое господствовало в «Московском наблюдателе».

Переводы г. Каткова из Гейне и отрывки из его прекрасного перевода «Ромео и Джульетта» Шекспира.

Стихотворения Ключникова (—Θ—) и нескольких других более или менее замечательных талантов.

Стихотворения Красова, который был едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: они очень заслуживают того, и напрасно мы забываем об этом замечательном поэте.¹⁰³

стов умели приводить смысл своих произведений в гармонию с идеями, которые казались им справедливы: обыкновенно повести или стихотворения имели очень мало отношения с так называемым «миросозерцанием» автора, если только автор имел какое-нибудь «миросозерцание». В пример, укажем на повести Марлинского, в которых самый внимательный розыск не откроет ни малейших следов принципов, которые, без сомнения, были дороги их автору, как человеку¹⁰⁶. Обыкновенно жизнь и возбуждаемые ею убеждения были сами по себе, а поэзия сама по себе: связь между писателем и человеком была очень слаба, и самые живые люди, когда принимались за перо в качестве литераторов, часто заботились только о теориях изящного, а вовсе не о смысле своих произведений, не о том, чтобы «провести живую идею» в художественном создании (как любила выражаться критика гоголевского периода). Этим недостатком — отсутствием связи между жизненными убеждениями автора и его произведениями — страдала вся наша литература до того времени, когда влияние Гоголя и Белинского преобразовало ее. Литературный отдел «Московского наблюдателя» является едва ли не первым зародышем постоянной гармонии убеждений человека со смыслом его художественных произведений, — той гармонии, которая ныне владычествует в нашей литературе и придает ей силу и жизнь. Молодые поэты и беллетристы, участвовавшие в этом журнале, писали именно о том, что их занимало, а не о каких-нибудь сюжетах, навеянных другими поэтами, смысл которых оставался, бывало, совершенно непонятен для подражателей, очень усердно копировавших внешнюю сторону иностранных произведений: они понимали то, что писали, — качество, которое очень редко замечается у прежних наших литераторов. Из этого общего правила писать произведения, или не имеющие живого смысла, или произведения, смысл которых остается непостижимой тайной для самого автора, исключений бывало очень мало, и «Московский наблюдатель» — первый журнал, в котором мысль и поэзия гармонируют между собою, и в литературном отделе которого постоянно отражаются сознательные стремления. Это первый в ряду таких журналов, какие имеем мы теперь, в которых поэзия, беллетристика и критика согласно идут к одной цели, поддерживая друг друга. Глубокая потребность истины и добра с одной стороны, с другой — свежая и здоровая готовность любить все, что действительная жизнь представляет удовлетворительного, — предпочтение действительной жизни отвлеченному фантазированию с одной стороны, с другой — чрезвычайное сочувствие тому, что в стремлениях фантазии является здоровым отражением истинной потребности полного наслаждения действительною жизнью, — эти основные черты критической мысли «Московского наблюдателя» составляют существенный характер и литературного отдела в этом журнале. Стремления,

одушевляющие его поэзию и беллетристику, видимо проникнуты философскою мыслью, которая владычествует над всем.

Действительно, философское мирозерцание нераздельно владычествовало над умами в том дружеском кружке, органом которого были последние томы «Московского наблюдателя». Эти люди решительно жили только философию, день и ночь толковали о ней, когда сходились вместе, на все смотрели, все решали с философской точки зрения. То была первая пора знакомства нашего с Гегелем, и энтузиазм, возбужденный новыми для нас, глубокими истинами, с изумительною силою диалектики развитыми в системе этого мыслителя, на некоторое время натурально должен был взять верх над всеми остальными стремлениями людей молодого поколения, сознавших на себе обязанность быть провозвестниками неведомой у нас истины, все озаряющей, как им казалось в пылу первого увлечения, все примиряющей, дающей человеку и невозмутимый внутренний мир и бодрую силу для внешней деятельности. Главное значение «Московского наблюдателя» состоит в том, что он был органом гегелевой философии.

Философские стремления теперь почти забыты нашею литературою и критикою. Мы не хотим решать, насколько литература и критика выиграли от этой забывчивости, — кажется, не выиграли ровно ничего, потеряв очень много; но как бы ни решал кто вопрос о значении философского мирозерцания для настоящего времени, каждый согласится, что господство философии над всею умственною нашею деятельностью в начале настоящего периода нашей литературы есть замечательный исторический факт, заслуживающий внимательного изучения. «Московский наблюдатель» представляет первую эпоху этого владычества философии, когда непогрешительным истолкователем ее представлялся Гегель, когда каждое слово Гегеля являлось несомненною истиною и каждое изречение великого учителя принималось его новыми учениками в буквальном смысле, когда не было еще ни заботы о проверке этих истин, ни предчувствия, что Гегель был непоследователен, противоречил сам себе на каждом шагу, что, принимая его принципы, последовательному мыслителю надобно притти к выводам, совершенно различным от выставленных им выводов. Позднее, когда это было замечено, фальшивые выводы были отвергнуты лучшими из бывших последователей Гегеля у нас, и немецкая философия явилась совершенно в другом свете. Но то была уже другая эпоха — эпоха «Отечественных записок», и мы будем говорить о ней в следующей статье, а теперь посмотрим, какою была гегелева система, пламенным проповедником которой был «Московский наблюдатель».

Программою журнала была первая статья его — предисловие к переводу «Гимназических речей Гегеля» («М[осковский] н[аблюдатель]», XVI, стр. 5—20)¹⁰⁷. Мы приводим в выноске

существенные места из этого предисловия, присоединяя к ним объяснение технических терминов гегелевского языка, которые могли бы затруднить тех читателей, которые не привыкли к этой терминологии: они, надеемся, увидят, что дело было очень просто и понятно и что различные толки о мнимой темноте гегелевой философии — чистый предрассудок: нужно только знать смысл нескольких технических слов, и трансцендентальная философия становится для людей нашего времени ясна и проста *.

* Ум — только одна из способностей человека; знание — только одно из его стремлений; потому одно умствование об отвлеченных вопросах не удовлетворяет человека: он хочет также любить и жить, не только знать, но и наслаждаться, не только мыслить, но и действовать. Ныне это понятно каждому — таков дух века, такова сила времени, все объясняющего. Но в XVII веке наука была делом кабинетных тружеников, которые знали только книги, думали только об ученых вопросах, чуждаясь жизни и не понимая житейских дел. Когда жизнь, в XVIII веке, предъявила свои права с такою силою, что пробудила даже немецких ученых, они увидели недостаточность прежней философской методики, основывавшей все на умозаклечениях, принимавшей мерю всему отвлеченные понятия. Но не могли они одним шагом перейти из пыльного кабинета на форум жизни; они были еще слишком далеки от мысли, что все естественные способности и стремления человека должны действовать, должны помогать друг другу в разрешении вопросов науки и жизни. Им показалось, что довольно будет изменить методу умозаклчений, оставляя попрежнему и сердце и тело человека без внимания. Они думали, что ум не обнимал живую истину во всей ее полноте не потому, что одной головы, без груди и рук, без сердца и осязания, недостаточно человеку; они вздумали попробовать, не удастся ли голове обойтись без помощи остальных членов живого организма, если только голова возьмется за дела, которые принадлежат сердцу, желудку и рукам, — и голова, действительно, придумала «спекулятивное мышление». Сущность этой попытки состояла в том, что ум старался, отвергая отвлеченные понятия, мыслить по так называемым «конкретным» понятиям, — например, думая о человеке, основывать свои заключения не на прежней фразе: «человек есть существо, одаренное разумом», но на понятии о действительном человеке, с руками и ногами, с сердцем и желудком. Это был большой шаг вперед. Гегель является последним и важнейшим из мыслителей, остановившихся на этом первом фазисе превращения кабинетного ученого в живого человека. Конечно, система, основанная на этом способе замещения прежних отвлеченных понятий более живыми воззрениями, была гораздо свежее и полнее прежних, совершенно отвлеченных систем, занимавшихся не людьми, каковы люди в действительности, а призраками, которые созданы прежнею методою мышления, отвергавшею в человеке всякие способности и стремления, кроме ума, и из всех органов человеческого существа признававшие достойным своего внимания только мозг. Потому «трансцендентальное» или «спекулятивное» мышление (стремящееся основывать свои умозаклечения на понятии о действительных предметах) справедливо гордилось тем, что оно гораздо живее прежней схоластической методики, и старинный метод основывать все на отвлеченных понятиях был заклеймен прозванием «призрачного мышления» принадлежащего «отвлеченному уму, или рассудку» (*Verstand*). Все понятия и выводы, составленные на основании этого «отвлеченного, призрачного мышления», были опозорены именем «призрачных понятий», «призрачных выводов», и ученики Гегеля с презрением говорили о всех тех философах, которые строили свои системы не на основании «спекулятивного мышления»: эти люди, по мнению Гегеля и его последователей, не заслуживают даже имени философов, а их системы — «призрачные построения», в которых вместо живой истины даются «отвле-

Содержание гегелевой философии, в том виде, как изложена она у самого Гегеля, и как до мельчайших подробностей принималась за бесспорную истину друзьями Станкевича в 1838—1839 годах, кажется совершенною противоположностью тому образу мыслей, который с таким жаром и успехом излагался потом критиком гоголевского периода в «Отечественных записках» (1840—1846) и нашем журнале (1847—1848); оттого и статьи «Московского наблюдателя», написанные Белинским и его

ченные призраки». Особенному негодованию подвергалась французская философия, которая, совершив свое дело, перестала занимать сильные умы, стала занятием фантазеров и болтунов и, действительно, жалким образом измывалась и опошлялась при Наполеоне и во время Реставрации. Тогда во Франции, действительно, каждый под философиею понимал всякий вздор, какой только приходил в голову, и, по произволу перемешивая этот вздор с торопливо набранными чужими мыслями, провозглашал себя гением и творцом новой философской системы. Против этих-то фантазий, чуждых научного достоинства, преимущественно и направлено предисловие к речам Гегеля, служащее программой «Московскому наблюдателю». Вот существенные места из этой программы:

«Кто не воображает себя нынче философом, кто не говорит теперь с твердостью о том, что такое истина и в чем заключается истина? Всякий хочет иметь свою собственную, партикулярную систему; кто не думает по-своему, по своему личному произволу, тот не имеет самостоятельного духа, тот бесцветный человек; кто не выдумал своей собственной идеи, тот не гений, в том нет глубокомыслия, а нынче, куда вы не обернетесь, везде встречается гениев. И что ж выдумали эти гении-самозванцы, какой плод их глубокомысленных идей и взглядов, что двинули они вперед, что сделали они действительно?»

«Шумим, братец, шумим», — отвечает за них Репетилов в комедии Грибоедова. Да, шум, пустая болтовня — вот единственный результат этой ужасной, бессмысленной анархии умов, которая составляет главную болезнь нашего нового поколения, отвлеченного, призрачного, чуждого всякой действительности; и весь этот шум, вся эта болтовня происходит во имя философии. И мудроно ли, что умный, действительный русский народ не позволяет ослеплять себя этим фейерверочным огнем слов без содержания и мыслей без смысла? мудроно ли, что он не доверяет философии, представленной ему с такой невыгодной, призрачной стороны? До сих пор философия и отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой действительности были тождественны: кто занимается философиею, тот necessarily протиснулся с действительностью и бродит в этом болезненном отчуждении от всякой естественной и духовной действительности, в каких-то фантастических, произвольных, небывалых мирах, или вооружается против действительного мира и мнит, что своими призрачными силами он может разрушить его мощное существование, мнит, что в осуществлении конечных (ограниченных, односторонних) положений (суждений) его конечного (ограниченного, одностороннего, отвлеченного) рассудка и конечных целей его конечного произвола заключается все благо человечества, и не знает, бедный, что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности (личности)... Жизнь его есть ряд беспрестанных мучений, беспрестанных разочарований, борьба без выхода и конца, — и это внутреннее распадение, эта внутренняя разорванность есть необходимыми следствиями отвлеченности и призрачности конечного рассудка, для которого нет ничего конкретного и который превращает всякую жизнь в смерть. И еще раз повторяю: общая недоверчивость к философии весьма основательна, потому что то, что нам выдавали до сих пор за философию, разрушает человека, вместо того, чтобы оживлять его, вместо того, чтобы образовать из него полезного и действительного члена общества.

товарищами по убеждениям под исключительным влиянием сочинений Гегеля, представляются, на первый взгляд, совершенно противоречащими статьям, которые тот же самый Белинский писал через несколько лет. Это разноречие зависит, как мы сказали, от двойственности самой системы Гегеля, от разноречия между ее принципами и ее выводами, духом и содержанием. Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны: несмотря на всю колоссальность его

Начало этого зла скрывается в реформации. Когда назначение папизма — заменить недостаток внутреннего центра внешним центром — кончилось... реформация потрясла его авторитет... пробужденный ум, освободившись от пеленок авторитета, отделившись от действительного мира и погрузившись в самого себя, захотел вывести все из самого себя, найти начало и основу знания в самом себе... Но ум человеческий, только что пробудившийся от долгого сна, не мог вдруг познать истину: действительный мир истины был не по силам ему, он еще не дорос до него и должен был необходимо пройти чрез долгий путь испытаний, борьбы и страданий, прежде чем достиг своей возмужалости; истина не дается даром: нет! она есть плод тяжких страданий, долгого мучительного стремления... Результатом философии рассудка было (в Германии, у Фихте) разрушение всякой объективности, всякой действительности и погружение отвлеченного пустого Я в самолюбивое эгоистическое самосозерцание, разрушение всякой любви, а следовательно и всякой жизни и всякой возможности блаженства... Но германский народ слишком силен, слишком действителен для того, чтобы сделаться жертвою призрака... Система Гегеля венчала долгое стремление ума к действительности:

Что действительно, то разумно; и
Что разумно, то действительно, —

вот основа философии Гегеля.

Обратимся теперь к Франции и посмотрим, каким образом проявилось в ней это разъединение Я с действительностью... Рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все действительное. Вся жизнь Франции есть не что иное, как сознание своей пустоты и мучительное стремление наполнить ее чем бы то ни было, и все средства, употребляемые ею для наполнения себя, призрачны и бесплодны... французы (когда принимают философов) превращают всякую истину в пустые, бессмысленные фразы, в произвольность и анархию мышления и в стряпанье новых идей...

Эта болезнь распространилась, к несчастью, и у нас... Пустота нашего воспитания есть главная причина призрачности нашего нового поколения. Вместо того, чтобы разжигать в молодом человеке искру божью... вместо того, чтобы образовывать в нем глубокое эстетическое чувство, которое спасает человека от всех грязных сторон жизни, — вместо всего этого, его наполняют пустыми, бессмысленными французскими фразами... Вместо того, чтобы приучать молодой ум к действительному труду, вместо того, чтобы разжигать в нем любовь к знанию... его приучают к пренебрежению трудом... Вот источник нашей общей болезни, нашей призрачности! Разверните какое вам угодно собрание русских стихотворений и посмотрите, что составляет пищу для ежедневного вдохновения наших самозванцев-поэтов...

Один объявляет, что он не верит в жизнь, что он разочарован; другой, что он не верит дружбе; третий, что он не верит любви...

Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий источник жизни одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях

гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но недостало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия. Он провидел истину, но только в самых общих, отвлеченных, вовсе неопределительных очертаниях; увидеть ее лицом к лицу досталось на долю только уже следующему поколению. И не только выводов из своих принципов не мог он сделать — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей ясности, были для него туманны. Следующее поколение мыслителей сделало еще шаг вперед, и принципы, неопределенно, односторонне и отвлеченно высказанные Гегелем, явились во всей своей полноте и ясности; тогда колебаниям не осталось места, двойственность исчезла, фальшивые выводы, внесенные в науку непоследовательностью Гегеля в развитии основных положений, были отстранены, и содержание приведено в гармонию с основными истинами. Таков был ход дела в Германии, таков же был он и у нас. Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершилось у нас отчасти влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность быть участником в развитии общечеловеческой науки.

Пересмотрим же теперь те принципы гегелевой философии, которые могуществом и истинностью своею увлекли людей «Московского наблюдателя» до такой степени, что, в пылу энтузиазма, возбужденного этими высокими стремлениями, были забыты на время все остальные требования разума и жизни, было принято все содержание системы, хвалившейся тем, что она основана на этих глубоких истинах.

Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелем, действительно, были очень близки к истине, и некоторые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно поразительною силою. Из этих истин, открытие иных составляет личную заслугу Гегеля; другие, хотя и принад-

и во всех сферах жизни есть главная задача нашего времени, и Гегель и Гете — главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны; что в знании царствует строгая дисциплина, и что без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною русскою действительностью, и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительными русскими людьми.

лежат не исключительно его системе, а всей немецкой философии со времен Канта и Фихте, но никем до Гегеля не были формулированы так ясно и высказываемы так сильно, как в его системе.

Прежде всего укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще, и в особенности гегелева система, от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «истина — верховная цель мышления; ищите истины, потому что в истине благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что не истинно; первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение — источник всякой пагубы; истина — верховное благо и источник всех других благ». Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времени Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем, надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе, как затем, чтобы «оправдать дорогие для них убеждения», т. е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям; каждый брал из истины только то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него истину отвергал, без церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением», философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. Как необходимое предохранительное средство против поползновений уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам, был выставлен Гегелем знаменитый «диалектический метод мышления». Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним

предубеждениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулой: «отвлеченной истины нет; истина конкретна», т. е. определенное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит *.

Само собою разумеется, что это беглое исчисление некоторых принципов гегелевой философии не может дать понятия о поразительном впечатлении, которое производят творения великого философа, который в свое время увлекал самых недоверчивых учеников необыкновенною силою и возвышенностью мысли, покоряющей своему владычеству все области бытия, открывающей в каждой сфере жизни тождество законов природы и истории с своим собственным законом диалектического развития, обнимающей все факты религии, искусства, точных наук, государственного и частного права, истории и психологии сетью систематического единства, так что все является объясненным и примиренным. Время той философии, последним и величайшим представителем которой был Гегель, прошло для Германии. При помощи результатов, выработанных ею, наука сделала, как мы сказали, шаг вперед; но новая наука эта явилась только как дальнейшее развитие гегелевой системы, которая навсегда

* Например: «благо или зло дождь?» — это вопрос отвлеченный; определенно ответить на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определенно: «после того как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен». — «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?» Ответ так же ясен и так же справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в гегелевой философии все вопросы. «Пагубна или благотворна война?» Вообще, нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; марафонская битва была благотворнейшим событием в истории человечества¹⁰³. Таков смысл аксиомы: «отвлеченной истины нет; истина конкретна» — конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни).

сохранит историческое значение, как переход от отвлеченной науки к науке жизни.

Таково было значение гегелевой философии у нас: она послужила переходом от бесплодных схоластических умствований, граничивших с апатиею [и невежеством], к простому и светлому взгляду на литературу и жизнь, потому что в ее принципах заключались, как мы старались показать, зародыши этого взгляда. Пылкие и решительные умы, как Белинский и некоторые другие, не могли долго удовлетворяться теми узкими выводами, которыми ограничивалось приложение этих принципов в системе самого Гегеля; скоро заметили они недостаточность и самых принципов этого мыслителя. Тогда, отказавшись от прежней безусловной веры в его систему, они пошли вперед, не останавливаясь, как остановился Гегель, на половине дороги. Но навсегда сохранили они уважение к его философии, которой в самом деле были обязаны очень многим.

Но мы уже говорили, что содержание системы Гегеля совершенно не соответствует тем принципам, которые провозглашались ею, и которые мы указали. В пылу первого увлечения Белинский и его друзья не заметили этого внутреннего противоречия, и ненатурально было бы, если б оно было замечено ими с первого же раза: оно чрезвычайно хорошо прикрыто необычайною силою гегелевой диалектики, так что в самой Германии только самые зрелые и сильные умы и только после долгого изучения заметили это внутреннее несогласие основных идей Гегеля с его выводами. Величайшие из современных немецких мыслителей, не уступающие самому Гегелю гениальностью, долго были безусловными приверженцами всех его мнений, и много времени прошло, пока они успели возвратить себе самостоятельность и, открыв ошибки Гегеля, положить основание новому направлению в науке. Так всегда бывает: сам Гегель долго был безусловным поклонником Шеллинга, Шеллинг — поклонником Фихте, Фихте — Канта; Спиноза, далеко превосходивший гениальностью Декарта, очень долго считал себя его вернейшим учеником.

Мы все это говорим к тому, чтобы показать естественность и необходимость безусловной приверженности к Гегелю, на некоторое время овладевшей Белинским и его друзьями. Они в этом случае разделяли общую участь величайших мыслителей нашего времени. И если потом Белинский негодовал на себя за прежнее безусловное увлечение Гегелем, то и в этом случае имеет он товарищей, не уступающих силою ума ни ему, ни Гегелю *.

* Один из современных мыслителей говорит о своих прежних сочинениях, написанных в духе Гегеля: «этой путаницы теперь не могу я никак распутать; остается одно: или совершенно зачеркнуть ее, или оставить в прежнем виде — предпочитаю последнее: многие до сих пор еще считают мудростью то, что и мне казалось мудростью, когда я писал эти сочинения, — пусть же они, перечитывая их, видят путь, которым я дошел до своих

Все немецкие философы, от Канта до Гегеля, страдают тем же самым недостатком, какой мы указали в системе Гегеля: выводы, делаемые ими из полагаемых ими принципов, совершенно не соответствуют принципам. Общие идеи у них глубоки, плодотворны, величественны, выводы мелки и отчасти даже пошловаты. Но ни у кого из них эта противоположность не доходит до такого колоссального противоречия, как у Гегеля, который, превосходя всех своих предшественников возвышенностью начал, оказывается, едва ли не слабее всех в своих выводах. И в Германии, и у нас люди ограниченные и апатичные успокоились на выводах, забывая о принципах; но и у нас, как в Германии, эти ученики, слишком верные букве и потому неверные духу, нашлись только между людьми второстепенными, лишенными сил на историческую деятельность и не могшими иметь никакого влияния. Напротив, и у нас, как в Германии, все истинно даровитые и сильные люди, когда прошло первое увлечение, отбросили фальшивые выводы, радостно жертвуя ошибками учителя требованиям науки, и бодро пошли вперед. Потому ошибки Гегеля, подобно ошибкам Канта, не имели важных последствий, между тем, как здоровая часть его учения действовала очень плодотворно.

Мы нарушили бы закон исторической перспективы, если бы стали говорить о предмете, не имевшем исторической важности, каковы ошибки Гегеля, с такою же подробностью, как о тех его идеях, которые оказали сильное влияние на ход умственного развития. Но так как эти ошибки все-таки исторический факт, хотя и мало важный, то мы не можем совершенно умолчать о них. Ниже читатели увидят в одной из приводимых нами выписок, в чем состояла сущность этих ошибок. Здесь мы должны только повторить, что друзья Станкевича разделяли заблуждение со всеми замечательнейшими немецкими мыслителями современного им поколения: на некоторое время гениальная диалектика Гегеля ослепила всех, так что выводы, противоречившие принципам,

настоящих убеждений — по моим следам этим людям легче будет дойти до истины»¹⁰⁹. Точно так же и мы должны думать о статьях, писанных Белинским в 1838—1839 годах: кто не в состоянии разделять зрелых и самостоятельных убеждений Белинского, какие выражал он в последнее время, тому принесет пользу чтение его статей в хронологическом порядке, начиная с тех, которыми сам Белинский впоследствии был недоволен: кто стоит еще слишком низко, тому необходимы лестницы, чтобы стать в уровень с своим веком.

Кстати заметим, что в настоящей статье мы пользовались воспоминаниями, которые сообщил нам один из ближайших друзей Белинского, г. А., и потому ручаемся за совершенную точность фактов, о которых упоминаем. Мы надеемся, что интересные воспоминания г. А. — а со временем сделаются известны нашей публике, и спешим предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся не более, как развитием его мыслей. За ту помощь, какую оказали нам его воспоминания при составлении настоящей статьи, мы обязаны принести здесь искреннейшую благодарность глубокоуважаемому нами г. А.—у¹¹⁰.

всеми принимались ради «тех принципов, будто необходимое их следствие.

Нельзя не признаться, что и в Германии и у нас люди, принимавшие все содержание гегелевой системы за чистую истину, вовлекались этим авторитетом во многие и очень важные заблуждения. Нимало не защищая того, что действительно было дурного в этих ошибках, надобно, однако ж, заметить, что двадцать лет назад не все то было действительно вредным заблуждением, что ныне было бы непростительным ослеплением: для многих мнений, которые в наше время были бы решительно несправедливыми предубеждениями, тогда еще существовали дельные основания, — быть может, односторонние, быть может, несколько устаревшие, но все-таки заключающие в себе много справедливого. Укажем один пример. Строгие приверженцы немецкой философии со времен Канта, особенно строгие гегелианцы, презирали и отчасти даже ненавидели все французское. Друзья Станкевича разделяли это отвращение, и «Московский наблюдатель» весь проникнут «французоедством» (*Franzosenfresserei*), как выражались немцы. Французоедству посвящены многие страницы предисловия к гегелевским речам, служащего, как мы видели, программой журнала. В примечании мы приводим одну из таких страниц *. И нельзя не сказать, что «Московский наблюдатель», ревностно выполняя все другие пункты своей программы, не менее ревностно выполнял и этот пункт. Он пользовался каждым случаем, каждым предлогом, чтобы произнести грозную филиппику или вставить презрительную выходку против французов. Говорит ли он, например, в разборе «Современника» о статье Пушкина «Мильтон», — главное внимание он обращает на те эпизоды, в которых Пушкин подсмеивается над французами — тотчас же выписываются насмешки над Альфредом де-Виньи и Виктором Гюго, замечания о недостатках мольеровых комедий, и т. д., — за то и

* «Французы никогда не выходили из области произвольных рассуждений, и все святое, великое и благородное в жизни упало под ударами слепого мертвого рассудка. Результатом французского философизма был материализм, торжество неодухотворенной плоти. Во французском народе исчезла последняя искра откровения. Христианство, это вечное и непреходящее доказательство любви творца к творению, сделалось предметом общих насмешек, общего презрения, и бедный рассудок человека, неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что только было ему недоступно, а ему недоступно все истинное и все действительное. Он требовал ясности. — но какой ясности! — не той, которая лежит в глубине предмета: нет, — а на поверхности его; он вздумал объяснить религию — и религия, недоступная для конечных усилий его, исчезла и унесла с собою счастье и спокойствие Франции; он вздумал превратить святилище науки в общенародное знание — и таинственный смысл истинного знания скрылся, и остались одни пошлые, бесплодные, призрачные рассуждения, — и Жан-Пол Руссо объявил, что просвещенный человек есть развращенное животное, и революция была необходимым последствием этого духовного развращения. Где нет религии, там не может быть государства, и революция

прибавляет «Московский наблюдатель», что у Пушкина «был верный взгляд на искусство и бесконечное эстетическое чувство». Разбирается ли другой том «Современника», в котором есть отрывок из «Хроники русского в Париже»¹¹¹, — почти вся рецензия состоит из выписок тех страниц «Хроники», которые особенно неблагоприятны для французов. Разбирается ли роман г. Вельтмана «Виргиния» — оказывается, что этот роман можно похвалить только за одно: «многие черты французского верхоглядства схвачены в нем проверно»; говорится ли о «Сборнике на 1838 год» — в этом сборнике очень много стихов, и отчасти даже хороших стихов, но интереснее всего в нем перевод эпиграммы Шиллера, в которой французы называются вандалами. Выписав это стихотворение и похвалив за него Шиллера, критик торжественно восклицает, обращаясь к читателям:

Французы вандалы!!! — слышите ли?

Для большей знаменательности это восклицание напечатано даже отдельною строкою, что и соблюли мы. Говорится ли о возвращении молодых профессоров наших из-за границы — приятнее всего «Московскому наблюдателю» то, что они слушали лекции в Берлине, а не в Париже. Нечего и говорить, пользуется ли «Московский наблюдатель» случаем изобличить французское фразерство и легкомыслие, когда является перевод «Истории Франции» Мишле... тут филиппика достигает страшной беспощадности: едва некоторые специальные ученые получают за свои специальные труды прощение в том, что они французы, — но французские литераторы, поэты, мыслители, все казнятся без всякой милости, от девицы Скюдери до Мишле, от Ронсара до Лерминье. Общего приговора избегает только Беранже, «гуляка праздный»: праздная гульба — французское дело, об этом они умеют складывать веселенькие песенки, — лучшего у них не нужно и искать. Одним словом, о чем бы речь ни шла, «Московский наблюдатель» таки найдет предлог поразить или кольнуть

была отрицанием всякого государства, всякого законного порядка, и гильотина провела кровавый уровень свой и казнила все, что только хоть несколько возвышалось над бессмысленною толпою».

В «Последнем новосельи» Лермонтов буквально переложил эти слова в стихи:

Негодованию и чувству дав свободу

Мне хочется сказать великому народу:

«Ты жалкий и пустой народ!

Ты жалок потому, что вера, слава, гений,

Все, все великое, священное земли,

С насмешкой глупою ребяческих сомнений

Тобой растоптано в пыли.

Из славы сделал ты игрушку лицемерья,

Из вольности — орудье палача,

И все заветные отцовские поверья

Ты им рубил, рубил с плеча...»

французов, и общим выводом из всей этой неутомимой полемики выставляется заключение, что, между тем как «влияние немцев на нас благотельно во многих отношениях, — и со стороны науки, и со стороны искусства, и со стороны духовно-нравственной, с французами мы находимся в обратном отношении: мы враждебно-противоположны с ними по сущности нашего национального духа» («Моск[овский] набл[юдатель]», том XVIII, стр. 200).

Ныне, когда лучшие из французов отказываются от заносчивых претензий, от презрения к другим народам, когда вся нация оставляет свое прежнее легкомыслие, оставляет даже фразерство, которым так долго жила, когда национальная жизнь обратилась к разрешению истинно-глубоких вопросов, подобная вражда против французов была бы совершенно неосновательна. Но тогда настроение умов во Франции было совершенно не таково. Те направления мысли, которые ныне приобретают Франции сочувствие серьезных людей, едва только начинали еще обнаруживаться, и притом в странных, еще не определившихся [фантастических] формах, не оказывали еще никакого влияния на жизнь нации, напротив, были осмеиваемы литературою, презираемы государственною жизнью. Все, чем блистала Франция времен первой Империи и Реставрации, было фальшиво и поверхностно или противоречило истинным потребностям нравственной и общественной жизни; все основывалось на недоразумении с одной стороны, на обмане или насилии — с другой. В литературе, например, господствовали две школы, равно фальшивые: одна, — в духе Шатобриана и Ламартина, накидывала на себя маску искусственных восторгов учениями, которых не понимала и о которых в сущности очень мало заботилась; другая накидывала на себя маску утонченной развращенности и мелкого сатанинства (*école satanique*) *. Те, которые не были лицемерами идеализма или цинизма, болтали о пустяках. Только Беранже составлял исключение, но Беранже не понимали, считая его не более, как певцом гризеток. В науке понятия страшно измельчали, — ученые знаменитости тогдашнего времени были шарлатаны и фразеры, хлопотавшие о примирении непримиримого, об оправдании наукою предрассудков, о сочетании научной истины с произвольными фантазиями ¹¹². Время теперь обнаружило, что за люди были и чего хотели Кузен, Гизо, Тьер; а они были еще самыми лучшими из тогдашних знаменитостей.

Кстати, припомним, что такое был знаменитый тогда «либерализм», за который особенно прославлялись эти знаменитости. События обнаружили пустоту и решительную бесполезность этого либерализма, хлопотавшего только об отвлеченных правах, а не о благе народа, самое понятие о котором оставалось ему чуждо.

* Сатанинская школа. — Ред.

У лучших проповедников его это было легкомысленное заблуждение относительно истинных потребностей нации; другие пользовались этим так называемым либерализмом, как приманкою для привлечения нации на свою удочку, — а для чего нужно было им привлечь нацию, оказалось потом, когда они успели захватить власть: они искали власти для того, чтобы набить себе карманы.

Таково было положение Франции и во время Реставрации и в первые годы орлеанской династии. Повсюду гремели фразы, лишённые смысла, во всем владычествовали легкомыслие и обман. Но более всего должны были возмущаться люди с горячими убеждениями и высокими принципами тем, что у тогдашних французских знаменитостей не было ни решительных принципов, ни строгой последовательности в образе мыслей: всему, чему они верили, верили они только наполюину, робко и церемонно, все, что отрицали, отрицали также только наполюину, все это были люди вроде тех, которых изображал у нас Пушкин в своих героях, — вроде тех, которых Лермонтов заставляет говорить:

Богаты мы, едва из колыбели
Ошибками отцов и поздним их умом...

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы...

Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Невернем осмеянных страстей.

Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекали...

И ненавидим мы и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный...¹¹³

От этих бессильных в своем узком и пресыщенном эгоизме людей, конечно, нельзя было надеяться ничего хорошего; от этих вырожденков, оставшихся после великой внутренней борьбы, которая поглотила все благороднейшие силы французского народа¹¹⁴, конечно, нельзя было ожидать, чтоб они влили новую жизнь в свой народ; они не должны были служить идеалами для нас, чувствовавших в себе избыток свежих, еще нетронутых сил. К таким людям, конечно, не могло лежать сердце пламенных юношей, готовых и любить до самоотвержения и ненавидеть смертельно, жаждавших деятельности и блага. Вражда усиливалась особенно тем, что эти разочарованные, блазированные, проеденные эгоизмом люди считались у нас оракулами: все у нас кричали о французах, все восхищались французами, — а ни для себя, ни тем более для нас французы такого разбора не были ровно ни на что годны.

Нам нужен был энтузиазм, перед нами было широкое поле деятельности: как же не возненавидеть было этих людей, которые могли передать нам только свое бессилие, разочарование и бездействие?

Нелюбовь, заслуженная французами времен первой Империи и Реставрации, незаслуженным образом распространялась и на их предков, и столь же незаслуженным образом подвергались общему осуждению свежие направления мысли, возникавшие в молодом поколении мыслителей, не имевших ничего общего с прежними знаменитостями, людей с твердыми и возвышенными убеждениями, со свежими силами. Виною этой несправедливости был отчасти недостаток знакомства с возникавшими во французской литературе новыми стремлениями, отчасти также и предубеждение, составившееся против всех вообще французов, — а более всего — безусловное поклонение гегелевой системе, как верховной и единственной истине, вне которой ничто не заслуживает внимания.

Поклонение Гегелю в кругу друзей Станкевича доходило, как мы сказали, до крайности, в которой люди талантливые, одаренные самостоятельным умом и стремившиеся вперед не могли долго оставаться. Признаки бессознательного недовольства системой, которую продолжали восхищаться, обнаружились в даровитейших членах дружеского круга тем, что они говорили в гегелевском смысле решительнее и беспощаднее, нежели сам Гегель, сделались, как говорится, ревностнейшими гегелианцами, нежели сам Гегель. Особенно отличался этим Белинский, который вообще был не таков, чтобы отказываться от логических выводов из боязни уклониться от точных слов какого бы то ни было авторитета. Это свидетельство людей, знавших его лично, подтверждается многими его страницами, написанными совершенно в духе Гегеля, но с такою решительностью, которой не одобрил бы сам Гегель¹¹⁵. Да и вообще Гегель, говорящий обо всем с беспристрастием поседевшего мудреца, смотрящий на все исключительно глазами кабинетного ученого, чуждого волнениям жизни, не мог долго удержать в безусловной покорности такого пламенного, проникнутого жизненными стремлениями двадцатипятилетнего человека, как Белинский. Натуры учителя и ученика, потребности двух различных обществ, среди которых они действовали, были слишком несогласны. Белинский скоро отбросил все, что в учении Гегеля могло стеснять его мысль, и вскоре после переезда в Петербург является уже действителем совершенно самостоятельным.

Два обстоятельства помогли этому переходу, необходимому по натуре самого Белинского, совершиться быстрее, нежели совершился бы он без этих обстоятельств: сближение друзей Станкевича с г. Огаревым и его друзьями¹¹⁶ и переезд Белинского из Москвы в Петербург.

Первоначальные влияния, под которыми совершалось развитие г. Огарева и его друзей, были совершенно различны от влияний, которым подчинялся кружок Станкевича. Немецкая философия мало их занимала, как предмет слишком отвлеченный. Их внимание было устремлено на те науки, которые имеют непосредственное отношение к жизни наций. В то время во Франции возникали, как противоречие бездушному и убийственному учению экономистов, новые теории национального благосостояния. Идеи, одушевлявшие новую науку, высказывались еще в фантастических формах, и предубежденным или руководившимся своекорыстными побуждениями противникам легко было, оставляя без внимания здравые и высокие основные идеи новых теоретиков и выставляя в утрированном виде мечтательные увлечения, которых в начале не избегает ни одна новая наука, осмеивать системы, им ненавистные¹¹⁷. Но под видимыми странностями и под фантастическими увлечениями скрывались в этих системах истины и глубокие и благодетельные. Огромное большинство и ученых людей и европейской публики, поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, не хотели понять смысла новой науки, все смеялись над несбыточными утопиями и почти никто не считал нужным основательно и беспристрастно изучать их. Г. Огарев и его друзья занялись этими вопросами, понимая чрезвычайную их важность для жизни. С тем вместе, внимание г. Огарева и его друзей было занято историею, особенно новейшею, то есть именно важнейшею для жизни частью ее; и так как в последнее время главным театром исторического развития была Франция, то они интересовались преимущественно ее историею. В литературе они также не отдавали безусловного предпочтения немцам, зная и ценя французских новых писателей, которые тогда еще не господствовали в литературе, но уже доказали, что будут господствовать над нею. Под влиянием этих занятий составились у них твердые и последовательные учено-литературные убеждения.

Таким образом, деятели молодого поколения в Москве были разделены на два кружка, с двумя различными направлениями: в одном господствовала гегелева философия, в другом — занятия современными вопросами исторической жизни. Много было пунктов, в которых два эти направления могли сталкиваться враждебно; но под видимою противоположностью таилось существенное тождество стремлений, несогласных между собою только в том, что было у каждого из них односторонностью, недостатком, но одинаково ставивших себе целью деятельность, плодотворную для развития русского общества, одинаково считавших единственным средством для достижения этой цели оживление нашей литературы и возбуждение нашей мыслительной деятельности, одинаково имевших свой идеал в будущем, а не в прошедшем, относившихся между собою, как теория и практика, которые должны служить взаимным дополнением. Важный вопрос: победит

ли чувство существенного единства, или противоречие во второстепенных, но, однако ж, очень важных вопросах, должен был разрешиться так или иначе, смотря по тому, действительно ли люди, служившие представителями этих различных направлений, достойны были сделаться замечательными деятелями в истории развития русского общества, и действительно ли принципы, их воодушевлявшие, были плодотворны. История говорит нам, что обыкновенное явление при падении принципа — непримиримая вражда между его приверженцами из-за второстепенных вопросов, а при развитии принципа — дружное действова­ние людей, согласных в главном, как бы ни были важны второстепенные вопросы, их разделяющие. Отвержение узкого самолюбия, готовность признать правду, которой не замечал прежде, и сделать эту указанную другим правду своим задушевым делом — таково существенное качество истинно замечательных исторических деятелей.

Люди, о которых мы говорили, были призваны играть действительно важную роль в развитии нашего общества; принципы, их одушевлявшие, действительно были живы и плодотворны, — потому эти принципы необходимо должны были слиться, эти люди соединиться. И действительно, люди соединились с такою благородною искренностью и самоотречением от своих односторонностей, принципы слились в одно общее направление с такою совершенною гармониею, что факт этот принадлежит к числу самых редких и возвышающих душу примеров совершенного торжества общей правды над частными недоразумениями, общего стремления служить истине над личными столкновениями.

Первые чувства были, натурально, недружелюбны: обоюдная исключительность мнений возбуждала взаимную неприязнь. Те и другие были недовольны друг другом и долго удерживались от сношений между собою. Друзья Станкевича осуждали г. Огарева и его друзей за то, что они не предаются изучению немецкой философии и не признают, что вся истина заключена в системе Гегеля. Друзья г. Огарева осуждали круг Станкевича за то, что в нем все мысли направлены исключительно к слишком отвлеченным вопросам, и вопросы жизни или оставляются без всякого внимания, или решаются в том апатическом смысле, как велит решать их Гегель. Одни говорили про других: «они пренебрегают истинными принципами»; эти говорили про первых: «они проповедуют апатию в жизни и примиряются со всеми недостатками действительности, восхищаясь тем, что их система оправдывает все на свете». Различные внешние обстоятельства содействовали тому, что личных сношений — которых не желала сначала ни та, ни другая партия — очень долго не существовало между людьми того и другого направления¹¹⁸.

Станкевича уже не было в Москве, когда г. Огарев вошел в круг, душою которого прежде был Станкевич, и ввел за собою

своих друзей. Если бы Станкевич, кроткий и любящий, был еще между своих друзей, вероятно, сближение произошло бы тогда же. Теперь посредником и примирителем был только г. Огарев. Он один, не имея ни в ком помощников, не успел пересилить противников, каждое свидание которых было жарким спором. Вследствие одного из таких споров, когда Белинский на все вопросы, имевшие целью вынудить у него признание, что не все в действительности может быть оправдано разумом, отвечал, с обычною своею неумолимою последовательностью, признанием разумности всех тех явлений, на которые ему было указано, — вследствие этого спора, доказавшего невозможность поколебать его убеждения, попытки примирения кончились — на время, как увидим, и на очень короткое время ¹¹⁹.

Между тем попытки эти не остались бесплодны, хотя, повидимому, привели к полному разрыву. Люди, спорившие с Белинским и его друзьями, были изумлены тою непоколебимостью, с какою встречаются последователями Гегеля самые, повидимому, неопровержимые возражения против системы Гегеля, — тою легкостью, с какою последователи Гегеля находят вполне удовлетворительный для себя ответ на все, что, повидимому, должно бы смутить и затруднять их. Противники результатов, до которых доходит гегелева система, увидели, что Гегеля можно победить только его собственным оружием, и принялись за глубокое изучение этого мыслителя. Они приступили к нему с силами ума совершенно зрелого, с проницательностью, изощренною привычкою к самостоятельному мышлению и богатым опытом жизни, наполненной всевозможными столкновениями, — с запасом твердых убеждений, данных жизнью и строгою наукою. И, как ни трудно устоять против диалектики исполина немецкой философии, — этой изумительно сильной диалектики, облекающей всю его систему броней неразрушимого, повидимому, единства, — эти люди открыли пробелы и непоследовательности системы Гегеля, увидели погрешности в ее выводах, несогласие принципов ее с результатами, основных идей с применениями, постигли и односторонность принципов, — и могли, наконец, сказать: «теперь мы постигаем все, что постигал Гегель, но постигаем яснее и полнее, нежели он». Таким образом была, по выражению немецкой философии, превзойдена (*überwunden*), очищена от односторонности по смыслу собственных своих основных начал, подвергнута критике и возведена к высшей истине философия Гегеля сильнейшими последователями одного из направлений, между которыми до того времени преградою была система Гегеля ¹²⁰. Но глубина и стройность немецких философских систем произвела сильное впечатление на умы тех, которые взялись за изучение философии не столько по расположению к ней, сколько по необходимости открыть слабые ее стороны; сильнейшие из друзей г. Огарева сами получили философское направление; не

покидая своих прежних стремлений, напротив, еще более утвердившись в них, они возвели свои убеждения к общим философским принципам и, увидев, как много выигрывают оттого их идеи и в прочности и в стройности, сделались ревностными приверженцами немецкой философии, конечно, уж не системы Гегеля, на которой не могли они остановиться, а новой философии, последним переходом к которой была система Гегеля¹²¹.

С другой стороны, подобное расширение умственного горизонта совершилось около того же времени и в сильнейших из друзей Станкевича. До сих пор они, как мы говорили, были связаны между собою совершенною одинаковостью понятий и стремлений, так что особенности отдельных личностей исчезали в единстве общего настроения. Характеризуя «Московский наблюдатель», деятельнейшим участником и распорядителем которого был Белинский, мы большую часть наших выписок заимствовали из предисловия к речам Гегеля, писанного не Белинским, а одним из тогдашних его друзей, потому что тогда все эти люди писали совершенно в одном и том же духе: разница была только в том, что одни умели писать лучше других, но все, что говорил Белинский, говорили все друзья Станкевича, и, наоборот, Белинский высказывал только то, в чем одинаково были убеждены все. Так продолжалось до приезда Белинского в Петербург. Тут вскоре он сделался совершенно самобытен, и теперь мы должны говорить уже не об общей деятельности прежнего кружка, которого Белинский был только представителем, а о личной деятельности Белинского, ставшего во главе нашего литературного движения и управлявшего этим движением в союзе с новыми сподвижниками, присоединившимися к нему не по духу какого-нибудь кружка, а по самобытному стремлению к одинаковым целям, с сохранением личных особенностей натуры каждого из союзников.

В Москве Белинский, подобно своим друзьям, был совершенно погружен в теоретические умствования и обращал очень мало внимания на то, что делается в действительной жизни. Он твердил, что действительность значительнее всех мечтаний, но, подобно своим друзьям, смотрел на действительность глазами идеалиста, не столько изучал ее, сколько переносил в нее свой идеал, и верил, что идеал этот имеет себе соответствие в нашей действительности, что, по крайней мере, важнейшие элементы действительности сходны с теми идеалами, какие найдены для них в системе Гегеля. Петербург, как известно всем пережившим идеалистический период воззрений, нимало не удобен для сохранения таких мечтаний. В Петербурге действительная жизнь настолько шумна, беспокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ее сущности, трудно не разубедиться в том, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы, трудно остаться идеалистом. Петербург, с обыною своею готовностью услужить новому жителю всеми возможными

разочарованиями, не замедлил доставить Белинскому обильные материалы для поверки благосклонных к действительности выводов гегелевой системы и внушить ему, что филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого сходства с русскою жизнью. Пришлось отказаться от уверенности, что гегелевы построения — верные изображения действительной жизни, пришлось критически посмотреть и на действительность и на гегелеву систему*. Результатом этой поверки было, для теоретических убеждений — очищение принципов Гегеля от их односторонности, отвержение фальшивого содержания, прилепленного к ним, и вывод новых следствий, в духе строгой современной науки; для жизненных стремлений — отвержение прежнего квиэтизма, разрушаемого действительностью, сохранение высокого убеждения, что разум и правда должны и будут владычествовать в жизни, хотя мы далеки еще от этого времени. Белинский убедился, что действительность включает в себе очень много ложных и вредных элементов и, посвятив всю свою деятельность водворению в жизни владычества ума и правды, начал неутомимую, беспощадную борьбу со всем, что препятствовало достижению этой цели. Для такой живой натуры, как Белинский, переход от абстрактной идеальности, доводившей до квиэтизма и апатии, к живому понятию о действительности был естествен и легок. Система Гегеля на некоторое время увлекла его своим величием, и мы старались показать, что увлечение оправдывалось новостью и глубиной истин, заключавшихся в ее основных идеях; но никогда не удовлетворяла она его своим положительным содержанием, он всегда рвался вперед, негодуя на стеснительное бесстрашие Гегеля, всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей живой натуры. Таково же было отношение к Гегелю и других сильных людей между друзьями Станкевича. Из выписок, нами приведенных, можно видеть, чем особенно увлекались они в системе Гегеля, почему особенно дорожили ею. В каждом теоре-

* «Москвич очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! Петербург, в этом отношении, пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлекся водоворотом призрачной жизни, умел сберечь и душу и сердце не на счет здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь донкихотству, — тому смело можете вы протянуть руку, как человеку. Петербург имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности, — и вы остаётесь, может быть, с тяжёлою грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого... Что мечты! самые обольстительные из них не стоят в глазах дельного (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина, и притом плодотворная в будущем...» (Статья Белинского «Москва и Петербург» в «Физиологии Петербурга»).

тическом учении соединяются две стороны: отвлеченное понятие об истине и отношение этого знания к живой деятельности. Гегель ставит знание первою, почти исключительною целью своей системы; следствия этого знания для жизни стоят у него на втором плане. Этот порядок с самого же начала был изменен сильнейшими из друзей Станкевича; они с самого начала говорили: «философия Гегеля благодетельна для жизни, потому надобно изучать истины, ею открываемые» — ясно, что действительная жизнь стоит для них на первом плане, отвлеченное знание имеет уже только второстепенную важность. Люди с такими натурами не могли долго удовлетворяться системою Гегеля: тем или другим путем, они должны были выйти из зависимости от нее, — и, действительно, вышли, кто тем, кто другим путем. Нас здесь занимает Белинский, и мы видели, что его вывело из безусловного поклонения Гегелю ближайшее знакомство с действительностью, быть двигателем которой всегда стремился и был назначен он.

Прежние споры в Москве с друзьями г. Огарева также имели свою долю участия в расширении взглядов Белинского. Правда, во время самых споров никакие возражения не могли нимало поколебать его веры в безусловную справедливость выводов, представляемых системою Гегеля; напротив, как то всегда бывает с людьми сильными и бесстрашными в своей последовательности, споры только утвердили его в прежнем образе мнений, заставили его быть еще последовательнее и строже в своих понятиях, внушили ему сильнейшее желание настаивать на них и доказывать неосновательность всех сомнений в том, что казалось ему истинною. Некоторые из статей, напечатанных Белинским тотчас по переезде в Петербург, написаны под влиянием этого полемического одушевления, и мнения, принадлежавшие всем сотрудникам «Московского наблюдателя», доведены в этих статьях, которые помещены были в «Отечественных записках», до крайности, возбудившей изумление и объясняемой только их полемическим происхождением¹²². Но важно было уже то, что возражения, предложенные Белинскому его московскими противниками, сильно занимали его, не были им забыты. Когда первые порывы полемики миновались, когда сближение с действительною жизнью начало изобличать односторонность прежнего отвлеченного идеализма, Белинский должен был беспристрастнее взглянуть на мнения своих бывших противников, еще так недавно отвергнутые им с высоты идеалистических воззрений. Он увидел, что эти понятия, казавшиеся безусловному последователю системы Гегеля узкими и поверхностными, гораздо лучше выдерживают проверку фактами, нежели выводы, предлагаемые гегелевою философиею, и что мыслящий человек ничего иного, кроме этих понятий, не может вывести из жизни. Деятели умственного мира разделяются на два класса: одним истина неприятна, если она прежде их высказана кем-нибудь другим, — они готовы брать

привилегию на свои мысли, вероятно, по сознанию того, что производительность их в этом отношении слаба, — другие заботятся только об истине, не считая нужным заботиться о привилегиях, — вероятно, потому, что чужды опасения оскудеть умом и обеднеть мыслями; одни не любят отказываться от своих ошибок, — вероятно, по сознанию того, что все их претензии — самолюбивая ошибка; другие чужды этой щепетильности, потому что истина всегда лежала в основании их стремлений. Белинский принадлежал ко вторым. Он при первом же случае с обычною своею прямою признался, что Петербург научил его ценить воззрения на действительность, о которых прежде он не хотел знать, и что в тех вопросах, о которых шли некогда споры, правда была на стороне людей, отвергавших выводы гегелевой системы, как несообразные с фактами действительной жизни.

Таким образом, исчезли причины разделения, еще незадолго до того времени бывшие препятствием дружному действию лучших людей молодого поколения. Одни, прежде не обращавшие внимания на немецкую философию, сделались теперь ревностными последователями ее, найдя в ее принципах твердое основание для убеждений, которые были приобретены изучением новой истории и современного быта. Представитель другого направления в литературном движении, Белинский, был приведен наблюдением действительности к различению справедливых начал гегелевой философии от ее односторонних выводов, увидел чрезвычайную важность тех вопросов, на которые в кругу Станкевича обращали слишком мало внимания, и удержал из гегелевой системы только те убеждения, которые выдержали проверку живыми явлениями действительности. Все даровитейшие из бывшего круга Станкевича последовали за ним, если не вышли на ту же дорогу самостоятельно*. Односторонность обоих направлений совершенно сгладилась.

При таком единстве понятий и стремлений должны были сблизиться и люди. Около этого времени возвратился из-за границы Грановский. Чем Станкевич был для своего круга, тем он стал равно для друзей Станкевича и г. Огарева. Грановского невозможно было не полюбить всею душою каждому благородному человеку. Все, что было в Москве благороднейшего между людьми молодого поколения, соединилось вокруг него. Где был Грановский, там могло быть только одно чувство — чувство

* Читатель понимает, что, говоря здесь исключительно о литературном движении, мы не имеем права упоминать о людях иначе, как по отношениям их к литературе. Без сомнения, в тогдашнем русском обществе на различных поприщах деятельности было много людей, замечательных не менее Белинского; положим, что были такие люди и в кругу Станкевича. Но читатель согласится, что мы можем называть представителем этого круга только Белинского¹²³. Мы вовсе не имеем охоты возвышать Белинского насчет кого бы то ни было — он в том вовсе не нуждается — а только излагаем его литературную деятельность.

братства. Помощником его в этом деле был г. Огарев. Скоро их влиянию подчинились и те, которые жили в Петербурге и провинциях.

Влиянием Грановского, Белинского и других, присоединились к их литературному кругу почти все даровитые люди молодого поколения, уже действовавшие в литературе или выступавшие на этот путь.

Таким образом, из прежних дружеских кругов Станкевича и г. Огарева, с присоединением новых деятелей, составилось одно большое литературное общество, главным органом которого в литературе, до начала нашего журнала, были «Отечественные записки» (с 1840, особенно 1841 до 1846 года); главным действующим в «Отечественных записках» того времени был Белинский. С ним достойным образом разделяли с самого начала честь быть распространителями новых и здравых идей в русской публике некоторые другие люди, о которых мы отчасти уже упомянули, отчасти надеемся сказать, — именно, кроме Грановского, г. Галахов, г. Катков, г. Кетчер, г. Корш, г. Кудрявцев, г. Огарев и другие. Станкевич умер еще до начала этого слияния, Ключников и Кольцов пережили Станкевича лишь немногими годами ¹²⁴, как и Лермонтов, который самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению, и только потому, что последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей. Потери эти были вознаграждены присоединением новых людей, которые или примкнули к Белинскому, Грановскому, г. Огареву, или были воспитаны их влиянием. Из них надобно назвать, между прочим, г. Анненкова, г. Григоровича, г. Кавелина, покойных Кронеберга и В. Милютина, г. Некрасова, г. Панаева и г. Тургенева. Более или менее примыкали к тому же кругу или воспитывались влиянием Белинского или Грановского почти все без исключения даровитые люди нового поколения. Г. Краевский, как редактор журнала, служившего органом деятельности Белинского, Грановского, г. Огарева и их друзей, занял очень почетное место в русской литературе, которая, мы с удовольствием можем сказать это, многим обязана ему была в это время, за то, что он предоставил Белинскому в своем журнале положение соответствующее в литературном отношении с преобладающею важностью этого лица для журнала.

Около того же самого времени, когда произошло у нас соединение односторонних направлений в одну общую, всеобъемлющую систему воззрений, подобное явление происходило и в Европе. Немецкие ученые начали сознавать, что жизнь имеет свои права не только над деятельностью, но и над наукою; французские ученые и литераторы стали понимать необходимость глубоко исследовать общие понятия, о которых до того времени мало заботились. В той и другой стране прежние односторонние уче-

ния стали уступать место новым идеям, которые уже не принадлежали исключительно тому или другому народу, а равно были собственностью каждого истинно-современного человека, в какой бы стране он ни родился, на каком бы языке ни писал. Такое направление умов во всех странах образованного мира к одинаковым воззрениям на все существенные вопросы служило сильною поддержкою единства стремлений у всех истинно-современных людей в каждой стране. Так и у нас, изучением новых явлений, возникавших в умственной жизни главных народов Западной Европы и, при всем различии своего происхождения и формы, проникнутых совершенно одним и тем же духом, укреплялось единство понятий, которыми связывались люди с современным образом мыслей.

Но единство понятий и людей у нас только укреплялось, а не рождено было внешними влияниями. Деятели, стоявшие тогда во главе нашего умственного движения, конечно, ободрялись тем, что согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от каких посторонних авторитетов в своих понятиях. Мы уже говорили, что тот прогресс в понятиях, который сгладил прежнюю разрозненность, совершился у нас самостоятельным образом. Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие — в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.

Белинский и главнейшие из его сподвижников стали людьми вполне самостоятельными в умственном отношении.

Этот факт — самостоятельность, которой достигла русская мысль в Белинском и главных его сподвижниках, интересен не потому только, что приятен для нашей народной гордости: он важен в истории наших литературных мнений потому, что им объясняются некоторые отличительные качества трудов Белинского и его союзников, — качества, которых прежде не имела наша критика; им отчасти объясняется и быстрое распространение литературных мнений Белинского в нашей публике.

Человек, мысль которого достигла самостоятельности, определительностью своих понятий и верностью их приложения всегда превосходит тех людей, которые следуют чужим понятиям, не будучи в состоянии подвергнуть критике принципы, которых держатся. До Белинского наша критика была отражением то французских, то немецких теорий, потому вовсе не имела ясности и определительности в своих основных воззрениях, а при оценке существенного смысла и достоинства литературных явлений, если

высказывала много верного, то почти всегда или оставляла многое недосказанным, или примешивала к верным замечаниям странные недоразумения. Вообще, мнения лучших критиков, предшествовавших Белинскому, очень скоро, в течение каких-нибудь пяти-шести лет, оказывались устаревшими, неосновательными или односторонними. Так, «Телеграф» был основан в 1825 году, а в 1829 году человек, читавший статьи Надеждина в «Вестнике Европы», уже не мог без улыбки думать о «высших взглядах» Полевого, не мог не убедиться, что Полевой слишком неудовлетворительно понимал значение важнейших явлений в современной ему русской литературе. Суждения самого Надеждина представляют странный хаос, ужасную смесь чрезвычайно верных и умных замечаний с мнениями, которых невозможно защищать, так что часто одна половина статьи разрушается другою половиною. Напротив, суждения Белинского до сих пор сохраняют всю свою цену, и верность их вообще такова, что люди, восстававшие против него, почти всегда правы были только в том, что заимствовали у него же самого. В последние годы у нас много говорили о неудовлетворительности понятий Белинского; в числе этих эпигонов, воображавших, что пошли далее Белинского, были люди умные и даровитые; но нужно только сравнить их статьи с статьями Белинского, и каждый убедится, что все эти люди живут только тем, чего наслушались от Белинского: они толкуют вечно только о том же самом, что говорил Белинский, и если толкуют иначе, так это только потому, что вдаются или в односторонность, или в очевидное пристрастие. Со времени Белинского материалы для истории литературы деятельно разрабатываются; но вообще, каждое новое исследование ведет только к новому подтверждению суждений, высказанных им.

Самостоятельность его мысли была также одною из главных причин сочувствия, с которым принимались его мнения. Слабая сторона людей, повторяющих чужие мысли, состоит в том, что большею частью они толкуют о предметах, не возбуждающих интереса в публике. Правда всегда правда, но не всякая правда везде и всегда равно важна и равно способна возбудить внимание: у каждого века, у каждого народа есть свои потребности; то, что интересно немцу, часто бывает вовсе не интересно французам или русскому, потому что не имеет прямого отношения к потребностям его жизни. Надобно говорить о том, что нужно нашей публике в наше время. Прежде наша литература слишком часто говорила о предметах, имеющих для нас слишком мало интереса, служа не столько выразительницею наших собственных мыслей, не столько разрешительницею наших собственных недоумений, сколько отголоском чужих суждений о чуждых нам делах. Белинский всегда говорил о том, что слышать нужно и интересно было именно той публике, которой он говорил.

В следующей статье нам должно будет излагать его деятель-

ность в поре зрелого развития. Характеризуя литературные воззрения Белинского, мы будем обращать главное наше внимание на его позднейшие статьи, потому что до самой смерти своей этот человек шел вперед, и чем далее, тем полнее и точнее выражались его мысли; и, конечно, мы должны будем принимать в основание своих соображений самое зрелое их выражение. Но прежде нам остается обозначить путь, которым шло развитие его воззрений с того времени, как начали появляться его статьи в «Отечественных записках», до той высоты, на которой застигнут он был смертью. В нескольких словах существеннейшая черта развития критики Белинского с 1840 года может быть определена так:

Критика Белинского все более и более проникалась живыми интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явления этой жизни, все решительнее и решительнее стремилась к тому, чтобы объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляющих ее развитием.

С каждым годом в статьях Белинского мы находим все менее и менее рассуждений об отвлеченных предметах или хотя о живых предметах, но с отвлеченной точки зрения; все решительнее и решительнее становится преобладание элементов, данных жизнью¹²⁶.

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ

Путь развития, которым шла критика Белинского в «Отечественных записках» и «Современнике», определяется тою существенной чертою, что она все более и более проникалась живыми интересами нашей действительности и вследствие того становилась все более и более положительною. В примечании мы приводим несколько мест из последних статей Белинского, выражающих самые зрелые и точные понятия его о том, какую преобладающую важность должна иметь действительность в умственной и нравственной жизни, главным органом которой до последнего времени была (и до сих пор остается) у нас литература, а здесь скажем несколько [слов] о том, как надобно понимать «действительность» и «положительность», которым, по современным понятиям, должно принадлежать такое важное значение во всех отраслях и умственной и нравственной деятельности *.

* «Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и в более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости». («Взгляд на русскую литературу 1846 г.», «Современник», 1847, № 1, Критика, стр. 1.) — Итак; зрелость измеряется степенью близости к действительности.

«Понятие о действительности совершенно новое», — говорит Белинский («Современник», 1847, № 1, Критика, стр. 18), — и, в самом деле, оно определилось и вошло в науку очень недавно, именно с того времени, как объяснены были современными нам мыслителями темные намеки трансцендентальной философии, признававшей истину только в конкретном осуществлении. Как и все верховные истины современной науки, этот взгляд на действительность очень прост, но чрезвычайно плодотворен.

Были времена, когда мечты фантазии ставились гораздо выше того, что представляет жизнь, и когда сила фантазии считалась беспредельною. Но современные мыслители внимательнее прежнего рассмотрели этот вопрос и дошли до результатов, совершенно противоположных прежним мнениям, которые оказались решительно не выдерживающими критики. Сила нашей фантазии чрезвычайно ограничена, и создания ее очень бледны и слабы в сравнении с тем, что представляет действительность. Самое пылкое воображение подавляется представлением о миллионах миль, отделяющих землю от солнца, о чрезвычайной быстроте света и электрического тока; самые идеальные фигуры Рафаэля оказались портретами с живых людей; самые уродливые создания мифологии и народных суеверий оказались далеко не столь непохожими на окружающих нас животных, как чудовища, открытые естествоиспытателями; историею и внимательным наблюдением современного быта доказано было, что живые люди, даже вовсе не принадлежащие к числу отъявленных извергов или героев добродетели, совершают преступления, гораздо ужаснейшие, и подвиги, гораздо более возвышенные, нежели все, что было выдуманно поэтами. Фантазия должна была смириться перед действительностью; мало того: принуждена была сознаться, что мнимые создания ее только копии с того, что представляется явлениями действительности.

«Все движение русской литературы (до Пушкина) заключалось в стремлении сблизиться с жизнью, с действительностью». (Там же, стр. 4.) — Итак, цель литературного движения есть действительность.

«В отношении к искусству, поэзии, творчеству литература наша всего ближе к той зрелости и возмужалости, речью о которых начали мы эту статью. Так называемую натуральную школу нельзя упрекнуть в риторике, разумея под этим словом вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни... Не в талантах, не в числе их мы видим собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере писать. Таланты были всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, т. е. изображали несуществующее, рассказывали о небывалом; а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила важное значение в глазах общества». (Там же, стр. 10.) — Итак, положительности противно фальшивое идеализирование; искусство достигает зрелости тогда, когда воспроизводит жизнь и действительность в их истине.

«Вместо того, чтобы думать о невозможном, гораздо лучше, признав неотразимую и неизменную (т. е. не подчиняющуюся фантазиям) действи-

Но явления действительности чрезвычайно разнородны и разнообразны. Она представляет много такого, что сообразно с желаниями и потребностями человека, и много такого, что решительно противоречит им. Прежде, когда пренебрегали действительностью, слишком гордясь фантастическими богатствами, полагали, что переделать действительность по фантастическим мечтам очень легко. Но, когда фантастическая гордость смирилась, ученые и поэты должны были убедиться в том, что всегда было ясно в практической жизни для людей, одаренных здравым смыслом. Сам по себе, человек очень слаб; всю свою силу заимствует он только от знания действительной жизни и умения пользоваться силами неразумной природы и врожденными, независимыми от человека качествами человеческой натуры. Действуя сообразно с законами природы и души и при помощи их, человек может постепенно видоизменять те явления действительности, которые несообразны с его стремлениями, и таким образом постепенно достигать очень значительных успехов в деле улучшения своей жизни и исполнения своих желаний.

Но не всякие желания находят себе пособие в действительности. Многие противоречат законам природы и человеческой натуры; ни философского камня, который бы обращал все металлы в золото, ни жизненного элексира, который бы навеки сохранял нам юность, невозможно добыть из природы; напрасны и все наши требования, чтобы люди отказались от эгоизма, от страстей:

тельность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями». (Там же, стр. 14.)

«Важность теоретических вопросов зависит от их отношений к действительности... У себя, в себе, вокруг себя — вот где мы должны искать и вопросов, и их решения. Это направление будет плодотворно». (Там же, стр. 28.)

«Жаль, что источник вдохновения этого таланта (одного из поэтов, которого стихотворения были изданы в 1846 году) не жизнь, а мечта, и что поэтому он не имеет никакого отношения к жизни и беден поэзией... На высоте, куда ему так хочется, и пусто, и холодно, и нет воздуха для дыхания. То ли дело земля! на ней нам и светло, и тепло, на ней все наше и понятно нам, на ней наша жизнь и наша поэзия. Зато кто отверачивается от нее, не умея понимать ее, тот не может быть поэтом и может ловить в холодной пустоте одни холодные и пустые фразы». (Там же, стр. 31.)

«Литература наша... постоянно стремилась из риторической сделаться естественною, натуральною. Это стремление, озаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл, и душу истории нашей литературы. И мы, не обвиняясь, скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Это великая заслуга со стороны Гоголя, этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из (прежних) поэтов русских можно, хотя и с натяжкой, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства — как воспроизведение действительности во всей ее истине». («Взгляд на русскую литературу 1847 г.», «Современник», 1848, № 1, Критика, стр. 17).

человеческая натура не подчиняется таким, повидимому, превосходным требованиям.

Это обстоятельство, полагающее очевидную разницу между нашими желаниями, заставило пристальнее всмотреться в те из них, достижению которых отказываются служить природа и люди с здравым смыслом — в самом ли деле необходимо для человека исполнение таких желаний? Очевидно, нет, потому что он, как мы видим, и живет и даже, при благоприятных обстоятельствах, бывает очень счастлив, не обладая ни философским камнем, ни жизненным эликсиром, ни теми очаровательными благами и качествами, какими манит его волшебство фантазии, заносящейся за облака. А если человек может обходиться, как показывает жизнь, без этих благ, которые выставляются фантазиею, будто необходимые для него, — если обнаружилось уже, что она обманула человека в отношении необходимости, то нельзя было не заподозрить ее и с другой стороны: действительно ли приятно было бы человеку исполнение тех мечтаний, которые противоречат законам внешней природы и его собственной натуры? И при внимательном наблюдении оказалось, что исполнение таких желаний не вело бы ни к чему, кроме недовольства или мучений; оказалось, что все ненатуральное вредно и тяжело для человека, и что нравственно здоровый человек, инстинктивно чувствуя это, вовсе не желает в действительности осуществления тех мечтаний, которыми забавляется праздная фантазия.

Как найдено было, что мечты фантазии не имеют ценности для жизни, точно так же найдено было, что не имеют значения для жизни многие надежды, внушаемые фантазиею.

Прочное наслаждение дается человеку только действительностью; серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею.

Достичь до такого убеждения и действовать сообразно с ним значит сделаться человеком положительным.

Но часто те самые, которые воображают себя людьми положительными, заблуждаются в этом высоком мнении о себе самым жестоким и постыдным образом, впадая в особенного рода фантазерство именно по узкости своих понятий о действительности.

Например, несправедливо было бы считать положительным человеком холодного эгоиста. Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастьем окружающих нас людей и огорчаться их страданиями) так же врождены человеку, как и эгоизм. Кто действует исключительно по расчетам эгоизма, тот действует наперекор человеческой природе, подавляет в себе врожденные и неискоренимые потребности. Он в своем роде та-

кой же фантазер, как и тот, кто мечтает о заоблачных самоотвержениях; разница только в том, что один — злой фантазер, другой — притворный фантазер, но оба они сходны в том, что счастье для них недостижимо, что они вредны и для себя и для других. Голодный человек, конечно, не может чувствовать себя хорошо; но и сытый человек не чувствует себя хорошо, когда вокруг него раздаются несносные для человеческого сердца стоны голодных. Искать счастья в эгоизме — ненатурально, и участь эгоиста нисколько не завидна: он урод, а быть уродом неудобно и неприятно.

Точно так же вовсе нельзя назвать положительным и того человека, который, поняв, что силы придаются человеку только действительностью и прочные наслаждения доставляются только ею, вздумал бы объявлять, что нет в действительности таких явлений, которые нужно и возможно человеку изменить, что в действительности все приятно и хорошо для человека, и что он совершенно бессилен перед каждым фактом: это опять своего рода фантазерство, столь же нелепое, как и мечты о воздушных замках. Равно ошибается человек, который хлопочет о замещении обыкновенной здоровой пищи амвросиею и нектаром, и тот, который утверждает, что всякая пища вкусна и здорова для человека, что в природе нет ядовитых растений, что пустые щи с лебедью хороши, что невозможно очищать полей от камней и бурьяна, чтобы засеять пшеницею, что не должно и невозможно очищать пшеницу от плевел.

Все эти люди — одинаковые фантазеры, потому что одинаково увлекаются одностороннею крайностью, одинаково отвергают очевидные факты, одинаково хотят нарушать законы природы и человеческой жизни. Нерон, Калигула, Тиверий были так же близки к сумасшествию, как рыцарь Тоггенбург¹²⁶ и индийский факир Вителлий, который объедался до того, что каждый день должен был прибегать к помощи рвотного, терпел от желудка не меньше мучений, нежели терпит человек, не имеющий сытного обеда. Развратник точно так же лишен лучших наслаждений жизни, как и кастрат. Положительного в жизни всех этих людей очень мало. Положителен только тот, кто хочет быть вполне человеком: заботясь о собственном благосостоянии, любит и других людей (потому что одинокого счастья нет); отказываясь от мечтаний, несообразных с законами природы, не отказывается от полезной деятельности; находя многое в действительности прекрасным, не отрицает также, что многое в ней дурно, и стремится, при помощи благоприятных человеку сил и обстоятельств, бороться против того, что неблагоприятно человеческому счастью. Положительным человеком в истинном смысле слова может быть только человек любящий и благородный. В ком от природы нет любви и благородства, тот жалкий урод, шекспиров Калибан¹²⁷, недостойный имени человеческо-

го, — но таких людей очень мало, может быть, вовсе нет; в ком обстоятельства убивают любовь и благородство, тот человек жалкий, несчастный, нравственно больной; кто преднамеренно подавляет в себе эти чувства, тот фантазер, чуждый положительности и противоречащий законам действительной жизни.

По отвержении фантазерства, требования и надежды человека делаются очень умеренными; он становится снисходителен и отличается терпимостью, потому что излишняя взыскательность и фанатизм — порождения болезненной фантазии. Но из этого вовсе не следует, чтобы положительность ослабляла силу чувства и энергию требований, — напротив, те чувства и требования, которые вызываются и поддерживаются действительностью, гораздо сильнее всех фантастических стремлений и надежд: человек, мечтающий о воздушных замках, и в сотую долю не так сильно занят своими слишком радужными мечтами, как человек, заботящийся о постройке для себя скромного (лишь бы только уютного) домика, занят мыслью об этом домике. О том уж нечего и говорить, что мечтатель обыкновенно проводит время лежа на боку, а человек, одушевленный рассудительным желанием, трудится без отдыха для его осуществления. Чем действительнее и положительнее стремления человека, тем энергичнее борется он с обстоятельствами, препятствующими их осуществлению. И любовь и ненависть даются и возбуждаются в высшей степени теми предметами, которые принадлежат к области действительной жизни. Фантастическая Елена, при всей своей невообразимой красоте, не возбуждает в здоровом человеке и слабей тени того чувства, которое возбуждается действительной женщиною, даже не принадлежащею к числу блистательных красавиц. С другой стороны, зверства каннибалов, о которых мы, к счастью, знаем только по слухам, далеко не в такой степени волнуют нас, как довольно невинные в сравнении с ними подвиги Сквозников-Дмухановских и Чичиковых, совершаемые в наших глазах.

Белинский был человек сильный и решительный; он говорил очень энергично, с чрезвычайным одушевлением, но нелепою ошибкою было бы называть его, как то делали, бывало, иные, человеком неумеренным в требованиях или надеждах. Те и другие имели у него основание в потребностях и обстоятельствах нашей деятельности, потому, при всей своей силе, были очень умеренны. Нас здесь занимает русская литература, потому будем говорить о ней. Белинский восхищался «Ревизором» и «Мертвыми душами». Подумаем хорошенько, мог ли бы восхищаться этими произведениями человек, неумеренный в своих желаниях? Неужели, в самом деле, сарказм Гоголя не знает никаких границ? Напротив, стоит вспомнить хотя о Диккенсе, не говоря уже о французских писателях прошлого века, и мы должны будем признать, что сарказм Гоголя очень скромен и ограничен. Белин-

ский желал развития нашей литературе, — но какими пределами ограничивались его требования и надежды? Требовал ли он, чтоб наша литература при наших глазах стала так же глубока и богата, как, например, современная французская или английская (хотя и та и другая далеки от совершенства)? Вовсе нет: он прямо говорил, что в настоящее время нечего об этом думать, как о вещи невозможной; очень хорошо, по его мнению, было уж и то, что наша литература становится сколько-нибудь похожа в самом деле на литературу; успехи, ею совершаемые, были, по его мнению, очень быстры и похвальны; он постоянно радовался этой скорости нашего развития, а ведь, по правде говоря, быстрота эта была таки довольно медленная: и в 1846 и 1856 году мы еще далеки от этой «зрелости», к которой стремимся. Да, Белинский был человек очень терпеливый и умеренный. Примеров тому можно найти множество: они на каждой странице его статей. — Напрасно также было бы воображать его критиком слишком строгим; напротив, он был очень снисходителен. Правда, он был одарен чрезвычайно верным и тонким вкусом, не мог не замечать недостатков и высказывал о них свое мнение без всяких пустых прикрас; но если хотя какое-нибудь положительное достоинство находилось в разбираемом произведении, он готов был за это достоинство извинять ему все недостатки, для которых существует хотя какое-нибудь извинение. Едва ли у кого из русских критиков было и столько терпимости к чужим мнениям, как у него: лишь бы только убеждения не были совершенно нелепы [и вредны], он всегда говорил о них с уважением, как бы ни разнились они от его собственных убеждений. Примеров тому множество. Укажем на один, о котором придется нам говорить — на полемику его с славянофилами, в которой со стороны Белинского постоянно было гораздо больше доброжелательства, нежели со стороны его противников. Он даже видел утешительное явление в том, что число приверженцев этой школы увеличивается. (Белинский, впрочем, ошибся в этом случае: ныне оказалось, что славянофильство лишено способности привлекать последователей.) Точно так же он с полною готовностью признавал все достоинства произведений словесности, которые были написаны не в том духе, какой казался ему сообразнейшим с потребностью нашей литературы, лишь бы только эти произведения имели положительное достоинство. Для примера напомним его отзыв о романе г. Гончарова «Обыкновенная история». В приложении к настоящей статье мы поместили отрывок из последнего обзора русской литературы, написанного Белинским. Он припомнит читателям, что Белинский не признавал «чистого искусства» и поставлял обязанностью искусства служение интересам жизни. А между тем, он в том же самом разборе с равным благорасположением говорит о романе г. Гончарова, в котором видит исключительное стремление к так называемому

чистому искусству, и о другом романе, явившемся около того времени, написанном в духе, который наиболее нравился Белинскому¹²⁸; он даже более снисходителен к «Обыкновенной истории». Можно также припомнить, с каким чрезвычайным сочувствием говорил всегда Белинский о Пушкине, хотя совершенно не разделял его понятий. Но бесполезно увеличивать число этих примеров, которых множество представляется каждому, сохранившему отчетливое воспоминание о статьях Белинского.

Мнение, будто бы Белинский не очень был умерен в своих понятиях или сурово преследовал всякий образ мыслей, несогласный с его собственным, решительно несправедливо. В этом каждому легко убедиться, просмотрев несколько его статей. Фанатики у нас в литературе было довольно много; но Белинский не только не имел никакого сходства с ними, а, напротив, постоянно вел с ними самую упорную борьбу, какого бы цвета ни был их фанатизм, к какой бы партии ни принадлежали они, — даже фанатиков так называемой «тенденции» он осуждал так же строго, как и фанатиков противоположного направления. [Для примера довольно вспомнить о том, как положительно выразил он свое неодобрение собраниям произведений двух молодых поэтов тогдашнего времени, которые пели о том, как «воспрянет человечество, плачущее кровавыми слезами» и о том, как надобно «карать жрецов лжи».]*

Отчего же могло возникнуть мнение, будто Белинский не был человеком очень умеренных мыслей о нашей литературе и связанных с нею вопросах, между тем как чтение его статей неопровержимо убедит каждого, что он понимал вещи не иначе, как их вообще понимают почти все здравомыслящие люди в наше время? Тут надобно многое приписать неосновательным обвинениям, какие взводились на него личными его противниками, которых самолюбие было оскорблено его критикою: его называли они человеком неумеренным по тем же самым побуждениям и точно с такою же основательностью, как и твердили о нем, будто бы он нападал на старых наших писателей, тогда как, напротив, он восстанавливал их славу. Но этими личными и мелочными расчетами нельзя ограничить поводов, по которым возникло мнение, признаваемое нами несправедливым.

Требования Белинского были очень умеренны, но тверды и последовательны, высказывались с одушевлением, энергически. Нет надобности говорить, что самые резкие суждения могут быть прикрываемы цветистыми фразами. Белинский, человек прямого и решительного характера, пренебрегал этою хитростью.

* Мы говорим об умеренности Белинского не для того, чтобы хвалить или осуждать его, а просто потому, что умеренность это факт очень важный и неоспоримый, а между тем, слишком часто опускаемый из виду при суждениях о Белинском.

Он писал так, как думал, заботясь только о правде и употребляя именно те слова, которые точнее выражали его мысль. Дурное он прямо называл дурным, не прикрывая своего суждения дипломатическими оговорками и двусмысленными намеками. Потому людям, которым всякое правдивое слово кажется жестким, как бы ни было оно умеренно, мнения Белинского казались резкими: что делать, многие прямо считают всегда резкостью. Но те, которые понимают смысл читаемого, очень хорошо всегда понимали, что желания и надежды Белинского были очень скромны. Вообще, он не требовал ничего такого, что не казалось бы совершенною необходимостью для каждого человека с развитым умом. Этим и объясняется сильное сочувствие ему в публике, которая у нас вообще очень скромна в своих желаниях.

В спорах с противниками Белинский не имел привычки уступать, и в полемике, которую он вел, не было ни одного случая, когда спор не кончался бы совершенным поражением противника во всех пунктах; ни один литературный спор не оканчивался без того, чтобы противник Белинского не терял совершенно уважения лучшей части публики. Но должно только припомнить, с какими мнениями вел он борьбу, и надобно будет признаться, что иначе спор не мог кончаться. Белинский спорил только против мнений, положительно вредных и решительно ошибочных: нельзя указать ни одного случая, когда бы он считал нужным восставать против убеждений, которые были безвредны или не нелепы. Стало быть, вовсе не он, а его противники были виноваты в том, если полемика (обыкновенно начинаемая не Белинским) кончалась совершенным их поражением: зачем они защищали мнения, которых невозможно защищать и не должно защищать? Зачем они восставали против очевидных истин? Зачем они литературные вопросы так часто старались переносить в область юридических обвинений? Все случаи, когда Белинский вел упорную полемику, подводятся под одно определение: Белинский говорит, что $2 \times 2 = 4$; его за это обвиняют в невежестве, безвкусице и неблагонамеренности, намекая, что из провозглашаемого им парадокса — парадокс состоит в том, что $2 \times 2 = 4$ — например, в том, что произведения Пушкина по художественному достоинству выше произведений Державина, а «Герой нашего времени» выше «Брынского леса» или «Симеона Кирдяты»¹²⁹, — что из этого страшного парадокса произойдут самые пагубные последствия для русского языка, для отечественной литературы, и что — чего доброго! — всему миру грозит смертельная опасность от такой неосновательной и злонамеренной выдумки. При защите от таких нападений, конечно, невозможно было признавать, что на стороне нападающих есть хотя какая-нибудь частица справедливости. Если бы предметом их негодования выбиралось что-нибудь сомнительное, если бы замечались Белинскому какие-нибудь односторонности

или недосмотры, дело могло бы быть ведено иначе: Белинский, соглашаясь или не соглашаясь на замечания противников, охотно признавался бы, что их слова не совершенно лишены здравого смысла, что мнения их заслуживают уважения: когда он замечал свои ошибки, он не колебался сам первый обнаруживать их. Но что оставалось ему делать, когда, например, один из его противников возмущался отсутствием всяких убеждений в статьях Белинского, когда тот же самый противник утверждал, что Белинский пишет, сам не понимая смысла своих слов, — потом твердил, что Белинский заимствует у него свои понятия (когда дело было совершенно наоборот, что очевидно каждому при сличении старого «Москвитянина» с «Отечественными записками»), — когда другие восставали на Белинского за мнимое неуважение к Державину и Карамзину (которых он первый оценил), и т. д., — тут, при всей готовности быть уступчивым, невозможно было увидеть в замечаниях противников ни искры правды, и невозможно было не сказать, что они совершенно ошибочны. Таково же бывало положение дела, когда Белинский, в свою очередь, начинал полемику: мог ли он не говорить, что мнения, против которых он восстает, совершенно лишены всякого основания, когда эти мнения были такого рода: «Гоголь писатель без всякого таланта, — лучшее лицо в «Мертвых душах» кучер Чичикова Селифан, — гегелева философия заимствована из «Завещания» Владимира Мономаха, — писатели, подобные г. Тургеневу и г. Григоровичу, достойны сожаления потому, что берут содержание своих произведений не из русского быта, — Лермонтов был подражателем г. Бенедиктова и плохо владел стихом, — романы Диккенса произведения уродливой бездарности, — Пушкин был плохой писатель, — величайшие поэты нашего века Виктор Гюго и г. Хомяков, — г. Соловьев не имеет понятия о русской истории, — немцы должны быть истреблены, — VII глава «Евгения Онегина» есть рабское подражание одной из глав «Ивана Выжигина»¹³⁰, — лучшее произведение Гоголя его «Вечера на хуторе» (по мнению одних) или «Переписка с друзьями» (по мнению других), остальные же гораздо слабее, — Англия погибла около 1827 года, так что не осталось и следов ее существования, как не осталось следов платоновой Атлантиды, — Англия единственно живое государство в Западной Европе (мнение того же писателя, который открыл, что она погибла), — лукавый запад гниет, и мы должны поскорее обновить его мудростью Сковороды, — Византия должна быть нашим идеалом, — просвещение приносит вред»¹³¹ и т. д., и т. д. — Можно ли найти хотя какую-нибудь частицу правды в таких суждениях? Можно ли делать им уступки? Восставать против них значит ли обнаруживать дух нетерпимости? Когда одному из людей, воображающих себя учеными, и пользовавшемуся сильным влиянием в журнале, который имел своею специальностью борьбу против Белинского и

«Отечественных записок», вздумалось утверждать, что Галилей и Ньютон поставили астрономию на ложный путь¹³², неужели можно было бы вести с ними спор таким образом: «В ваших словах есть много справедливого; мы должны сознаться, что в прежних наших понятиях об астрономических законах были ошибки; но, соглашаясь с вами в главном, мы должны сказать, что некоторые подробности в ваших замечаниях кажутся нам не совсем ясны»; говорить таким образом значило бы изменять очевидной истине и делать себя предметом общей насмешки. Возможно ли было говорить таким тоном и о тех суждениях, образцы которых представили мы выше, и которые в своем роде ничуть не хуже опровержения ньютоновой теории? Нет, тут невозможно соединять отрицание с уступчивостью, потому что нет ни малейшей возможности открыть в словах противника что-нибудь похожее на правду. Относительно таких мнений нет середины: или надобно молчать о них, или прямо, без малейших уступок высказывать, что они лишены всякого основания. Разумеется, нападения на Галилея и Ньютона можно было оставить без внимания — не было опасности, чтобы кто-нибудь введен был ими в заблуждение. Но другие суждения не были так невинны — обнаружить их неосновательность было необходимо. Из того, что Белинский не видел возможности соглашаться, что Гоголь бездарный писатель, и пьяного Селифана должно считать представителем русской народности, следует ли заключать, что он не имел терпимости?

Люди, которые восставали против Белинского, нападали на истины слишком очевидные и важные; сам он восставал только против того, что было решительно нелепо и вредно; будучи человеком твердых убеждений и прямого характера, он высказывал свои мнения сильно.

Но кто смешивает эти качества с неумеренностью мнений, тот совершенно ошибается. Напротив, мнения Белинского высказывались с особенною силою именно потому, что, в сущности, были очень умеренны.

Сделав это необходимое замечание о характере общих воззрений Белинского, мы должны были бы теперь заняться вопросом о том, как он смотрел на отношения литературы к обществу и занимающим его интересам. Но в одной из последних статей своих сам Белинский высказал свои мнения об этом предмете с такою полнотою и точностью, что лучше всего будет представить в приложении к нашей статье его собственные слова. А здесь остается нам сделать только несколько замечаний, которые послужат объяснением к предлагаемому отрывку из статьи Белинского.

Мнения, которые так сильно и убедительно выражены Белинским в этом отрывке, совершенно противоположны идеям трансцендентальной философии, в особенности системы Гегеля, осно-

вывавшей все свое эстетическое учение на том принципе, что искусство имеет исключительным предметом своим осуществление идеи прекрасного; искусство, по этим идеалистическим понятиям, должно было сохранять совершенную независимость от всех других стремлений человека, кроме стремления к прекрасному. Такое искусство называлось чистым искусством.

И в этом случае, как почти во всех других, гегелева система останавливалась на половине пути и, отказываясь от строгого вывода последствий из своих коренных положений, допускала в себя устаревшие мысли, противоречившие этим положениям. Так, она говорила, что истина существует только в конкретных явлениях, а, между тем, в эстетике своей ставила верховною истинною идею прекрасного, как будто идея эта существует сама по себе, а не в живом действительном человеке. Это внутреннее противоречие, повторявшееся почти во всех других частях гегелевой системы, и послужило причиною ее неудовлетворительности. Действительно существует человек, а идея прекрасного есть только отвлеченное понятие об одном из его стремлений. А так как в человеке, живом органическом существе, все части и стремления неразрывно связаны друг с другом, то из этого и следует, что основывать теорию искусства на одной исключительной идее прекрасного, значит впадать в односторонность и строить теорию, несообразную с действительностью. В каждом человеческом действии принимают участие все стремления человеческой природы, хотя бы одно из них и являлось преимущественно заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится не отвлеченным стремлением к прекрасному (идеею прекрасного), а совокупным действием всех сил и способностей живого человека. А так как в человеческой жизни потребности, например, правды, любви и улучшения быта гораздо сильнее, нежели стремление к изящному, то искусство не только всегда служит до некоторой степени выражением этих потребностей (а не одной идеи прекрасного), но почти всегда произведения его (произведения человеческой жизни, этого нельзя забывать) создаются под преобладающими влияниями потребностей правды (теоретической или практической), любви и улучшения быта, так что стремление к прекрасному, по натуральному закону человеческого действия, является служителем этих и других сильных потребностей человеческой природы. Так всегда производились все создания искусства, замечательные по своему достоинству. Стремления, отвлеченные от действительной жизни, бессильны; потому, если когда стремление к прекрасному и усиливалось действовать отвлеченным образом (разрывая свою связь с другими стремлениями человеческой природы), то не могло произвести ничего замечательного даже и в художественном отношении. История не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеею прекрасного; если и бывают и бывали такие произ-

ведения, то не обращают на себя никакого внимания современников и забываются историею, как слишком слабые, — слабые даже и в художественном отношении.

Таков взгляд положительной науки, почерпавшей свои понятия из действительности. Орывок, представляемый нами в приложении, доказывает, что окончательный взгляд Белинского на искусство и литературу был совершенно таков. Он был уже совершенно чист от всякой фантастичности и отвлеченности.

Но мы видели, что сначала Белинский был страстным последователем гегелевой системы, сильную сторону которой составляет стремление к действительности и положительности (чем преимущественно и очаровывала она Белинского, как и всех сильных людей тогдашнего молодого поколения в Германии и отчасти у нас), а слабую сторону то, что это стремление остается неосуществленным, так что почти все содержание системы отвлеченно и недействительно. Вскоре после переезда своего в Петербург Белинский освободился от безусловного поклонения Гегелю; но мысль и исполнение, принцип и вывод следствий — два различные фазиса, всегда отделенные друг от друга долгим периодом развития. Сказать: «я понимаю, что действительность должна быть источником и мерилем наших понятий», и пересоздать все свои понятия на основании действительности — две вещи совершенно различные. Вторая задача, быть может, еще важнее первой и достигается только посредством продолжительного труда.

В петербургских журналах Белинский действовал около восьми лет. Следить за всеми постепенностями и подробностями развития его в это время значило бы анализировать все его статьи, — по крайней мере сто или полтораста важнейших. Но и того еще недостаточно: нужно было бы прибегать к помощи соображений, которые могут быть доставлены только подробною биографиею. А наши статьи приняли уже и без того объем, гораздо обширнейший, нежели мы предполагали, начиная их; собиранием биографических сведений замедлилось бы их окончание на неопределенное время; рассмотрение всего написанного Белинским требовало бы сотни и сотни страниц. Потому мы только в общих чертах обозначим главные два периода петербургской деятельности Белинского: в первой половине отвлеченный элемент в его статьях еще довольно силен; во второй половине он почти совершенно и под конец этой половины совершенно исчезает, и система положительных воззрений становится совершенно последовательною. Материалы для характеристики первого периода будут нам доставлены обзором содержания нескольких статей Белинского, написанных в первое время по приезде в Петербург; подробное рассмотрение последних его статей послужит средством сделать, по возможности, полный очерк окончательных его понятий о русской литературе; годовичные обзоры русской литера-

туры, являвшиеся постоянно с 1841 года, и статьи о Пушкине, которые писались в продолжение трех лет (1843—1846), будут соединительными звеньями между первым и вторым очерком. Таким образом, мы, не упустив из виду важнейших точек зрения, окончим первую часть наших «Очерков» до конца нынешнего года.

Для первой книжки «Отечественных записок» 1840 года Белинский написал разбор комедии Грибоедова, около того времени вышедшей вторым изданием. Статья эта принадлежит к числу самых удачных и блестящих. Она начинается изложением теории искусства, написанным исключительно с отвлеченной, ученой точки зрения, хотя [в нем и ведется сильная борьба против мечтательности, и] все оно проникнуто стремлением к действительности и сильными нападениями на фантазерство, презирающее действительность. Вот для примера отрывок, следующий за объяснением (совершенно еще в духе Гегеля), что «произведения поэзии суть высочайшая действительность»:

Есть люди, которые от всей души убеждены, что поэзия есть мечта, а не действительность, и что в наш век, как *положительный и индустриальный*, поэзия невозможна. Образцовое невежество! Нелепость первой величины! Что такое мечта? Призрак, форма без содержания, порождение расстроенного воображения, праздной головы, колобродствующего сердца! И такая мечтательность нашла поэтов в Ламартинах и свои поэтические произведения в идеально-чувствительных романах, вроде «Аббадонны»; но разве Ламартин поэт, а не мечта, — и разве «Аббадонна» поэтическое произведение, а не мечта? И что за жалкая, что за устарелая мысль о *положительности и индустриальности* нашего века, будто бы враждебных искусству? Разве не в нашем веке явились Байрон, Вальтер Скотт, Купер, Томас Мур, Уордсворт, Пушкин, Гоголь, Мицкевич, Гейне, Беранже, Эленшлагер, Тегнер и другие? Разве не в нашем веке действовали Шиллер и Гете? Разве не наш век оценил и понял создания классического искусства и Шекспира? Неужели это еще не факты? Индустриальность есть только одна сторона многостороннего XIX века, и она не помешала ни дойти поэзии до своего высочайшего развития в лице поименованных нами поэтов, ни музыке в лице ее Шекспира — Бетховена, ни философии в лице Фихте, Шеллинга и Гегеля. Правда, наш век враг мечты и мечтательности, но потому-то он и великий век! Мечтательность в XIX веке так же смешна, пошла и приторна, как и сантиментальность. *Действительность* — вот пароль и лозунг нашего века, действительность во всем — и в верованиях, и в науке, и в искусстве, и в жизни. Могучий, мужественный век, он не терпит ничего ложного, поддельного, слабого, расплывающегося, но любит одно мощное, крепкое, существенное. Он смело и бестрепетно выслушал безотрадные песни Байрона и, вместе с их мрачным певцом, лучше решил отречься от всякой радости и всякой надежды, нежели удовольствоваться нищенскими радостями и надеждами прошлого века. Он выдержал рассудочный критицизм Канта, рассудочное положение Фихте; он перестрадал с Шиллером все болезни внутреннего, субъективного духа, порывающегося к действительности путем отрицания. И зато в Шеллинге он увидел зарю бесконечной действительности, которая в учении Гегеля осияла мир роскошным и великолепным днем и которая еще прежде обоих великих мыслителей, непонятая, явилась непосредственно в созданиях Гете... («Отечественные записки», т. VIII, Критика, стр. 11—12.)

Хотя и говорится в этой статье постоянно, что поэзия нашего времени есть «поэзия действительности, поэзия жизни», но глав-

ною задачею новейшего искусства поставляется, однако же, задача, совершенно отвлеченная от жизни: «примирение романтического с классическим», потому что и вообще наш век есть «век примирения» во всех сферах. Самая действительность понимается еще односторонним образом: она обнимает собою только духовную жизнь человека, между тем как вся материальная сторона жизни признается «призрачною»: «человек ест, пьет, одевается — это мир призраков, потому что в этом нисколько не участвует дух его»; человек «чувствует, мыслит, сознает себя органом, сосудом духа, конечною частью общего и бесконечного — это мир действительности» — все это чистый гегелизм. Но в объяснении теории надобно дать применение ее к произведениям искусства. Белинский выбирает образцами истинно поэтического эпоса повести Гоголя и потом подробно разбирает «Ревизора», как лучший образец художественного произведения в драматической форме. Этот разбор занимает большую половину статьи — около 30 страниц. Видно, что Белинскому нетерпеливо хотелось поговорить о Гоголе, и это одно уже служит достаточным свидетельством за направление, еще тогда преобладавшее в нем. Разбор этот написан превосходно, и трудно найти что-нибудь лучше его в своем роде. Но комедия Гоголя, которая так непреодолимо вызывает живые мысли, рассматривается исключительно в художественном отношении. Белинский объясняет, как одна сцена вытекает из другой, почему каждая из них необходима на своем месте, показывает, что характеры действующих лиц выдержаны, верны самим себе, вполне обрисованы самим действием без всяких натяжек со стороны Гоголя, что комедия полна живого драматизма, и т. д. Объяснив примером «Ревизора» качества художественного произведения, Белинский уже очень легко доказывает, что «Горе от ума» не может быть названо художественным созданием, он обнаруживает, что сцены этой комедии часто не связаны одна с другою, положения и характеры действующих лиц не выдержаны, и т. д. — словом, критика опять ограничивается исключительно художественною точкою зрения. На то, какое значение для жизни имеет «Ревизор» и имело «Горе от ума», не обращено почти никакого внимания.

Во второй книге «Отечественных записок» того же года помещен разбор сочинений Марлинского, наделавший в свое время чрезвычайно много шума. Он написан также исключительно с художественной точки зрения.

Точно так же почти исключительно с художественной точки зрения рассматривается и «Герой нашего времени» Лермонтова (в книжках 7 и 8-й 1840 года). Белинский замечает, что Печорин порожден отношениями, в которых совершается развитие его характера, что он дитя нашего общества; но этим сказанным вскользь замечанием и ограничивается он, не вдаваясь в объяснение вопроса о том, почему именно такой, а не другой тип людей

производится нашею действительностью. Он говорит только с общей исторической точки зрения, равно прилагающейся ко всякому европейскому обществу, о том, что Печорины принадлежат периоду рефлексии, периоду внутреннего распада человека, когда гармония, влагаемая в человека природою, уже разрушена сознанием, но сознание не достигло еще полной власти над жизнью, чтобы дать ей новое, разумное единство, новую, высшую гармонию. Белинский прекрасно понимает характер Печорина, но только с отвлеченной точки зрения, как характер европейца вообще, дошедшего до известной поры духовного развития, и не отыскивает в нем особенностей, принадлежащих ему, как члену нашего, русского общества. Вот важнейшее из того, что говорит он о Печорине, — выписав то место из дневника Печорина, в котором он размышляет о прелести обладания молодою душою, о том, какое развлечение для его скуки и какую отраду для его гордости доставляют отношения к княжне Мери, о том, что нужно же иметь занятие для сил, требующих деятельности, Белинский восклицает:

Какой страшный человек этот Печорин! Потому, что его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!..» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопочете? За что сердитесь? Право, нам кажется, вы пришли не в свое место, сели за стол, за которым вам не поставлено прибора... Не подходите слишком близко к этому человеку, не нападайте на него с такою запальчивою храбростью: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенных лицах ваших все прочтут суд ваш. Вы предаете его анафеме не за пороки — в вас их больше, и в вас они чернее и позорнее — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которою он говорит о них. Вы позволяете человеку делать все, что ему угодно, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат, но, как пошлину за право торговли, требуете от него моральных сентенций о том, как должен человек думать и действовать, и как он в самом-то деле и не думает и не действует... И зато ваше инквизиторское ауто-да-фе готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их именами и показывать другим себя не в бальном костюме, не в мундире, а в халате, в своей комнате, в уединенной беседе с самим собою, в домашнем расчете с своею совестью. И вы правы: покажитесь перед людьми хоть раз в своем позорном неглиже, в своих засаленных ночных колпаках, в своих оборванных халатах, люди с отвращением отвернутся от вас, и общество извергнет вас из себя. Но этому человеку нечего бояться: в нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется, и что он есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него. Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплодно страдаете. Пусть он клеветет на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клеветет на человеческую

природу, видя в ней один эгоизм; пусть клеветает на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостью, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд («Отечественные» запiski», т. XI, Критика, стр. 9—10).

Досказав содержание романа, он прибавляет:

Большая часть читателей, наверное, воскликнет: «Хорош же герой!» — А чем же он дурен? — смеем вас спросить.

Зачем же так неблагоприятно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких дум неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно! но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота: он бы и рад иметь, да не дается оно ему. И, притом, разве Печорин рад своему безверию? разве он гордится им? разве он не страдал от него? разве он не готов ценою жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его?.. Вы говорите, что он эгоист? — Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения: страдание есть удел одной любви. Душа Печорина не каменная почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взорхнет ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви... Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, — и кто же эти «все»? — пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулею и бесстыдно ожидающему от него холостого выстрела? А его слезы и рыдания в пустынной степи, у тела издохшего коня? — нет, все это не эгоизм! Но его — скажете вы — холодная расчетливость, систематическая рассчитанность, с которою он обольщает бедную девушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность! — Так; но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, ни выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности: мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сентиментальных романах прошлого века. Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многих отношениях, дурное настоящее обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нем великое торжество духа над природою? — и хотите потом отрицать в нем вся-

кое достоинство, когда он сокрушает, как зерно жернов, неосторожных, попавших под его колеса: не значит ли это противоречить самим себе? опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты; следовательно, порок его выходит из его достоинства («Отечественные записки», т. XI, Критика, стр. 33—34).

Точка зрения все еще слишком отвлеченна; она вполне прилагается к русской жизни, но только ровно настолько же, насколько не более, как и к английской, французской и т. д. жизни. Но уже одни эти места могли бы служить достаточным ручательством, что Белинский никогда не любил останавливаться на половине пути из боязни, что с развитием соединены свои опасности, как соединены они со всеми вещами на свете; все-таки эти опасности, по его мнению, вовсе не так страшны, как та нравственная порча, которая бывает необходимым следствием неподвижности; притом же, они с неизмеримым избытком вознаграждаются положительными благами, какие дает развитие.

Точка зрения, с которой Белинский рассматривал в 1840 году произведения нашей поэзии, должна, как видим, назваться отвлеченною. Но мы ошиблись бы, если бы вывели из этого заключение, что заботы об отношениях литературы к обществу не преобладали уже и тогда в Белинском. В третьей книге «Отечественных записок» того же года он посвящает большую критическую статью разбору двух детских книг: с жаром он объясняет, каково должно быть истинное воспитание, обличает результаты неразумного воспитания, какое обыкновенно дается детям, и показывает, как велики обязанности родителей в отношении к детям. Не надобно говорить, что все это проникнуто самыми гуманными и плодотворными для нашей жизни понятиями. Вот отрывок, по которому можно судить о тоне и содержании статьи:

Воспитание! Оно везде, куда ни посмотри, и его нет нигде, куда ни посмотрите. Конечно, вы его можете увидеть даже во всех слоях общества, от самого высшего до самого низшего, но как редкость, как исключение из общего правила. Отчего же это? Да оттого, что на свете бездна родителей, множество парас ет шапанс, но мало отцов и матерей. «Вот прекрасно!» — восклицаете вы: «какая же разница между родителями и отцом и матерью?» — Как какая? — взгляните летом на муж: какая бездна родителей, но где же отцы и матери? Грибоедов давно уже сказал:

Чтоб иметь детей,
Кому ума не доставало!

Право рождения — священное право на священное имя отца и матери — против этого никто и не спорит; но не этим еще все оканчивается: тут человек еще не выше животного; есть высшее право — родительской любви. «Да какой же отец или какая мать не любит своих детей!» — говорите вы. Так; но позвольте вас спросить, что вы называете любовью? — как вы понимаете любовь? — Ведь и овца любит своего ягненка: она кормит его своим молоком и облизывает языком; но как скоро он меняет ее молоко на злак полей — их родственные отношения оканчиваются. Ведь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она нещадно била по щекам старую Еремеевну и за то, что дитя много кушало, и за то, что дитя мало кушало; она любила его так, что если бы он вздумал ее бить по щекам, она стала бы горько плакать,

что милое, ненаглядное детище только обколотит об нее свои ручонки. Итак, разве чувство овцы, которая кормит своим молоком ягненка, чувство г-жи Простаковой, которая, быв и овцой и коровою, готова еще сделаться и лошадкой, чтобы возить в колясочке свое двадцатилетнее дитя, — разве все это не любовь? — Да, любовь, но какая? — любовь чувственная, животная, которая в овце, как в животном, отличающемся и животною фигурою, имеет свою истинную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая в г-же Простаковой, как в животном, отличающемся человеческого фигурою, вместо овечьей, — бессмысленна, безобразна и отвратительна. Далее: ведь и Павел Афанасьевич Фамусов любил свою дочь, Софью Павловну: посмотрите, как он хлопочет, чтобы повыгоднее сбыть ее с рук, подороже продать... Продать? — какое ужасное слово!... отец продает свою дочь, торгует ею, конечно, не по мелочи, но один раз навсегда, и не больше, как для одного человека, который будет называться ее мужем!.. Но ведь это он делает не для себя, а для ее же счастья? — скажут многие. Прекрасно! Но после этого и разбойник, который для приданого дочери зарежет перед ее свадьбою нескольких человек, будет прав, потому что сделает это из любви к дочери? После этого и иная матушка, которая, не желая видеть в нищете свою нежно любимую дочь, научит или принудит ее сделать выгодный промысел из своей красоты, — тоже будет права, потому что поступит так из любви к дочери?.. И разве этого не бывает в самом деле? Разве старый подьячий, закореневший в лихоимстве и казнокрадстве, не поставлял первым и священным долгом своего родительского звания передать свое подлое ремесло нежно любимому сынку? Мы опять соглашаемся, что источник всего этого любовь, но какая, — вот вопрос. («Отечественные записки», т. IX, Критика, стр. 4—5.)

Вся статья о детских книгах имеет самое живое отношение к нашей действительности. И таких статей найдется у Белинского очень много уже и в то время.

Нет надобности говорить, что и взгляд Белинского в 1840 году на произведения беллетристики и поэзии мы называем отвлеченным только по сравнению с тем, что дано было нам его последующим развитием. Если же сравним его тогдашние статьи с предшествовавшей ему критикою, то найдем, что для того времени никто еще не проникался элементами нашей действительности так глубоко и живо, как и в то время была уже проникнута ими критика Белинского. Если он еще не останавливался исключительно на фактах, свойственных именно нашему, а не какому-нибудь другому быту, то постоянно он касался их и на каждой странице затрагивал частные вопросы нашей жизни. Доказательства тому постоянно встречаются даже в сделанных нами выписках, которые приводятся у нас в пример отвлеченности. Укажем, для примера, и на то, что, желая показать подробным разбором качества художественного произведения, Белинский выбирает не драму Шекспира, как сделал бы всякий другой на его месте, а комедию русского писателя. Из этого одного уже ясно было бы, что явления нашей жизни занимают его более, нежели что бы то ни было другое. Но — и это главное — не будем сами судить отвлеченным образом, а сообразим положение нашей литературы и публики в то время, когда Белинский начал писать в «Отечественных записках»: мы должны будем признаться, что вопросы, которые для настоящего времени представляются отвлеченными,

тогда были действительными и живыми, как и теперь для русской публики самый живой и важный интерес имеют еще вопросы, которые в других странах давно уже считаются или отвлеченными, или мелкими, например, хотя бы литературные вопросы, за которыми все мы следим с таким живым интересом, и которые у других народов не имеют силы возбуждать такого напряженного участия. В каждой стране, у каждого времени свои интересы. Мы, например, радуемся, и справедливо радуемся, тому, что наши молодые люди, избирающие ученое поприще, снова начинают посещать Европу для довершения своего образования — явление, напоминающее времена Петра Великого; а французам, англичанам ровно нет никакого дела до того, ездят ли за границу их молодые ученые или не ездят. Правда, у них число таких путешественников во сто раз больше, нежели у нас, — и, однако же, это нисколько не обращает на себя их внимания. Мы, например, восхищаемся и поучаемся «Горем от ума», «Ревизором», «Мертвыми душами», как произведениями, в которых очень полно и верно отразилась наша жизнь; а французы, англичане, немцы о произведениях своей литературы, в которых жизнь общества была бы воспроизведена в тех границах, как в «Ревизоре» и «Мертвых душах», сказали бы, что они отражают жизнь очень неполно и отрывочно, — они сказали бы даже, что эти произведения очень отвлеченные от жизни: ведь находят же немцы, что «Коварство и любовь» Шиллера произведение довольно отвлеченное, а в нем немецкая жизнь изображена полнее, нежели русская у Гоголя и Грибоедова *. О французах и англичанах мы уже не говорим. Для них поэтические произведения имеют ныне вообще меньше живого значения, нежели для немцев.

Потребность стать по своим понятиям в уровень с образованною Европою и теперь у нас составляет один из важнейших вопросов жизни. Тем живее была она пятнадцать лет тому назад. Ныне роман Диккенса или Теккерея далеко не возбуждает того интереса у нас, какой бы возбуждал пятнадцать лет тому назад. Ныне, вероятно, никто не в состоянии был бы осилить «Витторию Аккоромбону» Тика, — а пятнадцать лет тому назад и этот роман казался живым и интересным чтением. Переворот этот произведен Гоголем, Белинским и писателями, образовавшимися под их влиянием. Но само собою разумеется, что начало не бывает подобно концу, и Белинский должен был необходимо начать с того, чтобы знакомить нашу публику и литературу с современными понятиями об искусстве; должен был начать с того, чтобы толковать, что такое «художественное произведение», в чем состоят истинные достоинства романа, драмы и т. д., и т. д., — ведь

* Читатели видят, конечно, что мы говорим единственно о полноте, а не о художественных совершенствах воспроизведения жизни. Быть может, по форме «Ревизор» живее, нежели «Коварство и любовь»: об этом каждый может думать, как ему угодно.

в то время, как он начал писать в «Отечественных записках», публика еще и не слыхивала об этих вещах. «Телескоп» читался мало: и, притом, в нем все еще было спутано в самом поэтическом беспорядке: современные понятия с отсталыми, восторженные похвалы Гоголю со статьями г. А. Хиджеу о малороссийском философе Сковороде. «Московского наблюдателя» не читал почти никто, по словам самого Белинского. Для истории литературы эти журналы являются предшественниками «Отечественных записок»; но для публики «Отечественные записки» были первым журналом, заговорившим о вещах, до того времени неслыханных: о прекрасном, об идее, о различии разумного и непосредственного существования, о действительности в поэзии, и т. д., и т. д.

Белинский по необходимости должен был начать дело с самого начала — с потопы и разделения язык, с объяснения того, что называется литературою, что такое называется поэтом, с подробных рассуждений о том, чем литературное произведение отличается от нелепой сказки или вздорного пустословия: все это нам нужно еще было узнать, все это возбуждало сомнения и недоумения, все приводило одних читателей в восторг, других в гнев; эти рассуждения, кажущиеся ныне отвлеченными, были в то время самою живою, насущною потребностью публики. Но да не возгордимся мы своими успехами: гордость пагубный грех; подумаем лучше о том, какими вопросами до сих пор мы сами интересуемся, будто важнейшими и живейшими: ведь книжка журнала составляет для самых живых из нас самое живое явление — да и то хорошо, потому что для многих из нас чуть ли не интереснейшая в газетах статья — номенклатура новых коллежских и надворных советников — да и то хорошо: все-таки привыкают к печатной грамоте, все-таки убеждаются, что типографский станок хотя для чего-нибудь нужен.

Белинский должен был начать свое дело с самого начала, как начинал свое дело Ломоносов — с рассуждений о том, что называется стихотворным размером и каков должен быть стихотворный размер; он должен был прежде всего объяснить нам, что такое литература, что такое критика, что такое журнал, что такое поэзия, и т. д. — Споры нет, что азбука — вещь отвлеченная: живого смысла еще нет в ее буквах; но для того, кто еще не знает их, настоятельнейшая потребность состоит в их изучении, и оно составляет самый живой и действительный вопрос его жизни. Так, для нашей публики было чрезвычайно хорошо то, что Белинский начал свои критические разборы в «Отечественных записках» не прямо с полного погружения в нашу действительность, а с общих рассуждений, которые по сравнению с характером его последующих статей могут назваться отвлеченными, но могут назваться таким именем также только по отвлеченному понятию о качествах критики вообще, а не по соображению действительных обстоятельств, которые, напротив, придавали им

самое живое значение. Стоит только припомнить, какое сильное и живое действие производили они на публику и литературу, и мы убедимся, что именно то было нужно, что делал он.

Да и для самой критики Белинского нужно было, чтобы она довольно долго сосредоточивала свое внимание на теоретических вопросах: именно тем, что непоколебимо утвердилась в общечеловеческих понятиях, она приобрела силу пронизательно и верно смотреть на явления нашей действительности. В одной из последних своих статей Белинский отвечает на вопрос, возбужденный исключительными поклонниками нашей народной поэзии: не лучше ли было бы для нашей литературы, если б она началась прямо в духе народности, а не была сначала простым отражением западной европейской поэзии? Не лучше ли было бы, если б Ломоносов, вместо того, чтоб изучать оды Гюнтера, изучал наши народные песни? — Из этого не произошло бы ровно никаких последствий, не только полезных, но и ровно никаких. В том именно и состоит заслуга Ломоносова, что он познакомил нас с литературою; а если б он вздумал писать в духе народных песен (кроме того, что это было для него чистою невозможностью), он не дал бы нам ровно ничего нового и интересного, и его произведения остались бы так же чужды историческому развитию нашей литературы, как песни сибирских казаков о битвах с силами богдойскими (богдыханскими), сочиненные в духе песен о Владимире: они ровно ничего к ним не прибавили и ни на шаг не подвинули нашего развития. Только потому и мог впоследствии Лермонтов написать песню о купце Калашникове, что Ломоносов писал оды в роде Гюнтера, Карамзин повести в роде Мармонтеля, Пушкин поэмы в роде Байрона. Конец именно потому и конец, что он не похож на начало, — стало быть, начало должно же отличаться от конца, — иначе не было бы ни целей, ни стремлений, ни истории *.

* «Но каким же чудом — спросят нас — внешнее, абстрактное взаимодействие чужого и искусственное перенесение его на родную почву, — каким чудом могло породить оно живой, органический плод? — В ответ на это скажем: решение этого вопроса, без сомнения, интересно; но нам нет дела до него; для нас довольно сказать, что так, именно так было, что это исторический факт, достоверности которого не может и подумать опровергать тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтоб слышать. Писатели, в которых выразилось прогрессивное движение через освобождение литературы русской от ломоносовского влияния, нисколько не думали об этом; это делалось у них бессознательно; за них работал дух времени, которого они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, как поэта, благоговели перед его гением, старались подражать ему — и все-таки больше и больше отходили от него. Разительный пример этого — Державин. Но в том-то и состоит жизненность европейского начала, привитого к нашей народности Петром Великим, что оно не коснеет в мертвой стоячести, но движется, идет вперед, развивается. Если бы Ломоносов не вздумал писать од по образцу современных ему немецких поэтов и французского лирика Жан-Батиста Руссо, не вздумал писать своей «Петриады» по образцу виргилиевой «Энеиды», где, вместе с Петром Великим, героем своей поэмы, сделал действующим лицом и Неп-

В критике Белинского как бы повторилась вся история русской литературы. Полевой, Надеждин были представителями каждый только одного фазиса развития. Критика Белинского прошла, как мы видим, несколько фазисов, и, начав с отвлеченных понятий, доведенных до крайности вследствие споров с друзьями г. Огарева, она достигла совершенной положительности. Если сравнить статью об «Очерках Бородинского сражения», напечатанную Белинским в последней книжке «Отечественных записок» 1839 года, с статьей о «Выбранных местах из переписки с друзьями», напечатанную во 2-й книжке «Современника» за 1847 год, нас удивит безмерное расстояние, отделяющее первую от последней; мы не найдем между ними ничего общего, кроме того, что обе написаны с жаром задушевного убеждения, и написаны человеком очень даровитым; но дух и все содержание одной совершенно противоположны духу другой, как «Песня о Калашникове» составляет совершенную противоположность «Оде на взятие Хотина»; но как между Ломоносовым и Лермонтовым найдется связь, если мы будем изучать писателей, бывших им посредниками: нет нигде перерыва или пробела, всякий новый шаг вперед основывается на предыдущем, так и критика Белинского развивалась совершенно последовательно и постепенно: статья об «Очерках Бородинского сражения» противоположна статье о «Выбранных местах», потому что они составляют две крайние точки пути, пройденного критиком Белинского; но если мы будем перечитывать его статьи в хронологическом порядке, мы нигде не заметим крутого перелома или перерыва: каждая

туна, засадив его с тритонами и наядами на дно прохладного Белого моря; если бы, говорим мы, вместо всех этих книжных, школярных несообразностей, он обратился бы к источникам нашей народной поэзии — к «Слову о полку Игореве», к русским сказкам (известным теперь по сборнику Кишки Данилова), к народным песням, и, вдохновленный, проникнутый ими, на их чисто народном основании, решился бы построить здание новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопрос, повидимому, важный, но в сущности препустой, похожий на вопросы вроде следующих: что было бы, если бы Петр Великий родился во Франции, а Наполеон — в России, или что было бы, если бы за зимою следовала не весна, а прямо лето? и т. п. Мы можем знать, что было и что есть, но как нам знать чего не было, или чего нет? Разумеется, и в сфере истории все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не так, как было: но ее великие события, имеющие влияние на будущность народов, не могут быть иначе, как именно так, как они бывают, разумеется, в отношении к главному их смыслу, а не к подробностям проявления. Петр Великий мог построить Петербург, пожалуй, там, где теперь Шансесбург, или, по крайней мере, хоть немного выше, т. е. дальше от моря, чем теперь; мог сделать новою столицею Ревель или Ригу: во всем этом играла большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и удобно сноситься с Европою. В этой мысли уже не было ничего случайного, ничего такого, что могло бы равно быть и не быть, или быть иначе, нежели как было. Но для тех, для кого не существует разумной необходимости великих исторических событий, мы, пожалуй, го-

последующая статья очень тесно примыкает к предыдущей, и прогресс совершается, при всей своей огромности, постепенно и совершенно логически*.

Годичные обзоры русской литературы, которые постоянно делал Белинский, могут служить для нас соединительными звеньями между первыми статьями и статьями, выразившими зрелые и окончательные его убеждения.

Обозрение за 1840 год («Отеч[ественные] зап[иски]», 1841 г., № 1) начинается размышлением о чрезвычайной бедности нашей литературы — мысль, которую внушена была первая из больших статей Белинского — «Литературные мечтания», напечатанная в «Молве». Но сознание этой бедности уже не вселяет в Белинского безнадежности: сознание недостатка есть уже залог его исправления. Белинский вспоминает о том, как «лет шесть тому назад» было высказано сомнение в существовании русской литературы, и, кратко пересказав содержание своих «Литературных мечтаний» (что и было нужно, потому что статья

товы признать важность вопроса: что было бы, если б Ломоносов основал новую русскую литературу на народном начале? — и ответим им, что из этого ровно ничего не вышло бы. Однообразные формы нашей народной поэзии были достаточны для выражения ограниченного содержания племенной, естественной, непосредственной, полупатриархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло к ним, не улегалось в них; для него необходимы были и новые формы. Тогда спасение наше зависело не от народности, а от европеизма; ради нашего спасения тогда необходимо было не задушить, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, так сказать, задержать на время ее ход и развитие, чтобы привить к ее почве новые элементы. Пока эти элементы относились к нашим родным, как масло к воде, у нас, естественно, все было риторикою: и нравы и — их выражение — литература. Но тут было живое начало органического сращения, через процесс усвоения, и потому литература от абстрактного начала мертвой подражательности двигалась все к живому началу самобытности». (Соврем[енник], 1847, № 1, стр. 7—9.)

* «Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить, ни в литературе, ни в жизни, отсутствия своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в него со временем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь. Не будем распространяться, каким образом это сделалось с Россией, созданною Петром, и русскою литературою, созданною Ломоносовым; но что это действительно сделалось и делается с ними — это исторический факт, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедию Грибоедова, произведения Пушкина, Лермонтова и, в особенности, Гоголя, — сравните их с произведениями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общего, никакой связи. Между писателями, которых мы поименовали выше, и между Ломоносовым и его школою действительно нет ничего общего, никакой связи, если сравнить их, как две крайности; но между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете изучать в хронологическом порядке всех русских писателей от Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движение русской литературы заключалось в стремлении, хотя и бессознательном, освободиться от влияния Ломоносова и сблизиться с жизнью, с действительностью, следовательно, сделаться самобытною, национальною, русскою». (Соврем[енник], 1847, № 1, Критика, стр. 3—4.)

оставалась мало известна, а в истории развития понятий о литературе была очень важным фактом), останавливается на объяснении того, что называется литературой, и доходит до заключения, что у нас есть только начало литературы. Для существования литературы необходима публика. Он опять объясняет, что такое публика: это масса людей развитых, сильно сочувствующих литературе, которая выражает их твердые убеждения. У нас нет еще и такой публики, но есть уже начало ее в немногочисленных образованных людях, которые рассеяны по России; теперь они еще заслоняются массою людей неразвитых, но скоро их голос приобретет уважение в толпе, число их увеличится. Далее он объясняет, что такое критика и почему критика «Отечественных» записок» возбуждает недоумение других журналов, которые, впрочем, мало похожи на журналы. Развитие этих элементарных понятий занимает почти всю статью; в конце ее не более пяти страниц уделены перечислению замечательных произведений прошедшего года.

В следующем годичном обзоре (1841 года, «Отечественные записки», 1842, № 1) две трети страниц посвящены обширному очерку истории русской литературы от Кантемира до Гоголя. Очерк этот имеет форму разговора г. А. и г. Б.; г. А., выражающий мнения автора, говорит много нового сравнительно с «Литературными мечтаниями». Белинский уже видит внутреннюю историческую последовательность в явлениях нашей литературы; но все-таки содержание очерка имеет очень тесное родство с «Литературными мечтаниями», и общая тема выражается эпиграфом, взятым из Пушкина:

Сокровища родного слова,
(Заметят важные умы)
Для лепетания чужого,
Пренебрегли безумно мы,
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремущки,
А не читаем книг своих.
— Да где ж они? Давайте их! ¹³³

С обзором предыдущего года очерк этот имеет еще более близости, так что может назваться подробным развитием некоторых страниц его, которые кратко исчисляли прежних наших писателей, и заключение очерка совершенно могло бы быть заключением и прошлогодней статьи:

Вы говорите, что я нашел в нашей литературе даже внутреннюю историческую последовательность: правда, но все это еще не составляет литературы в полном смысле слова. Литература есть народное сознание, выражение внутренних, духовных интересов общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Несколько человек еще не составляет общества, а несколько идей, приобретенных знакомством с Европою, еще менее может назваться национальным сознанием. Наша публика без литературы; потому что в год пять-шесть хороших сочинений на несколько сотен дурных — еще не лите-

ратура; наша литература без публики, потому что наша публика что-то загадочное: один читал Пушкина, другой в восторге от г. Бенедиктова, а третий был без ума от мистерий г. Тимофеева; один понимает Гоголя, другой еще в полном удовольствии от Марлинского, а третий не знает ничего лучше романов гг. Зотова и Воскресенского... Театральные судьи равно хлопают и «Гамлету» и водевилям г. Коровкина и «Параше» г. Полевого... И не думайте, чтоб это были люди разных сфер и классов общества, — нет, они все перемешаны и перетасованы, как колода карт... Исторический ход свой наша литература совершила в самой же себе; ее настоящею публикою был сам пишущий класс, и только самые великие явления в литературе находили более или менее разумный отзыв во всей массе грамотного общества... Но будем смотреть на литературу просто, как на постоянный предмет занятия публики, следовательно, как на непрерывный ряд литературных новостей: что ж это за литература! Да занимайте вы десять должностей, утопайте в практической деятельности, а на чтение посвятите время между обедом и кофе, — и тогда не на один день останетесь вы без чтения. В журналах все — переводы, а оригинального разве три-четыре порядочные повести в год, да несколько стихотворений, да книг с полдюжины, включая сюда и ученые, — вот и все. Тогда читая в журналах статьи о процветании русской литературы, поневоле восклицаете, протяжно зевая: «Да где ж они? — давайте их!» («Отеч[ественные] зап[иски]», 1842 г., № 1, Крит[ика], стр. 37—38.)

Но надежды на будущее высказываются решительнее, нежели в прошедшем году:

В нашей грустной эпохе много утешительного. Пора детских очарований теперь миновалась без возврата, и если теперь огромные авторитеты составляют иногда в один день, зато они часто и пропадают без вести на следующий же день... Теперь очень трудно стало прослыть за человека с дарованием: так много писано во всех родах, столько было опытов и попыток, удачных и неудачных, во всех родах, что действительно надо что-нибудь получить от природы, чтобы обратить на себя общее внимание... Пушкин и Гоголь дали нам такие критерии для суждения об изящном, с которыми трудно от чего-нибудь размахнуться... Хорошую сторону современной литературы составляет и обращение ее к жизни, к действительности: теперь уже всякое, даже посредственное дарование силится изображать и описывать не то, что приснится ему во сне, а то, что есть или бывает в обществе, в действительности. Такое направление много обещает в будущем. Но современная литература теряет оттого, что у ней нет головы; даже яркие таланты поставлены в какое-то неловкое положение: ни один из них не может стать первым и по необходимости теряется в числе, каково бы оно ни было. Гоголь давно ничего не печатает; Лермонтова уже нет.

Произведениям минувшего года посвящено в три или четыре раза более места, нежели в прошлый раз. Журналы оцениваются подробно, тон, которым говорится о них, гораздо живее, нежели прежде: тогда Белинский в общих чертах излагал свои понятия о недостатках русской журналистики вообще, теперь касается частных достоинств и недостатков каждого журнала. О многих из вышедших в прошлом году сочинениях говорится уже довольно подробно.

Изложив в первых двух отчетах свой общий взгляд на русскую литературу, в третьем (за 1842 год, «Отечественные записки», 1843 г., № 1) Белинский подробно говорит о русской критике и почти исключительно занимается последним (стало

быть, имеющим наиболее живого интереса) периодом ее — романтической критикой. До какой степени понятия его близки к тем, которые выражал он в предыдущем году, можно убедиться, сличив с последнею из приведенных нами выписок следующее место из третьего отчета, заключающее в себе характеристику новой литературы сравнительно с литературою романтической эпохи:

Последний период русской литературы, период прозаический, резко отличается от романтического какою-то мужественною зрелостью. Если хотите, он не богат числом произведений, но зато все, что явилось в нем посредственного и обыкновенного, это или не пользовалось никаким успехом, или имело только успех мгновенный; а все то немногое, что выходило из ряда обыкновенного, ознаменовано печатью зрелой и мужественной силы, осталось навсегда и в своем торжественном, победоносном ходе, постепенно приобретая влияние, прорезывало на почве литературы и общества глубокие следы. Сближение с жизнью, с действительностию есть прямая причина мужественной зрелости последнего периода нашей литературы. Слово «идеал» только теперь получило свое истинное значение. Прежде под этим словом разумели что-то вроде *не любю не слушай, лгать не мешай* — какое-то соединение в одном предмете всевозможных добродетелей или всевозможных пороков. Если герой романа, так уж и собой-то красавец, и на гитаре играет чудесно, и поет отлично, и стихи сочиняет, и дерется на всяком оружии, и силу имеет необыкновенную:

Когда ж о честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем —
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, а мы все рыдаем!

Если же злодей, то не подходите близко: съест, непременно съест вас живого, изверг такой, какого не увидишь и на сцене Александринского театра, в драмах наших доморощенных трагиков... Теперь под «идеалом» разумеют не преувеличение, не ложь, не ребяческую фантазию, а факт действительности, такой, как она есть, но факт, не списанный с действительности, а введенный через фантазию поэта, озаренный светом общего (а не исключительного, частного и случайного) значения, *возведенный в перл создания*, и потому более похожий на самого себя, более верный самому себе, нежели самая рабская копия в действительности верна своему оригиналу. Так на портрете, сделанном великим живописцем, человек более похож на самого себя, чем даже на свое отражение в дагерротипе, ибо великий живописец резкими чертами вывел наружу все, что таится внутри того человека и что, может быть, составляет тайну для самого этого человека. Теперь действительность относится к искусству и литературе, как почва к растениям, которые она возращает на своем лоне.

Литературным явлениям минувшего года посвящена уже половина статьи. О «Мертвых душах» Белинский не хочет говорить подробно, готовясь написать о них отдельную статью; но то, что говорит он о них, написано с точки зрения, сильно напоминающей разбор «Ревизора», сделанный за три года:

Как мнение публики, так и мнение журналов о «Мертвых душах» разделялись на три стороны: одни видят в этом творении произведение, которого хуже еще не писывалось ни на одном языке человеческом; другие, наоборот, думают, что только Гомер да Шекспир являются, в своих произве-

дениях, столь великими, каким явился Гоголь в «Мертвых душах»; третьи (сам Белинский) думают, что это произведение действительно великое явление в русской литературе, хотя и не идущее, по своему содержанию, ни в какое сравнение с вековыми всемирно-историческими творениями древних и новых литератур Западной Европы. Кто эти — одни, другие и третьи, публика, знает, и потому мы не имеем нужды никого называть по имени. Все три мнения равно заслуживают большого внимания и равно должны подвергаться рассмотрению, ибо каждое из них явилось не случайно, а по необходимым причинам. Как в числе иступленных хвалителей «Мертвых душ» есть люди, и не подозревающие в простоте своего детского энтузиазма истинного значения, следовательно, и истинного величия этого произведения, так и в числе ожесточенных хулителей «Мертвых душ» есть люди, которые очень и очень хорошо смекают всю огромность поэтического достоинства этого творения. Но отсюда-то и выходит их ожесточение. Некоторые сами когда-то тянулись в храм поэтического бессмертия; за новостью и детством нашей литературы, они имели свою долю успеха, даже могли радоваться и хвалиться, что имеют поклонников, — и вдруг является, неожиданно, непредвиденно, совершенно новая сфера творчества, особенный характер искусства, вследствие чего идеальные и чувствительные произведения наших поэтов вдруг оказываются ребяческою болтовнею, детскими невинными фантазиями... Согласитесь, что такое падение, без натиска критики, без недоброжелательства журналов, очень и очень горько?.. Другие подвизались на сатирическом поприще, если не с славою, то не без выгод иного рода; сатиру они считали своей монополией, смех — исключительно им принадлежащим орудием, — и вдруг остроты их не смешны, картины ни на что не похожи, у их сатиры как будто выпали зубы, охрип голос, их уже не читают, на них не сердятся, они уже стали употребляться вместо какого-то аршина для измерения бездарности... Что тут делать? перечинить перья, начать писать на новый лад? — но ведь для этого нужен талант, а его не купишь, как пучок перьев... Как хотите, а осталось одно: не признавать талантом виновника этого крутого поворота в ходе литературы и во вкусе публики, уверять публику, что все написанное им — вздор, нелепость, пошлость... Но это не помогает; время уже решило страшный вопрос — новый талант торжествует, молча, не отвечая на брани, не благодаря за хвалы.

Творение, которое возбудило столько толков и споров, разделило на категории и литераторов и публику, приобрело себе и жарких поклонников и ожесточенных врагов, на долгое время сделалось предметом суждений и споров общества, — творение, которое прочтено и перечтено не только теми людьми, которые читают всякую новую книгу или всякое новое произведение, сколько-нибудь возбуждившее общее внимание, но и такими лицами, у которых нет ни времени, ни охоты читать стихи и сказочки, где несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпении разных бедствий, и в довольстве, почете и счастии проводят остальное время жизни, — творение, которое в числе почти 3000 экземпляров, все разошлось в какие-нибудь полгода; — такое творение не может не быть неизмеримо выше всего, что в состоянии представить современная литература, не может не произвести важного влияния на литературу. («Отеч[ественные] зап[иски]», 1843 г., № 1, Крит[ика], стр. 13—15.)

Белинского, как видим, еще занимает более всего эстетический вопрос: действительно ли Гоголь выше всех наших писателей и каковы отношения его к искусству. Главными причинами вражды отсталых писателей против Гоголя он находит литературные расчеты и, очевидно, еще полагает, что отношения Гоголя к нашей жизни не так сильно возбуждают ненависть отсталых критиков, как эти расчеты. Однако же он уже замечает, что по поводу «Мертвых душ» не только писатели, но публика разделилась на

враждебные партии, говорит, что «Мертвые души» вовсе не то, что «сказочки, в которых несчастные любовники соединяются законными узами брака».

Отвлеченный элемент кажется все еще силен; но прямо за мнением о «Мертвых душах» следует (стр. 15) отзыв о собрании стихотворений одного из наших поэтов, который прежними опытами показал способность писать прекрасные антологические стихотворения¹³⁴. Белинский в этом отзыве уже прямо говорит, что без «живого, кровного сочувствия к современному миру» нельзя быть в наше время замечательным поэтом.

Очерки истории русской литературы, представленные Белинским в первых двух его годичных обозрениях, останавливались на поэтах эпохи Пушкина. В четвертом обозрении («Русская литература за 1843 год», — «Отечественные записки», 1844 г., № 1) он дает очерк деятельности наших прозаиков, явившихся в последнюю половину пушкинского периода, потому четвертый отчет его является как бы продолжением второго. Сравнивая их, можно найти много параллельных мест; от третьего отчета четвертый отличается еще меньше по своему духу. Мы не будем представлять примеров тождества в направлении того и другого; довольно того, что мы уже делали это два раза, и каждый желающий легко может к выпискам, приведенным у нас в доказательство близости каждого следующего отчета с предыдущим, отыскать десятки подобных мест. Но Гоголь занимает в четвертом обзоре более места, нежели все общее обозрение прошедшего периода прозаической литературы. Мнение, высказанное о нем Белинским в предыдущем году, сохраняется совершенно; но особенное развитие получают прежние краткие замечания о том, что «Мертвые души» должны иметь решительное влияние на литературу и публику; слово «должны иметь», конечно, уже заменяется словом «имеют», и к прежним объяснениям негодования, во многих возбужденного Гоголем, присоединяется новое, на которое в прошедшем году был сделан только легкий намек, — теперь же оно является на первом плане. Эта причина — живость и меткость гоголевского комизма:

Прежде сатира смело разгуливала между народом среди белого дня и даже не заботилась об инкогнито, но прямо и открыто называлась своим собственным именем, т. е. *сатирою*, — и никто не сердился на нее, никто даже не замечал ее гримас и кривляний. Отчего это? — оттого, что никто не узнавал себя в ней; оттого, что она нападала на пороки общие, которых всякий имеет полное право не принять на свой счет; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невинным школьным упражнением по классу реторики... И давно ли нравоописательные, нравственно-сатирические романы, юмористические статьи и статейки являлись стаями, как вороны на крышах домов, каркая на проходящих во все воронье горло? — и на них никто не сердился, даже как сердятся летом на докучных мух. Сочинитель гордо называл себя сатириком, гонителем людских пороков, — и гонимые люди без боязни подходили к своему гонителю, к дряхлому, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шее и охотно кор-

мили его избытком своей трапезы. Отчего это? — оттого, что пороки, которые гнал сатирик, были совсем не пороки, а разве отвлеченные идеи о пороках, риторические тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, с которыми храбро и отважно сражался сатирический дон-Кихот, — так же, как добродетель, за которую он ратовал, была для него воображаемою Дульцинею, а для других — толстою, безобразною коровницею. Теперь нет сатиры, и только разве какой-нибудь старый сочинитель решится величаться вышедшим из моды именем «сатирика»: теперь пишутся романы и повести без всяких сатирических намерений, целей, — а, между тем, все на них сердятся. Отчего ж это? — оттого, что теперь и великие и малые таланты, и посредственность и бездарность — все стремятся изображать действительных, не воображаемых людей; но так как действительные люди обитают на земле, и в обществе, а не на воздухе, не в облаках, где живут призраки, то, естественно, писатели нашего времени, вместе с людьми изображают и общество. Общество также — нечто действительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляют не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д. Человек, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей и в образе его действия. Писатели нашего времени не могут не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, они стремятся вникать в причины, отчего он таков или не таков, и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явления общие. Большинство же публики именно там-то и видит личности, где их нет и быть не может. Прежние так называемые сатирики именно списывали с известных им лиц и казались в глазах всех не подлежащими упреку в личностях. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя в снятых с них копиях, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельств того или другого лица и ограничивались общими чертами пороков, слабостей и странностей, которые, будучи отвлечены от живой личности, превращались в образы без лиц. Притом же, эти сатирики смотрели на пороки и слабости людей, как на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, как на что-то произвольное, что это лицо могло иметь и не иметь по своей воле и что приобрести или от чего избавиться оно легко могло по прочтении убедительной сатиры, где ясно, по пальцам, указана выгода и сладость добродетели и опасные, пагубные следствия порока. Вот почему эти добрые сатирики брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношения к обществу, и тормозили на досуге это созданное их воображением чучело. В основание своего сатирического донкихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозревая того, что их сатиры, опирающиеся на общественность, ужасно противоречили этой нравственности. Так, например, в числе первых добродетелей они полагали безусловное повиновение родительской власти и в то же время толковали юношеству, что брак по расчету — дело безнравственное, что низкопоклонство, лесть из выгод, взяточничество и казнокрадство — тоже дела безнравственные. Очень хорошо; но что же иному юноше делать, если он с малолетства, почти с материнским молоком всосал в себя мистическое благоговение к доходным должностям, теплым местам, к значительности в обществе, к богатству, к хорошей партии, блестящей карьере; если его младенческий слух был оглашен не словами любви, чести, самоотвержения, истины, а словами: *взял, получил, приобрел, надул*, и т. п.? Положим, что такому юноше природа не отказала в человеческих чувствах и стремлениях; положим, что в нем пробудилась любовь к достойной, но бедной, простого звания девушке, — любовь, запрещающая ему соединиться с противною ему богатой душой, на которой, по расчетам, приказывают ему жениться; положим, что в юноше пробудилось человеческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту или чиновному негодю; положим, что в нем пробудилась совесть, запрещающая употреблять во зло вверенные ему высшею властью весы правосудия и расхищать вверенные его бескорыстию общественные

суммы: что ему тут делать? Сатирик не затруднится от такого вопроса и, не задумавшись, ответит: «жениться на предмете любви своей, служить честно и верно отечеству...» Прекрасно; но где же повиновение родительской власти, где уважение к родительскому благословию, на веки нерушимо, где страх тяжкого отцовского проклятия?.. И потом, где уважение к общественному мнению, к общественной нравственности? Ведь общество не спрашивает вас, по любви или не по любви женились вы, а спрашивает, сколько вы взяли за женою и приличная ли она вам партия; общество не спрашивает вас, каким образом сделались вы богачом, когда ему известно, что ваш батюшка не оставил вам ни копейки, а за супругою вы взяли не бог знает что, или и вовсе ничего не взяли: общество знает только, что вы богач, и потому считает вас очень хорошим — «благонамеренным» человеком... Послушайся наш юноша сатирика, что бы вышло? — отец его бросил бы, жалуюсь на неповиновение и презрение к его власти, потом он прошел бы, с женою и детьми, через все мытарства, через все унижения голодной, неопрятной, оборванной бедности; видел бы к себе презрение общества, а за свою правоту, за свое бескорыстие был бы заклеимен от всех страшными названиями беспокойного, опасного и «неблагонамеренного» человека, вольнодумца и проч и проч. И неужели вы, «благонамеренные» сатирики, бросите в него камень осуждения, если, истощась и обессилев в тяжелой и бесплодной борьбе, он дойдет до страшного убеждения, что его бедность, его несчастья — необходимые следствия отцовского гнева, заслуженная кара за презрение общественного мнения и общественной нравственности?.. Но, к счастью или к несчастью, — не знаем, право — такие случаи весьма редки, как исключения из общего правила. По большей части бывает так: юноша не долго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между «завиральными идеями» о бескорыстии и правоте и уважением общества: он женится на ком прикажут дражайшие родители, живет с женою, как все, т. е. прилично содержит ее, воспитывает детей своих, как все, т. е. прилично кормит и одевает их, учит по-французски и танцевать, а после этого первого я важнейшего периода воспитания отдает в учебное заведение, потом выгодно устраивает в службу, выгодно женит (или выдает замуж) и, умирая, отзывается им «благоприобретенное» на службе имение. И что же? В начале его поприща все превозносят его, как почтительного сына, в конце поприща — как нежного супруга, примерного отца, «благонамеренного» чиновника, и заключают так: «вот что значит уважение к общественной нравственности! вот что значит родительское благословение, навеки нерушимое!» Итак, наш «благонамеренный» сатирик, бич пороков, самым нелепым образом противоречил самому себе: поставив выше всех добродетелей повиновение не богу, не истине, а эгонистическим расчетам, он в то же время учил юношу следовать свободному выбору сердца, как знамению благословения божия, и запрещал ему торговать священнейшими склонностями своей души; поставив выше всякой награды любовь и уважение общества, он в то же время учил юношу оскорблять основные правила этого самого общества... Впрочем, он это делал, сам не зная, что делает, и потому его сатиры не производили никаких следствий.

Надобно обратить внимание особенно на последнюю половину этого отрывка: она написана в духе совершенной положительности.

Общая часть пятого обозрения («Отечественные записки», 1845 г., № 1) представляет свод того, что было говорено во втором и четвертом. Она может казаться чистым повторением сказанного Белинским в первых трех обозрениях; но кто внимательнее всмотрится в эти очень сходные мысли, заметит значительную разницу между понятиями, какие имел Белинский в 1842,

и какие имел он в 1845. Труднее заметить различие между 1844 и 1845 годами; но и тут есть движение вперед. Чтобы показать его в примере, взятом наудачу, приводим самое начало пятого обозрения:

Вот уже пятое обозрение годового бюджета русской литературы представляем мы нашим читателям. Обязавшись перед публикой быть верным зеркалом русской литературы, постоянно отдавая отчет во всякой внонь выходящей в России книге, во всяком литературном явлении, «Отечественные записки» не вполне выполнили бы свое назначение — быть полною и подробно летописью движения русского слова, если б не вменили себе в обязанность этих годичных обозрений, в которых обо всем, о чем в продолжение целого года говорилось как о настоящем, говорится как о прошедшем, и в которых все отдельные и разнообразные явления целого года подводятся под одну точку зрения. Не ставим себе этого в особенную заслугу, потому что видим в этом только должное выполнение добровольно принятой на себя обязанности; но не можем не заметить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знают, что большая часть этих годичных обозрений постоянно наполнялась рассуждениями вообще о русской литературе и, следовательно, о всех русских писателях, от Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взгляд на прошлогоднюю литературу — главный предмет статьи, всегда занимал ее меньшую часть. Подобные отступления от главного предмета необходимы по двум причинам: во-первых, потому, что настоящее объясняется только прошедшим, и потому, что по поводу целой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и несколько статей, более или менее интересных; но о русской литературе за тот или другой год, право, не о чем слишком много или слишком интересно разговориться. И это-то составляет особенную трудность подобных статей. Легко пересчитывать богатства истинные или мнимые, много можно говорить о них; но что сказать о бедности, близкой к нищете? Да, о совершенной нищете, потому что теперь нет уже и мнимых, воображаемых богатств. А между тем, о чем же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературе? Ведь у нас литература составляет единственный интерес, доступный публике, если не упоминать о преферансе, говоря о немногих исключительных и как бы случайных ее интересах. Итак, будем же говорить о литературе, — и если, читатели, этот предмет уже кажется вам несколько истощенным и слишком часто истощаемым, если толки о нем уже доставляют вам только то магнитическое удовольствие, которое так близко к усыпленнию, — поздравляем вас с прогрессом и пользуемся случаем уверить вас, что мы, в свою очередь, совсем не чужды этого прогресса, и что, в этом отношении, вы не правы, если задумаете упрекнуть нас в отсталости от духа времени и в наивной запоздалости касательно его интересов... Еще раз: будем рассуждать о русской литературе — предмет и новый и любопытный... («Отечественные записки», 1845 г., № 1, стр. 1—2.)

Эта ирония, с которою говорит Белинский о своих обозрениях, о своей обязанности критика, — чувство, совершенно различное от сарказма, с которым он говорил в 1841 году о русской литературе, сам будучи совершенно доволен тем, что изобличает эту бедность. Теперь он грустит уже не о бедности русской литературы: ему грустно, что надобно рассуждать об этой литературе; он чувствует, что границы литературных вопросов тесны, он тоскует в своем кабинете, подобно Фаусту: ему тесно в этих стенах, уставленных книгами, — все равно, хорошими или дурными; ему нужна жизнь, а не толки о достоинствах поэм Пушкина или недостатках повестей Марлинского и Полевого.

И действительно: главный предмет его статьи — стихотворения Языкова и г. Хомякова, которые привлекали его внимание вовсе не по эстетическим соображениям: нельзя же было в самом деле опасаться, что наши поэты станут образцы художественности видеть не в произведениях Пушкина и Лермонтова, а в стихотворениях Языкова и г. Хомякова, и начнут подражать их манере; этой опасности вовсе не предвиделось, но важно было отношение стихотворений Языкова и г. Хомякова к нашей жизни.

Неудовлетворительность литературных вопросов для Белинского отразилась в следующем году и на самом объеме его обзора: шестой отчет его («Отечественные записки», 1846 г., № 1) очень короток в сравнении с предыдущими. В главных частях своих, он представляет развитие некоторых страниц предыдущего обозрения, говоривших, что только та мысль может назваться мыслью, которая имеет тесное родство с жизнью. Вот, например, отрывок, тесную связь которого с предыдущим обозрением легко заметит каждый читатель.

В наше время, — говорит Белинский, — особенно много людей, мечтающих и рассуждающих, о которых, впрочем, не всегда можно сказать, чтобы они были в то же время и мыслящими людьми. Не жить, но мечтать и рассуждать о жизни — вот в чем заключается их жизнь.

Между этими «романтиками» бывают люди умные, даже очень, хотя и бесплодно умные. Они толкуют не о чувствах и не о себе только: они рассуждают вообще о жизни. Стремление весьма похвальное, когда оно имеет прочную основу, практический характер! Но романтики вообще враги всего практического, которое они с презрением отдали на долю «толпы», не понимая в своем ослеплении, что всякий гений, всякий великий деятель есть человек практический, хотя бы он действовал даже в сфере отвлеченного мышления. Разлад с действительностью — болезнь этих людей. В дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо спешить жить, они, вместо этого, только рассуждают о жизни. Некоторые из них спохватываются, но поздно: именно в то время, когда человек не годится уже ни на что лучшее, как только на то, чтобы рассуждать о жизни, которой он никогда не знал, никогда не изведал. Толпа живет не мысля, и оттого живет пошло; но мыслить, не живя — разве это лучше? разве это не такая же или даже еще не бо́льшая уродливость?..

Но теперь все заговорили о действительности. У всех на языке одна и та же фраза: «надо делать!» И, между тем, все-таки никто ничего не делает! Это показывает, что во что бы ни нарядился романтик, он все остается романтиком. Не понимая этого, романтики обеими руками начали хвататься за маски и костюмы, — и вышел пестрый маскарад, где на один вечер так легко быть чем угодно — и турком, и жидом, и рыцарем. Некоторые, говорят, не шутя надели на себя терлик, охабень, и шапку мурмулку: более благоразумные довольствуются только тем, что ходят дома в татарской ермолке, татарском халате и желтых сафьяновых сапожках — все же исторический костюм! Назвались они «партиями» и думают, что делать — значит рассуждать на приятельских вечерах о том, что только они — удивительные люди, и что кто думает не по их, тот бродит во тьме.

Во всем этом видно одно: стремление жить мимо жизни, глубокий внутренний разлад с действительностью. («Отечественные записки», 1846 г. № 1, «Критика», стр. 3—4).

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» был помещен уже не в «Отечественных записках», как первые шесть годичных об-

зоров, а в «Современнике». На этом внешнем разделе деятельности Белинского мы и остановимся теперь, потому что в развитии его с 1841 года нельзя найти внутренних крутых поворотов, по которым можно было бы точно определить границы между двумя периодами его самостоятельной деятельности, указанными в начале нашей статьи.

Приложение

*Отрывки из последней статьи Белинского:
«Взгляд на русскую литературу 1847 года».
(«Современник», 1848 г., №№ 1 и 3.)*

Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу и на натурализм вообще с эстетической точки зрения, во имя чистого искусства, которое само себе цель и вне себя не признает никаких целей. В этой мысли есть основание; но ее преувеличенность заметна с первого взгляда. Мысль эта чисто немецкого происхождения; она могла родиться только у народа созерцательного, мыслящего и мечтающего и никак не могла бы явиться у народа практического, общественность которого для всех и каждого представляет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знают сами поборники его, и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует фактически. Оно в сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т. е. искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не иное что, как риторические упражнения на заданные темы. Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направлением общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, это разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда в романе или пьесе нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего типического, — как бы верно и тщательно ни было списано с натуры все, что в нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, т. е. владеть искусством писца или писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, т. е. подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт. Кажется, чего бы легче было верно списать портрет человека? И иной целый век упражняется в этом роде живописи, а все не может списать знакомого ему лица так, чтобы и другие узнали, чей это портрет. Уметь списать верно портрет есть уже своего рода талант; но этим не оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого; сходство не подвергается ни малейшему сомнению в том смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей это портрет, а все как-то недовольны им, вам кажется,

будто он и похож на свой оригинал и не похож на него. Но пусть с него же снимет портрет Тыранов или Брюлов — и вам покажется, что это зеркало далеко не так верно повторяет образ вашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но вся душа оригинала. Итак, верно списывать с действительности может только талант и как бы ни ничтожно было произведение в других отношениях, но чем более оно поражает верностью натуре, тем несомненное талант его автора. Что не все должно оканчиваться верностью натуре, особенно в поэзии, — это другой вопрос. В живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умение верно писать с натуры может служить часто признаком необыкновенного таланта. В поэзии это не совсем так: не умея верно писать с натуры, нельзя быть поэтом, но и одного этого умения тоже мало, чтобы быть поэтом, по крайней мере, замечательным.

Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющей ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь разделяется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другою живым образом, и не между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна. Говорят: для науки нужен ум и рассудок, для творчества — фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хотя сдавай его в архив. А для искусства не нужно ума и рассудка? А ученый может обойтись без фантазии? Неправда! Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль; а в науке — ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной блестящей фантазии; но это вовсе не общее правило для художественных произведений. В творениях Шекспира не знаешь, чему больше дивиться — богатству ли творческой фантазии или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учености, которые не только не требуют фантазии, в которых эта способность могла бы только вредить; но никак этого нельзя сказать об учености вообще. Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир; может ли же оно быть какою-то одинокою, изолированную от всех чуждых ему явлений деятельностью? Может ли поэт не отразиться в своем произведении, как человек, как характер, как натура, — словом, как личность? Разумеется, нет, потому что и самая способность изображать явления действительности без всякого отношения к самому себе — есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера Скотта невозможно не увидеть в авторе человека, более замечательного талантом, нежели сознательно-широким пониманием жизни, тори, консерватора и аристократа по убеждениям и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких явлений жизни. Поэт прежде всего — человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других. Шекспир был поэтом *старой веселой* Англии, которая, в продолжение немногих лет, вдруг сделалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движение имело сильное влияние на его последние произведения, наложив на них отпечаток мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он десятилетиями двумя позже, гений его остался бы тот же, но характер его произведений был бы другой. Поэзия Мильтона явно произведение его эпохи: сам того не подозревая, он в лице своего гордого и мрачного сатаны написал апофеозу восстания против авторитета, хотя и думал сделать совершенно другое. Так сильно действует на поэзию историческое движение обществ.

В наше время искусство и литература, больше чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общие, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется, не могло не изменить общего направления искусства во вред ему. Так самые гениальные поэты, увлекаясь решением общественных вопросов, удивляют иногда теперь публику сочинениями, которых художественное достоинство несколько не соответствует их таланту или, по крайней мере, обнаруживается только в частностях, а целое произведение слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Санда: *Le Meunier d'Angibault*, *Le Pêché de Monsieur Antoine*, *Isidore* *. Но и здесь беда произошла собственно не от влияния современных общественных вопросов, а оттого, что автор существующую действительность хотел заменить утопиею, и вследствие этого заставил искусство изображать мир, существующий только в его воображении. Таким образом, вместе с характерами возможными, с лицами, всем знакомыми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с риторикою. Но из этого еще нет причины вопить о падении искусства: тот же Жорж Санд после *Le Meunier d'Angibault* написал *Теврино*, а после *Изидоры* и *Le Pêché de Monsieur Antoine* — *Лукрецию Флориани*. Порча искусства вследствие влияния современных общественных вопросов могла бы скорее обнаружиться на талантах низшей степени; но и тут она обнаруживается только в неумении отличать существующее от небывалого, возможное от невозможного, и еще более — в страсти к мелодраме, к натянутым эффектам. Что особенно хорошо в романах Евгения Сю? — верные картины современного общества, в которых больше всего видно влияние современных вопросов. А что составляет их слабую сторону, портит их до того, что отбивает всякую охоту читать их? — Преувеличения, мелодрама, эффекты, небывалые характеры, вроде принца Родольфа, — словом, все ложное, неестественное, ненатуральное, — а все это выходит отнюдь не из влияния современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на частности и никогда на целое произведение. С другой стороны, мы можем указать на романы Диккенса, которые так глубоко проникнуты душевными симпатиями нашего времени и которым это несколько не мешает быть превосходными художественными произведениями.

Мы сказали, что чистого, отрешенного безусловно, или, как говорят философы, абсолютного искусства никогда и нигде не бывало. Если нечто подобное можно допустить, так это разве художественные произведения тех эпох, в которые искусство было главным интересом, исключительно занимавшим образованнейшую часть общества. Таковы, например, произведения живописи итальянских школ в XVI столетии. Их содержание, повидимому, преимущественно религиозное; но это большею частию мираж, и на самом деле предмет этой живописи — красота, как красота, больше в пластическом или классическом, нежели в романтическом смысле этого слова. Возьмем, например, мадонну Рафаэля, этот *chef d'oeuvre* итальянской жизни XVI века. Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении; кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой статье? Кто, стало быть, не был уверен, как в несомненной истине, что это произведение по превосходству романтическое, что лицо мадонны — высочайший идеал той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанию, и то в редкие мгновения чистого восторженного вдохновения? Автор предлагаемой статьи недавно видел эту картину. Не будучи знатоком живописи, он не позволил бы себе говорить об этой удивительной картине с целью определить ее значение и степень ее достоинства; но как ~~дало~~ идет только о его личном впечатлении и о романтическом или не романтическом

* «Мельник из Анжибо», «Грех господина Антуана», «Изидора». — *Ред.*

характере картины, то он думает, что может позволить себе на этот счет несколько слов. Статьи Жуковского он не читал уже давно, может быть, больше десяти лет, но как до того времени он читал и перечитывал ее со всем страстным увлечением, со всею верою молодости, и знал ее почти наизусть, то и подошел к знаменитой картине с ожиданием уже известного впечатления. Долго смотрел он на нее. Оставляя, обращался к другим картинам и снова подходил к ней. Как ни мало знает он толку в живописи, но первое впечатление его было решительно и определенно в одном отношении: он тотчас же почувствовал, что после этой картины трудно понять достоинства других и заинтересоваться ими. Два раза был он в Дрезденской галлерее и в оба видел только эту картину, даже когда смотрел на другие и когда ни на что не смотрел. И теперь, когда ни вспомнит он о ней, она словно стоит перед его глазами, и память почти заменяет действительность. Но чем дольше и пристальнее всматривался он в эту картину, чем больше думал тогда и после, тем больше убеждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковским под именем рафаэлевой, — две совершенно различные картины, не имеющие между собою ничего общего, ничего сходного. Мадонна Рафаэля — фигура строго классическая и нисколько не романтическая. Лицо ее выражает ту красоту, которая существует самостоятельно, не заимствуя своего очарования от какого-нибудь нравственного выражения в лице. На этом лице, напротив, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ее фигура, исполнены невыразимого благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана и своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое, сдержанное, нет благодати и милости, но нет гордости, презрения, а вместо всего этого какое-то не забывающее своего величия снисхождение. Это — как бы сказать — *idéal sublime du comme il faut**. Но ни тени неуловимого, таинственного, туманного, мерцающего, — словом, романтического; напротив, во всем такая отчетливая, ясная определенность, оконченность, такая строгая правильность и верность очертаний и вместе с этим такое благородство, изящество кисти! Религиозное созерцание выразилось в этой картине только в лице божественного младенца, но созерцание, исключительно свойственное только католицизму того времени. В положении младенца, в протянутых к предстолу (разумею зрителей картины) руках, в расширенных зрачках глаз его видны гнев и угроза, а в приподнятой нижней губе горделивое презрение. Это не бог прощения и милости, не искупительный агнец за грехи мира, — это бог судящий и карающий... Из этого видно, что и в фигуре младенца нет ничего романтического; напротив, его выражение так просто и определенно, так уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. Разве только в лицах ангелов, отличающихся необыкновенным выражением разумности и задумчиво созерцающих явление божества, можно найти что-нибудь романтическое.

Всего естественнее искать так называемого чистого искусства у греков. Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства. Но, тем не менее, красота в нем была больше существовою формою всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия, и гражданская жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе других к идеалу абсолютного искусства, но нельзя назвать его абсолютным, т. е. независимым от других сторон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гете, как на представителей свободного, чистого искусства; но это одно из самых неудачных указаний. Что Шекспир величайший творческий гений, поэт по преимуществу, в этом нет никакого сомнения; но те плохо понимают его, кто из-за его поэзии не

* Возвышенный идеал благородства. — Ред.

видит богатого содержания, неистощимого рудника уроков и фактов для психолога, философа, историка, государственного человека и т. д. Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии. Вообще характер нового искусства — перевес важности содержания над важностью формы, тогда как характер древнего искусства — равновесие содержания и формы. Ссылка на Гете еще неудачнее, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажем это двумя примерами. В «Современнике» прошлого года напечатан был перевод гетевского романа *Wahlverwandtschaften**, о котором и на Руси было иногда толковано печатно; в Германии же он пользуется страшным почетом, о нем написаны там горы статей и целые книги. Не знаем, до какой степени понравился он русской публике, и даже понравился ли он ей: наше дело было познакомить ее с замечательным произведением великого поэта. Мы даже думаем, что роман этот больше удивил нашу публику, нежели понравился ей. В самом деле, тут многому можно удивиться!.. Девушка переписывает отчеты по управлению имением; герой романа замечает, что в ее копии, чем дальше, тем больше почерк ее становится похож на его почерк. «Ты любишь меня!» восклицает он, бросаясь ей на шею. Повторяем: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публике не может не показаться странною. Но для немцев она нисколько не странна, потому что это черта немецкой жизни, верно схваченная. Таких черт в этом романе найдется довольно; многие сочтут, пожалуй, и весь роман не за что иное, как за такую черту. Не значит ли это, что роман Гете написан до того под влиянием немецкой общественности, что вне Германии он кажется чем-то странно-необыкновенным? Но Фауст Гете, конечно, везде — великое создание. На него в особенности любят указывать, как на образец чистого искусства, не подчиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных законов. И, однако ж — не в осуд будь сказано почтенным рыцарям чистого искусства — Фауст есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества. В нем выразилось все философское движение Германии в конце прошлого и начале настоящего столетия. Недаром последователи школы Гегеля цитировали беспрестанно, в своих лекциях и философских трактатах стихи из Фауста. Недаром также, во второй части Фауста, Гете беспрестанно впадал в аллегорию, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Где ж тут чистое искусство?

Мы видели, что и греческое искусство только ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства, но не осуществляет его вполне; что же касается до новейшего искусства, оно всегда было далеко от этого идеала, а в настоящее время еще больше отделилось от него; но это-то и составляет его силу. Собственно художественный интерес не мог не уступить места другим важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось служить им, в качестве их органа. Но от этого оно нисколько не перестало быть искусством, а только получило новый характер. Отнимать у искусства право служить общественным интересам, значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, действительное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия.

Платон считал унижением, профанацией науки приложение геометрии к ремеслам. Это понятно в таком восторженном идеалисте и романтике, гражданине маленькой республики, где общественная жизнь была так

* «Сродство душ». — Ред.

проста и немногосложна; но в наше время она не имеет даже оригинальности милой нелепости. Говорят, Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых все основано было на беспощадном дранье розгами и варварском обращении с детьми. Что ж тут дурного, спросим мы, если Диккенс действовал в этом случае как поэт? Разве от этого романы еще хуже в эстетическом отношении? Здесь ясное недоразумение: видят, что искусство и науки не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинками, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, показывает, в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе, действительно, много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, оба убеждают, только один логическими доводами, другой — картинками. Но первого слушают и понимают немногие, другого — все. Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не меньше науки. Тут и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить искусства, ни искусство науки.

Дурное, ошибочное понимание истины не уничтожает самой истины. Если мы видим иногда людей даже умных и благонамеренных, которые берутся за изложение общественных вопросов в поэтической форме, не имея от природы ни искры поэтического дарования, из этого вовсе не следует, что такие вопросы чужды искусству и губят его. Если бы эти люди вздумали служить чистому искусству, их падение было бы еще разительнее. Плох, например, был забытый теперь роман *Пан Подстолич*, вышедший назад тому больше десяти лет и написанный с похвальной целью — представить картину состояния белорусских крестьян; но все же он был не совсем бесполезен, и хоть с страшною скукою, но прочли же его иные. Конечно, автор лучше достиг бы своей благородной цели, если бы содержание своего романа изложил в форме записок или заметок наблюдателя, не пускаясь в поэзию, но если бы он ваялся написать роман чисто-поэтический, он еще меньше достиг бы своей цели.

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ

Бывают писатели, пользующиеся незавидным счастьем ни в ком не возбуждать неудовольствия своими сочинениями, не вызывать никого на противоречие себе, не иметь противников. Незавидно это счастье, потому что оно достается только людям пустым, занимающимся единственно риторическими распространениями банальных фраз. Истина только потому и называется истиною, что противоположна заблуждению, ажи; а если существует заблуждение, то люди, его разделяющие, станут, конечно, возражать против истины; если есть ложь, то люди, ее поддерживающие, станут вооружаться против человека, ее разрушающего. Не только в искусстве, не только в нравственных, философских, общественных вопросах ни одна дельная мысль не может быть высказана, не подавая повода к возражениям, даже

в математических науках, столь точных и доказательных, истина никогда не принималась без противоречий со стороны многих. Ньютонов закон тяготения долго казался нелепостью большинству астрономов. «Небесная механика» Лапласа до сих пор возбуждает споры. Только учебники арифметики не находят противоречия, потому что все их содержание ограничивается осязательными истинами. Только писатели без убеждений, без образа мыслей, без содержания и смысла умеют говорить так, что ни в ком не пробуждают желания спорить против их пустословия.

Белинский, человек с твердыми убеждениями, — человек, высказавший много важных и новых в нашей литературе истин, не мог не иметь многих противников. Он касался живых вопросов; потому во многих людях, интересы которых основывались на господствующих заблуждениях, вражда против него доходила до непримиримого ожесточения. Не широки размеры русской литературы, но горы бумаги были исписаны возражениями и обвинениями против Белинского.

Каждый человек имеет свои недостатки, каждый может ошибаться; у всякого писателя есть свои слабые стороны. Надобно было бы предполагать, что в сотнях обвинений, в тысячах возражений против Белинского найдутся некоторые справедливые указания на его недостатки и ошибки: ведь, натурально, не был же он изъят от общей человеческой участи не быть непогрешительным [— непогрешительность составляет, как известно, исключительную привилегию одного только Далай-Ламы]. Между противниками Белинского были люди очень умные, напр., Н. А. Полевой, были люди, считавшиеся учеными (которых не исчисляем, потому что людям, считающимся учеными, нет числа: их у нас едва ли не больше, нежели людей грамотных). Много лет, со всевозможною старательностью, они искали у Белинского ошибок, чтоб иметь случай побранить его. Как бы, казалось, не найти? И находили. Но удивительны были эти находки. О некоторых обвинениях мы уже говорили: это чистые выдумки, — например, фраза, будто бы он восстает против славных наших писателей, когда, напротив, он упрочил за ними в истории литературы почетное, быть может, даже слишком почетное место*; другая фраза, будто бы его требования были слишком велики, когда, напротив, они были чрезвычайно умеренны** — странно

* Именно он, а не кто другой. Нет ни малейшего сомнения, что если бы не указал Белинский истинные заслуги Ломоносова, Державина, Карамзина, в настоящее время эти писатели не пользовались бы и десятою частью того уважения, каким пользуются теперь, благодаря Белинскому].

** Нет сомнения, что если теперь желания образованнейшей части публики таковы, что могут быть удовлетворены очень легко (доказательства тому были даны публикою в последнее время очень осязательным образом), за это надо много благодарить Белинского, всеми силами старавшегося приучить нас предпочитать действительное, хотя б и скромное удовлетворение фантазерским желаниям, и положительно указавшего нам меру разумных требований.

и вспомнить о таких несообразных с фактами обвинениях. А это были едва ли еще не самые лучшие; другие еще гораздо более странны. Неудачность всех нападений на Белинского объясняется, впрочем, очень просто: во-первых, во всем существенном правда была на его стороне, как то всегда бывает в деятельности, служащей действительному прогрессу; а мелочных недостатков не могли его противники открыть у него, потому что были люди отстающие [как Н. А. Полевой] или непроницательные и вообще не понимали действительного положения ученых вопросов, о которых шла речь, а жизненные вопросы понимали превратным или пристрастным образом. Оттого-то обвинения, которые высказывались ими, были направлены совершенно неудачно. Два-три примера мы уже видели. Не менее забавно то обвинение, которое относилось к предмету, изложенному нами во второй половине предыдущей статьи.

Каждый, кто перечитывает статьи Белинского в хронологическом порядке, видит, что они тесно связаны между собою, что в развитии его мнений нет ни перерыва, ни внезапных поворотов, что это развитие совершалось правильно и совершенно постепенно, почти неуловимым образом; а, между тем, находились люди, с удивительною меткостью обвинявшие Белинского в том, что «ныне он сам противоречит тому, что говорил за месяц». Как могло возникнуть мнение, столь очевидно противоречившее всем известной твердости и последовательности убеждений Белинского? Дело в том, что люди, не одаренные излишнею проницательностью, вечно останавливаются на отдельных фразах, не вникая в связь и смысл речи, и потому им постоянно грезятся противоречия. В одной статье Белинского говорилось, например, что, по сравнению с английскою, французскою, немецкою литературами, русская все еще очень бедна; в другой статье говорилось, что ныне стала она богаче содержанием, нежели была прежде. Вот и найдено противоречие: Белинский иногда говорит, что наша литература бедна, иногда, что она богата. Таковы-то всегда были противоречия, в которых упрекали Белинского. Иногда он и сам наводил своих обвинителей на подобные открытия: заметив какую-нибудь ошибку в той или другой из прежних своих статей, он без всякой ложной робости сам указывал эту ошибку. Особенную радость доставил его противникам следующий случай. Когда вышел «Тарантас» гр. Соллогуба, Белинскому сначала показалось, что автор верит в разумность тех преобразований в нравах, предположения о которых излагаются в его книге, и в кратком извещении о выходе «Тарантаса» мнение о книге произносится с этой точки зрения. Когда Белинский внимательнее вдумался в идею «Тарантаса», ему показалось, что во многих странных мнениях можно оправдать автора, предположив, что он высказывает их иронически; потому в большой критической статье о «Тарантасе» (которая помещена в следующей

книжке «Отечественных записок») было сказано: «Берем назад свои слова» — какой превосходный случай кричать о шаткости убеждений Белинского! А, между тем, стоит только сличить рецензию, которая отвергалась критическою статьею, с соответствующими местами этой последней, и мы увидим, что различие между ними ничтожно: если бы сам Белинский не высказал, что взгляд его изменился, никто бы того и не мог заметить*.

* В краткой рецензии («Отечественные записки», 1845 г., № 4) говорилось: «Тарантас» графа Соллогуба — сочинение оригинальное и интересное. Это пестрый калейдоскоп парадоксов, иногда оригинальных, иногда странных, замечок самых верных, наблюдений самых тонких, с выводами, иногда поражающими своею истинностью, мыслей необыкновенно умных, картин ярких, художественно набросанных, рассуждений дельных, чувств горячих и благородных, иногда доводящих автора до крайности и односторонности в убеждениях. Это книга живая, пестрая, одушевленная, разнообразная, — книга, которая возбуждает в душе читателя вопросы, тревожит его убеждения, вызывает его на споры и заставляет его с уважением смотреть даже и на те мысли автора, с которыми он не соглашается. Это не роман, не повесть, не путешествие, не философский трактат, не журнальная статья, но и то, и другое, и третье вместе. Автор является в своей книге и литератором, и художником, и публицистом, и мыслителем».

А в критической статье, появившейся через месяц («Отечественные записки», 1845 г., № 5), было сказано:

«Многие видят в «Тарантасе» какое-то двойственное произведение, в котором сторона непосредственного, художественного представления действительности превосходна, а сторона воззрений автора на эту действительность, его мыслей о ней, будто бы исполнена парадоксов, оскорбляющих в читателе чувство истины. Подобное мнение несправедливо. Те, кому оно принадлежит, не довольно глубоко вникли в идею автора, и объективную верность, с какою изобразил он характер одного из героев «Тарантаса» — *Ивана Васильевича* — приняли за выражение его личных убеждений, тогда как на самом деле автор «Тарантаса» столько может отвечать за мнения героя своего юмористического рассказа, сколько, например, Гоголь может отвечать за чувства, понятия и поступки действующих лиц в его *Ревизоре* или *Мертвых душах*. Между тем ошибочный взгляд лучшей части читателей на «Тарантас» очень понятен: при первом чтении может показаться, будто бы автор не чужд желания, хотя и не прямо, а предположительно, высказать через *Ивана Васильевича* некоторые из своих воззрений на русское общество, — и тем легче увлечься подобным ошибочным мнением, что необыкновенный талант автора и его мастерство живописать действительность лишают читателя способности спокойно смотреть на картины, которые так быстро и живо проходят перед его глазами. Мы сами на первый раз увлеклись резким противоречием, которое находится между этими беспрестанно сменяющимися и беспрестанно поражающими новым удивлением картинами и между странными — чтобы не сказать: нелепыми — мнениями *Ивана Васильевича*. Это заставило нас забыть, что мы читаем не легкие очерки, не силуэты, а произведение, в котором характеры действующих лиц выдержаны художественно и в котором нет ничего произвольного, но все необходимо происходит из глубокой идеи, лежащей в основании произведения. Таким образом, берем назад свое выражение в рецензии о «Тарантасе» (в 4-й книжке «Отечественных записок»), что в нем, вместе с дельными мыслями, много и парадоксов. Только в XV и XVI главах автор «Тарантаса» говорит с читателем от своего лица; и вот — кстати заметить — эти-то главы больше всего сбивают читателя с толку, раздвоя в его уме произведение графа Соллогуба и ужасая его множеством страшных парадоксов. Но мы не скажем, чтоб это были парадоксы, это

Обстоятельство это само по себе вовсе не важно, и только такой строгий к себе человек, как Белинский, мог почесть нужным указывать ошибку, и незначительную и незаметную. А если б вздумалось ему совершенно прикрыть ее, это было бы очень легко: стоило только употребить в критической статье оборот такого рода: «в предыдущей книжке мы сказали, что «Тарантас» наполнен парадоксами», и, перефразировав прежнее суждение, продолжать: «да, автор часто вдаётся в крайности, в односторонность, — это тем страннее, что сам он очень часто и удачно подсмеивается над этою односторонностью, выставляя с тонкою ирониею нелепость понятий своего героя, Ивана Васильевича».

скорее мнения, с которыми нельзя согласиться безусловно и которые вызывают на спор. Последнее обстоятельство дает им полное право на книжное существование: с чем можно спорить и что стоит спора, то имеет право быть написанным и напечатанным. Есть книги, имеющие удивительную способность смертельно наскучить читателю, даже говоря все истину и правду, с которою читатель вполне соглашается; и наоборот, есть книги, которые имеют еще более удивительную способность заинтересовать и завлечь читателя именно противоположностью их направления с его убеждениями; они служат для читателя поверкою его собственных верований, потому что, прочитав такую книгу, он или вовсе отказывается от своего убеждения, или умеряет его, или, наконец, еще более в нем утверждает. Такой книге охотно можно простить даже парадоксы, тем более если они искренны и автор их далек от того, чтоб подозревать в них парадоксы. Вот другое дело — парадоксы умышленные, порожденные эгоистическим желанием поддержать вопиющую ложь в пользу касты или лица: такие парадоксы не стоят опровержения и спора; презрительная насмешка — единственное достойное их наказание»...

Разница, как видим, состоит единственно в том, что прежде Белинскому многие из мыслей, излагаемых Иваном Васильевичем, казались мнениями самого автора; потом ему вздумалось, что можно предполагать в изложении этих мнений тонкую иронию со стороны графа Соллогуба и что только в двух главах (рассказывающих воспитание Василия Ивановича и Ивана Васильевича) граф Соллогуб прямо излагает свои собственные понятия, — только из этих глав можно заключить об истинных мнениях автора: в других случаях кажущиеся парадоксы, быть может, скрывают под собою иронию. Но от этого нового предположения изменяется только суждение о соображениях, руководивших автором «Тарантаса», и только. Взгляд самого Белинского на вещи нисколько не изменяется от того, будет ли он спорить против одного Ивана Васильевича, или будет думать, что мысли, высказываемые Иваном Васильевичем, отчасти разделяет и автор «Тарантаса». И, действительно, критическая статья о «Тарантасе» беспощадно опровергает парадоксы, все равно, от лица ли Ивана Васильевича, или от лица автора они высказываются. Вот, например, начало разбора XV главы, рассказывающей биографию Василия Ивановича: ирония критика нисколько не смягчается тем, что мнения, им опровергаемые, излагаются прямо от лица автора:

«Изобразив с такою поразительною верною «воспитание» Василия Ивановича и сказав, что даже и оно не испортило его доброй природы, автор удивляется тому, что все наши деды и прадеды воспитывались так же, как и Василий Иванович, а, между тем, не в пример нам, были отличнейшие люди, с твердыми правилами, что особенно доказывается тем, что они «крепко хранили не по логическому убеждению, а по какому-то странному (?) внушению (?) любовь ко всем нашим отечественным постановлениям» (стр. 179). Здесь автор что-то темновато рассуждает; но сколько можем мы понять, под отечественными постановлениями он разумеет старые обычаи, которых наши

Читатель согласится, что посредством этого оборота легко было бы выразить все, что выражено в выписанном нами отрывке критической статьи, и с тем [вместе] сохранить совершенное внешнее согласие этой статьи с прежним отзывом. Так постоянно и делают почти все писатели. Только немногие, слишком твердые в своих основных убеждениях, слишком ясно понимающие, что они идут во всем существенном по прямой дороге, не боятся сами выставлять на вид все свои ошибки *.

деды и прадеды, действительно, крепко держались. Кому не известно, чего стоило Петру Великому сбрить бороду только с малейшей части своих подданных? Впрочем, добродетель, которая возбуждает такой энтузиазм в авторе «Тарантаса» и которая заключается в крепком хранении старых обычаев, именно из того и вытекала, что наши деды и прадеды, как говорит граф Соллогуб, были точно «люди неграмотные» (стр. 179). Мы не можем прийти в себя от удивления, не понимая, чему же автор тут удивляется... Эта добродетель и теперь еще сохранилась на Руси, именно между старообрядцами разных толков, которые, как известно, в грамоте очень не сильны. Китайцы тоже отличаются этою добродетелью, именно потому, что они, при своей грамотности, ужасные невежды и обскуранты. Но еще больше китайцев отличаются этою добродетелью бесчисленные породы бессловесных, которые совсем не способны знать грамоте, и которые до сих пор живут точь-в-точь, как жили их предки с первого дня создания... Вот, если бы автор «Тарантаса» нашел где-нибудь людей просвещенных и образованных, но которые крепко держатся старых обычаев, и удивился бы этому, тогда бы мы несколько не удивились его удивлению и вполне разделили бы его..

Мы не будем говорить, как *Василий Иванович* служил в Казани, плясал на одном балу *казачка* и влюбился в свою даму; но мы не можем пропустить *радеи* его «дражайшего родителя», в ответ на «покорнейшую просьбу «полслушнейшего» сына о благословении на брак: «Вишь, щенок, что затеял; еще на губах молоко не обсохло, а уж о бабе думает». От матери он услышал то же самое. Воля мужа была ей законом. «Даром, что пьяница», думала она, «а все-таки муж». При этом, автор не мог удержаться от восклицания: «так думали в старину!» Хорошо думали в старину! прибавим мы от себя. Когда милый «тятенька» *Василия Ивановича* умер от сивухи, добрые его крестьяне горько о нем плакали: картина была умилительная... Автор очень остроумно замечает, что «любовь мужика к барину есть любовь врожденная и почти неизъяснимая»; мы в этом столько же уверены, как и он.. Наконец, *Василий Иванович* женился и поехал в *Мордасы*; на границе поместья все мужики, стоя на коленях, ожидали молодых с хлебом и солью. «Русские крестьяне, — говорит автор, — не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность, и жалок тот, кто видит в них только лукавых, бессловесных рабов и не верует в их искренность» (стр. 187). Об этом предмете мы опять думаем точно так же, как сам автор. Если б *Василий Иванович* спросил у своего старосты, отчего крестьяне так радуются, староста, наверное, ответил бы:

• • • • • они
На радости, тебя увидя, пляшут.

* Говоря строго, надобно признаться, что ошибки в настоящем случае не было вовсе и что *Белинский* не имел основательной причины брать назад прежние слова. Автор «Тарантаса», очевидно, подсмеивается во многих случаях над *Иваном Васильевичем*; но столь же очевидно, что во многих случаях он выставляет его суждения, как основательные и справедливые. Поэтому обе фразы: «в парадоксах «Тарантаса» скрывается ирония» и «парадоксы эти высказываются, как положительная истина», — обе эти фразы равно могут быть употреблены, равно близки к правде: на одних страницах

История с «Тарантасом», нами рассказанная, была самым важным из тех случаев, на которые ссылались противники Белинского в доказательство шаткости его мнений; другие доводы их были еще забавнее; но было бы слишком долго припоминать эти другие случаи. Наша литература вообще имеет еще слишком мало опытности, и только этим объясняется возможность до чрезвычайности странных недоразумений и невероятных промахов, примеры которых так часты в ней. В самом деле, правдоподобное ли дело, чтобы писателя, подобного Белинскому, могли обвинять в шаткости мнений, когда скорее можно было говорить о чрезвычайном упорстве его? Ни в одной из западноевропейских литератур, более опытных, такое странное недоразумение невозможно.

Мы не без намерения останавливаемся на обвинениях против Белинского, хотя они по своей совершенной пустоте не заслуживают ни малейшего внимания: для характеристики положения нашей литературы они имеют свою цену. Важность исторического явления определяется не только его безотносительным содержанием, но и сравнением его с другими окружающими явлениями. Отсталость, мелочность или пустота направлений, которые существовали в русской литературе вне критики Белинского, заставляют нас вдвойне дорожить этою критикою *.

Чем внимательнее будем мы сравнивать в хронологическом порядке все статьи, написанные Белинским, тем очевиднее будет обнаруживаться, что развитие его понятий совершалось совершенно

«Тарантаса» выставляется нелепым то самое, что на других представляется глубокою мудростью. Противоречие в книге, а не в критике.

Мы изложили дело в том виде, как оно было понято большинством тогдашней публики и литераторов, принявших оговорку Белинского в серьезном смысле. На самом же деле ближе к правде было бы другое понятие о ее смысле. Критическая статья о «Тарантасе» написана очень едко; нелепость мнений Ивана Васильевича обнаруживается в ней самым колким образом. Потому слова: «эти мнения не должны быть приписываемы автору, он сам вместе с нами смеется над ними и написал книгу свою именно с той целью, чтоб обнаружить их нелепость», — слова эти, по всей вероятности, внушены только желанием сказать возможную пощадку писателю, эти слова внушены деликатностью, — другого смысла не следовало бы и искать в них. Таким образом, все громкие выходки против Белинского, будто бы в самом деле отказывавшегося от мнения, высказанного за месяц, — все эти выходки были, по-настоящему, основаны на недогадливости о смысле его оговорок. Примерами такой недогадливости богата бедная история нашей литературы.

* Нет надобности повторять, что Белинского должно считать только деятельнейшим представителем направления, считавшего между своими последователями почти всех даровитых и образованных русских писателей, и что, говоря «вне критики Белинского были только пустота и отсталость», мы говорим только: «вне направления, представителем которого в критике был Белинский, нет ничего замечательного или плодотворного», а вовсе не имеем желания уменьшать заслуги других полезных деятелей того времени, разделивших с Белинским честь быть выразителями живых мыслей. Белинский был, как мы уже говорили, только один, первый или деятельнейший из многих.

логически, постепенным, почти неуловимым образом. Но и представленное в предыдущей статье сравнение шести годичных отчетов его о русской литературе, в «Отеч[ественных] записках», служит уже достаточным доказательством тому. Продолжать это сравнение и на два последние отчета, помещенные в «Современнике», было бы излишне, потому что никто не утверждал, чтобы в последнее время мнения Белинского изменялись; напротив того, под конец его жизни многие стали говорить, что Белинский начал повторяться, что его новые статьи не более, как перифразы прежних — мнение, столь же основательное, как и все упреки, рассмотренные нами прежде. Повторим: наша литература так молода и неопытна, что беспрестанно встречаются в ней самые наивные недоразумения, для разъяснения которых надобно бывает серьезно и подробно рассуждать о самых элементарных понятиях.

Белинский писал критические статьи о русской литературе в продолжение четырнадцати лет. Они рассеяны по нескольким журналам. Читатели журналов постоянно сменяются одни другими. Из пятидесяти человек, читавших «Отечественные записки» 1845 года, едва ли один был знаком с «Телескопом» 1835 года и едва ли пять человек следили за «Отеч[ественными] записками» с 1840 года; из десяти человек, читавших «Современник» 1847 года, едва ли один читал «Отеч[ественные] записки» за все предыдущие годы. Возможно ли было бы в статье «Отеч[ественных] зап[исок]» 1845 года уклониться от необходимого объяснения того или другого понятия на том основании, что оно уже объяснено в «Телескопе» 1835 года, когда из людей, для которых писана статья 1845 года, только очень немногие были знакомы с этим прежним объяснением? Критическая статья пишется для публики, она должна иметь в виду, что различные годы даже одного и того же журнала имеют постоянно изменяющийся круг читателей. Оттого повторения в критических статьях неизбежны. Так всегда и бывает у всех писателей, занимающихся критикою. Конечно, если соединить в один переплет все статьи Белинского, многие страницы этого сборника будут заключать повторения, — но должно помнить, что эти статьи были рассеяны по сотням книг. Избегать повторений было бы в критическом писателе странным педанством — без повторений ни одна из его статей не была бы понятна и для десятой доли своих читателей. Возьмите любой сборник критических статей автора, писавшего в продолжение многих лет, и вы увидите, что половина его страниц заключает повторение сказанного в другой половине. У нас теперь в моде критические статьи Маколеев — укажем хотя на них: просматривая этот сборник, вы в двадцати местах найдете одни и те же рассуждения о временах Елисаветы, о реформации в Англии, о влиянии на ход английской истории островитянского положения Англии, о влиянии того обстоятельства, что в Англии долго не было постоянной армии, и т. д., и т. д. Но в Англии никому не

может притти в голову упрекать за то Маколея, говорить, что он повторяется, что он исписался; а у нас говорилось это о Белинском, и говорившие не подозревали, что говорят несообразно с здравым смыслом.

Впрочем, мало сказать, что повторения для Белинского были столь же необходимы, как, например, для Маколея: они были для русского критика гораздо необходимее, нежели для английского. Это зависит от различного положения и литературы нашей, и публики.

Мнения, которые излагает Маколей, излагаются сотнями других английских писателей; они занесены в книги, которые находятся в библиотеке каждого, имеющего библиотеку хотя из сотни книг (а число таких людей в Англии в тысячу раз больше, нежели у нас), — и однако же, Маколею было необходимо двадцать раз повторять одну и ту же мысль. У нас не то. Мнений, которые излагались Белинским, вы не могли найти ни в одной русской книге, ни в одном журнале, кроме того, в котором писал он.

Европейская публика привыкла к деятельной умственной жизни. Она приготовлена ко всякой новой мысли, готова с первого раза заметить и оценить ее. У нас — мы хотели бы сказать: у нас то же самое, но факты говорят совершенно не то. У нас даже старые мысли, если только в них есть что-нибудь живое, возбуждают недоумение, будто неслыханная новость, — вот и свидетельство о том, с каким успехом бывали замечены и оценены эти старые мысли, когда являлись в нашей литературе новыми. Нам нужно твердить, твердить и твердить, чтобы в нашем внимании, в нашей памяти утвердилось наконец то, о чем мы читаем.

Не спорим, есть у нас люди, составляющие исключение из этого правила — слишком грустно было бы, если бы и того не было — но журнальные статьи пишутся не для людей, составляющих исключение. А если кто вздумал бы сомневаться в справедливости сказанного нами, то очень легко привести доказательства, не покидая речи о Белинском: сколько в последние годы было случаев, что одних писателей хвалили, других осуждали за новые, будто бы, мысли, а между тем, эти мысли были заимствованы из статей Белинского, да, в довершение эффективности доказательства в нашу пользу, обыкновенно принадлежали к числу мыслей, которые чаще всего повторял он. Примеров легко набрать десятки. Укажем только один истинно восхитительный: когда была мода на библиографию, прославившиеся в то время библиографы были превозносимы особенно за то, что чрез них критическая история нашей литературы воздвигается на основании совершенно новом — на основании разработки фактов, о необходимости которой (будто бы) прежде у нас и не думали, считая (будто бы) подробное исследование фактов бесполезным. К этим похвалам присоединялись упреки Белинскому за то, что он, сам (будто бы) пренебрегая разработкою фактов, доказывал (будто

бы) бесполезность ее. Говорить это можно было, только забыв или вовсе никогда не имея понятия, что при всяком удобном случае Белинский твердил о необходимости разработки фактов, возбуждал к ней неумолимо, ободрял каждый сколько-нибудь сносный опыт в этом роде. Надобно прибавить, что он сам неумолимо занимался этою разработкою и собрал для истории нашей литературы во сто раз больше фактов, нежели кто-нибудь из современных ему или позднейших писателей по части истории литературы. Таких восхитительных примеров можно было бы найти очень много в журналах наших за пятидесятые годы. Эти ошибки, кажется, слишком ясно доказывают, что память у нас довольно коротка, и что слишком упорно нужно твердить нам одну и ту же мысль, чтобы она сколько-нибудь вошла в наше сознание.

По необходимому условию критической деятельности, у Белинского часто встречаются повторения основных мыслей, и те, которые видели в этом неизбежном качестве всякой критики особенный недостаток Белинского, обнаруживали только свое незнание с понятиями об условиях, сообразно с которыми должен действовать критик. Но те, которые выводили из этих повторений заключение, что в последние годы Белинский только повторял сказанное им прежде, не прибавляя ничего нового, что он исписался, — эти строгие судьи обнаруживали, что они не в состоянии даже понимать смысла читаемых статей и в своих суждениях руководятся только отыскиванием сходных слов. В 1842 году Белинский говорил о значении Ломоносова и в 1847 также — этого было для них довольно: они решали, что в 1847 году он не сказал о Ломоносове ничего больше, как то, что говорил за пять лет. А, между тем, стоило бы только сравнить соответствующие страницы в двух обзорах, и они увидели бы, что в 1847 году Белинский, кратко упоминая о тех вопросах по поводу Ломоносова, которые объяснил прежде, главное внимание обращает на вопросы, которых прежде не касался. Общего между двумя этими эпизодами только то, что они говорят об одном писателе и написаны по одному и тому же общему понятию о характере его сочинений, — они согласны между собою в общем взгляде на Ломоносова; но их содержание, частные мысли, в них развиваемые, совершенно различны. В 1842 году Белинский доказывал, что оды Ломоносова внушены не жизнью, а подражанием иноземной риторической поэзии. Почему так было и могло ли быть иначе при тогдашнем положении русской умственной жизни, об этом он не говорил в 1842 году. В 1847 году, кратко упомянув, что поэзия Ломоносова есть поэзия подражательная, Белинский не останавливается на этом факте, а объясняет его необходимость, доказывает, что именно по своей подражательности оды Ломоносова [и] удовлетворяли потребностям того времени, что подражание явлениям цивилизованной жизни было тогда для нас необходимейшим и плодотворнейшим делом — спрашивается: неужели содержание

этого эпизода не совершенно ново в сравнении с содержанием прежнего эпизода? Чудно устроен свет, и хорошо, что не нашим противникам Белинского пришлось решать вопрос об отношении, например, Нибура к Титу Ливию или Адама Смита к Ксенофонту: они тотчас бы открыли, что английский экономист не более, как повторил греческого, а немецкий историк — латинского. В самом деле, предметы одни и те же у них: Нибур и Тит Ливий, оба говорят о Ромуле и Нуме, о Цинциннате и Камилле; Адам Смит и Ксенофонт, оба говорят о государственных доходах и расходах, о земледелии и ремеслах. Какое нам дело до того, что в сочинении одного рассматриваются одни вопросы, в сочинении другого — совершенно другие? Обе книги имеют один общий предмет, одинаковое заглавие — чего же больше? Не ясно ли, что позднейшая из двух книг должна быть повторением более старой? зачем вникать в смысл? — это дело небезопасное, да и не всякому оно по силам.

Кто вникает в смысл, не ограничивая своего разума исключительно именами и словами, тому, конечно, всегда казался чистою нелепостью упрек Белинскому за повторение старого или даже и за неподвижность. Трудно даже поверить, чтобы кому-нибудь могло притти на мысль выбрать такую тему для своих филиппик; а, между тем, Белинского, действительно, постоянно упрекали в том, что он вечно повторяет одно и то же, хотя для всякого, читавшего его статьи, поразительнейшею чертою в деятельности этого писателя должно было бы представляться постоянное стремление его вперед. Вообще, говоря об упреках, какие делались Белинскому, чувствуешь себя совершенно неловко, — как бы рассуждал о том, справедливо ли упрекать Волгу за то, что вода стоит в ней неподвижно. Что делать с таким мнением о неподвижности воды Волги? Объяснять его неуместность кажется оскорбительным для глаз и здравого смысла; а, между тем, попробуйте не отвечать, если кто-нибудь выскажет его, — и человек, высказавший этот остроумный упрек, будет воображать, что он остается прав. А если таких остроумных людей много, то на совести вашей будет лежать тяжелый грех, когда вы оставите их в заблуждении.

Мы приведем еще только один пример в опровержение странного заблуждения, о котором упомянули сейчас.

Ряд статей Белинского о Пушкине, без всякого сомнения, представляет одно стройное целое; все эти статьи написаны под влиянием одной мысли, по одному общему плану, и, кажется, до сих пор никому еще не приходило в голову утверждать, чтобы статьи эти в чем-нибудь противоречили одна другой или чтобы общий план не был в них строго соблюден. Однако же, перечитывая статьи о Пушкине, из которых первая помещена в шестой книге «Отеч[ественных] зап[исок]» 1843 года, а последняя в одиннадцатой книге 1846 года, невозможно не заметить, что

взгляд Белинского постепенно становится все шире и глубже, а содержание статей все решительнее проникается интересами национальной жизни. Так, например, в начале первой статьи значение Пушкина объясняется преимущественно с художественной точки зрения, а в заключении последней статьи сильнее, нежели чисто художественное достоинство произведений Пушкина, выставляется на вид значение его деятельности для нашего общества, в котором его поэзии пробуждалась гуманность *. Четвертая статья, рассматривающая лицейские стихотворения Пушкина, занимается преимущественно формальным объяснением той связи, в какой манера Пушкина находится с манерами предшествовавших ему поэтов. Шестая, говорящая о «Руслане и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане», «Братьях-разбойниках», ограничивается чисто литературными суждениями об этих произведениях; но в седьмой статье («Цыганы», «Полтава») понятия Алеко о любви уже служат поводом к эпизоду о нравственных понятиях, а в восьмой и девятой статьях, заключающих разбор «Онегина», эпизоды подобного рода занимают уже наибольшее число страниц. Так, перечитывая статьи, составляющие, повидимому, совершенно однородное целое, строго выполненные по заранее обдуманному плану, мы можем видеть, как расширяется круг предметов, говорить о которых Белинский считает своею главною обязанностью, и как чисто литературный взгляд его все более и более оживляется, соединяясь с заботою о других потребностях общества, как самая литература все яснее и яснее является Белинскому служительницею интересов не столько искусства, сколько общества.

Заговорив о тех упреках, какие делались Белинскому, мы хотим покончить с этим предметом, и для того должны сказать несколько слов относительно обвинения, столь же неосновательного в сущности, как и все предыдущие, но имевшего, по крайней мере, тень внешнего правдоподобия для людей, которые судят об уме и других дарованиях писателя не по его сочинениям, а по формальным обстоятельствам его жизни.

Лавуазье был генеральный откупщик, один из самых дельных

* Вот окончание последней из статей о Пушкине:

«Закключаем. Пушкин был по преимуществу поэт, художник и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал нам поэзию как искусство, как искусство. Потому он навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии, учителем искусства. К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека, как человека. Несмотря на генеалогические свои предрассудки, Пушкин по самой натуре своей был существом любящим, симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человеком». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характере сильном и мощном, в нем было много детски-кроткого, мягкого и нежного, и все это отразилось в его изящных созданиях».

и деятельных по финансовой части директоров огромного коммерческого предприятия; но он создал новейшую химию, и никто в Европе не вздумал отвергать его заслуги науке на том основании, что-де он был промышленник, некогда ему было основательно заниматься химиею. Вильгельм Гумбольдт был дипломат, был министр; но он написал гениальные сочинения по филологии, — и никто в Европе не думал отвергать достоинство этих сочинений на том основании, что-де некогда было Гумбольдту основательно заниматься филологиею: он писал депеши, вел переговоры и писал резолюции на деловых бумагах. Анкетиль Дюперрон был матросом, потом слугою в Ост-Индии, — но он первый изучил бендский язык и познакомил Европу с огнепоклонническою цивилизациею, — и опять никто не вздумал спорить против него на том основании, что-де некогда матросу и лакею заниматься науками. Яков Бем, получив такое воспитание, которое едва научило его читать и писать, занялся для своего пропитания сапожным мастерством и до конца жизни шил очень хорошие сапоги, но, кроме того, написал гениальные философские творения, и опять-таки никто в Европе не думает говорить, что должны быть они плохи, потому-де, что куда же сапожнику быть хорошим философом: его дело тащить сапоги и сучить драгву.

Это происходит от недогадливости умных и образованных людей в Европе. Они, бедняжки, не подумали о самом легком и верном средстве судить, хороши ли ученые сочинения такого-то автора. А вернейшее средство это состоит в том, чтобы спросить у автора: «покажи-ка нам свои дипломы, скажи-ка, где ты кончил курс, какие ученые общества приняли тебя в число твоих членов, какую должность ты занимаешь?» Есть дипломы у автора, занимает он ученую должность, — значит, и ученые его сочинения прекрасны.

Это правило с успехом было у нас применяемо к Н. А. Полевому, но еще с большим успехом к Белинскому. «Человек-де был не получивший никаких дипломов, — ну, и значит, не мог основательно писать об ученых предметах».

Белинский не был ни сапожником или матросом, ни дипломатом или банкиром, никакое житейское ремесло не отвлекало его от книг, но у него не было дипломов; какая же тут может быть ученость, посудите сами.

Да посмотрите, догадливые судьи, на самые сочинения и решайте вопрос об учености писателя по его творениям.

Этого способа проверки своих знаний Белинский не может бояться. Будущие биографы Белинского расскажут нам, когда и чем именно он занимался и как пользовался доступными ему средствами для приобретения знаний, — мы пишем не биографию, нас занимают здесь не люди, а только их сочинения, — и потому для нас довольно знать, что изучение сочинений Бе-

линского самым неоспоримым образом опровергает всякие сомнения в основательности его знаний. У нас мало было писателей, которых можно было бы сравнить с ним в этом отношении. Кажется, нельзя сказать, чтобы круг вопросов, обнимаемых его сочинениями, был тесен, а, между тем, положительно видишь, перечитывая его статьи, что обо всех вопросах, каких ни касался он, он имел понятия очень основательные, которым могли бы позавидовать многие ученые писатели.

Что же касается его специальной науки — истории русской литературы, он был и до сих пор остается первым знатоком ее. В этом отношении никто из наших ученых не мог до сих пор сравниться с ним. Вообще, надо признаться, Белинский, будучи значительнейшим из всех наших критиков, был и одним из замечательнейших наших ученых. Это факт, неоспоримо доказываемый его сочинениями. Сомневаться в том значит обнаруживать или недостаток научного образования в себе, или свое незнакомство с сочинениями Белинского.

Для иных (впрочем, можно быть уверенным, очень немногих) может показаться излишнею суровостью с нашей стороны то, что мы не делали ни малейших уступок в пользу людей, осыпавших Белинского упреками и обвинениями. — неужели, в самом деле, эти люди были совершенно неправы? — Совершенно неправы, — и тут нет ничего особенного или странного для людей, имеющих понятие об истории, которая очень часто говорит о случаях совершенно подобных, часто показывает нам, что одна из боровавшихся партий была совершенно права, а все обвинения, взводившиеся на нее противниками, были совершенно ложны, происходя единственно от недальновидности, невежества, неблагонамеренности и тому подобных отрицательных качеств. «Но неужели, — могут спросить нас далее, — вы хотите доказать, что критическая деятельность Белинского — полное осуществление абсолютного идеала критики?» — Дело вовсе не в том. Каждый писатель сын своего века, и когда развитие мысли с течением времени становится выше той степени, которая была свойственна его эпохе, когда являются воззрения более полные и глубокие, нежели каковы были его воззрения, тогда, конечно, его произведения перестают быть совершенно удовлетворительными. Мы нимало не сомневаемся в том, что будущее развитие человеческой мысли далеко превзойдет своею полнотою и глубиною все, что произвела мысль нашего века; мы уверены и в том, что русской литературе предстоит великое развитие, и что для того времени, когда настанет эта эпоха высшего развития, будет казаться неудовлетворительным все существовавшее или существующее ныне в русской литературе, в том числе и критика Белинского. Соображая аналогический ход развития других литератур, мы можем даже предусматривать, какие именно стороны нашей нынешней литературы будут казаться слабыми для того

времени, можем предвидеть и то, чем критика, соответствующая духу того времени, будет отличаться от критики Белинского: она будет гораздо требовательнее, и, сравнительно с нею, критика Белинского будет казаться слишком умеренною в своих требованиях, слишком уклончивою или даже слишком слабою по выражению этих требований: предметы, о которых тогда будет вести речь русская литература, будут важнее, нежели были до сих пор, — потому и критика будет находить недостойным своего внимания многое, что кажется в нынешней литературе делом великой важности. Но эта эпоха еще впереди, и скоро ли наступит она, трудно решить: что будет, можно предвидеть, скоро ли и каким образом будет, нельзя сказать. [Мы знаем так же верно, как $2 \times 2 = 4$, что за ночью последует день, и кто доживет до светлого дня, конечно будет наслаждаться сиянием. более ярким и живительным, нежели какой давали светила ночи, которые озаряют ныне путь наш во мраке.]

Предварительные объяснения наши кончены, и мы теперь можем приступить к подробному изложению литературных мнений Белинского. В этом деле мы постоянно будем приводить его собственные слова, и труд наш ограничивается только выбором важнейших мест из его последних статей. Для большей точности, мы не будем даже отступать ни от того порядка, в котором писаны были они, ни от того порядка, в котором излагаются эти мысли в каждой статье: мы просто представим извлечение из последних статей Белинского, зная, что это будет приятнее всего для читателей, полезнее всего для литературы.

Начинаем наши извлечения анализом статьи Белинского, помещенной в «Петербургском сборнике» — «Мысли и заметки о русской литературе».

Безотносительное достоинство нашей литературы, по мнению Белинского, еще не очень велико. Это понятие важно, потому что мы, радуясь своим успехам, слишком склонны воображать, что уже недалеко осталось нам до того, чтобы стоять на ряду с образованнейшими народами и отдыхать на воображаемых лаврах. Необходимо напоминать нам, что эта высокая мечта не более, как мечта. Если мы чем можем по справедливости гордиться, то, без сомнения, литературою: она составляет лучшую сторону нашей жизни; а между тем, и литература наша до сих пор находится в состоянии, близком к младенчеству. Но, несмотря на свою слабость, для нас она имеет чрезвычайную важность:

Какова бы ни была наша литература, во всяком случае, ее значение для нас гораздо важнее, нежели как может оно казаться: в ней, в одной ей, вся наша умственная жизнь и вся поэзия нашей жизни. Только в ее сфере перестаем мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся к людям и с людьми.

В нашем обществе преобладает дух разъединения: у каждого нашего

сословия все свое, особенное — и платье, и манеры, и образ жизни, и обычаи, и даже язык. Дух разведения враждебен обществу: общество соединяет людей, каста разводит их. Этот дух особности так силен у нас, что даже и новые сословия, возникшие из нового порядка дел, основанного Петром Великим, не замедлили принять на себя особенные оттенки. Чему удивляться, что дворянин на купца, а купец на дворянина вовсе не походят, если иногда почти то же различие существует и между ученым и художником?.. У нас еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются верными благородной решимости не понимать что такое искусство и зачем оно; у нас еще много художников, которые и не подозревают живой связи их искусства с наукою, с литературою, с жизнью. И потому сведите такого ученого с таким художником, и вы увидите, что они будут или молчать, или перекидываться общими фразами... Несомненно то, что у нас есть сильная потребность общества и стремление к обществу; а это уже важно. Реформа Петра Великого не уничтожила, не разрушила стен, отделявших в старом обществе один класс от другого; но она подкопалась под основание этих стен и если не повалила, то наклонила их на бок, — и теперь со дня на день они все более и более клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственным своим щебнем и мусором, так что починять их значило бы придавать им тяжесть, которая, по причине подрывного их основания, только ускорила бы их, и без того неизбежное, падение. И если теперь разделенные этими стенами сословия не могут переходить через них, как через ровную мостовую, зато легко могут перескакивать через них там, где они особенно пообвалялись или пострадали от проломов. Все это прежде делалось медленно и незаметно, теперь делается и быстрее и заметнее — и близко время, когда все это очень скоро и начисто сделается. Железные дороги пройдут и под стенами и через стены, туннелями и мостами; усилением промышленности и торговли они переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в те живые и тесные отношения, которые невольно сглаживают все резкие и ненужные различия.

Но начало этого сближения сословий между собою, которое есть начало образующегося общества, отнюдь не принадлежит исключительно нашему времени: оно сливается с началом нашей литературы. Общественное просвещение потекло у нас вначале ручейком мелким и едва заметным, но зато из высшего и благороднейшего источника — из самой науки и литературы. Наука у нас и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда как образование только еще не разрослось, но уже укоренилось. Лист его мелок и редок, ствол не высок и не толст, но корень уже так глубок, что его не вырвать никакой буре, никакому потоку, никакой силе: вырубите этот лесок в одном месте, но корень даст отпрыски в другом, и вы скорее устанете вырубать, нежели устанет он давать новые отпрыски и разрастаться...

Говоря об успехах образования нашего общества, мы говорим об успехах нашей литературы потому, что наше образование есть непосредственное действие нашей литературы на понятия и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде особенного класса в обществе, который от обыкновенного среднего сословия отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе.

Различие литературного образования общества перешло в жизнь и разделило людей на различно действующие, мыслящие и убежденные поколения, которых живые споры и полемические отношения, выходя из принципов, а не из материальных интересов, являют собою признаки возникающей и развивающейся в обществе духовной жизни. И это великое дело есть дело нашей литературы!..

Литература была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей. Она началась сатирою и в лице Кантемира

объявила нещадную борьбу невежеству, предрассудкам, сутяжничеству, ябеде, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она застала в старом обществе не как пороки, но как правила жизни, как моральные убеждения. Каков бы ни был талант Сумарокова, но его сатирические нападки на «крапивное семя» всегда будут заслуживать почетного упоминания от историка русской литературы. Комедии фон-Визкина были еще более заслугою перед обществом, нежели перед литературою. Отчасти то же можно сказать и об «Ябеде» Капниста. Басня потому так хорошо и принялась у нас, что она принадлежит к сатирическому роду поэзии. Сам Державин, поэт по преимуществу лирический, был в то же время и сатирическим поэтом, как, например, в «Фелице», «Вельможе» и других пьесах. Наконец пришло время, когда в нашей литературе сатира перешла в юмор, который высказывается в художественном воспроизведении житейской действительности. Конечно, смешно было бы предполагать, чтоб сатира, комедия, повесть или роман могли исправить порочного человека; но нет сомнения, что они, открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробуждению его самосознания, покрывают порочного презрением и позором. Недаром же многие у нас не могут без ненависти слышать имени Гоголя и его «Ревизора» называют «безнравственным» сочинением, которое следовало бы запретить. Равным образом, теперь уже никто не будет так простодушен, чтобы думать, что комедия или повесть может взяточника сделать честным человеком: нет! кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстело, не сделаешь прямым; но ведь у взяточников так же бывают дети, как и у не взяточников: те и другие, еще не имея причин считать безнравственными яркие изображения взяточничества, восхищаются ими и незаметно для самих себя обогащаются такими впечатлениями, которые не всегда оказываются бесплодными в их последующей жизни, когда они делаются действительными членами общества. Впечатления юности сильны, и юность то и принимает за несомненную истину, что прежде всего поразило ее чувство, воображение и ум. И вот каким образом действует литература уже не на одно образование, но и на нравственное улучшение общества. Как бы то ни было, но этот факт не подлежит никакому сомнению, что только в последнее время у нас начало делаться заметным число людей, которые нравственные убеждения стараются осуществлять на деле, в ущерб своим личным выгодам и во вред своему общественному положению...

Не менее этого неоспорим и тот факт, что литература служит у нас точкою соединения людей, во всех других отношениях *внутренно* раздельных. Мещанин Ломоносов за свой талант и свою ученость достигает важных чинов, и вельможи допускают его в свой круг. Бедный дворянин Державин за свой талант сам делается вельможею, — и между людьми, с которыми сблизил его литература, он нашел не одних мещанатов, но и друзей. Казанский купец Каменев, написавший балладу «Громвал», приехав в Москву по делам, пошел познакомиться с Карамзиным, а через него перезнакомился со всем московским литературным кругом. Это было назад тому сорок лет, когда купцы хаживали только в передние дворянских домов, и то по делам, с товарами или за должком, об уплате которого смиренно докучали. Первые журналы русские, которых и самые имена теперь забыты, издавались кружками молодых людей, сблизившихся между собою чрез общую им всем страсть к литературе. Образованность равняет людей. И в наше время уже нисколько не редкость встретить дружеский кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец, и мещанин, — кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают друг в друге просто людей. Вот истинное начало образованной общности, созданное у нас литературою! Кто из имеющих право на имя человека не пожелает от всей души, чтоб эта общность росла и увеличивалась не по дням, а по часам, как росли наши сказочные богатыри! Как все живое, общество должно быть органическим, то есть множеством людей, связанных между собою *внутренно*. Денежные интересы, торговля, акции, балы, собрания, танцы — тоже связь, но только внешняя, следова-

тельно не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренно связывают людей общие нравственные интересы, сходство в понятиях, равенство в образовании и, при этом, взаимное уважение к своему человеческому достоинству. Но все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия...

Любовь к крайностям в суждениях — одно из свойств еще не установившейся природы русской: русский человек любит или не в меру хвастаться, или не в меру скромничать.

Пристаньте к одной из этих партий, она сейчас же произведет вас в великие люди, в гении, тогда как другая возненавидит и объявит бездарным человеком. Но, во всяком случае, имея врагов, вы будете иметь и друзей. Держась же беспристрастно, трезвого мнения об этом предмете, вы восстановите против себя обе стороны. Одна из них обременит вас своим модным, попугайным презрением; другая, пожалуй, объявит вас человеком беспокойным, опасным, подозрительным, ренегатом и будет писать на вас литературные донесения — разумеется, публичные... Самое неприятное тут то, что вы не будете поняты, и в ваших словах будут находить то неумеренные похвалы, то неумеренную брань, но не будут видеть в них верной характеристики факта действительности, как он есть, со всем его добром и злом, достоинствами и недостатками, со всеми противоречиями, которые он носит в самом себе. Это особенно прилагается к нашей литературе, которая представляет собою столько крайностей и противоречий, что, сказав о ней что-нибудь утвердительное, тотчас же должно сделать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели рассуждать, легко может показаться отрицанием или противоречием. Так, например, сказав о сильном и благотворном влиянии нашей литературы на общество, и, следовательно, о ее великой для нас важности, мы должны оговориться, чтобы этому влиянию и этой важности не приписали больших размеров, нежели какие мы разумели, и, таким образом, не вывели бы из наших слов такого заключения, что мы не только имеем литературу, но еще и богатую литературу, которая смело может стать наравне с любой европейской литературой. Подобное заключение было бы всячески ложно. У нас есть литература, и литература, богатая талантами и произведениями, если брать в соображение ее средства и молодость, — но наша литература существует только для нас: для иностранцев же она еще вовсе не литература, и они имеют полное право не признавать ее существования, потому что они не могут через нее изучать и узнавать нас, как народ, как общество. Литература наша слишком молода, неопределенна и бесцветна для того, чтобы иностранцы могли видеть в ней факт нашей умственной жизни...

Для иностранцев интереснее других были бы в хороших переводах те создания Пушкина и Лермонтова, которых содержание взято из русской жизни. Таким образом *Евгений Онегин* был бы для иностранцев интереснее *Моцарта* и *Сальери*, *Скупой рыцаря* и *Каменного гостя*. И вот почему самый интересный для иностранцев русский поэт есть Гоголь. Этот успех понятен: кроме огромности своего художнического таланта, Гоголь строго держится в своих сочинениях сферы русской житейской действительности. А это-то всего и интереснее для иностранцев: они хотя через поэта знакомятся с страной, которая произвела его. В этом отношении Гоголь — самый национальный из русских поэтов, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причине самой национальности его сочинений, и в лучшем переводе не может не ослабиться их колорит.

Но и этим успехом не должно слишком заноситься. Для поэта, который хочет, чтоб гений его был признан везде и всеми, а не одними только его соотечественниками, национальность есть первое, но не единственное условие: необходимо еще, чтоб, будучи национальным, он в то же время был и всемирным, то есть, чтобы национальность его творений была формою, телом, плотью, физиономиею, личностью духовного и бесплотного мира общечелове-

ческих идей. Другими словами: необходимо, чтоб национальный поэт имел великое историческое значение не для одного только своего отечества, но чтобы его явление имело всемирно-историческое значение. Такие поэты могут являться только у народов, призванных играть в судьбах человечества всемирно-историческую роль, то есть своею национальною жизнью иметь влияние на ход и развитие всего человечества. И потому, если, с одной стороны, без великого гения от природы нельзя быть всемирно-историческим поэтом, то, с другой стороны, и с великим гением иногда можно быть не всемирно-историческим поэтом, то есть иметь важность только для одного своего народа. Здесь значение поэта зависит уже не от него самого, не от его деятельности, направления, гения, но от значения страны, которая произвела его. С этой точки зрения, у нас нет ни одного поэта, которого мы имели бы право поставить наравне с первыми поэтами Европы.

Таланты есть повсюду и всегда; но не одни только таланты нужны для того, чтобы литература имела положительное достоинство: только содержание придает истинную цену ее произведениям.

Почти каждый образованный француз считает необходимым иметь в своей библиотеке всех своих писателей, которых общественное мнение признало классическими. И он читает и перечитывает их всю жизнь свою. У нас — что греха таить? — не всякий записной литератор считает за нужное иметь старых писателей. И вообще у нас все охотнее покупают новую книгу, нежели старую; старых писателей у нас почти никто не читает, особенно те, которые всех громче кричат о их гении и славе. Это отчасти происходит оттого, что наше образование еще не установилось и образованные потребности еще не обратились у нас в привычку. Но тут есть и другая, может быть, еще более существенная причина, которая не только объясняет, но частично и оправдывает это нравственное явление. Французы до сих пор читают; например, Рабле или Паскаля, писателей XVI и XVII века; тут нет ничего удивительного, потому что этих писателей и теперь читают и изучают не одни французы, но и немцы и англичане — словом, люди всех образованных наций. Язык этих писателей, и особенно Рабле, устарел: но содержание их сочинений всегда будет иметь свой живой интерес, потому что оно тесно связано со смыслом и значением целой исторической эпохи. Это доказывает ту истину, что только содержание может спасти от забвения писателя.

Источник, из которого возникает богатая литература, — богатство и сила умственной жизни в обществе. У нас этого еще нет:

Вообще, вместе с удивительными и быстрыми успехами в умственном и литературном образовании, проглядывает у нас какая-то незрелость, какая-то шаткость и неопределенность. Истины, в других литературах давно сделавшиеся аксиомами, давно уже не возбуждающие споров и не требующие доказательства, у нас все еще не подвергались суждению, еще не всем известны.

Вспомните только, что произведение, верно схватывающее какие-нибудь черты общества, считается у нас часто пасквилом то на общество, то на сословие, то на лица. От нашей литературы требуют, чтобы она видела в действительности только героев добродетели да мелодраматических злодеев, и чтобы она и не подозревала, что в обществе может быть много смешных, странных и уродливых явлений. Каждый, чтоб ему было широко и просторно жить, готов, если б мог, запретить другим жить. Явился у нас писатель, юмористический талант которого имел до того сильное влияние на всю литературу, что дал ей совершенно новое направление. Его стали порочить. Хотели уверить публику, что он — Поль-де-Кок, живописец грязной, неумной и непричесанной природы. Он не отвечал никому и шел себе вперед. Публика, в

отношении к нему, разделилась на две стороны, из которых самая многочисленная была решительно против него, что, впрочем, нисколько не мешало ей раскупить, читать и перечитывать его сочинения. Наконец, и большинство публики стало за него: что делать порицателям? Они начали признавать в нем талант, даже большой, хотя, по их словам, идущий и не по настоящему пути, но, вместе с этим, стали давать знать и намекали прямо, что он, будто бы, унижает все русское, оскорбляет почтенное сословие чиновников, и т. п. Все мнения находят у нас место, простор, внимание и даже последователей. Что же это, если не незрелость и не шаткость общественного мнения? Но, со всем этим, истина и здравый вкус все-таки идут твердыми шагами и овладевают полем этой беспорядочной битвы мнений. Все это доказывает, что и литература и общество наше еще слишком молоды и незрелы, но что в них кроется много здоровой жизненной силы, обещающей богатое развитие в будущем.

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Продолжаем наши извлечения из статей Белинского. Нам остается анализировать два последние его годовые обозрения русской литературы — на 1846 и 1847 годы. («Совр[еменник]», 1847 г., № 1, и 1848 г., №№ 1 и 3.)¹³⁵ Эти два обозрения вместе со статьей «Петербургского сборника», отрывки из которой привели мы в прошедшем месяце, представляют довольно полное выражение общих литературных воззрений Белинского. Для первого раза эти извлечения с достаточною ясностью возобновляют в памяти читателей личность гениального нашего критика [— в настоящее время, и это уже должно считаться делом великой важности: мы много выиграем, если будем даже только помнить, что некогда говорилось нам, что некогда одобрялось всеми нами]. Придет время, кто-нибудь скажет нам что-нибудь новое, что-нибудь лучшее [— а теперь... теперь мы счастливы и довольны, когда можем называть хорошим хотя то, что было хорошо десять лет тому назад. Нечего сказать, завидное положение литературы и критики; нечего сказать, великой похвалы заслуживают быстрые успехи общества.]. В нашем обществе, в нашей литературе есть свежие силы, есть стремление вперед, есть залогом для развития более живого и широкого, нежели все предыдущее [— люди живого настоящего, выступайте же вперед бодрее, решительнее! Говорите громче и сильнее! Ваши речи уже слышатся между нами, — но как еще невняты для большинства публики речи одних из вас, как неопределенны речи других! Одним из вас надобно говорить слышнее, другим говорить определительнее, и тогда публика пойдет за вами. Говорите же, и пусть воспоминания о Белинском утратят свой живой интерес для современности]. Чем скорее это будет, тем лучше. А пока, — пока он все еще остается незаменным для нашей литературы [и надобно нам слушать то, что говорил он].

«Взгляд на русскую литературу 1846 года» начинается замечаниями о том, что характер современной русской литературы состоит в более и более тесном сближении с жизнью и действительностью, и что подобная характеристика может быть уместна только относительно литературы очень молодой, мало еще развившейся, и начавшейся в подражание иностранным литературам, а не из самостоятельной национальной жизни, что отрешение от подражательности, постепенное достижение самобытности есть главная черта в истории нашей литературы, что и доказывалось фактами. Выписки из этой части обзора были нами приводимы в предыдущих статьях. Наконец, говорит Белинский, в произведениях Гоголя и писателей, им воспитанных, наша литература явилась самобытной, стала верным изображением русской действительности и оттого получила в глазах общества важное значение, какого прежде, по отсутствию живого содержания, она не имела. В беллетристике старое риторическое направление совершенно бессильно; но вне беллетристики оно проявляется так называемым славянофильством.

Известно, что в глазах Карамзина Иоанн III был выше Петра Великого, а допетровская Русь лучше России новой. Вот источник так называемого славянофильства, которое мы, впрочем, во многих отношениях считаем весьма важным явлением, доказывающим, в свою очередь, что время зрелости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена детства литературы всех занимают вопросы, если даже и важные сами по себе, то не имеющие никакого дельного применения к жизни. Так называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности. Как оно их касается и как оно к ним относится — это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убеждение, которое, как всякое убеждение, заслуживает полного уважения, даже и в таком случае, если с ним вовсе не согласны. Много можно сказать в пользу славянофильства, говоря о причинах, вызвавших его явление; но, рассмотревши его ближе, нельзя не увидеть, что существование и важность этой литературной котерин чисто отрицательные, что она вызвана и живет не для себя, а для оправдания и утверждения именно той идеи, на борьбу с которою обрекла себя. Поэтому нет никакого интереса говорить с славянофилами о том, чего они хотят, да и сами они неохотно говорят и пишут об этом, хотя и не делают из этого никакой тайны. Дело в том, что положительная сторона их доктрины заключается в каких-то туманных, мистических предчувствиях победы Востока над Западом [которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности, всеми вместе и каждым порознь]. Но отрицательная сторона их учения гораздо более заслуживает внимания, не в том, что они говорят против гниющего будто бы Запада [Запада славянофилы решительно не понимают, потому что меряют его на восточный аршин], но в том, что они говорят против русского европеизма, а об этом они говорят много дельного, с чем нельзя не согласиться хотя на половину, как, например, что в русской жизни есть какая-то двойственность, следовательно, отсутствие нравственного единства; что это лишает нас резко выразившегося национального характера; каким [к чести их,] отличаются почти все европейские народы, что это делает нас какими-то междоумками, которые хорошо умеют мыслить по-французски, по-немецки и по-английски, но никак не умеют мыслить по-русски, и что причина всего этого в реформе Петра Великого. Все это справедливо до известной степени. Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его

причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него. Этого славянофилы не делали и не сделали; но зато они заставили если не сделать, то делать это своих противников. И вот где их истинная заслуга. Заснуть в самолюбивых мечтах, о чем бы они ни были — о нашей ли народной славе, или о нашем европеизме, равно бесплодно и вредно, потому что сон есть не жизнь, а только грезы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прервет такой сон. В самом деле, никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем. Мы как будто испугались за нашу жизнь, за наше значение, за наше прошедшее и будущее, и скорее хотим решить великий вопрос: *Быть или не быть?* Тут уже дело идет не о том, откуда пришли варяги — с запада или с юга, из-за Балтийского, или из-за Черного моря, а о том, проходит ли через нашу историю какая-нибудь живая органическая мысль, и если проходит, какая именно; какие наши отношения к нашему прошлому, от которого мы как будто оторваны, и к Западу, с которым мы как будто связаны. И результатом этих хлопотливых и тревожных исследований начинает оказываться, что, во-первых, мы не так резко оторваны от нашего прошлого, как думали, и не так тесно связаны с Западом, как воображали. С другой стороны, обращаясь к своему настоящему положению, смотря на него глазами сомнения и исследования, мы не можем не видеть, как, во многих отношениях, смешно и жалко успокоил нас наш русский европеизм насчет наших русских недостатков, забелив и зарумянив, но вовсе не изгладив их. И в этом отношении поездки за границу чрезвычайно полезны нам: многие из русских отправляются туда решительными европейцами, а возвращаются оттуда, сами не зная кем, и потому самому с искренним желанием сделаться русскими. Что же все это означает? — Неужели славянофилы правы, и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала междоумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо воротиться к общественному устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще не условились между собою)?..

Нет, это означает совсем другое, а именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, так сказать, эпоху реформы и воротиться к предшествовавшим ей временам — неужели это значит развиваться самобытно? Смешно было бы так думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, как и переменить порядок годовых времен, заставив за весною следовать зиму, а за осенью — лето. Это значило бы еще признать явление Петра Великого, его реформу и последующие события в России (может быть, до самого 1812 года — эпохи, с которой началась новая жизнь для России), признать их случайными, каким-то тяжелым сном, который тотчас исчезает и уничтожается, как скоро проснувшийся человек открывает глаза. Но так думать сродно только господам Маниловым. Подобные события в жизни народа слишком велики, чтоб быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Вместо того, чтоб думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признав неотразимую и неизменяемую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями. Не об изменении того, что совершилось без нашего ведома и что смеется над нашею волею, должны мы думать, а об изменении самих себя на основании уже указанного нам пути высшею нас волею. Дело в том, что пора нам перестать казаться, а начать быть, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами и европейские формы и внешность принимать за европеизм. Скажем более: пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не

азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно человеческое, и, на этом основании, все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого.

Повторяем: славянофилы правы во многих отношениях; но тем не менее их роль чисто отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина их странных выводов заключается в том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листья безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить на другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая петровская Россия так же молода, как и Северная Америка, что в будущем ей представляется гораздо больше, чем в прошедшем. Они забыли, что в разгаре процесса часто особенно бросаются в глаза именно те явления, которые, по окончании процесса, должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться результатом процесса. В этом отношении Россию нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвет и плод. Без всякого сомнения, русскому легче усвоить себе взгляд француза, англичанина или немца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взгляд, с которым равно легко знакомит его и наука и современная действительность, тогда как он, в отношении к самому себе, еще загадка, потому что еще загадка для него значение и судьба его отечества, где всё зародыши, зачатки и ничего определенного, развившегося, сформировавшегося. Разумеется, в этом есть нечто грустное, но зато как много и утешительного в этом же самом! Дуб растет медленно, зато живет века. Человеку сродно желать скорого свершения своих желаний; но скороспелость ненадежна: нам более, чем кому другому, должно убедиться в этой истине. Известно, что французы, англичане и немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, — тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами, другие выводят из этого весьма печальные заключения о бесхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра: потому что, говорят они, у кого нет своей жизни, тому легко подделываться под чужую, у кого нет своих интересов, тому легко принимать чужие; но подделываться под чужую жизнь не значит жить, понять чужие интересы не значит усвоить их себе. В последнем мнении много правды, но не совсем лишено истины и первое мнение, как ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажем, что решительно не верим в возможность крепкого политического и государственного существования народов, лишенных национальности, следовательно, живущих чисто-внешнею жизнью. В Европе есть одно такое искусственное государство, склеенное из многих национальностей; но кому же неизвестно, что его крепость и сила — до поры и времени?.. Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но каково это слово, какова мысль, — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий: напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими...

Что же касается до многосторонности, с какою русский человек понимает чуждые ему национальности, — в этом заключаются равно и его слабая и его сильная стороны. Слабая потому, что этой многосторонности дей-

ствительно много помогает его настоящая независимость от односторонности собственных национальных интересов. Но можно сказать с достоверностью, что эта независимость только помогает этой многосторонности; а едва ли можно сказать с какою-нибудь достоверностью, чтобы она произвела ее. По крайней мере, нам кажется, что было бы слишком смело приписывать положению то, что всего более должно приписывать природной даровитости. Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания...

...На свете нет ничего безусловно важного или неважного. Против этой истины могут спорить только те исключительно теоретические натуры, которые до тех пор и умны, пока носятся в общих отвлеченностях, а как скоро спустятся в сферу приложений общего к частному, словом, в мир действительности, тотчас оказываются сомнительными насчет нормального состояния их мозга. Итак, все на свете только относительно важно или не важно, велико или мало, старо или ново. «Как, — скажут нам, — и истина, и добродетель — понятия относительные?» Нет, как понятие, как мысль, они безусловны и вечны; но как осуществление, как факт, они относительны. Идея истины и добра признавались всеми народами, во все века; но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век. Поэтому безусловный, или абсолютный, способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным, или отвлеченным. Ничего нет легче, как определить, чем должен быть человек в нравственном отношении; но ничего нет труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем бы ему, по теории нравственной философии, следовало быть.

Вот точка зрения, с которой мы находим признаки зрелости современной русской литературы в явлениях, повидимому, самых обыкновенных. Присмотритесь, прислушайтесь: о чем больше всего толкуют наши журналы? — о народности, о действительности. На что больше всего нападают они? — на романтизм, мечтательность, отвлеченность. О некоторых из этих предметов много было толков и прежде, да не тот они имели смысл, не то значение. Понятие о «действительности» совершенно новое; на «романтизм» прежде смотрели, как на альфу и омегу человеческой мудрости, и в нем одном искали решения всех вопросов; понятие о «народности» имело прежде исключительно литературное значение, без всякого приложения к жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно в сфере литературы, но разница в том, что литература-то теперь сделалась эхом жизни. Как судят теперь об этих предметах — вопрос другой. По обыкновению, одни лучше, другие хуже, но почти все одинаково в том отношении, что в решении этих вопросов видят как будто собственное спасение. В особенности, вопрос о народности сделался всеобщим вопросом и проявился в двух крайностях. Одни смешали с народностью старинные обычаи, сохранившиеся теперь только в простонародии, и не любят, чтобы при них говорили с неуважением о курной и грязной избе, о редьке и квасе, даже о сивухе; другие, сознавая потребность высшего национального начала и не находя его в действительности, хлопочут выдумать свое, и неясно, намеками указывают нам на смирение, как на выражение русской национальности. С первыми смешно спорить; но вторым можно заметить, что смирение есть, в известных случаях, весьма похвальная добродетель для человека всякой страны; для француза, как и для русского, для англичанина, как и для турка; но что она едва ли может одна составить то, что называется «народностью». Притом же этот взгляд, может быть, превосходный в теоретическом отношении, не совсем уживается с историческими фактами. Удельный период наш отличается

скорее гордынею и драчливостью, нежели смирением. Татарам поддались мы совсем не от смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестьем, как и для всякого другого народа), а по бессилию, вследствие разделения наших сил родовым, кровным началом, положенным в основание правительственной системы того времени. Иоанн Калита был хитер, а не смирен; Симеон даже прозван был «гордым»; а эти князья были первоначальниками силы Московского царства. Димитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением. Только слабый Феодор составляет исключение из правила. И вообще, как-то странно видеть в смирении причину, по которой ничтожное Московское княжество сделалось сперва Московским царством, а потом Российской империей, приосеннв крыльями двуглавого орла, как свое достояние, Сибирь, Малороссию, Белоруссию, Новороссию, Крым, Бессарабию, Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Кавказ. Конечно, в русской истории можно найти поразительные черты смирения, как и других добродетелей, со стороны правительственных и частных лиц; но в истории какого же народа нельзя найти их, и чем какой-нибудь Людовик IX уступает в смирении Феодору Иоанновичу?.. Толкуют еще о любви, как о национальном начале, исключительно присущем одним славянским племенам, в ущерб галльским, тевтонским и иным западным. Эта мысль у некоторых обратилась в истинную мономанию, так что кто-то из этих «некоторых» решился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью отделились мы не только от татар, но и от нашествия Наполеона. Мы, напротив, думаем, что любовь есть свойство человеческой природы вообще и так же не может быть исключительно принадлежностью одного народа или племени, как и дыхание, зрение, голод, жажда, ум, слово. Ошибка тут в том, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основание европейским государствам, тотчас же породила там чисто юридический быт, в котором само насилие и угнетение приняло вид не произвола, а закона. У славян же, напротив, господствовал обычай, вышедший из «кротких и любовных» патриархальных отношений. Но долго ли продолжался этот патриархальный быт и что мы знаем о нем достоверного? Еще до удельного периода встречаем мы в русской истории черты вовсе не любовные — хитрого вонтеля Олега, сурового вонтеля Святослава, потом Святополка (убийцу Борнса и Глеба), детей Владимира, восставших на своего отца, и т. п. Это, скажут, занесли к нам варяги и — прибавим мы от себя — положили этим началом искажению любовного патриархального быта. Из чего же в таком случае и хлопотать? Удельный период так же мало период любви, как и смирения; это скорее период резни, обратившейся в обычай. О татарском периоде нечего и говорить: тогда лицемерное и предательское смирение было нужнее и любви и настоящего смирения. Попытки, казни периода Московского царства и последующих времен [до самого царствования Екатерины Великой] опять посылают нас искать любви в доисторические времена славян. Где же тут любовь, как национальное начало? Национальным началом она никогда и не была, но была человеческим началом, поддерживавшимся в племени его историческим, или, лучше сказать, его неисторическим положением. Положение изменилось, изменились и патриархальные нравы, а с ними исчезла и любовь, как бытовая сторона жизни. Уж не возвратиться ли нам к этим временам? Почему ж бы и не так, если это так же легко, как старику сделаться юношей, а юноше — младенцем?..

Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — Конечно, то, что мы называем его духовностью, то есть чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается в человеке низшим, случайным, относительным, преходящим? — Конечно, его тело. Известно, что наше тело мы сыздетства привыкли презирать, может быть, потому именно, что, вечно живя в логических фантазиях, мы мало его знаем. Врачи, напротив, больше других уважают тело, потому что больше других знают его. Вот почему от болезней

чисто нравственных они лечат иногда средствами чисто материальными, и наоборот. В этом отношении они похожи на умного агронома, который с уважением смотрит не только на богатство получаемых им от земли зерен, но и на самую землю, которая их произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючий навоз, который усилил плодотворность этой земли. — Вы, конечно, очень цените в человеке чувство? — Прекрасно! так цените же и этот кусок мяса, который трепещет в его груди, который вы называете сердцем, и которого замедленное или ускоренное биение верно соответствует каждому движению вашей души. — Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении и перед этою массою мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются, чрез позвоночный хребет, нити нерв, которые суть органы ощущения и чувств. Иначе, вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины, или—что еще хуже—сочините свои, небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить [физический процесс нравственного развития]. Но это внутренний мир физиологической жизни человека; все его сокровенные от нас действия, как результат, выказываются наруже в лице, взгляде, голосе, даже манерах человека. А между тем, что такое лицо, глаза, голос, манеры? Ведь это все — тело, внешность, следовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что ведь все это — не чувство, не ум, не воля? — так! но ведь во всем этом мы видим и слышим и чувство, и ум, и волю. Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность. Посмотрите, сколько нравственных оттенков в человеческой натуре: у одного ум едва заметен из-за сердца, у другого сердце как будто поместилось в мозгу; этот страшно умен и способен на дело, да ничего сделать не может, потому что нет у него воли; а у того страшная воля, да слабая голова, и из его деятельности выходит или вздор, или зло. Перечесать этих оттенков так же невозможно, как перечесать различия физиономий: сколько людей, столько и лиц, и двух совершенно схожих людей найти еще менее возможно, нежели найти два древесные листка, совершенно схожие между собою. Когда вы влюблены в женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ее ума и сердца: иначе, когда вам укажут на другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предмет своей любви для нового, как оставляют хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на чувство любви, но когда любят человека, любят его всего, не как идею, а как живую личность; любят в нем особенно то, чего не умеют ни определить, ни назвать. В самом деле, как бы определили и назвали вы, например, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физиономии, его голоса, словом, все то, что составляет его особность, что делает его не похожим на других и за что именно вы больше всего и любите его? Иначе, зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? — Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что называли вы в нем духовным и нравственным, — а умерло только грубо материальное, случайное? Но об этом-то случайном и рыдаете вы горько, потому что воспоминания о прекрасных качествах человека не заменят вам человека, как умирающего от голода не насытит воспоминание о роскошном столе, которым он недавно наслаждался. Я охотно соглашусь с спиритуалистами, что мое сравнение грубо, но зато оно верно, а это для меня главное. Державин сказал:

Так! весь я не умру; но часть меня большая,
 От тлена убежав, по смерти станет жить.

Против действительности такого бессмертия нечего сказать, хотя оно и не утешит людей, близких поэту; но что передает поэт потомству в своих созданиях, если не свою личность? Не будь он личность больше, чем кто-нибудь, личность по преимуществу, его создания были бы бесцветны и бледны. От этого творения каждого великого поэта представляют собой совершенно особенный, оригинальный мир, и между Гомером, Шекспиром, Байроном, Сервантесом, Вальтер Скоттом, Гете и Жорж-Сандом общего только то, что все они — великие поэты...

Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению и без которой все — или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели; но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами. Это такая же тайна, как и жизнь: все ее видят, все ощущают себя в ее недрах, и никто не скажет вам, что она такое. Так точно, ученые, хорошо зная действие и силы деятелей природы, каковы электричество, гальванизм, магнетизм, и потому насколько не сомневаясь в их существовании, все-таки не умеют сказать, что они такое. Страннее всего, что все, что мы можем сказать о личности, ограничивается тем, что она ничтожна перед чувством, волею, добродетелью, красотой и тому подобными вечными и непреходящими идеями; но что без нее, преходящего и случайного явления, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродетели, ни красоты, так же, как не было бы ни бесчувственности, ни глупости, ни бесхарактерности, ни порока, ни безобразия...

Что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества. Другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу, я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики... Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому.

Человеческое присуще человеку потому, что он — человек; но оно проявляется в нем не иначе, как, во-первых, на основании его собственной личности и в той мере, в какой она его может вместить в себе, а во-вторых, на основании его национальности. Личность человека есть исключение других личностей и, по тому самому, есть ограничение человеческой сущности: ни один человек, как бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпает самим собою не только всех сфер жизни, но даже и одной какой-нибудь ее стороны. Ни один человек не только не может заменить самим собою всех людей (т. е. сделать их существование ненужным), но даже и ни одного человека, как бы он ни был ниже его в нравственном или умственном отношении; но все и каждый необходимы всем и каждому. На этом и основано единство и братство человеческого рода. Человек силен и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — национальность. Она есть самобытный результат соединения людей, но не есть их произведение: ни один народ не создал своей национальности, как не создал самого себя. Это указывает на кровное, родовое происхождение всех национальностей. Чем ближе человек или народ к своему началу, тем ближе он к природе, тем более он ее раб; тогда он не человек, а ребенок, не народ, а племя. В том и другом человеческое развивается по мере их освобождения от естественной непосредственности. Этому освобождению часто способствуют разные внешние причины; но человеческое тем не менее приходит к народу не извне, а из него же самого, и всегда проявляется в нем национально.

Собственно говоря, борьба человеческого с национальным есть не больше, как риторическая фигура; но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается чрез заимствование у другого, он тем

не менее совершается национально. Иначе, нет прогресса. В наше время народные вражды и антипатии погасли совершенно. Француз уже не питает ненависти к англичанину только за то, что он англичанин, и наоборот. Напротив, со дня на день более и более обнаруживается в наше время сочувствие и любовь народа к народу. Это утешительное, гуманное явление есть результат просвещения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все народы похожими один на другой, как две капли воды. Напротив, наше время есть, по преимуществу, время сильного развития национальностей. Француз хочет быть французом, и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и интересуется им. В таких точно отношениях находятся теперь друг к другу все европейские народы. А, между тем, они нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно-бессильных и ничтожных. Древняя Эллада была наследницею всего предшествовавшего ей древнего мира. В ее состав вошли элементы египетские и финикийские, кроме основного пелазгического. Римляне приняли в себя, так сказать, весь древний мир и все-таки остались римлянами, и если пали, то не от внешних заимствований, а от того, что были последними представителями исчерпавшего всю жизнь свою древнего мира, долженствовавшего обновиться через христианство и тевтонских варваров. Французская литература рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила их заимствованиями, — и все-таки оставалась национально-французскою. Все отрицательное движение французской литературы XVIII века вышло из Англии, но французы до того умели усвоить его себе, наложив на него печать своей национальности, что никто и не думает оспаривать у их литературы чести самобытного развития. Немецкая философия пошла от француза Декарта, нисколько не сделавшись от этого французскою.

Таково отношение Белинского к вопросу о народности. Он думает, что в сущности о ней нечего и заботиться народу, имеющему нравственные силы. Она так же неотъемлема и несокрушима, как физиологические особенности народа, потому что и сама, подобно им, врождена от природы. Мнимая борьба человеческого с национальным, — продолжает он, — в сущности есть только борьба нового со старым, современного с отжившим.

Итак, толковать о народности едва ли не значит попусту терять слова; но в стремлении, из которого возникли эти толки, есть смысл: он заключается в том, что каждый народ должен заниматься изучением и улучшением своей действительной жизни. Начатки этого направления видит Белинский теперь в нашей литературе, а в этих начатках — близость ее к зрелости и возмужалости. Наша литература, с появлением Гоголя, занялась делом. «В этом отношении дошла она до такого положения, что успехи ее в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие».

Этим оканчивается общая часть предпоследнего годичного обзора русской литературы. Следующий, последний обзор («Современник», 1848, №№ 1 и 3) является, в своей общей части, как бы продолжением предыдущего. Читатели помнят, что на-

правление, которое теперь владычествует в нашей литературе, получило, при своем появлении, название натуральной школы, и что десять лет тому назад натуральная школа была предметом ожесточенных нападений со стороны всех отсталых писателей. Теперь мы видим, что поднялись против так называемого отрицательного направления толки, совершенно подобные тем, какие прежде поднимались против натуральной школы. Вся разница только в замещении термина «натуральная школа» другим, а предмет неудовольствия отсталых критиков остается один и тот же. Белинский отвечает на все упреки против натуральной школы с полнотою, которая не оставляет места никаким сомнениям; он историю доказывает неизбежность нынешнего направления литературы, эстетику совершенную законность его, нравственными потребностями нашего общества необходимость его:

Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы; нисколько не преувеличивая дела, по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, т. е. большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах; а какие журналы пользуются большею известностью, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят; на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу?

Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не раз и всегда будет. Карамзин первый произвел разделение в едва возникавшей тогда русской литературе. До него все были согласны во всех литературных вопросах, и если бывали разногласия и споры, они выходили не из мнений и убеждений, а из мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжизненность тогдашней так называемой литературы. Карамзин первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь, из школы в общество. Тогда, естественно, явились и партии, началась война на перьях, раздалась вопли, что Карамзин и его школа губят русский язык и вредят добрым русским нравам. В лице его противников, казалось, вновь восстала русская упорная старина, которая с таким судорожным и тем более бесплодным напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого. Но большинство было на стороне права, т. е. таланта и современных нравственных потребностей, вопли противников заглушались хвалебными гимнами поклонников Карамзина. Все группировалось около него, и от него все получало свое значение и свою значительность, все — даже его противники. Он был героем, Ахиллом литературы того времени. Но что вся эта тревога в сравнении с бурей, которая поднялась с появлением Пушкина на литературном поприще? Она так памятна всем, что нет нужды распространяться о ней. Скажем только, что противники Пушкина видели в его сочинениях искажение русского языка, русской поэзии, несомненный вред не только для эстетического вкуса публики, но и — поверят ли теперь этому? — для общественной нравственности!!! Что же за причина, что противники всякого движения вперед во все эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и теми же словами?

Причина этого скрывается там же, где надо искать и происхождение натуральной школы — в истории нашей литературы. В лице Кантемира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как

она есть, основала свою силу на верности натуре. В Державине (его оды «К Фелице», «Вельможе», «На счастье» едва ли не лучшие его произведения, по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше оригинального, русского, нежели в его торжественных одах), в баснях Хемницера и в комедиях Фонвизина отозвалось направление, представителем которого, по времени, был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральной, по мере того, как становится более поэтической. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною; натурализм становится отличительною характеристическою чертою его поэзии. Зато он первый и подвергся упрекам за изображения «низкой природы». Наконец, явился Пушкин, поэзия которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение: относится к стремлению. Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли элементы жизни действительной. Цыганский табор с оборванными шатрами между колесами телег, с пляшущим медведем и нагими детьми в перекидных корзинках на ослах, был тоже неслыханною дотоле сценою для кровавого трагического события. Но в «Евгении Онегине» идеалы еще более уступили место действительности. Тут уже натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими драгмами; около двух или трех лиц, опозитированных или несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище, как уроды, как исключения из общего правила, а как лица, составляющие большинство общества. И все это в романе, писанном стихами! Что же в это время делал роман в прозе?

Он всеми силами стремился к сближению с действительностью, к натуральности. Между этими попытками были очень замечательные; но тем не менее все они отзывались переходною эпохою, стремились к новому, не оставляя старой колеи. Весь успех заключался в том, что, несмотря на вопли староверов, в романе стали появляться лица всех сословий, и авторы старались подделываться под язык каждого. Это называлось тогда *народностью*. Но эта народность слишком отзывалась маскарадною: русские лица низших сословий походили на переряженных бар, а бары только именами отличались от иностранцев. Нужен был гениальный талант, чтобы навсегда освободить русскую поэзию, изображающую русские нравы, русский быт, из-под чуждых ей влияний. Пушкин много сделал для этого; но докончить, довершить дело предоставлено было другому таланту. С появления «Миргорода» и «Арабесок» (в 1835 году) и «Ревизора» (в 1836) начинается полная известность Гоголя и его сильное влияние на русскую литературу. Влияние теорий и школ было одною из главных причин, почему многие сначала спокойно, без всякой враждебности, искренно и добросовестно видели в Гоголе не более, как писателя забавного, но тривиального и незначительного, и вышли из себя уже вследствие восторженных похвал, расточавшихся ему другою стороною, и важного значения, которое он быстро приобретал в общественном мнении. В самом деле, как ни ново было в свое время направление Карамзина, оно оправдывалось образцами французской литературы. Как ни странно поразили всех баллады Жуковского, с их мрачным колоритом, с их кладбищами и мертвецами, но за них были имена корифеев немецкой литературы. Сам Пушкин, с одной стороны, был подготовлен предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себе легкие следы их влияния, а, с другой стороны, его нововведения оправдывались общим движением во всех литературах Европы и влиянием Байрона — авторитета огромного. Но Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Все теории, все предания литературные были против него, потому что он был против них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть о их существовании; а это для многих значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснее сделать нашу мысль, посмотрим, в каких отношениях находится Гоголь к другим русским поэтам. Конечно, и в тех сочинениях

Пушкина, которые представляют чуждые русскому миру картины, без всякого сомнения, есть элементы русские; но кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Галуб», могли быть написаны только русским поэтом, и что их не мог бы написать поэт другой нации? То же можно сказать и о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены исключительно изображению мира русской жизни, и у него нет соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, не украшает вследствие любви к идеалам или каких-нибудь заранее принятых идей, или привычных страстей как, например, Пушкин в «Онегине» идеализировал помещичий быт. Конечно, преобладающий характер его сочинений — отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала, и этот идеал у Гоголя также не свой, т. е. не туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал. Но нельзя же не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя уже никак невозможно предположить вопроса: как доказать, что они могли быть написаны только русским поэтом и что их не мог бы написать поэт другой нации? Изображать русскую действительность, и с такою поразительною верностью и истинною, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в этом-то более всего и состоит народность нашей литературы.

Литература наша началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, натуральною. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысла и душу истории нашей литературы. И мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только чрез исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя; но это-то люди старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства, как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые становятся друг к другу автор созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением.

Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставив свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унижить названием натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще делаются выходки против него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют ее? Обвинений не много, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворянчиков, извозчиков, описывают улы, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новых писате-

лей, обвинители с торжеством указывают на прекрасные времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитриева, избравших для своих сочинений предметы высокие и благородные. Мы же напомним им, что первая замечательная русская повесть была написана Карамзиным, и ее героиня была обольщенная петиетром крестьянка — бедная Лиза... Но там, скажут они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступит самой благовоспитанной барышне. Вот мы и дошли до причины спора: тут виновата, как видите, старая пиитика. Она позволяет изображать, пожалуй, и мужиков, но не иначе, как одетых в театральные костюмы, обнаруживающих чувства и понятия, чуждые их быту, положению и образованию, и объясняющихся таким языком, которым никто не говорит, а тем более крестьяне. Старая пиитика позволяет изображать все, что вам угодно, но только предписывает при этом изображаемый предмет так украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ее урокам, поэт может пойти дальше прославленного Дмитриевым маляра Ефрема, который Архипа писал Сидором, а Луку — Кузьмою: он может снять с Архипа такой портрет, который не будет походить не только на Сидора, но и ни на что на свете, даже на комок земли. Натуральная школа следует совершенно противному правилу: возможно близкое сходство изображаемых ею лиц с их образцами в действительности не составляет в ней всего, но есть первое ее требование, без выполнения которого уже не может быть в сочинении ничего хорошего. Требование тяжелое, выполнимое только для таланта! Как же, после этого, не любить и не чтить старой пиитики тем писателям, которые когда-то умели и без таланта с успехом подвизаться на поприще поэзии? Как не считать им натуральной школы самым ужасным врагом своим, когда она ввела такую манеру писать, которая им недоступна? Это, конечно, относится только к людям, у которых в этот вопрос вмешалось самолюбие; но найдется много и таких, которые по искреннему убеждению не любят естественности в искусстве, вследствие влияния на них старой пиитики. Эти люди с особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначение. «Бывало, — говорят они, — поэзия поучала забавляя, заставляла читателя забывать о тяготах и страданиях жизни, представляла ему только картины приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли и картины бедности, но бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притом же, к концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек, и во имя милого или милой сердца водворяли довольство и счастье там, где были бедность и нужда и благодарные слезы орошали благодетельную руку — и читатель невольно подносил свой батистовый платок к глазам и чувствовал, что он становится добрее и чувствительнее... «А теперь! посмотрите, что теперь пишут! мужики в лаптях и сермягах часто от них несет сивухой, баба — род центавра, по одежде не вдруг узнаешь, какого это пола существо: углы — убежище нищеты, отчаяния и разврата, до которых надо доходить по двору, грязному по колени; какой-нибудь пьянюшка-подьячий или учитель из семинаристов, выгнанный из службы, — все это списывается с натуры, в наготе страшной истины, так что если прочтешь — жди ночью тяжелых снов... Так или почти так говорят маститые питомцы старой пиитики. В сущности их жалобы состоят в том, зачем поэзия перестала бесстыдно лгать, из детской сказки превратилась в быль, не всегда приятную, зачем отказалась она быть гремушкою, под которую детям приятно и прыгать и засыпать... Странные люди, счастливые люди! им удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости быть несовершеннолетними, недорослями, — и вот они требуют, чтобы и все походили на них! Да читайте свои старые сказки — никто вам не мешает; а другим оставьте занятия, свойственные совершеннолетию. Вам ложь — нам истина; разделимся без спору, благо вам не нужно нашего пая, а мы даром не возьмем вашего... Но этому плохому разделу мешает другая причина — вгоним, который считает себя добродетелью. В самом деле, представьте себе человека обеспеченного, может

быть, богатого; он сейчас пообедал сладко, со вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах с чашкою кофе перед пылающим камином, тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает его веселым, — и вот берет он книгу, лениво переворачивает ее листы, — и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован... И есть от чего! книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он, что есть углы, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство, может быть, недавно еще знавшее довольство, — что есть на свете люди, рождением, судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет на зелено вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния... И нашему счастливцу неловко, как будто совестно своего комфорта... А все виновата скверная книга: он взял ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку... Прочь ее! «Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что в жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для того, чтобы забыть это!» восклицает он. — Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный свой голод, стоны страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон... Представьте теперь в таком же положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок приближался, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч, что-то замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать; с сигарой в зубах, веселый и довольный, лежит он на диване и от нечего делать руки его лениво протягиваются к книге. Опять та же история! Проклятая книга рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, с детства привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям, женатого на отставной любовнице родителя своего барина. [И ему-то, незнакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов...] Скорее прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще в таком комфортном состоянии человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а лет под пятьдесят как-то очутился в чинах, имеет «малую толику». Все читают — надо и ему читать; но что находит он в книге? — свою биографию, да еще как верно рассказанную, хотя, кроме его самого, темные похождения его жизни — тайна для всех и ни одному сочинителю неоткуда было узнать их... И вот он уже не взволнован, а просто взбешен, и с чувством достоинства облегчает свою досаду таким рассуждением: «Вот как пишут ныне! вот до чего дошло вольнодумство! Так ли писали прежде? Шталь ровный, гладкий, все о предметах нежных или возвышенных, читать сладко и обидеться нечем!»

Есть особенный род читателей, который [по чувству аристократизма,] не любит встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона, не любит грязи и нищенств, по их противоположности с роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школе не иначе, как с высокомерным презрением, ироническою улыбкою... Кто они такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся «подлою чернью» [которая в их глазах ниже хорошей лошади?] Не спешите справляться о них в герольдических книгах или при дворах европейских: вы не найдете их гербов, они [не ездят ко двору, и] если видали большой свет, то не иначе, как с улицы, сквозь ярко освещенные окна, насколько позволяли шторы и занавески...

«Что за охота наводить литературу мужиками?» восклицают [аристократы известного разряда.] В их глазах писатель — ремесленник, которому как что закажут, так он и делает. Им и в голову не входит, что, в отношении к выбору предметов сочинения, писатель не может руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственным произволом, ибо искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А чем объяснить, что один любит изображать предметы веселые, другой — мрачные, если не натурою, характером и талантом поэта? Кто

что любит, чем интересуется, то и знает лучше, а что лучше знает, то лучше и изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов: оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают его с ремеслом. Природа—вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. [А разве мужик не человек?..] Божественное слово любви и братства не втуне огласило мир. То, что прежде было обязанностью только призванных лиц или добродетелью немногих избранных натур, — это самое делается теперь обязанностью обществ, служит признаком уже не одной добродетели, но и образованности частных лиц. Посмотрите, как в наш век везде заняты все участью низших классов, как частная благотворительность всюду переходит в общественную, как везде основываются хорошо организованные, богатые верными средствами общества для распространения просвещения в низших классах, для пособия нуждающимся и страждущим, для отвращения и предупреждения нищеты и ее неизбежного следствия — безнравственности и разврата. Это общее движение, столь благородное, столь человеческое, столь христианское, встретило своих порицателей в лице поклонников тупой и косной патриархальности. Они говорят, что тут действуют мода, увлечение, тщеславие, а не человеколюбие. Пусть так, да когда же и где же в лучших человеческих действиях не участвовали подобные мелкие побуждения? Но как же сказать, что только такие побуждения могут быть причиною таких явлений? Как думать, что главные виновники таких явлений, увлекающие своим примером толпу, не одушевлены более благородными и высокими побуждениями? Разумеется, нечего удивляться добродетели людей, которые бросаются в благотворительность не по чувству любви к ближнему, а из моды, из подражательности, из тщеславия; но это добродетель в отношении к обществу, которое исполнено такого духа, что и деятельность суетных людей умеет направлять к добру! Это ли не отрадное в высшей степени явление новейшей цивилизации, успехов ума, просвещения и образованности?

Могло ли не отразиться в литературе это новое общественное движение, — в литературе, которая всегда бывает выражением общества! В этом отношении литература сделала едва ли не больше: она скорее способствовала возбуждению в обществе такого направления, нежели только отразила его в себе, скорее упредила его, нежели только не отстала от него. Нечего говорить, достойна ли и благородна ли такая роль; но за нее-то и нападают на литературу иные. Мы думаем, что довольно показали, из каких источников выходят эти нападки и чего они стоят... («Современник», 1848 г., т. VII, «Русская литература», стр. 10—26.)

После того Белинский оправдывает натуральную школу с эстетической точки зрения, развивая истинные понятия о сущности и значении искусства. Этот эпизод был уже представлен нами в приложении к седьмой главе «Очерков».

Мы привели в извлечении все важнейшие страницы общей части обоих последних годичных обзоров Белинского. Во второй половине того и другого обзора, где дается оценка замечательнейших литературных явлений предшествовавшего года, особенного внимания заслуживает одна общая черта: ученые труды, преимущественно по русской истории, рассматриваются с такою же подробностью, как и беллетристические произведения. Этого прежде не было: об ученых книгах представлялись только краткие суждения. В самом деле, в последнее время деятельности Белинского одна отрасль нашей ученой литературы, именно разра-

ботка русской истории, благодаря трудам новой исторической школы (гг. Соловьев, Кавелин и др.), получила для общества важность, какой не имела прежде. С того времени это общее сочувствие к ученым вопросам постепенно возрастает, и мало-помалу наше общество начинает расширять круг своих умственных интересов. В последнее время мы даже видели, что журнал, вызывающий к себе внимание публики преимущественно статьями ученого содержания, пользуется в публике вниманием не меньшим того, какое обращено на журналы, успех которых основан преимущественно на беллетристике и беллетристической критике. Пятнадцать, даже десять лет тому назад едва ли было бы возможно такое явление. Нет сомнения, что этот новый прогресс в умственной жизни нашей публики благотворным образом отразится и на развитии всей нашей литературы. Белинский предугадывал это, и вот причина того, что в последнее время он почел необходимым расширить горизонт своих годичных обзоров, обратив на труды по русской истории столько же внимания, как и на произведения изящной словесности. Если бы в настоящее время мы имели критиков, подобных ему, конечно, они увидели бы возможность и необходимость еще более расширить круг нашей критики.

Выписки наши из статей Белинского были многочисленны и обширны. Легко было бы заменить их изложением их содержания; но читатель, вероятно, одобряет тот метод, которому мы следовали. Наши статьи имели целью не только историческое изложение различных направлений русской критики: мы хотели также указать на основания, от которых не должна уклоняться современная критика, если не хочет впасть в бессилие, мелочность, пустоту. Справедливые понятия об этом были высказываемы у нас Белинским, и на его критику до сих пор надобно смотреть не только как на замечательное историческое явление, но также и как на руководительный пример. Наши собственные слова не имели бы того авторитета, какой имеют его слова. Кроме того, если бы мы не приводили его мнений его собственными словами, иным, быть может, вздумалось бы говорить, что мы приписываем Белинскому мнения, которых он не имел: мы уже говорили, что память у многих из нас очень коротка. Выписки из Белинского предупреждают возможность такого сомнения и придают мыслям, которые должны быть считаемы справедливыми, авторитет, который немногие решатся отвергать.

Два важные принципа особенно должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях: понятие об отношениях литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие. Оба эти принципа были выставляемы Белинским, как важнейшие основания нашей критики, разъясняемы со всею силою его диалектики и постоян-

Но применяемы им к делу, успех которого и зависел в значительной степени от их соблюдения. С того времени, как писал Белинский, развитие наше не сделало еще столь значительных успехов, чтобы его мысли потеряли прямое отношение к нашему настоящему, и кто заботится об истине, по необходимости до сих пор держится литературных воззрений, представителем которых был он в нашей критике.

Во всех отраслях человеческой деятельности только те направления достигают блестящего развития, которые находятся в живой связи с потребностями общества. То, что не имеет корней в почве жизни, остается вяло и бледно, не только не приобретает исторического значения, но и само по себе, без отношения к действию на общество, бывает ничтожно. Когда дело идет о стремлениях и фактах, принадлежащих к сферам материальной, научной и общественной жизни, эта истина признается бесспорно всеми. Когда дело идет о живописи, скульптуре, архитектуре, также ни один сколько-нибудь сведущий человек не будет спорить против мысли, что каждое из этих искусств достигало блестящего развития только тогда, когда это развитие условливалось общими требованиями эпохи. Скульптура процветала у греков только потому, что была выражением господствующей черты в их жизни, — выражением страстного поклонения красоте форм человеческого тела. Готическая архитектура создала дивные памятники только потому, что была служительницей и выразительницей средневековых стремлений. Итальянская школа живописи произвела дивные картины только потому, что была выразительницей стремлений общества в том веке и в той стране, служила духу века, состоявшему в слиянии классического поклонения красоте человеческого тела с заоблачными стремлениями средних веков.

Странным исключением из общего закона была бы литература, если бы могла производить что-нибудь замечательное, отрешаясь от жизни. Но мы уже говорили в одной из прежних статей, что таких случаев никогда и не бывало. Каким же образом может находить себе защитников так называемая теория «чистого искусства» (искусства небывалого и невозможного), требующая от литературы, чтобы она исключительно заботилась только о форме? Тут все основано на том, что приверженцы так называемого чистого искусства сами не замечают истинного смысла своих желаний или хотят вводить других в заблуждение, говоря о чистом искусстве, которого никто не знает и никто, ни сами они, не желает. Не останавливаясь на общей фразе, которою заведомо или без ведома для самих себя прикрывают они свои истинные желания, надобно ближе всмотреться в факты, свидетельствующие о их стремлениях, надобно посмотреть, в каком духе сами они пишут и в каком духе написаны произведения, одобряемые ими, и мы увидим, что они заботятся вовсе не о

чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение. Дело в том, что есть люди, для которых общественные интересы не существуют, которым известны только личные наслаждения и огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом. Для этих изящных эпикурейцев жизнь ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзией Анакреона и Горация: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины, — больше не нужно для них ничего. Само собою разумеется, что для таких темпераментов равно скучны все предметы, выходящие из круга эпикурейских идей; они хотели бы, чтобы и литература ограничивалась содержанием, которым ограничивается их собственная жизнь. Но прямо выразить такое желание значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытия служат им фразы о чистом искусстве, независимом, будто бы, от интересов жизни. Но, скажите, разве хороший стол, женщины и приятная беседа о женщинах не принадлежат к житейским фактам наравне с нищетою и пороком, злоупотреблениями и благородными стремлениями? Разве поэзия, если бы решилась ограничиться застольными песнями и эротическими беседами, не была бы все-таки выразительницею известного направления в жизни, служительницею известных идей? Она говорила бы нам: «пойте и любите, наслаждайтесь и забавляйтесь, не думая ни о чем больше»; она была бы проповедницею эпикуреизма, а эпикуреизм точно так же философская система, как стоицизм и платонизм, как идеализм и материализм, и проповедывать эпикуреизм значит просто-напросто быть проповедником эпикуреизма, а не служителем чистого искусства.

Итак, вот к чему сводится вопрос о так называемом чистом искусстве: не к тому, должна или не должна литература быть служительницею жизни, распространительницею идей, — она не может ни в каком случае отказаться от этой роли, лежащей в самом существе ее, — нет, вопрос сводится просто к тому: должна ли литература ограничиваться эпикурейскою тенденциею, забывая обо всем, кроме хорошего стола, женщин и беседы на аттический манер с миртовыми венками на головах собеседников и собеседниц? * Ответ, кажется, не может быть затруднителен. Ограничивать литературу изящным эпикуреизмом значит до нелепости стеснять ее границы, впадать в самую узкую односторонность и нетерпимость. Нет нужды на односторонность отвечать другою односторонностью; за остракизм, которому защитники так на-

* Само собою разумеется, мы здесь говорим только о том, какой смысл имеет теория чистого искусства в наше время. Здесь нас занимает настоящее, а не давно минувшее.

ываемого чистого искусства хотели бы подвергнуть все другие идеи и направления литературы, кроме эпикурейского, нет нужды платить остракизмом, обращенным против эпикурейской тенденции, хотя она скорее всякой другой тенденции заслуживала бы осуждения, как нечто праздное и пошловатое. Нет, избегая всяких односторонностей, скажем, что эпикурейское настроение духа, существуя в жизни, имеет право выражаться и в литературе, которая должна обнимать собою всю жизнь. Но справедливость требует сказать, что вообще эпикуреизм может играть важную роль в жизни только немногих людей, расположенных к нему по натуре и обставленных в жизни исключительно благоприятными обстоятельствами; потому и в литературе эпикурейское направление может приходиться по вкусу только немногим счастливым празднующим, а для огромного большинства людей такая тенденция всегда казалась и будет казаться безвкусна или даже решительно противна. Если же речь переходит к настоящему времени, то надобно заметить, что оно решительно неблагоприятно для эпикуреизма, как время разумного движения [и борьбы], а не праздного застоя, и так как эпикуреизм в жизни для нашего времени есть занятие холодно-эгоистическое, следовательно, вовсе не поэтическое, то и в литературе эпикурейское направление нашего времени, по необходимости, запечатлевается холодною мертвенностью. Поэзия есть жизнь, действие, [борьба], страсть; эпикуреизм в наше время возможен только для людей бездейственных, чуждых исторической жизни, потому в эпикуреизме нашего времени очень мало поэзии. И если справедливо, что живая связь с разумными требованиями эпохи дает энергию и успех всякой деятельности человека, то эпикуреизм нашего времени не может создать в поэзии ровно ничего сколько-нибудь замечательного. Действительно, все произведения, написанные нашими современниками в этой тенденции, совершенно ничтожны в художественном отношении: они холодны, натянуты, бесцветны и риторичны.

Литература не может не быть служительницей того или другого направления идей: это назначение, лежащее в ее натуре, — назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться. Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел, обманываются или притворяются: слова «искусство должно быть независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу. Мы видели, чего хотят защитники теории чистого искусства в наше время, и едва ли можно думать, чтобы их слова могли иметь какое-нибудь влияние на литературу, как скоро смысл этих слов открыт. Нашему времени нет никакой охоты для эпикуре-

изма забыть обо всем остальном, и литература никак не может подчиниться этому узкому и мелкому направлению, чуждому здоровым стремлениям века.

[Как и всякая другая достойная внимания умственная или нравственная деятельность, литература по самой натуре не может не быть служительницей стремлений века, не может не быть выразительницей его идей. Вопрос состоит только в том, каким идеям должна служить она, — таким ли, которые, не имея важного места в жизни века, сообщат и литературе, ими ограничивающейся, характер пустоты, празднословия, или тем идеям, которыми движется век. Ответ на это нисколько не затруднителен: только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоящим потребностям эпохи. У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления. Жизнь и славу нашего времени составляют два стремления, тесно связанные между собою и служащие дополнением одно другому: гуманность и забота об улучшении человеческой жизни. К этим двум основным идеям примыкают, от них получают свою силу все остальные частные стремления, свойственные людям нашего века: вопрос о народности, вопрос о просвещении, государственные, юридические стремления оживляются этими идеями, решаются на основании их, вообще интересуют собою современного человека только по мере связи их с тенденцией к гуманности и улучшению человеческой жизни. Даже отдельные науки приобретают или теряют свою относительную важность по мере того, в какой степени служат они господствующим потребностям века. То же самое замечаем в судьбе искусств: если живопись ныне находится вообще в довольно жалком положении, главною причиною тому надобно считать отчуждение этого искусства от современных стремлений. Другие искусства более или менее подверглись той же участи, как живопись, и по той же самой причине. Из всех искусств, одна только литература сохраняет свое могущество и свое достоинство, потому что одна она поняла необходимость освежать свои силы живыми вдохновениями века. В самом деле, все те люди, которыми гордится новая европейская литература, — все без исключения вдохновляются стремлениями, которые движут жизнью нашей эпохи. Произведения Беранже, Жоржа Санда, Гейне, Диккенса, Теккерея внушены идеями гуманности и улучшения человеческой участи. А те таланты, деятельность которых не проникнута этими стремлениями, или остались безвестны, или приобрели известность вовсе не выгодную, не создав ничего заслуживающего славы. Теперь, например, почти каждому читателю покажется нелепостью, если кто вздумал бы признавать великий талант в каком-нибудь Александре Дюма (старшем). «Это пустой болтун; романы его нелепы и ничтожны

во всех отношениях и преимущественно в художественном отношении», скажет каждый. А между тем, этот писатель без сомнения наделен от природы очень большим талантом, — но талант этот остался чужд стремлениям века, — и результатом было ничтожество его произведений.]

Нельзя насильно дать себе одушевления тем, что не возбуждает одушевления в нашей натуре. Или врожденные качества темперамента, или опыт жизни, размышление и наука, а не произвольное напряжение фантазии приводят человека к живому сочувствию всякой доброй, здоровой и благородной идее. Есть люди, неспособные искренно одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг них: для таких писателей бесполезно было бы накладывать на себя маску патетического одушевления современными вопросами, — пусть они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае. Но те писатели, в которых природа или жизнь соединила с талантом живое сердце, — те писатели должны дорожить в себе этим прекрасным сочетанием таланта с мыслью, дающею силу и смысл таланту, дающею жизнь и красоту его произведениям. Они должны сознавать, что их благородное сердце, их просвещенный ум ведут их по прямой, по единственной дороге к славе, внушая им потребность действовать на пользу исторического развития, быть служителями идей гуманности и улучшения человеческой жизни.

Это равно относится к литературе каждой страны, от Испании до России, от Швеции до Италии. Но кроме общих условий, зависящих от самой натуры предмета, для литературной деятельности каждого народа есть свои частные условия, зависящие от особенных обстоятельств народной жизни.

[В странах, где умственная и общественная жизнь достигла высокого развития, существует, если можно так выразиться, разделение труда между разными отраслями умственной деятельности, из которых у нас известна только одна — литература. Потому как бы ни стали мы судить о нашей литературе по сравнению с иноземными литературами, но в нашем умственном движении играет она более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская литература в умственном движении своих народов, и на ней лежит более обязанностей, нежели на какой бы то ни было другой литературе. Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности. В Германии, например, повесть пишется почти исключительно для той публики, которая не способна читать ничего, кроме повестей, — для так называемой «романной публики». У нас не то: повесть читается и теми людьми, которые

в Германии никогда не читают повестей, находя для себя более питательное чтение в различных специальных трактатах о жизни современного общества. У нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературой более просвещенных народов. То, о чем говорит Диккенс, в Англии, кроме его и других беллетристов, говорят философы, юристы, публицисты, экономисты и т. д., и т. д. У нас, кроме беллетристов, никто не говорит о предметах, составляющих содержание их рассказов. Потому, если бы Диккенс и мог не чувствовать на себе, как беллетристе, прямой обязанности быть выразителем стремлений века, так как не в одной беллетристике могут они находить себе выражение, — то у нас беллетристу не было бы такого оправдания. А если Диккенс или Теккерей все<-таки> считают прямою обязанностью беллетристики касаться всех вопросов, занимающих общество, то наши беллетристы и поэты должны еще в тысячу раз сильнее чувствовать эту свою обязанность. Лермонтов жалеет о тех временах, когда поэт был необходим народу во всех важных делах жизни:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Ты нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вековой
Среди торжеств и бед народных¹³⁵.

Для нас это время еще не прошло. Быть может, Англии легко было бы обойтись без Диккенса и Теккерей, но мы не знаем, как могла бы Россия обойтись без Гоголя. Поэт и беллетрист не заменимы у нас никем. Кто кроме поэта говорил России о том, что слышала она от Пушкина? Кто кроме романиста говорил России о том, что слышала она от Гоголя?

Это, как мы выразились, энциклопедическое значение русской литературы имеет своим следствием то оригинальное состояние, в котором находится она относительно условий своего развития.]

В Германии, Англии, Франции, где умственная жизнь развивалась уже на множество отдельных самостоятельных отраслей, дальнейшие успехи каждой умственной деятельности зависят преимущественно от появления гениальных людей. В Германии, например, ныне нет беллетристов, подобных Диккенсу и Теккерей, и в этом состоит единственная причина жалкого состояния немецкой беллетристики, которое и продлится до той поры, пока явятся гениальные писатели. Условия, от которых зависит дальнейшее развитие русской литературы, совершенно не таковы. Они лежат в публике. Литература может вызывать публику к умственной деятельности, но не может ни заменить собою пу-

блику, ни существовать без поддержки со стороны публики. Мы говорим не о материальной поддержке (хотя и в этом отношении русская литература находится в положении вовсе неудовлетворительном: в пятнадцать лет вышли только два издания Пушкина, и оба издания вместе не составляют и 10 000 экземпляров), но о нравственной поддержке, которая гораздо важнее и, к сожалению, до сих пор еще очень слаба, чтобы не сказать: совершенно ничтожна. Помещались стихи в журналах — публика читала стихи, находила, что книжка журнала без стихов как-то не полна; вдруг журналы стали являться без стихов — публика ничего не сказала против этого; потом опять появились в журналах стихи — публика нашла, что, действительно, журнал выигрывает, помещая стихотворения. — Теперь пишутся романы из простонародного быта — публика находит это направление полезным. Прекрасно. Но пусть перестанут писаться романы из простонародного быта, что скажет публика? — Теперь публика более всего интересуется русскими повестями. Превосходный роман Теккерея не читается с такою жадностью, как посредственная русская повесть; а когда является повесть действительно хорошая, восторг публики беспределен. Но если бы вдруг перестали писаться русские повести, как вы думаете, что сказала бы русская публика?

[Пожалела бы втихомолку, и ничего не сказала бы вслух. В самом деле, ведь можно жить не только без повестей, но и без литературы, — и не только без литературы, но и без хлеба, неправда ли? Лебеда и дубовая корка не лишены ни вкуса, ни питательности.

Это не должно так продолжаться. Скромность и молчаливость, конечно, хорошие качества, но во всем вредно излишество, вредна и в литературных делах излишняя скромность со стороны публики. «Дали нам — мы очень рады и благодарны; не дают нам — что ж делать?» Как «что делать»? Должно требовать. Власть публики в литературных делах всеильна. Чего хочет публика, тем и бывает литература. Но желание должно же быть выражаемо, — иначе, как узнать его? Кто молчит, о том предполагают, что он ничего не хочет. Желание должно быть выражаемо сильно, неотступно — только неотступному желанию нельзя не повиноваться, а когда оно выражается слабо, робко, кому нужна обращать внимание? Когда литература или не достигает своего истинного значения, или уклоняется от него, в том всегда бывает виновна только публика, а не кто другой. Общество не имеет права слагать с себя ответственность за недостатки, от которых терпит. Ведь ему нужно только выразить твердую, непреклонную волю, чтобы устранить всякий недостаток. Не говорите, что нет талантов — таланты есть, но что ж будут они делать, не находя нравственной поддержки в публике? А если бы и казалось вам, что нужны более многочисленные

или более блестящие таланты для возвышения литературы, и за ними не будет остановки. Ведь дело известное, что в гениальных людях никогда не бывало еще недостатка, если только было открытое поприще для деятельности этим людям. Не говорите и того, что критика дурно исполняет свое дело — в этом опять кто же виноват, если не вы, составляющие публику? Ведь критика должна опираться на публику и совершенно зависит от настойчивости ее требований. Если вы не требуете неотступно, чтобы критика исполняла свое дело как должно, то какое же основание имеете вы ожидать от нее чего-нибудь?

Публика должна сознать свои права на литературу, и тогда литература неуклонно пойдет вперед. Без того, все успехи литературы случайны и непрочно.]

Нельзя упрекать нашу публику в отсутствии сочувствия к литературе; нельзя упрекать ее и в неразвитости вкуса. Напротив, от особенного положения нашей литературы, составляющей самую живую сторону нашей духовной деятельности, и от состава нашей публики, к которой принадлежат все наиболее развитые люди, в других странах мало интересующиеся беллетристикою и поэзиею, — от этих особенностей происходит то, что ни одна в мире литература не возбуждает в образованной части своего народа такой горячей симпатии к себе, как русская литература в русской публике, и едва ли какая-нибудь публика так здраво и верно судит о достоинстве литературных произведений, как русская. Сам Байрон не был для англичанина предметом такой гордости, такой любви, как для нас Пушкин. Издание сочинений Байрона не было для англичанина национальное дело, каким недавно были для нас издания Пушкина и Гоголя. Вот вам факты относительно сочувствия публики; а за развитость ее вкуса ручаются тысячи случаев. Не говорим об оценке публикою наших собственных писателей, которая вообще очень справедлива. Но какую замечательную здравость вкуса обнаруживает постоянно наша публика и в оценке иностранных писателей! Французы восхищаются до сих пор Виктором Гюго и Ламартином — кто у нас разделяет эту ошибку? Англичане до сих пор ставят Бульвера наравне с Диккенсом и Теккереем — у нас кто не видит разницы между этими писателями? Нечего нам гордиться таким превосходством: оно происходит единственно от того, что у нас занимается чисто литературными вопросами та часть общества, которая в Англии и Франции уже не хочет удостоивать своим вниманием этих, как там кажется, мелочей. Но как бы то ни было, от чего бы то ни происходило, не подлежит сомнению, что наша публика обладает, в нынешнем своем составе, двумя драгоценнейшими для развития литературы качествами: горячим сочувствием к литературе и замечательно верным взглядом на нее. Недостает нашей публике только одного: сознания [своих прав на литературу, а от этого-то и

зависит весь успех дела: Хорошо идет литература — публика в восторге; дурно идет литература — публика молчит.

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Да помилуйте, ведь нам уже чуть ли не полтора ста лет, по счету поклонников реформы Петра Великого, а по счету славянофилов чуть ли не две тысячи лет, — долго ли же нам еще скромничать?

Оставляя литературу без нравственной поддержки, на произвол случайных обстоятельств, публика не имеет права удивляться ее колебаниям. Общественное мнение должно было бы управлять литературой, неотступно требуя, чтобы она была его выразительницей; но общественное мнение молчит или многомного если шепчет какие-то невнятные речи, — очень натурально, что литература зависит от каприза случайностей, подчиняется влиянию предрассудков, не имея твердой опоры. Публика мало знает о закулисном положении нашей литературы; положение это, по правде признаться, не может возбуждать другого чувства, кроме сострадания. Мы говорим не об интригах самолюбий и мелочных расчетов, не о котериях и личных враждах, — все это общая принадлежность каждого человеческого дела, все это может возвышать или унижать только второстепенных, незначительных людей и остается без влияния на деятельность истинно замечательных талантов, возвышающихся над этими дрязгами: притом же, эти дрязги довольно известны публике, — можно сказать, только они одни из всех закулисных обстоятельств литературы и известны публике. Но есть отношения и обстоятельства гораздо более важные, о которых публика не имеет предчувствия, которые тяготеют над всеми без исключения талантами, и особенно над более замечательными талантами, и которые могут быть — и как легко могут быть! — отвращены только более живым влиянием общественного мнения на литературу. Чтобы публика могла знать, какого рода эти обстоятельства, укажем только два-три обстоятельства из этих закулисных отношений, — обстоятельства еще очень мало важные и невинные сравнительно с другими.

Знает ли, например, наша публика о том, какие знаменитости, какие авторитеты признаются почти единогласно в литературном кругу? Читатель захохотал бы, если бы ему назвать имена этих знаменитостей, которых публика давно оценила по достоинству, признав их писателями бездарными или пустыми. Но мы не будем называть их — литературное жеманство так вошло в наши нравы, что невозможно и подумать без страха о такой дерзости, — нет сомнения, что и те робкие и общие указания, которые мы позволяем себе, уже покажутся в литературе нашей ужасною дерзостью. Скажем только, что публика оши-

бается, думая, что в литературном мире наиболее уважаются те имена, которые наиболее уважаются в публике, — как можно? у нас есть великие поэты, замечательные беллетристы, всеми уважаемые критики, над стихотворениями, повестями, статьями которых публика давно смеется или дремлет. Они свысока третируют тех, которые высоко стоят во мнении публики, и эти люди слушают их советов, восхищаются их произведениями, чуть не считают себя мелкими людьми сравнительно с ними, великими писателями. О, если бы публика знала, каким авторитетам поклоняется литературный мир!

Даровитый поэт пишет пьесы, на которых не видно следа пошлой рутины; даровитый беллетрист написал повесть, уклоняющуюся от пошлой рутины, — публика придет в восторг от этих произведений, а знаете ли каково бывает мнение литературного мира о них? Они осуждаются почти всеми авторитетами этого мира. Печатно это осуждение не выскажется, — ведь мы умеем быть скромными и всем говорить печатные комплименты, — но сколько словесных осуждений, сколько словесных мудрых замечаний выслушает от нас писатель, осмелившийся быть оригинальным! Когда-то мы припомнили читателям курьезный случай: один знаменитый критик и поэт доброго старого времени отказался поместить в своем журнале повесть Гоголя и не хотел говорить о «Ревизоре», опасаясь унижить свое достоинство рассуждением о таком глупом фарсе, — подобные суждения каждый день совершаются в литературном мире. Рутината господствует в нем. И поверьте, если истинно замечательные <писатели> пользуются каким-нибудь уважением в литературном мире, то вовсе не по доброй воле наших авторитетов, а вопреки их желанию и убеждению: только смутные отголоски общественного мнения склоняют этих авторитетов на некоторые уступки в пользу таланта и оригинальности: без того владычество посредственности и тривиальности было бы безгранично. Знаете ли вы, что сам Гоголь до сих пор еще не признан в литературном мире за великого писателя? Если бы это было можно, его с удовольствием втоптали бы в грязь, и нынешние печатные похвалы ему почти всегда только невольная уступка общественному мнению.

«Это невероятно», — скажет читатель. Что и говорить, разумеется, невероятно. «Какое жалкое состояние литературных мнений!» прибавит читатель, — разумеется, жалко было бы оно, если б существовали даже одни те причины к сожалению, которые указаны нами. Но высказанное нами маловажно сравнительно с тем, о чем мы скромно молчим, подражая скромности общества. Да, читатель, положение нашей литературы способно возбудить сожаление в самом апатическом человеке.

Не торопитесь же осуждать русского писателя: о, если б вы знали, как неблагоприятны для развития его таланта обстоятель-

ства и отношения, в которых он действует, вы подивились бы не бессилию, а силе его; вы подивились бы не тому, что он идет медленным и колеблющимся шагом, а тому, что он еще хотя как-нибудь идет. Не торопитесь осуждать русского писателя за недостатки его произведений, читатель: осуждайте за них себя. Вы виновны в жалком положении русской литературы: от вас она ждет и все еще не может дожидаться нравственной поддержки. Ведь литература бывает сильна только тогда, когда опирается на публику, — а наша публика оставляет ее на произвол судьбы. От вас, читатель, зависит развитие русской литературы: выразите непреклонную волю вашу, чтобы она развивалась, и только тогда будет она иметь возможность развиваться.]

Девять лет, прошедшие после смерти Белинского, были бесплодны для истории критики, и мы останавливаемся на обозрении деятельности Белинского, потому что нечего больше сказать о русской критике, лучшим и современным выражением которой остаются до сих пор его статьи. Но словесность наша не совершенно бездействовала в это время. Напротив, поэты и беллетристы, образовавшиеся в школе Белинского или действующие в духе, представительницею которого была его критика, достигли первенства в нашей литературе только уже в последние годы его жизни или после его смерти. В критике не нашлось людей, способных продолжать начатое им; но словесность, как могла, продолжала развиваться в направлении, на которое указывал он. В те годы писатели нового направления еще только завоевывали себе прочное положение в литературе; теперь они решительно господствуют в ней. Если обстоятельства позволят нам исполнить во всем размере план, по которому начаты наши «Очерки» и первая часть которого — обозрение критики — нами кончена, то мы должны будем обозревать, во второй части нашего труда, деятельность русских поэтов и беллетристов, начиная с Гоголя до настоящего времени. Отдельные издания произведений некоторых из этих писателей доставляют нам случай определить их значение для литературы в отдельных статьях, которые, однако ж, будут иметь непосредственное отношение к общей системе наших «Очерков».